



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

781
B

1,347,041

138.

67



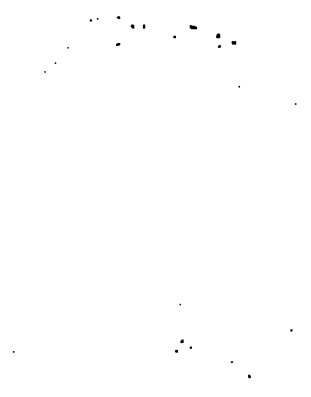
an

гбн
4113

| | |
|----------------|------|
| БИБЛИОТЕКА | |
| И. М. НОМГЛОВА | |
| ИЗДАНИЕ | 179 |
| ГОДА | 16 |
| № | 2636 |

ПО УТВЕРЖДЕНИЮ

ПОДПИСАНО



Л. МАЙКОВЪ.

БАТЮШКОВЪ,

ЕГО ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНІЯ.

2686



2432
1920.

Markov, L. Leonid, 1831-1920

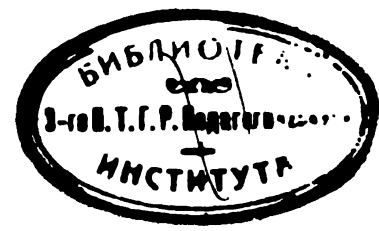
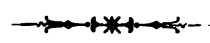
01. 01. 1920

БАТЮШКОВЪ,

ЕГО ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНІЯ.

Леонида Майкова.

363481



С.-Петербургъ.

Типографія В. С. Балашева, Екатерининскій кан.. д. 78.

1887.

rad

391.78

B3330'

M26ba

687

62
E. S. S. S.
1-14-91
660-9661

Аполлону Николаевичу Майкову,
Николаю Алексѣевичу Трескину,
Константину Николаевичу Бестужеву-Рюмину
и
Федору Дмитриевичу Батюшкову

- посвящаю мой трудъ,
съ любовью писанный и встрѣченный
ихъ дружескимъ одобреніемъ.

Леонидъ Майковъ.

28-го марта
1887 года

Новая русская литература богата преждевременными утратами. Не будемъ утверждать, что причина тому заключается въ особомъ свойствѣ нашихъ общественныхъ условій; но указанное явленіе сохраняетъ свою прискорбную непреложность: Грибоедовъ и Пушкинъ, Веневитиновъ, Лермонтовъ и Гоголь сошли въ могилу—одни въ пору высшаго развитія своихъ дарованій, другіе—даже не обнаруживъ всей мѣры ихъ. Къ этимъ славнымъ именамъ по справедливости должно быть присоединено имя Батюшкова, съ тою лишь печальною особенностью, что дѣятельность его изящнаго таланта была прервана не преждевременною кончиною, а тяжкимъ недугомъ, поразившимъ его блестящія умственныя способности: въ этомъ недугѣ, почти безъ просвѣтлѣнія, онъ провелъ около половины своей семидесятилѣтней жизни.

Дружественная рука умной женщины сохранила намъ живой, къ сожалѣнію, слишкомъ короткій очеркъ этой замѣчательной личности:

„Я познакомилась съ Константиномъ Батюшковымъ въ 1811 году. Его умъ и то блестящее воображеніе, которое дало ему мѣсто въ ряду лучшихъ поэтовъ, увлекли меня съ первой же нашей встрѣчи. Впослѣдствіи онъ почтилъ меня названіемъ своего друга. Не могу объяснить себѣ ту странность, которая господствуетъ иногда надъ моими рѣшеніями; но несомнѣнно, что въ то время, о которомъ я говорю, я упорно не желала, чтобы

Батюшковъ былъ введенъ въ мой домъ. Уступая наконецъ настояніямъ моего брата, котораго онъ былъ товарищемъ по военной службѣ, и который непремѣнно желалъ представить его мнѣ, я наконецъ назначила день его перваго посѣщенія. Онъ явился и—лишь заставилъ пожалѣть, что я такъ долго медлила принять его къ себѣ.

„Батюшковъ въ теченіе многихъ лѣтъ служилъ въ военной службѣ и совершилъ походъ въ Финляндію. Онъ былъ въ немъ раненъ и обойденъ при производствѣ. Оскорбленный въ душѣ и въ своемъ честолюбіи, онъ подалъ въ отставку, получилъ ее и пріѣхалъ въ Москву, чтобъ утѣшиться отъ испытанной несправедливости въ обществѣ друзей и музъ, которыхъ былъ баловнемъ. Батюшковъ былъ небольшого роста; у него были высокія плечи, впалая грудь, русые волосы, вьющіеся отъ природы, голубые глаза и томный взоръ. Оттѣнокъ меланхолиі во всѣхъ чертахъ его лица соотвѣтствовалъ его блѣдности и мягкости его голоса, и это придавало всей его фізіономіи какое-то неумовимое выраженіе. Онъ обладалъ поэтическимъ воображеніемъ; еще болѣе поэзіи было въ его душѣ. Онъ былъ энтузіастъ всего прекраснаго. Всѣ добродѣтели казались ему достижимыми. Дружба была его кумиромъ, безкорыстіе и честность—отличительными чертами его характера. Когда онъ говорилъ, черты лица его и движенія оживлялись; вдохновеніе свѣтилось въ его глазахъ. Свободная, изящная и чистая рѣчь придавала большую прелесть его бесѣдѣ. Увлекаясь своимъ воображеніемъ, онъ часто развивалъ софизмы, и если не всегда успѣвалъ убѣдить, то все же не возбуждалъ раздраженія въ собесѣдникѣ, потому что глубоко прочувствованное увлеченіе всегда извинительно само по себѣ и располагаетъ къ снисхожденію. Я любила его бесѣду и еще болѣе любила его молчаніе. Сколько разъ находила я удовольствіе въ томъ, чтобъ угадывать и мимолетную мысль его, и чувство, наполнявшее его душу въ то время, когда онъ казался погруженнымъ въ мечтанія. Рѣдко

ошибалась я въ этихъ случаяхъ. Тайное сочувствіе открывало моему сердцу все то, что происходило въ его душѣ. Это сочувствіе установило между нами короткость съ первыхъ дней нашего знакомства...“¹⁾).

Таковъ былъ Батюшковъ въ самую свѣтлую пору своей жизни, въ то время, когда, двадцати-четырехлѣтнимъ молодымъ человѣкомъ, онъ своими дарованіями обратилъ на себя вниманіе лучшихъ своихъ современниковъ, и на него стали смотрѣть какъ на одну изъ блестящихъ надеждъ русской словесности.

Въ этой глубоко прочувствованной характеристикѣ Батюшковъ является очень привлекательною личностью, и таковъ онъ былъ по самой сущности своего характера. Его любили и цѣнили всѣ знавшіе, и въ отзывахъ современниковъ о немъ есть очень сочувственные, есть пожалуй сдержанные, но нѣтъ ни одного неблагопріятнаго. Всѣхъ строже судилъ себя онъ самъ: черта, ярко свидѣтельствующая въ его пользу и достойная глубокаго уваженія.

Обстоятельства жизни Батюшкова не многосложны. Человѣкъ мысли болѣе, чѣмъ практической дѣятельности, онъ и не искалъ практическаго дѣла; поэтъ, онъ всего болѣе любилъ ту созерцательную жизнь, которая по преимуществу питаетъ творчество. Но, увлеченный великими событіями своего времени, онъ не могъ не стать въ ряды русскаго войска въ эпоху героической борьбы съ Наполеономъ и честно исполнилъ долгъ въ своей скромной военной роли. Яркою полосой проходитъ въ жизни Батюшкова то несравненное воодушевленіе, которое окрыляло русскія войска и воодушевляло русскій народъ въ то славное время. Нравственное значеніе этихъ войнъ для русскаго общества—смутное разумѣніе національныхъ задачъ, имъ пред-

¹⁾ Переводъ съ французской рукописи Е. Г. Пушкиной. Подлинникъ напечатанъ въ приложеніи къ предлагаемой статьѣ.

шествовавшее, и въ связи съ нимъ, неопредѣленный характеръ нашего просвѣщенія въ первые годы текущаго столѣтія, а затѣмъ, послѣ торжества надъ Наполеономъ, крупныя успѣхи національнаго сознанія и, вслѣдъ за ними, народженіе новыхъ существеннѣйшихъ вопросовъ въ нашей внутренней жизни,— находятъ себѣ замѣтное отраженіе въ развитіи образа мыслей Батюшкова. Мы только отчасти можемъ предугадывать, какой дальнѣйшій ходъ приняла бы дѣятельность его мысли, внезапно прерванная тяжкимъ недугомъ; но оставляя въ сторонѣ догадки и изучая только то, что дала намъ первая половина его жизни, мы можемъ съ увѣренностью сказать, что это былъ одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ и характерныхъ представителей своего времени въ нашемъ отечествѣ. Онъ много общалъ, но и не мало успѣлъ проявить въ періодъ разцвѣта своихъ счастливыхъ дарованій.

1.

Предки К. Н. Батюшкова.—Его рожденіе и воспитаніе въ петербургскихъ пансіонахъ.—М. Н. Муравьевъ и его вліяніе на дальнѣйшее образованіе Батюшкова.

Батюшковы — одинъ изъ старинныхъ дворянскихъ родовъ. Представители его съ XVI вѣка извѣстны въ числѣ служилыхъ людей Московскаго государства и съ того же времени состояли помѣщиками въ Новгородской области, въ мѣстности Бѣжецка и Устюжны Желѣзнопольской. Въ 1543 году Семенъ Батюшковъ ходилъ посломъ въ Молдавскую землю къ воеводѣ Ивану Петровичу. По Бѣжецкимъ писцовымъ книгамъ 1628 и 1629 годовъ за Иваномъ Никитичемъ Батюшковымъ значилось „старое отца его помѣстье“ въ Есенецкомъ стану—сельцо Даниловское, „а въ немъ дворъ помѣщиковъ“, и нѣсколько деревень. Сынъ Ивана Батюшкова, Матвѣй, участникъ войнъ съ Польшей при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ и съ Турціей при его сынѣ, за многую службу свою царямъ и всему Московскому государству въ 1683 году былъ пожалованъ изъ помѣстья въ вотчину половиной сельца Даниловскаго и прилежащими къ нему деревнями въ Бѣжецкомъ уѣздѣ, да сверхъ того, деревнями и пустошами въ Новоордецкомъ станѣ Углецкаго уѣзда ¹⁾).

Внукъ Матвѣя Ивановича, Андрей Ильичъ, началъ службу при Петрѣ I и продолжалъ ее до времени Елизаветы, все въ

¹⁾ Карамзинъ, Ист. Госуд. Росс. VIII, прим. 129; Архивъ ист. юрид. свѣд. о Россіи, Калачова, III, отд. 2, стр. 46; Акты Археогр. Экспед. II, стр. 283, 276; IV, стр. 283; кн. Долгоруковъ, Росс. родосл. книга, IV. Эти указанія, равно какъ и свѣдѣнія о поземельныхъ владѣніяхъ Батюшковыхъ и о службѣ предковъ поэта, сообщены А. П. Барсуковымъ, который извлекъ ихъ изъ дѣла департамента герольдіи 1854 г., № 356.

гражданскихъ должностяхъ. По семейному преданію ¹⁾, онъ былъ „человѣкъ нрава крутаго и твердый духомъ“. У него было нѣсколько сыновей, и нѣкоторые изъ нихъ воспитывались въ шляхетномъ кадетскомъ корпусѣ ²⁾: доказательство, что еще въ первой половинѣ прошлаго вѣка интересы книжнаго просвѣщенія были не чужды семьѣ Батюшковыхъ. Изъ сыновей Андрея Ильича выдаются двое—старшій Левъ и второй Илья. Левъ служилъ сперва въ военной ³⁾, а потомъ, подобно отцу, въ гражданской службѣ и послѣ смерти отца управлялъ родовымъ имѣніемъ. Въ 1767 году онъ былъ избранъ депутатомъ отъ дворянства Устюжны Желѣзнопольской въ знаменитую Екатерининскую комиссію для составленія проекта новаго уложенія, но вскорѣ по открытіи ея засѣданій сдалъ свое депутатство другому лицу ⁴⁾. Тѣмъ не менѣе самое избраніе его въ депутаты даетъ поводъ полагать, что это былъ человѣкъ дѣловитый и уважаемый въ своемъ краю.

Второй сынъ Андрея Ильича, Илья Андреевичъ, сперва служилъ въ конной гвардіи, а затѣмъ поселился въ деревнѣ и въ 1770 году, за худыя рѣчи объ императрицѣ и за умыслъ свергнуть ее съ престола и возвести на него цесаревича Павла Петровича былъ сосланъ въ Мангазею. Попытки исходатайствовать ему прощеніе оставались безуспѣшными во все царствованіе императрицы Екатерины II, не смотря даже на то, что еще при слѣдствіи по дѣлу Льва Андреевича въ немъ обнаружена была склонность къ умопомѣшательству, и что по самому приговору, состоявшемуся надъ нимъ, дозволено было не

¹⁾ Соч., т. III, стр. 567.

²⁾ Имянной списокъ всѣмъ бывшимъ и нынѣ находящимся въ сухопутномъ шляхетномъ корпусѣ штабъ-офцерамъ и кадетамъ. С.-Пб. 1761. Ч. I, 249.

³⁾ Русск. Архивъ 1880 г., ч. II, стр. 108.

⁴⁾ Имянной списокъ господамъ депутатамъ, выбраннымъ въ комиссію о составленіи проекта новаго уложенія, по 1-е января 1768. М., стр. 17; Сборн. Имп. Р. Истор. Общ., т. IV, стр. 67.

употреблять его въ ссылкѣ на казенныя работы въ случаѣ возобновленія его болѣзни. Онъ былъ прощенъ только по воцареніи Павла, 12-го декабря 1796 года, но если не ошибаемся изъ ссылки не возвратился: царская милость не застала его въ живыхъ ¹⁾).

Умыселъ Ильи Батюшкова былъ только однимъ изъ многочисленныхъ проявленій того недовольства, которое обнаружилось среди дворянства противъ императрицы Екатерины II въ началѣ ея царствованія. Но въ семьѣ Батюшковыхъ несчастная участь Ильи Андреевича должна была оставить самое тяжелое впечатлѣніе, и конечно, всего сильнѣе оно отразилось на старшемъ сынѣ его брата Льва—Николаѣ. Пятнадцатилѣтнимъ юношей, состоя солдатомъ Измайловскаго полка, онъ былъ привлеченъ къ слѣдствію по дѣлу дяди. Онъ далъ чистосердечное показаніе о всемъ, что слышалъ и зналъ изъ рѣчей и намѣреній Ильи Андреевича. Тѣмъ не менѣе, Николая Батюшкова судили, и въ приговорѣ было постановлено: „отпустить его въ домъ по прежнему, а чтобъ однакоже, когда онъ будетъ въ полку, то бѣ по молодости лѣтъ своихъ не могъ иногда о семь дѣлѣ разглашать, то велѣно его отъ полка, какъ онъ не въ совершенныхъ лѣтахъ, отпустить, ибо по прошествіи нѣкотораго времени, особливо живучи въ деревнѣ, могутъ тѣ слышанныя имъ слова изъ мысли его истребиться; при свободѣ же накрѣпко ему подтвердить, чтобъ всѣ тѣ слова, какъ онѣ вымышлены Ильею Батюшковымъ, изъ мысли своей истребилъ и никому во всю жизнь свою ни подъ какимъ видомъ не сказывалъ“.

Такимъ образомъ Николай Львовичъ, былъ обреченъ провести свою молодость, такъ сказать, подъ опалой, и это, безъ сомнѣнія, повліяло на его характеръ: съ годами нравъ его сдѣлался

¹⁾ А. Барсуковъ. Разказы изъ новой русской исторіи, С.-Пб. 1885, статья: „Батюшковъ и Опочининъ (попытка дворянской оппозиціи въ царствованіе Екатерины II)“.

неровень и своеобразенъ. Въмѣстѣ съ тѣмъ, указанное обстоятельство имѣло вліяніе на общественное положеніе и служебные успѣхи Николая Львовича. Въ то время, какъ младшій братъ его Павелъ удачно шелъ по службѣ и достигъ въ послѣдствіи званія сенатора, старшій, человѣкъ по своему времени хорошо образованный, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ номинальной военной службы и затѣмъ кратковременнаго пребыванія въ должности прокурора въ Вяткѣ, вышелъ въ отставку, лѣтъ сорока съ небольшимъ, и поселился въ своемъ родовомъ Даниловскомъ. Здѣсь онъ занимался хозяйствомъ и въ послѣдніе годы жизни увлекся промышленными предпріятіями, которыя значительно содѣйствовали разстройству его состоянія. Онъ скончался въ ноябрѣ 1817 года. Большой любитель французской литературы и почитатель философіи XVIII вѣка, онъ собралъ богатую бібліотеку, со множествомъ роскошныхъ изданій, которая и понынѣ составляетъ одно изъ лучшихъ украшеній села Даниловскаго. Въ пользу нравственной личности Николая Львовича свидѣтельствуется дружеская связь, соединявшая его съ его родственникомъ и однополчаниномъ, извѣстнымъ Михаиломъ Никитичемъ Муравьевымъ, однимъ изъ лучшихъ людей своего вѣка.

Николай Львовичъ дважды вступалъ въ супружество: въ первый разъ онъ былъ женатъ на Александрѣ Григорьевнѣ Бердаевой и имѣлъ отъ этого брака четырехъ дочерей—Александрю, Анну, Елизавету и Варвару и одного сына—Константина. Вторично Николай Львовичъ женился на Авдотѣ Никитишнѣ Теглевой; отъ этого брака у нихъ были сынъ Помпей и дочь Юлія. Какъ А. Г. Бердаева, такъ и А. Н. Теглева, принадлежали къ стариннымъ дворянскимъ родамъ Вологодскаго края.

Константинъ Николаевичъ Батюшковъ родился въ Вологдѣ 18-го мая 1787 года, и крестнымъ отцомъ его былъ тогдашній правитель Вологодскаго намѣстничества Петръ Ѳедоровичъ Мезенцевъ.

О годахъ ранняго дѣтства Константина Николаевича сохра-

нилось весьма мало свѣдѣній; онъ провелъ дѣтство въ Даниловскомъ, но почти отъ самой колыбели былъ лишень материнскихъ попеченій: чрезъ нѣкоторое время по рожденіи сына Александра Григорьевна лишилась разсудка и скончалась вдали отъ дѣтей, въ Петербургѣ, 21-го марта 1795 года. Она похоронена на Лазаревскомъ кладбищѣ Александро-Невской лавры, гдѣ поставленъ ей памятникъ съ слѣдующею надписью: „Добродѣтельной супругѣ въ знакъ любви, истиннаго почитанія воздвигъ сей памятникъ оплакивающій ее невовратно Николай Батюшковъ купно съ дѣтьми своими 1795“ ¹⁾).

Итакъ, Константинъ Николаевичъ лишился матери въ то время, когда ему не было и восьми лѣтъ. Изображая впослѣдствіи, въ своей знаменитой элегій, разлуку ребенка Тасса съ матерью, онъ въ своихъ стихахъ не только воспроизводилъ подлинныя слова италіянскаго поэта, но и высказывалъ свои собственные чувства, когда говорилъ:

..... какъ трепетный Асканій,
Отторженъ былъ судьбой отъ матери моей
Отъ сладостныхъ объятій и лобзаній!
Ты помнишь, сколько слезъ младенцемъ пролилъ я!

Эта ранняя утрата имѣла несомнѣнное вліяніе на внутреннюю жизнь поэта: онъ не разъ возвращался къ ней въ своихъ мысляхъ, въ письмахъ къ роднымъ и въ стихахъ:

Увы, съ тѣхъ поръ добыча злой судьбины,
Всѣ горести узналъ, всю бѣдность бытія ²⁾).

Заставляя Тасса произносить эти слова, Батюшковъ выражалъ то горькое чувство, которое съ дѣтскихъ лѣтъ нашло себѣ пріютъ въ его сердцѣ и становилось все болѣе жгучимъ съ годами.

¹⁾ Петербургскій Некрополь, сост. В. Сантовъ (приложеніе къ Р. Архиву 1883 г.), стр. 15.

²⁾ Соч. т. I, стр. 255.

Едва ли ошибемся мы, предположивъ, что, младшій въ семьѣ, Константинъ Николаевичъ, началъ ученіе подъ руководствомъ своей сестры Александры, которая была старше его на десять лѣтъ, и къ которой онъ всегда сохранялъ особенное уваженіе и дружбу. Уцѣлѣло письмо его къ старшимъ сестрамъ, писанное когда ему было десять лѣтъ: оно свидѣтельствуешь, что мальчикъ уже хорошо владѣлъ русскою грамотой, хотя и писалъ еще дѣтскимъ почеркомъ. Письмо это писано въ 1797 году, изъ Петербурга, гдѣ тогда учились младшія сестры Константина Николаевича: вѣроятно, около этого времени Николай Львовичъ привезъ сюда и сына, чтобы помѣстить его въ учебное заведеніе.

Быть можетъ, подъ впечатлѣніемъ новыхъ строгихъ порядковъ, которые сталъ вводить въ военной службѣ императоръ Павелъ, бывшій гвардеецъ Екатерининскихъ временъ не рѣшился отдать сына въ одинъ изъ кадетскихъ корпусовъ, а такъ какъ казенныхъ гражданскихъ училищъ въ то время почти не было, а въ тѣ, какія существовали, дворянскія дѣти изъ достаточныхъ семей никогда не отдавались, то Константина Николаевича пришлось помѣстить въ частное учебное заведеніе. Для этого былъ избранъ пансіонъ, который содержалъ Осипъ Петровичъ Жакино. То былъ Французъ изъ Эльзаса, дѣльный педагогъ, пріѣхавшій въ Россію около 1780 года и состоявшій учителемъ французской словесности въ сухопутномъ шляхетномъ корпусѣ. Въ 1793 году Жакино открылъ пансіонъ для мальчиковъ, который и содержалъ до самой смерти своей въ 1816 году. Нѣсколько свѣдѣній объ этомъ почтенномъ человѣкѣ сохранилось въ замѣткѣ, помѣщенной въ Сынѣ Отечества однимъ изъ бывшихъ его питомцевъ по случаю его кончины: „Въ теченіе 23 лѣтъ“—сказано тамъ—„совершилъ онъ въ семъ пансіонѣ воспитаніе около 240 молодыхъ людей. Не стану распространяться исчисленіемъ его добродѣтелей, изображеніемъ его трудовъ, родительскихъ наставленій въ преданности къ вѣрѣ, въ вѣр-

ности монарху и отечеству, изящнѣйшаго примѣра благонравія, праводушія, честности, который онъ всегда подавалъ своимъ ученикамъ. Многіе изъ нихъ служатъ съ честію въ воинской, другіе въ гражданской службѣ и благословляютъ образовавшаго ихъ на пользу отечества. Узнавъ о кончинѣ его, всѣ почти находившіеся въ С.-Петербургѣ воспитанники его съѣхались безъ приглашенія на похороны и вынесли гробъ своего благодѣтеля, воздавая должную дань своей къ нему признательности не лицемѣрными слезами“ ¹⁾).

Пансіонъ Жакино былъ устроенъ на широкую ногу; онъ находился на берегу Невы, у Пятой линіи Васильевского острова; заведеніе занимало три этажа: въ верхнемъ жили старшіе воспитанники и двое учителей, а въ среднемъ—самъ Жакино съ женой и младшими воспитанниками; лѣтомъ нанималась дача для воспитанниковъ, не уѣзжавшихъ къ роднымъ. Въ пансіонѣ было два класса или, вѣрнѣе, два отдѣленія. Предметы преподаванія были слѣдующіе: законъ Божій, языки русскій, французскій и нѣмецкій, географія, исторія, статистика, ариметика, химія и ботаника (послѣдняя — только лѣтомъ), чистописаніе, рисованіе и танцы. Въ пансіонѣ господствовалъ французскій языкъ, и на немъ преподавалась большая часть предметовъ, кромѣ, разумѣется, закона Божія и русскаго языка. Русскому языку обучалъ въ старшемъ отдѣленіи Иванъ Сиряковъ ²⁾, въ млад-

¹⁾ Сынъ Отечества 1816 г., ч. 30, № 23, стр. 165. Письмо къ издателю, за подписью NN. Въ примѣчаніи подъ письмомъ сказано, что оно написано однимъ изъ бывшихъ питомцевъ Жакино по просьбѣ товарищей. Дальнѣйшія свѣдѣнія о пансіонѣ Жакино взяты изъ журнала Nordisches Archiv 1803 г., апрѣль, стр. 76—81. Журналъ этотъ издавался I.-Хр. Каффкой въ Ригѣ.

²⁾ Этотъ Иванъ Сиряковъ извѣстенъ слѣдующими литературными трудами: 1) Разговоръ Лудвига XVI съ Французами, въ царствѣ мертвыхъ. С.-Пб. 1799; 2) Генріада. Епическая поэма г. Волтера, вновь переведенная. С.-Пб. 1803; 3) Походъ Игоря противъ Половцовъ. С.-Пб. 1803 (переводъ въ стихахъ русскаго склада); 4) Муза или Собесѣдникъ любителей древняго и новаго стихотворства и вообще словесности. С.-Пб. 1802 (періодическое изданіе, котораго вышла только одна январская книжка, вся состоящая, вѣроятно, изъ сочиненій и пере-

пемъ—Кремеръ; курсъ состоялъ въ изученіи грамматики и въ переводахъ съ французскаго и нѣмецкаго. Французскимъ языкомъ занимался самъ Жакино: преподавались грамматика, правописание и правила слога. Онъ же обучалъ и географіи. Главнымъ его помощникомъ въ преподаваніи былъ нѣмецъ Коль, обучавшій нѣсколькимъ предметамъ. Прочіе учителя были Баумгертель, Гревенбургъ, Грандидье и Делавинъ; каллиграфіи обучалъ Подлѣсовъ, рисованію—Голь, и танцамъ—Швабе. Тѣлесныхъ наказаній въ пансіонѣ почти не было. Большинство учащихся состояло изъ Русскихъ. Годовая плата полагалась въ 700 рублей въ годъ; слѣдовательно, заведеніе было доступно только для дѣтей изъ достаточныхъ семействъ.

Батюшковъ пробылъ въ пансіонѣ Жакино около четырехъ лѣтъ¹⁾, такъ что воспользовался курсомъ не только младшаго отдѣленія, но вѣроятно, отчасти и старшаго. Тѣмъ не менѣе, въ 1801 году мы видимъ его уже въ другомъ пансіонѣ, содержателемъ котораго былъ Иванъ Антоновичъ Триполи, учитель морскаго кадетскаго корпуса. По какимъ причинамъ состоялся этотъ переходъ изъ одного учебнаго заведенія въ другое—не извѣстно; но кажется несомнѣннымъ, что это не было серьезнымъ шагомъ къ лучшему. Мы видѣли, что Жакино своимъ нравственнымъ авторитетомъ оставилъ добрую память въ своихъ питомцахъ. О Триполи одинъ изъ позднѣйшихъ его учениковъ (въ морскомъ корпусѣ) сохранилъ лишь воспоминаніе, что это былъ „предметъ общихъ насмѣшекъ воспитанниковъ по своимъ страннымъ шутовскимъ пріемамъ, по своей фигурѣ и возгла-

водовъ самого издателя); 5) Генріада. Эпическая поэма, переведенная и вновь исправленная. С.-Пб. 1822 (съ обширнымъ предисловіемъ переводчика, содержащимъ въ себѣ теоритическое разсужденіе объ эпической поэмѣ). Вѣроятно, къ сдѣланному Сиряковымъ переводу „Генріады“ относится эпиграмма Батюшкова (Соч., т. I, стр. 93).

¹⁾ Собственное показаніе Батюшкова, приведенное со словъ Г. А. Гревенса, въ статьѣ Н. О. Бунакова—въ Москвитинѣ 1856 г.

самъ" ¹⁾. Что же касается собственно курса ученія, то очевидно, въ пансіонѣ Триполи онъ былъ никакъ не выше, чѣмъ у Жакино. „Я продолжаю французскій и италіанскій языки“, писалъ юноша отцу въ ноябрѣ 1801 года,—„прохожу италіанскую грамматику и учу въ оной глаголы; уже я знаю наизусть довольно словъ. Въ географіи Иванъ Антоновичъ, истолковавъ нужную матерію, велитъ оную самимъ безъ его помощи описать; чрезъ то мы даже упражняемся въ штилѣ. Я продолжаю, любезный папенька, учиться нѣмецкому языку и перевожу съ французскаго на оный... Въ математикѣ прохожу я вторую часть ариметики, а на будущей недѣлѣ начну геометрію. Первые правила россійской риторики уже прошелъ и теперь занимаюсь переводами. Рисую я большую картину Діану и Эндиміона... но еще и половины не кончилъ... Начатую же картину безъ васъ кончилъ... На гитарѣ играю сонаты“. Такимъ образомъ, сравнительно съ курсомъ Жакино, Батюшковъ у Триполи пошелъ немного далѣе: новымъ предметомъ обученія былъ здѣсь для него только италіанскій языкъ. Вообще можно сказать, что учебный курсъ, который Батюшковъ проходилъ въ обоихъ пансіонахъ, былъ почти элементарный; онъ былъ рассчитанъ на удовлетвореніе однихъ только свѣтскихъ потребностей; по ходячимъ понятіямъ того времени, большаго и не требовалось для русскаго дворянина.

Николай Львовичъ въ годы школьнаго ученія сына не жилъ въ Петербургѣ, а только посѣщалъ его наѣздомъ. Въ такихъ случаяхъ, при затруднительности сношеній между столицей и провинціей въ старое время, родители поручали надзоръ за своими дѣтьми, отданными въ петербургскія учебныя заведенія, родственникамъ или землякамъ, жившимъ въ столицѣ. Такъ по-

¹⁾ Воспоминанія декабриста о пережитомъ и пережитомъ. 1805—1850. А. Бѣльева. Ч. I. С.-Пб. 1882, стр. 50. Ср. воспоминанія А. С. Гангеблова въ Р. Архивѣ 1886 г., кн. III, стр. 183.

ступилъ и Николай Львовичъ. Будучи помѣщикомъ въ такъ-называемой Уломѣ, то-есть, въ томъ краѣ, который расположенъ по теченію Шексны въ смежныхъ уѣздахъ Новгородской и Ярославской губерній, а изъ губернскихъ городовъ всего ближе къ Вологдѣ,—Николай Львовичъ находился въ частыхъ сношеніяхъ съ этимъ городомъ и имѣлъ тамъ много знакомыхъ; попеченіямъ одного изъ нихъ, проживавшаго въ то время въ Петербургѣ, онъ и ввѣрилъ своего сына въ бытность его въ пансіонѣ Триполи. Это былъ Павелъ Аполлоновичъ Соколовъ, помѣщикъ въ Пошехонскомъ уѣздѣ, сынъ тамошняго предводителя дворянства въ послѣднемъ десятилѣтіи прошлаго вѣка ¹⁾. Свѣдѣній о немъ у насъ очень мало; видно однако, что онъ былъ человекъ не лишенный образованія: онъ оцѣнилъ первый литературный опытъ Константина Николаевича, сдѣланный еще въ пансіонѣ Триполи, переводъ на французскій языкъ знаменитаго слова митрополита Платона, которое онъ произнесъ 15-го сентября 1801 года, послѣ коронованія императора Александра. Переводъ этотъ, исправленный Триполи, былъ тогда же напечатанъ по желанію Соколова, съ посвященіемъ ему, въ которомъ юный переводчикъ съ признательностью говоритъ о благодѣяніяхъ, оказанныхъ ему Павломъ Аполлоновичемъ.

По шестнадцатому году Батюшковъ оставилъ пансіонъ Триполи. По существовавшему въ то время обычаю, въ этомъ возрастѣ кончалось обученіе дворянскаго юноши. Но по счастью, не такъ рано завершилось образованіе Константина Николаевича: пробужденныя способности уже сами искали себѣ пищи и дальнѣйшаго развитія.

Прежде всего, къ пополненію образованія Батюшкова послужило его обширное чтеніе. Читать онъ полюбилъ еще на

¹⁾ Губернскій служебникъ 1777—1796 гг., сост. кн. Н. Туркистановымъ, стр. 17. Впослѣдствіи Варвара Николаевна Батюшкова вышла замужъ за брата Павла Аполлоновича, Аркадія.

школьной скамьи. Еще 14-ти лѣтъ изъ пансіона писалъ онъ отцу: „Сдѣлайте милость, пришлите мнѣ Геллерта,—у меня и одной нѣмецкой книги нѣтъ; также лексиконы, сочиненія Ломоносова и Сумарокова, „Кандида“, сочиненія Мерсье, „Путешествіе въ Сирію“, и попросите у Анны Николаевны какихъ-нибудь французскихъ книгъ и оныя всѣ... пришлите, и еще 15 р. на другія нужныя книги. Вы, любезный папенька, обѣщали мнѣ подарить вашъ телескопъ: его можно продать и купить книги. Онѣ по крайней мѣрѣ безъ употребленія не останутся“. Этотъ перечень книгъ, которыя желалъ имѣть нашъ юноша, очень любопытенъ: онъ поражаетъ, съ одной стороны, серьезностью нѣкоторыхъ поименованныхъ сочиненій, а съ другой—своею чрезвычайною пестротой: тутъ и благочестивый Геллертъ, и злая насмѣшка Вольтера надъ оптимизмомъ, и положительный наблюдатель Вольней, и восторженный республиканецъ-мечтатель Мерсье, и два русскіе автора, столь несходные между собою. Очевидно, юноша былъ въ той порѣ, когда проснувшаяся любознательность жадно бросается на всякія книги и читаетъ все безъ разбора. Въ одной позднѣйшей своей статьѣ ¹⁾ Батюшковъ изображаетъ эту страстную любознательность, и въ его словахъ, даже сквозь украшенія цвѣтистаго слога, нельзя не подмѣтить автобіографическихъ чертъ. Въ юности, говоритъ онъ, —человѣкъ особенно доступенъ всевозможнымъ увлеченіямъ: „Тогда все дѣлается страстію, и самое чтеніе... Каждая книга увлекаетъ, каждая система принимается за истину, и читатель, не руководимый разумомъ, подобно гражданину въ бурныя времена безначалія, переходитъ то на одну, то на другую сторону“ ²⁾. Все это, безъ сомнѣнія, переживалъ самъ Батюшковъ на порогѣ жизни, и нужно сказать, что текущая литература того времени, по преимуществу литература всевозможныхъ доктринъ,

¹⁾ „Нѣчто о морали, основанной на философіи и религіи“.

²⁾ Соч., т. II, стр. 128.

системъ и философскихъ построений, представляла множество соблазновъ для молодого, не установившагося ума.

Какъ бы то ни было, но кругъ чтенія Батюшкова былъ очень великъ. Изъ французской литературы онъ ознакомился не только съ главными ея представителями двухъ послѣднихъ столѣтій, но и съ разными писателями второстепенными и третьестепенными; напротивъ, изъ нѣмецкихъ писателей, онъ, очевидно, читалъ въ то время очень немногихъ и во всякомъ случаѣ не читалъ еще тѣхъ своихъ современниковъ, которые составляли уже лучшее украшеніе германской литературы. Произведенія послѣднихъ едва проникали тогда въ Россію, между тѣмъ какъ сочиненія французскихъ писателей вѣка Людовика XIV и затѣмъ XVIII столѣтія были, такъ сказать, ходячею монетою въ русскомъ обществѣ, и знакомство съ ними признавалось непремѣннымъ и главнымъ условіемъ образованности. На этой-то почвѣ и предстояло воспитаться дарованію нашего поэта.

Но, кромѣ книгъ, довершенію образованія Батюшкова содѣйствовало живое слово — совѣты и указанія М. Н. Муравьева, родственника и пріятеля его отца.

Извѣстны прекрасныя слова, сказанныя о Муравьевѣ Ка-рамзиннымъ: „Страсть его къ ученію равнялась въ немъ со страстью къ добродѣтели“. И дѣйствительно, Муравьевъ былъ человѣкъ необыкновенный. Сынъ умнаго и просвѣщеннаго отца, питомецъ Московскаго университета, онъ всю жизнь не переставалъ обогащать свой умъ разнообразнымъ чтеніемъ, а съ образованіемъ соединялъ и высокій нравственный характеръ: это былъ человѣкъ по истинѣ чистый сердцемъ и великій радѣтель о нуждахъ ближняго. Патриотъ въ самомъ лучшемъ значеніи этого слова, онъ всего болѣе желалъ развитія серьезнаго образованія въ нашемъ отечествѣ, и много заботъ положилъ онъ на это дѣло, когда волею императора Александра, своего бывшаго питомца, былъ призванъ занять должность попечителя

Московского университета и товарища министра народного просвѣщенія: онъ былъ идеальнымъ попечителемъ, сказалъ о немъ Погодинъ. Муравьевъ питалъ глубокое уваженіе къ классическому образованію, и притомъ уваженіе вполне сознательное, ибо самъ обладалъ прекраснымъ знаніемъ древнихъ языковъ и литературы и въ этомъ знаніи почерпнулъ благородное гуманное направленіе своей мысли. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ былъ знакомъ и съ лучшими произведеніями новыхъ литературъ, также въ подлинникахъ. Мягкости и благовоительности его личного характера соотвѣтствовалъ свѣтлый оптимизмъ его философскихъ убѣжденій, и тою же мягкостью, въ связи съ обширнымъ литературнымъ образованіемъ, объясняется замѣчательная по своему времени широта его литературнаго сужденія: не будучи новаторомъ въ литературѣ, онъ однако съ сочувствіемъ встрѣчалъ новыя стремленія въ области словесности.

Первыя указанія на сношенія Батюшкова съ Муравьевымъ мы имѣемъ только отъ 1802 года; но безъ сомнѣнія, и ранѣе того Михаилъ Никитичъ зналъ даровитаго юношу, цѣнилъ его способности и принималъ участіе въ заботахъ о его воспитаніи и образованіи. Современники утверждали, что „Батюшковъ взросъ подъ его надзоромъ“¹⁾, а самъ Константинъ Николаевичъ говорилъ, что образованіемъ своимъ онъ обязанъ этому „рѣдкому человѣку“. Объясняя въ 1814 году Жуковскому, съ какимъ удовольствіемъ писалъ онъ статью о сочиненіяхъ М. Н. Муравьева, Батюшковъ замѣтилъ: „Я говорилъ о нашемъ Фенелонѣ съ чувствомъ; я зналъ его, сколько можно знать человѣка въ мои лѣта. Я обязанъ ему всѣмъ, и тѣмъ, можетъ быть, что умѣю любить Жуковскаго“²⁾. Въ рѣчи, которую Батюшковъ написалъ въ 1816 году для произнесенія въ Обществѣ любителей россійской словесности при Москов-

¹⁾ Біографія М. Н. Муравьева въ Галатееѣ 1830 г., ч. 13, стр. 67.

²⁾ Соч., т. III, стр. 305.

скомъ университетѣ, онъ сдѣлалъ слѣдующую характеристику Муравьева: „Подъ руководствомъ славнѣйшихъ профессоровъ московскихъ, въ нѣдрахъ своего отечества, онъ приобрѣлъ свои обширныя свѣдѣнія, которымъ нерѣдко удивлялись ученые иностранцы; за благодѣянія наставниковъ онъ платилъ благодѣянiями сему святилищу наукъ: имя его будетъ любезно всѣмъ сердцамъ добрымъ и чувствительнымъ; имя его напоминаетъ всѣ заслуги, всѣ добродѣтели. Ученость обширную, утвержденную на прочномъ основанiи, на знанiи языковъ древнихъ, рѣдкое искусство писать онъ умѣлъ соединить съ искреннею кротостiю, съ снисходительностiю, великому уму и добрѣйшему сердцу свойственною. Казалось, въ его видѣ посѣтилъ землю одинъ изъ сихъ генiевъ, изъ сихъ свѣтильниковъ философiи, которые нѣкогда рождались подъ счастливымъ небомъ Аттики, для развитiя практической и умозрительной мудрости, для утѣшенiя и назиданiя человѣчества краснорѣчивымъ примѣромъ“¹⁾. Въ этой характеристикѣ вполне обнаруживается то глубокое уваженiе, какое благодарный ученикъ питалъ къ своему благородному руководителю. Муравьевъ былъ для Батюшкова своего рода университетомъ. Посмотримъ же, въ чемъ именно состояло это руководство.

Прежде всего влiянiю Муравьева слѣдуетъ приписать то, что Батюшковъ обратился къ занятiямъ классическимъ. Въ пансионахъ Жакино и Триполи ему не удалось приобрести знанiя древнихъ языковъ; а между тѣмъ онъ видѣлъ, что Муравьевъ даже среди важныхъ государственныхъ заботъ удѣлялъ „нѣсколько свободныхъ минутъ на чтенiе древнихъ авторовъ въ подлинникѣ, и особенно греческихъ историковъ, ему отъ дѣтства любезныхъ“²⁾, и еще находилъ себѣ достойнаго товарища въ этихъ занятiяхъ въ лицѣ своего родственника и друга, Ивана

¹⁾ Соч., т. II, стр. 245—246.

²⁾ Тамъ же, стр. 82.

Матвѣевича Муравьева-Апостола ¹⁾, человека столь же образованнаго, какъ самъ Михаилъ Никитичъ, но съ умомъ болѣе смѣлымъ, болѣе предприимчивымъ и пытливымъ. По ихъ примѣру Батюшковъ принялся за изученіе латинскаго языка и скоро овладѣлъ имъ на столько, что могъ болѣе или менѣе свободно читать римскихъ авторовъ. Кто именно былъ его учителемъ—не извѣстно; быть можетъ, самъ Михаилъ Никитичъ, а вѣроятно же — Николай Ѳедоровичъ Кошанскій, который, по окончаніи курса въ Московскомъ университетѣ, былъ вызванъ Муравьевымъ въ 1805 году въ Петербургъ и подъ его ближайшимъ руководствомъ занимался изученіемъ древностей и исторіи искусства ²⁾. Съ изученіемъ латинскаго языка Батюшкову открылся способъ къ непосредственному знакомству съ древнимъ міромъ, и особенно—съ его литературными богатствами. Судя по сочиненіямъ Батюшкова, почти всѣ значительнѣйшіе римскіе поэты были прочтены имъ въ подлинникъ; знакомство съ ними уяснило ему, что истинный классицизмъ заключается прежде всего въ изяществѣ формы, въ отдѣлкѣ слога, въ совершенствѣ изложенія. Эту точку зрѣнія Батюшковъ примѣнялъ въ послѣдствіи къ оцѣнкѣ явленій русской литературы. Изъ римскихъ поэтовъ Гораций и Тибуллъ сдѣлались его любимцами, и онъ охотно бралъ ихъ себѣ въ образецъ.

Затѣмъ, вліяніемъ Муравьева объясняется въ Батюшковѣ раннее развитіе здраваго литературнаго вкуса. Какъ мы сказали, Муравьевъ не стремился къ нововведеніямъ въ словесности, но при богатствѣ своего литературнаго образованія не могъ быть одностороннимъ и слѣпымъ послѣдователемъ псевдо-классической теоріи. Хотя смутно, онъ однако сознавалъ искусственность ея требованій. „Краснорѣчіе“, говорилъ онъ,—„не

¹⁾ Соч., II, стр. 72.

²⁾ Кошанскій былъ хорошій знатокъ древнихъ языковъ и умѣлъ понимать красоту античной поэзіи; см. о немъ въ т. III, стр. 616—617.

есть уединенная наука, одними словами занимающаяся... Скучно будетъ краснорѣчіе, когда умъ не приученъ думать, сердце не испытало сладостнаго удовольствія быть тронутымъ“ ¹⁾). Въ такомъ смыслѣ высказывается и Батюшковъ, едва оставивъ школьную скамью: „Если вы найдете переводъ мой слишкомъ буквальный“, обращается онъ къ П. А. Соколову, посвящая ему Платоново слово, — „пусть послужитъ тому оправданіемъ моя крайняя молодость; да и возможно ли на чужомъ языкѣ передать паеосъ, благородную простоту и то выраженіе искренности, которыя господствуютъ въ подлинникѣ? Высокопреосвященный Платонъ, имя котораго стало въ Россіи синонимомъ краснорѣчія, обладаетъ своимъ особымъ слогомъ. Всѣ красоты его требованій непосредственны и не носятъ на себѣ печати труда“ ²⁾). Такимъ образомъ, едва прошедши курсъ школьной риторики, юноша хвалитъ оратора не за блескъ его метафоръ, не за смѣлость противоположеній—эти обычные приемы стараго ораторскаго искусства,—а за благородную простоту, за искренность чувства, за непосредственность творчества, которыя находилъ въ его произведеніяхъ. Подобныя сужденія не совсѣмъ были обычны въ старое время, и не въ школѣ, конечно, а въ бесѣдахъ съ такимъ образованнымъ человѣкомъ, какъ Муравьевъ, могли они сложиться у Батюшкова.

Но что еще важнѣе, Муравьевъ возбудилъ въ своемъ питомцѣ потребность поработать надъ самимъ собою и установить свой нравственный идеалъ. Раннее чтеніе безъ разбора ставило предъ юношей такой рядъ ученій и системъ, что разобратся въ немъ было ему, очевидно, не по силамъ. Въ эту-то пору умственнаго развитія Батюшкова явился передъ нимъ, въ лицѣ Муравьева, руководитель, который могъ дать кипучей работѣ юношескаго ума болѣе правильное теченіе. „Счастливы тотъ“,

¹⁾ П. собр. соч. М. Н. Муравьева, т. III, стр. 124.

²⁾ Соч., т. II, стр. 369.

говорить еще нашъ авторъ, продолжая свое разсужденіе о страсти къ чтенію въ упомянутой выше статьѣ, — „счастливъ тотъ, кто найдетъ наставника опытнаго въ оное опасное время, коего попечительная рука отклонитъ отъ заблужденій разсудка, ибо сердце въ юности есть лучшая порука за разсудокъ“¹⁾. Такимъ именно наставникомъ былъ для Батюшкова пламенный идеалистъ Муравьевъ, со своимъ ученіемъ о врожденномъ нравственномъ чувствѣ, о судѣ своего сердца или совѣсти, который для человѣка долженъ быть превыше всѣхъ возможныхъ наградъ. Разбирая впослѣдствіи сочиненія Муравьева, Батюшковъ съ особеннымъ удовольствіемъ останавливается на его разсужденіяхъ о нравственности. „Часто“, говоритъ онъ, — „облако задумчивости осѣняетъ его душу; часто углубляется онъ въ самого себя и извлекаетъ истины, всегда утѣшительныя, изъ собственнаго своего сердца. Тихая, простая, но веселая философія, неразлучная подруга прекрасной, образованной души, исполненной любви и доброжеланія ко всему человѣчеству, съ неизъяснимой прелестью дышетъ въ сихъ письмахъ. Никакое непріятное воспоминаніе не отравляетъ моего уединенія“ (здѣсь видна вся душа автора). „Чувствую сердце мое способнымъ къ добродѣтели. Оно бьется съ сладостною чувствительностію при единомъ помысленіи о какомъ-нибудь дѣлѣ благотворительности и великодушія. Имѣю благородную надежду, что будучи поставленъ между добродѣтели и несчастія, выберу лучше смерть, нежели злодѣйство. И кто въ свѣтѣ счастливѣе смертнаго, который справедливымъ образомъ можетъ чтить себя?“ „Прекрасныя золотыя слова!“ прибавляетъ Батюшковъ. — „Кто, кто не желалъ бы написать ихъ въ изліяніи сердечномъ?“²⁾.

Таковы были нравственные уроки, которые Муравьевъ за-вѣщалъ Батюшкову въ своихъ бесѣдахъ, и которые благодар-

¹⁾ Соч., т. II, стр. 128.

²⁾ Тамъ же, стр. 78.

ный его питомецъ находилъ въ послѣдствіи въ его сочиненіяхъ. Какъ у Муравьева, эти принципы были плодомъ его образованія, такъ и Батюшковъ, выходя на жизненную борьбу, старался чтеніемъ и размышленіемъ воспитать себя и выработать свои нравственныя убѣжденія. Мы не станемъ утверждать, чтобъ отъ самой юности онъ всегда оставался вѣренъ нравственному ученію Муравьева; но сущность этого ученія была имъ усвоена отъ молодыхъ ногтей и съ годами все глубже вни́дрялась въ его душу: поэтому-то въ послѣдствіи онъ часто — и въ радости, и особенно въ горѣ—обращался мыслію и сердцемъ къ памяти своего благороднаго наставника. Въ прежнее время люди выходили въ жизнь моложе, чѣмъ нынѣ, когда школа, съ многочисленными предметами ученія, вынуждена долго задерживать молодежь въ своихъ стѣнахъ,—но выходили не съ ограниченностью дѣтскаго кругозора, а съ извѣстною зрѣлостью понятій, потому что тогда было больше нравственной связи между поколѣніями, и выработанное старшимъ довѣрчивѣе усваивалось младшимъ. Поэтому не слѣдуетъ удивляться, что и Батюшковъ, потерявшій своего ментора всего на двадцатомъ году жизни, успѣлъ много вывести изъ его нравственной школы.

II.

Начало службы и первые литературныя знакомства.—Свѣтская жизнь въ Петербургѣ; П. М. Нилова и А. П. Квашина-Самарина.—Литературныя партіи въ Петербургѣ: противники Карамзина и его почитатели; Вольное общество любителей словесности, наукъ и художествъ.—Дружба Батюшкова съ Н. П. Гнѣдичемъ.—

А. Н. Оленинъ и литературный кругъ, собиравшійся въ его домѣ.

М. Н. Муравьевъ далъ направленіе умственному развитію и нравственному характеру своего горячо любимаго племянника; онъ же оказалъ ему покровительство и въ чисто житейскихъ обстоятельствахъ.

Не смотря на то, что въ первые годы текущаго столѣтія жила въ Петербургѣ старшая сестра Константина Николаевича, бывшая въ замужествѣ за Абрамомъ Ильичемъ Гревенсомъ, и что къ ней пріѣзжали гостить двѣ другія сестры, незамужнія, Александра и Варвара,—юноша жилъ не съ ними, а въ домѣ М. Н. Муравьева, гдѣ его окружало скромное довольство и нѣжная заботливость счастливой родственной семьи: не только дядя, но и его супруга, Екатерина Ѳедоровна (рожденная Колокольцова), женщина умная и энергическая, боготворившая своего мужа и своихъ, въ то время еще малолѣтнихъ, дѣтей, любила Константина Николаевича, какъ роднаго сына. Лѣто 1802 года Батюшковъ провелъ съ Муравьевыми на дачѣ на Петергофской дорогѣ ¹⁾, а въ концѣ того же года онъ былъ опредѣленъ М. Н. Муравьевымъ на службу во вновь образованное министерство народнаго просвѣщенія: здѣсь Батюшковъ состоялъ сперва въ числѣ „дворянъ, положенныхъ при департаментѣ“, а потомъ перешелъ въ канцелярію Муравьева письмоводителемъ по Московскому университету ²⁾. Онъ, безъ сомнѣнія, не былъ обременяемъ обиліемъ канцелярскихъ заня-

¹⁾ Соч., т. III, стр. 68.

²⁾ Формулярный списокъ К. Н. Батюшкова изъ архива Имп. Публ. Библіотеки.

тій; но при всемъ томъ, служба эта очень не правилась юношѣ, онъ былъ небреженъ къ ней, и эта небрежность поставила его въ дурныя отношенія къ ближайшему его начальнику, Николаю Назарьевичу Муравьеву, старшему письмоводителю или правителю попечительской канцеляріи. Вотъ какъ рассказывалъ объ этомъ столкновеніи, нѣсколько лѣтъ спустя, самъ Батюшковъ въ одномъ письмѣ къ Гнѣдичу¹⁾: „Ник. Наз. Муравьевъ, человекъ очень честный, и про котораго я вѣрно не скажу ничего худого, ибо онъ этого не стѣдитъ, наконецъ, Н. Н. Муравьевъ, негодую на меня за то, что я не хотѣлъ ничего писать въ канцеляріи (мнѣ было 17 лѣтъ), сказалъ это покойному Михаилу Никитичу, а чтобы подтвердить на дѣлѣ слова свои и доказать, что я лѣннivecъ, принесъ ему мое посланіе къ тебѣ, у котораго были въ заглавіи стихи изъ Парни всѣмъ извѣстные:

Le ciel, qui voulait mon bonheur,
Avait mis au fond de mon coeur
La paresse et l'insouciance...

„Что сдѣлалъ Михаилъ Никитичъ? Засмѣялся и оставилъ стихи у себя“... Очевидно, снисходительный дядя сквозь пальцы смотрѣлъ на служебную неисправность своего племянника, и послѣдній справедливо могъ считать себя его „баловнемъ“²⁾. Къ тому же Михаилъ Никитичъ зналъ, что юноша не все же предавался праздности: лѣнливый къ канцелярской работѣ, онъ трудился по своему—занимался довершеніемъ своего образованія и сталъ обнаруживать литературныя наклонности.

Между сослуживцами Батюшкова по департаменту народного просвѣщенія было нѣсколько молодыхъ людей, которые испытывали свои силы на литературномъ поприщѣ: И. П. Пнинъ, Н. А. Радищевъ, Д. И. Языковъ и съ 1803 года—Н. И. Гнѣдичъ; директоръ канцеляріи министра (графа П. В.

¹⁾ Соч., т. III, 64—65.

²⁾ Тамъ же, стр. 67.

Завадовскаго) также былъ писатель и журналистъ—И. И. Мартыновъ, пріобрѣвшій въ послѣдствіи извѣстность своимъ переводомъ греческихъ классиковъ. Неудивительно поэтому, что Батюшковъ, вращаясь въ такой средѣ и, сверхъ того, поощряемый дядей, сталъ писать стихи: это само собою вытекало изъ условій полученнаго имъ, по преимуществу литературнаго образованія. Но замѣчательно, что уже въ первомъ дошедшемъ до насъ его стихотвореніи, написанномъ въ 1802 году, или ни какъ не позже 1803 („Мечта“), обнаруживаются яркіе признаки таланта: стихъ еще не твердъ и не всегда плавенъ, но не лишенъ красоты, изложеніе богато образами и проникнуто неподдѣльнымъ воодушевленіемъ; въ обращеніи автора къ мечтѣ, украшающей его существованіе, слышится какъ бы впервые сознающее себя вдохновеніе поэта.

Первое стихотвореніе Батюшкова носитъ на себѣ меланхолическій характеръ, но меланхолія эта едва ли порождена впечатлѣніями личной жизни поэта; если въ его элегіи слышно безотчетное томленіе молодой души, то вмѣстѣ съ тѣмъ отзывается и повтореніе чужихъ поэтическихъ мотивовъ. Однимъ изъ первыхъ проявленій того смутнаго настроенія духа, которое составляетъ отличительную черту новой европейской поэзіи, были пѣсни такъ-называемаго Оссіана—смѣлая поддѣлка подъ древнюю кельтическую поэзію, въ которой даровитый Шотландецъ Макферсонъ желалъ изобразить людей первобытныхъ нравовъ, но одаренныхъ нѣжною чувствительностью и гордымъ рыцарскимъ благородствомъ, живущихъ среди суровой сѣверной природы, подъ тяжелымъ господствомъ какого-то невѣдомаго рока, безпощадно губящаго лучшіе порывы души. Такіе образы и картины нравились по своей новості читателямъ того времени; какъ извѣстно, Наполеонъ предпочиталъ Оссіана Гомеру; Ермоловъ перелистывалъ его на канунѣ Бородинскаго сраженія¹⁾. Г-жа

¹⁾ Записки Н. Н. Муравьева въ Русскомъ Архивѣ 1885 г., № 10, стр. 258.

Сталь въ своей извѣстной книгѣ „De la littérature“ сказала, что поэмы Оссіана „потрясають воображеніе, располагая умъ къ самымъ глубокимъ размышленіямъ“. Эта-то нѣсколько манерная, но своеобразная поэзія и оказала вліяніе на вдохновеніе начинающаго автора; но притомъ заимствованныя изъ нея черты онъ стремился сочетать съ образами совсѣмъ другаго міра, также знакомаго ему литературнымъ путемъ, міра классической древности. Такъ двѣ далекія одна отъ другой поэтическія струи — мечтательность и непосредственное наслажденіе жизнью — скрепляются въ первомъ поэтическомъ созданіи Батюшкова, и ихъ неожиданное сочетаніе характеристически опредѣляетъ будущее развитіе его творчества.

Не слѣдуетъ однако думать, чтобы та грустная нота, которая звучитъ въ первой элегіи Батюшкова, была преобладающею во всѣхъ раннихъ его стихотвореніяхъ. Напротивъ того, если судить по другимъ его піесамъ, дошедшимъ до насъ изъ того времени, ему жилось тогда беззаботно и покойно; поэтому можно придавать автобіографическое значеніе и тѣмъ словамъ одной позднѣйшей прозаической его статьи, гдѣ онъ вообще говоритъ о юности, какъ о такой порѣ жизни, когда „человѣкъ, по счастливому выраженію Кантемира, еще новый житель міра сего, съ любопытствомъ обращаетъ взоры на природу, на общество и требуетъ однихъ сильныхъ ощущеній; онъ съ жадностью пьетъ въ источникѣ, и ничто не можетъ утолить его жажды: нѣтъ границъ наслажденіямъ, нѣтъ мѣры требованіямъ души новой, исполненной силы и не ослабленной опытностью, ни трудами жизни“ ¹⁾. Такое именно упоеніе радостями бытія звучитъ въ слѣдующихъ стихахъ перваго посланія Батюшкова къ Гнѣдичу (1805 г.), гдѣ восемнадцатилѣтній поэтъ описываетъ отсутствовавшему въ ту пору другу, какъ онъ проводитъ время:

¹⁾ Соч., т. II, стр. 127.

. . . твой на сѣверѣ пріятель,
Веселій и любви своей лѣтописатель,
Безпечность полюбя, забылъ и Геликонъ.
Терпѣнье и труды вѣдь любить Аполлонъ,
А другъ твой славой не прельщался,
За бабочкой смѣясь гонялся,
Красавицамъ стихи любовные шепталъ
И, глядя на людей, на пестрыхъ куколъ, мечталъ:
„Безъ скуки, безъ заботъ не лучше ль жить съ друзьями,
„Смѣяться съ ними и шутить,
„Чѣмъ исполинскими шагами
„За славой побѣжать и въ яму поскользится?“¹⁾

Другое стихотвореніе того же времени, „Совѣтъ друзьямъ“, развиваетъ ту же мысль о мирномъ наслажденіи жизнью, среди веселій и забавъ, мѣшая мудрость съ шутками.

Конечно, и въ этихъ юношески-эпикурейскихъ воззрѣніяхъ нашего поэта нельзя отрицать нѣкоторой доли литературнаго вліянія. Онъ еще не въ состояніи былъ возвыситься до глубокой мысли Андрея Шенье:

Sur des pensers nouveaux faisons des vers antiques,

и стремясь выработать классическую форму, усваивалъ себѣ и содержаніе своихъ образцовъ: въ его стихахъ находятъ себѣ отраженіе и поэтический эпикуреизмъ Горация, и то легкое воззрѣніе на жизнь, какое встрѣчается у нѣкоторыхъ французскихъ лириковъ прошлаго вѣка. Но очевидно, не въ противорѣчій съ нимъ было и собственное душевное настроеніе нашего поэта: житейскія заботы еще не тревожили его молодого сердца, и онъ дѣйствительно всею душой предавался радостямъ жизни.

Но воспитанникъ человѣка истинно просвѣщеннаго и глубоко гуманнаго, человѣка, который считалъ своимъ долгомъ поощрять, взлелѣвать всякое замѣченное имъ дарованіе, не могъ удовлетворяться тѣмъ пустымъ образомъ жизни, какой ве-

¹⁾ Соч. т. I, стр. 24—25.

ло большею частью тогдашнее свѣтское общество. Въ одномъ изъ своихъ стихотвореній того времени (въ „Посланіи къ Хлоѣ“) Батюшковъ довольно удачно набросалъ нѣкоторыя черты этого быта и отнесся сатирически къ его безсодержательности и нѣкоторой грубости. Немного позже, въ одномъ письмѣ къ Гнѣдичу онъ говоритъ, что „свѣтъ кинкетовъ никогда не прельщалъ его“ ¹⁾. И дѣйствительно, онъ неохотно посѣщалъ большія собранія, не любилъ танцевъ, не увлекался карточною игрою, не имѣлъ пристрастія къ охотѣ и тому подобнымъ удовольствіямъ. За то въ домѣ дяди, который былъ въ дружеской связи со многими лучшими людьми своего времени, въ гостиной котораго охотно собирались Г. Р. Державинъ, Н. А. Львовъ ²⁾, В. В. Капнистъ, А. Н. Оленинъ, графъ А. С. Строгановъ, И. М. Муравьевъ-Апостолъ, нашъ юноша находилъ высокій уровень умственныхъ интересовъ. Кромѣ того, онъ посѣщалъ еще нѣсколько домовъ, гдѣ встрѣчалъ общество болѣе молодое, среди котораго не только умъ его находилъ себѣ пищу, но и сердце могло искать себѣ сочувствія. Особенно нравилось ему бывать въ семействѣ Ниловыхъ и у А. П. Квашниной-Самариной.

Петръ Андреевичъ Ниловъ былъ тамбовскій помѣщикъ, сынъ стараго пріятеля Державину, Андрея Матвѣевича Нилова. Онъ получилъ образованіе подъ руководствомъ своей матери, умной и просвѣщенной женщины ³⁾, и былъ любезный человѣкъ и

¹⁾ Соч., т. III, стр. 76.

²⁾ Н. А. Львовъ, большой пріятель М. Н. Муравьева, умеръ въ 1803 году. Съ сыномъ его, Леонидомъ Николаевичемъ, Батюшковъ находился въ пріятельскихъ отношеніяхъ съ ранней молодости.

³⁾ Елизавета Корнильева Нилова, рожденная Бороздина, извѣстна своими переводами; нѣсколько свѣдѣній о ней находится въ примѣчаніяхъ Я. К. Грота къ академическому изданію сочиненій Державина, а также въ письмахъ кн. П. Д. Цицѣанова къ В. Н. Зинovieву (Р. Архивъ 1872 г., ст. 2109). Отецъ Е. К. Ниловой, К. М. Бороздинъ, былъ отличный артиллерійскій генералъ, участникъ Семилѣтней войны, замѣченный по своимъ способностямъ еще Петромъ Великимъ

гостепріимный хозяинъ; въ 1799 году онъ женился на одной изъ родственницъ Державина, Прасковѣ Михайловнѣ Ниловой. Она доводилась двоюродною сестрой второй женѣ Гавріила Романовича и до замужества своего жила въ его домѣ; въ то время старшій поэтъ посвятилъ ей стихотвореніе, начинающееся слѣдующими строками:

Бѣлокурая Параша,
Сребророзова лицомъ,
Коей мало въ свѣтѣ краше
Взоромъ, сердцемъ и умомъ.

Дѣйствительно, Прасковья Михайловна была прекрасна и наружною, и своими душевными качествами: при необыкновенной добротѣ, при открытомъ, благородномъ характерѣ, она обладала большимъ умомъ и разнообразными талантами; она писала стихи, прекрасно пѣла и играла на арфѣ; разговоръ ея былъ живъ, занимателенъ и остроуменъ¹⁾. Въ первые годы нынѣшняго столѣтія П. А. Ниловъ служилъ въ Петербургѣ. Какъ богатые свѣтскіе люди, Ниловы вели открытый образъ жизни; по словамъ Батюшкова, въ ихъ домѣ „время летѣло быстро и весело“²⁾. Кажется, что юноша былъ даже неравнодушенъ къ прекрасной хозяйкѣ, „рѣдкой женщинѣ“, какъ онъ самъ ее называлъ впоследствии; но это было лишь робкое, тайное поклоненіе, которое онъ самъ, нѣсколько лѣтъ спустя охарактеризовалъ слѣдующими стихами:

(Энциклопедическій лексиконъ Плюшара, т. VI). Племянникъ Е. К. Ниловой, сынъ ея брата, Константинъ Матвѣевичъ Бороздинъ, извѣстный своимъ археологическимъ путешествіемъ по Россіи въ началѣ нынѣшняго столѣтія, принадлежалъ къ числу раннихъ и близкихъ знакомыхъ Батюшкову.

¹⁾ О П. А. и П. М. Ниловыхъ см. Сочиненія Державина, 1-е акад. изданіе т. II, стр. 184—186; Дневникъ чиновника, С. П. Жихарева—Отеч. Зап. 1855 г., т. CI, стр. 390; Де-Пуле. Отецъ и сынъ—Р. Вѣстн. 1875 г., № 7, стр. 80—81; Грибоѣдовская Москва. Письма М. А. Волковой—Вѣстн. Евр. 1874 г., № 8, стр. 616.

²⁾ Соч., т. III, стр. 37.

J'aimai Thémire,
Comme on respire,
Pour éxister ¹⁾).

Если не ошибаемся, о томъ же сердечномъ увлеченіи вспоминалъ онъ и тогда, когда, въ одномъ позднѣйшемъ письмѣ къ Гнѣдичу, говорилъ, что въ былое время онъ „любилъ увѣнчанный ландышами, въ розовой тюникѣ, съ посохомъ, перевязаннымъ зелеными лентами — цвѣтомъ надежды, съ невинностью въ сердцѣ, съ добродушіемъ въ пламенныхъ очахъ, припѣвая: „кто могъ любить тебя такъ страстно“, или: „я не воленъ, но доволенъ“, или: „нигдѣ мѣста не найду“ ²⁾). Очевидно, это было очень молодое чувство, даже не требовавшее взаимности, которой и не могло ожидать. Впрочемъ, и впоследствии, когда Ниловы оставили Петербургъ, Батюшковъ очень интересовался ими, писалъ къ нимъ и говорилъ, что Прасковью Михайловну „опасно видѣть“ ³⁾).

Къ одному кругу съ Ниловыми принадлежала и Анна Петровна Квашнина-Самарина. Дочь сенатора Петра Ѳедоровича, одна изъ послѣднихъ фрейлинъ, пожалованныхъ въ это званіе императрицей Екатериной ⁴⁾, она не была за мужемъ. Не знаемъ отличалась ли она красотой, но ея живой умъ, любезность и тонкій вкусъ собирали около нея многочисленныхъ поклонниковъ: В. В. Капнистъ, Н. А. Львовъ любили ея бесѣду; старикъ Державинъ ухаживалъ за нею; онъ самъ говоритъ объ этомъ въ одномъ письмѣ къ Капнисту, „но“, прибавляетъ, — „она такъ постоянна, какъ каменная гора; не двинется и не шелохнется отъ волнующейся моей страсти, хотя батюшка и матушка и полой отдають“ ⁵⁾). Особенную оригинальность Аннѣ

¹⁾ Соч., т. III, стр. 85.

²⁾ Тамъ же, стр. 35.

³⁾ Тамъ же, стр. 70.

⁴⁾ П. Ѳ. Карабановъ. Статсъ-дамы и фрейлины Высочайшаго двора — Р. Старина 1871 г., т. IV, стр. 403.

⁵⁾ Сочиненія Державина, 1-е акад. изданіе, т. IV, письмо № 1026.

Петровнѣ придавало то, что съ свѣтскою любезностью, съ литературнымъ образованіемъ она соединяла большой житейскій тактъ и самостоятельность характера. „Анна Петровна“, писалъ однажды Державинъ къ Капнисту (1802 г.),—„великая стала ябедница: всѣ долги отцовскіе и материнскіе привела въ порядокъ, частію заплатила, а частію разсрочила и, будучи по довѣренности родителей полновластная хозяйка, поѣхала теперь въ Москву и въ свои деревни, въ первой—съ остальными кредиторами раздѣлаться, а во вторыхъ сдѣлать экономію. Вотъ каково нынѣ въ свѣтѣ: сорока побѣлѣла, и женщины стали дѣльцы“¹⁾. Это характерное замѣчаніе свидѣтельствуетъ, что стариковъ поражала практическая смѣтливость въ умѣ Анны Петровны. Но Батюшкову, который былъ значительно моложе Самаринѣ, эта черта ея характера представлялась лишь новымъ ея достоинствомъ: онъ одинаково цѣнилъ и ея литературное чутье, и ея житейскій тактъ; даже въ болѣе поздній періодъ своей литературной дѣятельности онъ сообщалъ ей свои произведенія, дорожилъ ея сужденіями о нихъ и въ то же время искалъ ея совѣта и содѣйствія для устройства своей будущности. „Я душой свѣтлѣю, когда ее вспоминаю“, говорилъ онъ, будучи вдали отъ нея²⁾. Анна Петровна казалась ему лучшею представительницей той свѣтской образованности, той *urbanité*, которой онъ придавалъ большое значеніе для развитія изящной словесности.

И дѣйствительно, такія женщины, какъ П. М. Нилова и А. П. Квашнина-Самарина, были, безъ сомнѣнія, несовсѣмъ обыкновенными явленіями въ тогдашнемъ обществѣ. По своему умственному складу онѣ служатъ представительницами того новаго общественнаго настроенія, которое стало обнаруживаться у насъ въ исходѣ прошлаго вѣка съ общими успѣхами просвѣщенія и,

¹⁾ Сочиненія Державина, 1-е акад. изданіе, т. IV, письмо № 1034.

²⁾ Соч., т. III, стр. 66.

главнымъ образомъ, подъ вліяніемъ такъ-называемаго сентиментализма. Въ теченіе всего XVIII вѣка въ нравахъ даже высшихъ слоевъ патріархальная суровость уживалась съ грубою распущенностью, пока сентиментальное направленіе не противопоставило естественныхъ влеченій сердца холодной разсудочности житейскихъ отношеній и не обуздало до нѣкоторой степени распущенности нравовъ идеализаціей чувства. Отношенія къ женщинамъ стали пріобрѣтать уже иной характеръ—болѣе утонченный и въ то же время болѣе свободный, романтический, какъ его стали называть тогда же, потому что главнымъ проводникомъ сентиментализма служила обильно распространенная и жадно читаемая романтическая литература. При такихъ условіяхъ начала складываться салонная жизнь, въ которой могло быть отведено мѣсто изящнымъ удовольствіямъ и живой бесѣдѣ о предметахъ отвлеченнаго интереса. Все это, разумѣется, совершалось подъ иностраннымъ вліяніемъ, и самый сентиментализмъ почерпался изъ французскихъ книгъ; въ свѣтскомъ обществѣ больше говорили по французски, чѣмъ по русски, національное чувство было подавлено, и сознаніе своей народной самобытности улетучивалось; но несомнѣнно, общественные нравы смягчались, и образованіе ума и сердца дѣлало успѣхи.

Современникъ этихъ измѣненій въ нравственной жизни общества, Батюшковъ, можно сказать, выросъ и развился уже въ атмосферѣ болѣе утонченныхъ умственныхъ потребностей и интересовъ; они-то и дали его произведеніямъ тотъ характеръ, который отличаетъ ихъ отъ литературной дѣятельности прежнихъ поколѣній. „Я думаю“, писалъ онъ однажды Гнѣдичу (въ 1809 году),— „что вечеръ, проведенный у Самариной или съ умными людьми, наставитъ болѣе въ искусствѣ писать, чѣмъ чтеніе нашихъ варваровъ... Стихи твои будутъ читать женщины,... а съ ними худо говорить непонятнымъ языкомъ“ ¹⁾.

¹⁾ Соч., т. III, стр. 47.

Даже впоследствии, когда его понятія о поэтическомъ творчествѣ стали и шире, и глубже, онъ возвращался къ той же мысли и высказалъ ее, только въ болѣе обобщенной формѣ, въ своей рѣчи „о легкой поэзіи“ (въ 1816 году). „Сей родъ словесности“, говоритъ онъ здѣсь, — „безпрестанно напоминаетъ объ обществѣ; онъ образованъ изъ его явленій, странностей, предразсудковъ и долженъ быть вѣрнымъ его зеркаломъ. Большая часть писателей (русскихъ второй половины XVIII столѣтія) провели жизнь свою посреди общества Екатеринина вѣка, столь благопріятнаго наукамъ и словесности; тамъ заимствовали они эту людскость и вѣжливость, это благородство, которыхъ отпечатокъ мы видимъ въ ихъ твореніяхъ; въ лучшемъ обществѣ научились они угадывать тайную игру страстей, наблюдать нравы, сохранять всѣ условія и отношенія свѣтскія и говорить ясно, легко и пріятно“¹⁾. Разсужденіе это, конечно, далеко отъ истины въ историческомъ смыслѣ; но если мы примѣнимъ къ самому Батюшкову то, что онъ приписываетъ своимъ предшественникамъ, то замѣчанія его получаютъ цѣну: самъ онъ хотя и не чуждъ былъ подражательности въ своихъ первыхъ опытахъ, но никогда не писалъ подъ фѣрулой школы, заботясь лишь о соблюденіи правилъ, узаконенныхъ пѣтикой. Въ своихъ стараніяхъ о совершенствѣ формы онъ съ первыхъ опытовъ творчества дѣйствительно обнаружилъ стремленіе выражаться просто, ясно и легко, говорить языкомъ живыхъ людей, а не книги. Мы уже замѣтили выше, что занятія римскими классиками и близкое знакомство съ французскою словесностью должны были утвердить его въ этомъ стремленіи; въ Гораціѣ, въ особенности въ его сатирахъ и посланіяхъ, нашъ поэтъ могъ найти лучшее выраженіе римской *urbanitas*, то-есть, того изящества и чувства мѣры въ литературной рѣчи, которыя — какъ думалъ Батюшковъ — пріобрѣтаются только среди образованнаго свѣтскаго

¹⁾ Соч., т. II, стр. 243.

общества. Въ томъ же смыслѣ послужилъ образцомъ для нашего поэта и Вольтеръ своими мелкими лирическими піесами. Но кромѣ того, Батюшковъ отдѣлился отъ преданій школьной піитики еще въ другомъ отношеніи: съ самаго начала своей поэтической дѣятельности онъ выражалъ въ своихъ произведеніяхъ лишь то, что думалъ и чувствовалъ, что дѣйствительно переживалъ своимъ молодымъ сердцемъ, вращаясь въ извѣстной общественной средѣ „Живи какъ пишешь, и пиши какъ живешь: иначе всѣ отголоски лиры твоей будутъ фальшивы“. Это убѣжденіе Батюшковъ высказываетъ въ одной изъ позднѣйшихъ своихъ статей ¹⁾, но очевидно, мысль эта рано созрѣла въ его умѣ: послѣ немногихъ еще несамостоятельныхъ попытокъ въ разныхъ родахъ (торжественная ода, сатира), онъ скоро заключилъ свою дѣятельность въ области интимной лирики, къ которой одной чувствовалъ призваніе, и въ этой сферѣ успѣлъ развить всю самостоятельность своего дарованія.

Таковы были первые шаги, которыми обозначилось внутреннее развитіе поэтическаго таланта Батюшкова. Молодой поэтъ не рѣшался печатать свои произведенія ²⁾, вообще выступалъ на литературное поприще осторожно, шелъ иногда ощупью, но съ вѣрнымъ предчувствіемъ чего-то новаго, чуждаго прежней литературной производительности. А между тѣмъ, при тогдашнихъ условіяхъ литературной жизни, самобытное развитіе таланта встрѣчало большія препятствія. Оригинальность въ творчествѣ цѣнилась всего менѣе, но за то требовалось строгое соблюденіе правилъ, установленныхъ господствовавшею теоріей, и искусное подражаніе тѣмъ писателямъ, произведенія которыхъ были провозглашены образцовыми. „Tous les vers sont

¹⁾ Соч., т. II, стр. 120.

²⁾ Объ этомъ свидѣтельствуетъ С. П. Жихаревъ со словъ Гнѣдича (Дневникъ чиновника—Отч. Записки 1855 г., т. CII, стр. 376). Нѣсколько самыхъ раннихъ произведеній Батюшкова (1803—1805 гг.) впервые печатаются въ настоящемъ изданіи по рукописи, сохранившейся въ бумагахъ Гнѣдича.

faits", говорил старик Фонтанъ при появленіи перваго сборника стихотвореній Ламартина. Также, въ сущности, разсуждали и наши аристархи начала нынѣшняго столѣтія. И въ особенности эта косность литературныхъ сужденій господствовала въ петербургскихъ литературныхъ кружкахъ.

Въ то время, какъ въ Москвѣ Карамзинъ, давая свободу и живость своей литературной рѣчи, вмѣстѣ съ тѣмъ увлекалъ читателей гуманною чувствительностью своихъ разсказовъ, какъ Дмитріевъ, остроумно осмѣявъ тяжелую напыщенность прежняго стихотворства, старался сообщить легкость и плавность русскому стиху,—въ Петербургѣ продолжали усердно сочинять по старымъ образцамъ высокопарныя оды, плаксивыя элегіи и холодныя сатиры. При отсутствіи здѣсь свѣжихъ дарованій, при полномъ почти незнакомствѣ съ новыми явленіями иностранной словесности, интересы литературные, хотя и замѣтно возбужденные въ извѣстной части общества, сосредоточивались преимущественно на вопросахъ языка, слога и литературной формы, да и въ этой области свободное творчество поэта всегда могло столкнуться съ требованіями педантической рутины.

Въ одномъ изъ первыхъ своихъ стихотвореній, въ посланіи „Къ стихамъ моимъ“, Батюшковъ высказалъ свой взглядъ на тогдашнюю словесность: онъ смѣется надъ бездарными стихотворцами и указываетъ на общее фальшивое настроеніе литературы, на ея неискренній, напыщенный тонъ; сознаніе этихъ недостатковъ находится въ прямой связи съ отмѣченнымъ уже нами стремленіемъ молодаго поэта къ простотѣ и естественности; самое же стихотвореніе вводитъ насъ отчасти въ тотъ кругъ писателей, съ которыми былъ въ сношеніяхъ Батюшковъ при началѣ своей литературной дѣятельности помимо дома М. Н. Муравьева.

Появленіе книги Шишкова о старомъ и новомъ слогѣ (1803 г.) дало поводъ къ образованію, въ средѣ писателей, двухъ пар-

тій, которая на долгое время раздѣлили нашу литературу. Предпринятое Карамзинымъ сближеніе книжной рѣчи съ разговорною казалось старшему поколѣнію писателей ересью, которая грозитъ самыми опасными послѣдствіями. Знакомство Русскаго Путешественника съ иностранною литературой считалось вольнодумствомъ и развращеніемъ умовъ. Шишковъ въ своей книгѣ выступилъ обвинителемъ Карамзина, но поставилъ вопросъ неловко и повелъ нападеніе неискусно. Въ вопросѣ собственно о слогѣ онъ не уразумѣлъ главнаго — что измѣненіе литературной рѣчи находится въ прямой зависимости отъ успѣховъ просвѣщенія; внутреннее же содержаніе карамзинскаго направленія онъ и не пытался уяснить себѣ: въ то самое время, какъ Карамзинъ горячо и талантливо развивалъ мысль о русской самобытности, Шишковъ приписывалъ антинаціональный характеръ его стремленіямъ и идеямъ. Около Шишкова сгруппировались довольно многочисленные единомышленники, которые вторили его сужденіямъ и, примѣняясь къ его ученію, уснащали славянизмами свои писанія. Но все это были люди безъ дарованій и большею частью безъ основательнаго образованія, не давшіе литературѣ ни одного замѣчательнаго произведенія. Такимъ образомъ напыщенное, безвкусное и въ сущности безсодержательное направленіе этого кружка опредѣлилось съ первыхъ же годовъ XIX вѣка, гораздо прежде, чѣмъ онъ обратился въ настоящую Бесѣду любителей русскаго слова (въ 1811 году).

Сама собою должна была явиться оппозиція Шишкову и его сторонникамъ. Его направленіе было слишкомъ косное, слишкомъ мало давало пищи умамъ, тогда какъ ласкающій душу сентиментализмъ повѣстей Карамзина, занимательность его путевыхъ писемъ, а главное — его живая и свободная рѣчь имѣли подкупающее, чарующее дѣйствіе. Молодые писатели и въ Петербургѣ невольно становились учениками Карамзина если не по образу мыслей, то въ слогѣ. Еще въ 1798 году,

въ С.-Петербургскомъ Журналѣ, который издавалъ И. П. Пнинъ, были напечатаны слѣдующіе хвалебные стихи „къ сочиненіямъ г. Карамзина“:

Гремѣлъ великій Ломоносовъ
И восхиталъ сердца побѣдоносныхъ Россовъ
Гармонією струнъ своихъ.
„Въ твореніяхъ теперь у нихъ
„Пусть нѣжность улыбнется,
„Въ слезахъ чувствительныхъ прольется“,
Сказали граціи—и полилась она
Съ пера Карамзина ¹⁾.

Въ 1801 году нѣсколько молодыхъ петербургскихъ литераторовъ положили основаніе Вольному Обществу любителей словесности, наукъ и художествъ. Въ его составѣ и въ его изданіяхъ встрѣчаемъ имена И. П. Пнина, А. Х. Востокова, И. М. Борна, В. В. Попугаева, Д. И. Языкова, Н. Θ. Остолопова, Н. А. Радищева, Н. П. Брусилова, А. П. Беницкаго. Особенно выдающихся талантовъ въ этомъ кружкѣ не было, но было неподдѣльное молодое увлеченіе литературными интересами. Здѣсь-то и проявилось въ Петербургѣ впервые живое сочувствіе Карамзину. Это видно между прочимъ по первому году Сѣвернаго Вѣстника, одного изъ лучшихъ тогдашнихъ журналовъ, который издавался въ 1804 и 1805 годахъ И. И. Мартыновымъ, и въ которомъ члены Вольнаго Общества помѣщали свои произведенія. Въ первой же книжкѣ Сѣвернаго Вѣстника на 1804 годъ напечатанъ былъ неблагопріятный разборъ книги Шишкова о старомъ и новомъ слоgѣ, написанный Д. И. Языковымъ, и въ слѣдовавшихъ затѣмъ нумерахъ журнала не разъ высказывались похвалы Карамзину ²⁾. Служба въ одномъ вѣдомствѣ съ нѣсколькими изъ членовъ Воль-

¹⁾ С.-Петербург. Журналъ 1798 г., ч. II, стр. 122; подпись: — въ.

²⁾ Напримѣръ, Сѣв. Вѣстникъ 1804 г., ч. I, стр. 63, 114, 231. и т. д.

наго Общества, и еще болѣе—общность литературныхъ интересовъ, сблизили Батюшкова съ этимъ литературнымъ кружкомъ, и хотя въ 1803—1805 годахъ мы не видимъ его имени въ спискѣ членовъ Вольнаго Общества ¹⁾, но можемъ съ увѣренностью сказать, что въ то время Константинъ Николаевичъ былъ въ частыхъ сношеніяхъ съ этими молодыми представителями литературы въ Петербургѣ. Это доказывается и первымъ появленіемъ его стихотвореній въ печати на страницахъ Сѣвернаго Вѣстника, и стихами на смерть Пнина, который былъ предсѣдателемъ Вольнаго Общества въ 1805 году, и наконецъ, совпаденіемъ взгляда Батюшкова на Шишкова и его сторонниковъ съ мыслями, изложенными въ упомянутой критикѣ Языкова. Бездарные Плаксивинъ и Безриѣминъ, осмѣянные Батюшковымъ въ посланіи „Къ стихамъ моимъ“, это—два стихотворца, пользовавшіеся особеннымъ покровительствомъ Шишкова — Е. И. Станевичъ и князь С. А. Ширинскій-Шихматовъ. А слѣдующіе два стиха того же посланія:

Иному въ умъ прійдетъ, что вкусъ возстановляетъ:
Мы вѣримъ всѣ ему—кругами утверждаетъ...

заключаютъ въ себѣ насмѣшливый намекъ на самого Шишкова, какъ то видно изъ примѣчанія къ послѣднему стиху, сохранившагося въ рукописномъ текстѣ сатиры: „Всѣмъ извѣстно, что остроумный авторъ Круговъ бранилъ г. Карамзина и пр. и совѣтовалъ писать не по русски“. Авторомъ „круговъ“ Шишковъ названъ потому, что въ книгѣ о старомъ и новомъ слогѣ онъ сравниваетъ развитіе значеній извѣстнаго слова съ кругами, расходящимися на поверхности воды, когда въ нее брошенъ

¹⁾ Списки эти печатались въ адресъ-календаряхъ, начиная съ 1804 г., но едва ли въ полномъ видѣ: имени Батюшкова нѣтъ ни въ одномъ изъ списковъ, а между тѣмъ достоверно извѣстно, что онъ былъ членомъ Вольнаго Общества, напрямѣръ, въ 1812 г. (см. Русск. Старину 1884 г., т. 43, стр. 110, 111 ср. Соч., т. III, стр. 184—185).

камень¹⁾. По всей вѣроятности, сравненіе это немало забавляло противниковъ Шишкова; надъ его „замысловатостью“ не упустилъ потѣшиться и Языковъ въ своемъ разборѣ знаменитаго разсужденія²⁾.

Какъ ни ограничена, ни скромна была дѣятельность Вольнаго Общества, въ ней замѣчалось два оттѣнка или, лучше сказать, двѣ струи: одна—собственно литературная, другая—соціально-политическая. Собственно литературное направленіе Общества выражалось сочиненіемъ и разборомъ разныхъ литературныхъ произведеній, большею частью стихотворныхъ, въ господствовавшемъ тогда чувствительномъ вкусѣ; интересы же соціально-политическіе проявлялись въ томъ, что члены читали въ своихъ собраніяхъ переводы изъ Беккаріи, Филанжіери, Мабли, Рейналя, Вольнея и другихъ свободомыслящихъ историковъ и публицистовъ XVIII вѣка, а иногда и свои собственныя статьи на такія темы: о вліяніи просвѣщенія на законы и правленія, о феодальномъ правѣ, о раздѣленіи властей человѣческаго тѣла и т. п. Главными ревнителями этого направленія въ Обществѣ были члены И. М. Борнъ, В. В. Попугаевъ и И. П. Пнинъ. Отъ теоретическихъ разсужденій предполагалось перейти и къ практикѣ, именно—съ учено-литературными занятіями соединить дѣятельность филантропическую; но обстоятельства помѣшали осуществить это намѣреніе. Одною изъ характерныхъ чертъ господствовавшаго въ Обществѣ настроенія было глубокое уваженіе членовъ къ извѣстному автору „Путешествія изъ Петер-

¹⁾ Разсужденіе о старомъ и новомъ слогѣ. С.-Пб. 1803, стр. 30.

²⁾ Сѣв. Вѣстникъ 1804 г., I, стр. 37 и 38. Шишковъ серьезно отвѣчалъ на шутку Языкова, при чемъ объяснялъ, что сравненіе принадлежитъ не ему, а Эйлеру, который, въ своихъ „Письмахъ о физикѣ къ одной нѣмецкой принцессѣ“ объяснялъ логическія понятія кругами (см. Прибавленіе къ сочиненію, называемому Разсужденіе о старомъ и новомъ слогѣ русскаго языка. С.-Пб. 1804, стр. 74). Шишковъ долго не могъ простить Языкову его полемику (см. второй Словарь достоп. людей Русской земли, Д. Баятыша-Каменскаго, т. III, стр. 587).

бурга въ Москву“, Ал. Н. Радищеву, сосланному въ Сибирь при Екатеринѣ, возвращенному при Павлѣ, но окончательно прощенному только при Александрѣ. Строки, исполненныя горячаго сочувствія къ Радищеву и написанныя Борномъ и Пиннымъ, помѣщены въ „Свиткѣ музъ“, сборникѣ, изданномъ отъ Общества въ 1803 году ¹⁾. Сѣверный Вѣстникъ, который по своему направленію и содержанію былъ очень близокъ къ настроенію и дѣятельности Вольнаго Общества, воспроизвелъ даже на своихъ страницахъ, въ 1805 году, одну изъ лучшихъ главъ „Путешествія“ („Клинъ“), давъ ей заглавіе: „Отрывокъ изъ бумагъ одного Россіянина“ и присовокупивъ къ ней слѣдующее примѣчаніе: „Читатели найдутъ въ семъ сочиненіи не чистоту русскаго языка, но чувствительныя мѣста. Издатели смѣютъ надѣяться, что тѣни усопшаго автора первое будетъ прощено для послѣднаго“ ²⁾.

Изъ этихъ словъ, между прочимъ, видно, что младшіе современники-почитатели Радищева, восхищаясь его пламенными гражданскими чувствами, благороднымъ образомъ мыслей, признавали его однако плохимъ стилистомъ. И тѣмъ не менѣе, авторитетъ его былъ такъ силенъ для нихъ, даже въ собственно литературныхъ вопросахъ, что вліянію его примѣра (поэма „Бова“) и еще больше—его теоретическихъ разсужденій, не менѣе, чѣмъ примѣру Карамзина („Илья Муромецъ“, 1795 г.) и Н. Львова („Добрыня“) ³⁾, слѣдуетъ приписать появленіе у насъ, въ первые годы XIX столѣтія, многихъ произведеній, написанныхъ дактилическимъ размѣромъ или такъ-называемымъ „русскимъ складомъ“. Введеніе новыхъ размѣровъ составляетъ обыкновенно одну изъ примѣтъ для эпохъ литературнаго обновленія. Въ русскомъ стихотворствѣ, послѣ Тредіаковскаго, Ломоносова и Су-

¹⁾ Книжка 2-я, стр. 136—144.

²⁾ Сѣв. Вѣстникъ 1805 г., ч. V, стр. 61.

³⁾ Первая часть этой поэмы появилась въ печати только въ 1804 г., въ журналѣ Другъ просвѣщенія, ч. III.

марокова, упрочился ямбъ и частію хорей, другіе же размѣры почти никогда не употреблялись. Но какъ только псевдоклассицизмъ сталъ утрачивать свое исключительное господство, какъ въ литературѣ стали обнаруживаться признаки инаго направленія, явились попытки нововведеній и въ стихосложеніи. Радищевъ, еще въ своемъ „Путешествіи“ (въ главѣ „Тверь“) замѣтилъ, что Ломоносовъ, „подавъ хорошіе примѣры новыхъ стиховъ“ ямбическаго размѣра, „надѣлъ на послѣдователей своихъ узду великаго примѣра, и никто доселѣ отшатнуться отъ него не дерзнулъ“. Сумароковъ—говоритъ далѣе Радищевъ—„употреблялъ стихи по примѣру Ломоносова, и нынѣ всѣ вслѣдъ за ними не воображаютъ, чтобъ другіе стихи быть могли какъ ямбы, какъ такіе, какими писали сіи оба знаменитые мужи... Парнассъ окруженъ ямбами, и риѣмы стоятъ вездѣ на караулѣ. Кто бы ни задумалъ писать дактилями, къ тому тотчасъ Тредіаковскаго приставятъ дядькою, и прекраснѣйшее дитя долго казаться будетъ уродомъ, доколѣ не родится Мильтона, Шекспира или Вольтера“. Позже Радищевъ занялся изученіемъ размѣра нашихъ народныхъ пѣсенъ и, какъ мы уже сказали, въ своемъ „Бовѣ“ далъ образчикъ поэмы, написанной „русскимъ складомъ“. Но еще до напечатанія (въ 1806 г.) этихъ позднѣйшихъ его опытовъ, его призывъ къ нововведеніямъ въ стихосложеніи оказалъ свое дѣйствіе. Одинъ изъ членовъ того кружка молодыхъ петербургскихъ литераторовъ, гдѣ особенно почиталась память Радищева, А. Х. Востоковъ, занялся теоріей русскаго стихосложенія и также увлекся „русскимъ складомъ“: такъ написана имъ древняя повѣсть „Пѣвнсладъ и Зора“ (1804 г.)¹⁾. Тотъ

¹⁾ Повѣсть эта напечатана въ Періодическомъ изданіи Вольнаго Общества любителей словесности, наукъ и художествъ 1804 г., безъ имени автора; но принадлежность ея Востокову засвидѣтельствована Сѣв. Вѣстникомъ того же года, ч. II, стр. 120. Востоковъ началъ заниматься теоріей русскаго стихосложенія очень рано, но его изслѣдованіе объ этомъ предметѣ было напечатано только въ 1812 г. въ Санктпетербургскомъ Вѣстникѣ (ч. II),

же размѣръ употребилъ и Гнѣдичъ въ своихъ переводахъ изъ Оссіана (1804 г.). При одномъ изъ нихъ, помѣщенномъ въ Сѣверномъ Вѣстникѣ, находимъ слѣдующее любопытное примѣчаніе переводчика: „Мнѣ и многимъ кажется, что къ пѣснямъ Оссіана никакая гармонія стиховъ такъ не подходитъ, какъ гармонія стиховъ русскихъ“¹⁾. По слѣдамъ своихъ литературныхъ сверстниковъ пошелъ и Батюшковъ: „русскій складъ“ употребленъ имъ въ одномъ изъ стихотвореній, написанныхъ въ періодъ 1804—1805 годовъ, въ посланіи „Къ Филисѣ“, Появленіе этого размѣра въ піесѣ, гдѣ его всего менѣе можно было бы ожидать, въ стихотвореніи, составляющемъ подражаніе Грессе (весьма впрочемъ отдаленное), доказываетъ, что Батюшковъ былъ крайне увлеченъ тогда этимъ нововведеніемъ. Впослѣдствіи однако онъ уже не возвращался къ употребленію „русскаго склада“, не любилъ и вообще бѣлыхъ стиховъ²⁾; но замѣчательно, что до послѣднихъ лѣтъ своей литературной дѣятельности онъ сохранялъ особенный интересъ къ тому писателю, отъ котораго пошелъ починъ этого нововведенія: собираясь въ 1817 году писать очеркъ новой русской литературы, онъ имѣлъ намѣреніе посвятить особый параграфъ

который издавало тогда Вольное Общество. Здѣсь (стр. 55—59), Востоковъ повторяетъ и отчасти развиваетъ мысли Радищева, приведенныя нами въ текстѣ. Разсмотрѣвъ подробно особенности „русскаго размѣра“, онъ замѣчаетъ: „Теперь предстоитъ вопросъ: заслуживаетъ ли русскій размѣръ употребленъ быть въ новѣйшей поэзіи? Утвердительною уже отвѣтомъ на сей вопросъ можно почестъ благосклонный пріемъ разныхъ произведеній новѣйшей литературы, писанныхъ русскими стихами. Сія и дальнѣйшіе опыты всего лучше покажутъ достоинство русскаго размѣра, и къ какому роду стихотвореній можетъ онъ быть пригоденъ“ (стр. 280). Въ 1815 году, во время споровъ о русскомъ гекзаметрѣ по поводу предпринятаго Гнѣдичемъ перевода „Иліады“, С. С. Уваровъ также ссылаясь на приведенныя выше, въ текстѣ, разсужденія Радищева, „о которомъ російскія музы не безъ сожалѣнія вспоминаютъ“ (см. „Отвѣтъ В. В. Капнисту на письмо его объ экзаметрѣ“ въ 17-й книгѣ Чтеній въ Бесѣдѣ любителей русскаго слова, стр. 58—61).

¹⁾ Сѣв. Вѣстникъ 1804 г., ч. I, стр. 65.

²⁾ Сочиненія, т. III, стр. 63.

Радищеву. Косвенно это может служить доказательствомъ, что въ молодости своей Батюшковъ раздѣлялъ со своими литературными сверстниками уваженіе къ этому смѣлому представителю освободительныхъ идей XVIII вѣка въ русской литературѣ.

Для характеристики литературныхъ понятій и нравовъ, господствовавшихъ въ Петербургѣ, необходимо однако замѣтить, что прогрессивное направленіе, которому сочувствовала здѣсь литературная молодежь, съ трудомъ прокладывало себѣ путь въ общество. Тотъ же самый Сѣверный Вѣстникъ, который въ началѣ 1804 года напечаталъ статью противъ Шишкова за Карамзина, уже во второй половинѣ того же года принужденъ былъ помѣстить на своихъ страницахъ насмѣшливые отзывы объ авторѣ „Бѣдной Лизы“¹⁾; въ этомъ, безъ сомнѣнія, должно видѣть уступку тѣмъ враждебнымъ Карамзину мнѣніямъ, которыя высказывались въ Петербургѣ разными сановитыми словесниками. При такихъ обстоятельствахъ, въ средѣ самой петербургской молодежи обнаружилось нѣкоторое раздѣленіе, и въ 1805 году, рядомъ съ Сѣвернымъ Вѣстникомъ, появилось другое періодическое изданіе, также органъ молодыхъ литературныхъ силъ. То былъ Журналъ россійской словесности, основанной Н. П. Брусиловымъ. Батюшковъ, не покидая Сѣвернаго Вѣстника, печаталъ свои произведенія и въ журналѣ Брусилова и посѣщалъ его домъ, гдѣ собирались разные молодые литераторы. Самъ Брусиловъ, писатель мало замѣчательный, былъ прекрасный человекъ—благородный, правдивый, чувствительный и добрый това-

¹⁾ См. Сѣв. Вѣстникъ 1804 г., ч. II, стр. 111. Эта статья Сѣв. Вѣстника подала поводъ къ отвѣту, который появился въ издававшемся въ Ригѣ журналѣ пастора Гейдеке: *Russische Merkur*, 1805, № 2, стр. 49—64. Статья нѣмецкаго журнала защищаетъ не только слогъ Карамзина, но и образъ его мыслей. Въ московскихъ литературныхъ кружкахъ ее приняли съ большимъ сочувствіемъ (С. П. Жихаревъ. Записки современника. I. Дневникъ студента, стр. 289—294).

рищъ ²⁾); наиболѣе же авторитетнымъ лицомъ въ его кружкѣ былъ уже упомянутый нами И. П. Пнинъ, пользовавшійся особеннымъ уваженіемъ друзей за свой просвѣщенный и независимый образъ мыслей. Въ началѣ 1805 года онъ былъ избранъ предсѣдателемъ Вольнаго Общества любителей словесности и дѣйствительно намѣревался придать больше жизненности и пользы трудамъ этого учрежденія, котораго дѣятельность еще недостаточно опредѣлилась. Но вышло иначе: 17-го сентября 1805 года онъ скончался отъ чахотки, на 33-мъ году своей жизни. Преждевременная смерть его вызвала усиленную дѣятельность тогдашнихъ стихотворцевъ. Среди этихъ піесъ, въ которыхъ прославлялось преимущественно гражданское направленіе умершаго писателя, выдѣляется своею простотой и искренностью небольшая элегія Батюшкова: въ ней молодой поэтъ живыми чертами изображаетъ отшедшаго друга, въ которомъ онъ умѣлъ одинаково цѣнить и гражданскую доблесть, и горячность дружескаго чувства, и осѣнявшее его благоволеніе „нѣжныхъ музъ“.

Смерть Пнина въ самомъ дѣлѣ была большою потерей для Вольнаго Общества. Лишившись просвѣщеннаго и энергическаго руководителя, оно вскорѣ стало приходить въ упадокъ или, по крайней мѣрѣ, понизилось въ уровнѣ своихъ интересовъ: болѣе серьезные изъ числа его членовъ, какъ Востоковъ и Языковъ, стали мало по малу обращаться къ единоличнымъ трудамъ ученаго характера, а другіе не могли направить Общество къ полезной дѣятельности уже потому, что сами не обладали ни талантами, ни яснымъ сознаніемъ потребностей времени. И связи Батюшкова съ этою группой писателей, по видимому, слабѣютъ со смертію Пнина: какъ замѣтно изъ позднѣй-

²⁾ Дневникъ чиновника, С. П. Жихарева — Отеч. Записки 1855 г., т. CI, стр. 392; Н. И. Гречъ. Воспоминанія юности—въ альманахѣ Новогодникъ. С.-Пб. 1839, стр. 232.

ших отзывовъ и намековъ въ письмахъ нашего поэта, его не удовлетворяли люди такого умственного уровня, какъ А. А. Писаревъ и А. Е. Измайловъ, занявшіе теперь въ Вольномъ Обществѣ видное мѣсто.

Въ дальнѣйшихъ сношеніяхъ Батюшкова съ молодыми представителями литературы въ Петербургѣ выдѣляется только одно имя изъ числа названныхъ доселѣ, имя Н. И. Гнѣдича; близкій другъ Батюшкова, онъ былъ участникомъ всѣхъ радостей и горестей его жизни, и потому уместно будетъ сказать теперь же объ ихъ сближеніи.

Начало ихъ пріязни восходитъ къ 1803 году, когда будущій переводчикъ „Иліады“ пріѣхалъ въ Петербургъ и опредѣлился на службу въ департаментъ народнаго просвѣщенія. Мы видѣли его въ числѣ сотрудниковъ Сѣвернаго Вѣстника; но въ числѣ раннихъ членовъ Вольнаго Общества имя его не встрѣчается: человекъ очень осмотрительный въ житейскихъ отношеніяхъ, Гнѣдичъ, вѣроятно, не пожелалъ вступить въ его составъ, какъ впоследствии уклонился отъ вступленія въ Бесѣду любителей русскаго слова. Но несомнѣнно, и онъ, подобно Батюшкову, былъ въ связи съ тою группою писателей, которая составляла Вольное Общество. Гнѣдичъ въ юности получилъ правильное, отчасти семинарское образованіе въ Харьковскомъ коллегіумѣ и дополнилъ его слушаніемъ лекцій въ Московскомъ университетѣ. Въ ранней молодости онъ пережилъ по своему „періодъ бурныхъ стремленій“, увлекался всѣмъ, что выходило изъ обыкновеннаго порядка вещей, и всякому незначительному случаю придавалъ какую-то важность ¹⁾; видѣлъ идеалъ героя въ Суворовѣ и вѣрилъ, что самъ „рожденъ для подвѣтій оружія“ ²⁾. Въ то время и литературные труды его

¹⁾ С. П. Жихаревъ. Записки современника. I. Дневникъ студента, стр. 319, 321.

²⁾ П. Н. Тихановъ. Николай Ивановичъ Гнѣдичъ. С.-Пб. 1884, стр. 8.

отличались стремленіемъ уклониться не только отъ господствующаго псевдоклассическаго направленія, но и отъ сентиментализма; къ Карамзину и его подражателямъ онъ также не питалъ расположенія, вѣроятно, подъ вліяніемъ лекцій профессора Сохацкаго. Скоро однако эти пылкія увлеченія миновали, и въ Петербургѣ мы видимъ его уже поклонникомъ туманной чувствительности Оссіана и переводчикомъ Дюсисовыхъ передѣлокъ Шекспира. Отъ прежнихъ увлеченій осталась только выпренность въ литературной рѣчи и декламации, до которой Гнѣдичъ былъ большой охотникъ. Въ это-то время онъ и познакомился съ Батюшковымъ.

Какъ часто бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, ихъ дружеское сближеніе основалось на противоположности въ свойствахъ ихъ личнаго характера и въ тѣхъ обстоятельствахъ, подъ вліяніемъ которыхъ онъ выработался. Сынъ небогатаго малороссійскаго помѣщика, Гнѣдичъ выросъ въ бѣдности и привыкъ твердо переносить ее, любилъ замыкаться въ себя, съ наслажденіемъ предавался труду, былъ въ немъ упоренъ и вообще отличался стойкостью въ характерѣ, убѣжденіяхъ и привязанностяхъ; жизненный опытъ рано наложилъ на него свою тяжелую руку. Мало походилъ на своего друга Батюшкова. Простодушіе и безпечность лежали въ основѣ его природы; ни домашнее воспитаніе, ни даже школа не приучили его къ послѣдовательному, усидчивому труду. Онъ былъ живъ, общителенъ, скоро и горячо увлекался тѣми, съ кѣмъ сближался, легко поддавался чужому вліянію, какъ бы искалъ въ другихъ той устойчивости, которой не было въ немъ самомъ. Естественнo, что, при такихъ задаткахъ, ему часто приходилось разочаровываться въ своихъ сближеніяхъ и переживать страданія оскорбленнаго или хотя бы только задѣтаго самолюбія. Порою самолюбивыя мечты заносили его очень далеко, но при малѣйшей неудачѣ онъ падалъ духомъ, и если потомъ снова ободрялся, то чаще всего благодаря счастливымъ минутамъ поэтическаго вдохновенія.

Такія нѣжныя, хрупкія натуры особенно нуждаются въ дружескомъ попеченіи,—и Батюшковъ въ лицѣ Гнѣдича нашелъ себѣ перваго друга, который умѣлъ оцѣнить его тонкій умъ и чуткое сердце, умѣлъ щадить его легко раздражающееся самолюбіе и быть снисходительнымъ къ его прихотямъ и слабостямъ. Быть можетъ, не всегда Батюшковъ справедливо оцѣнивалъ ту роль дядьки, которую приходилось исполнять при немъ Гнѣдичу; быть можетъ, и исполненіе не всегда было удачное, не всегда Гнѣдичъ угадывалъ прихотливыя требованія даровитой натуры Батюшкова, не всегда, быть можетъ, стоялъ на высотѣ его пониманія и въ то же время слишкомъ назойливо старался навязывать ему свои мнѣнія; но вообще, друзья высоко цѣнили одинъ другаго, и не смотря на частые споры и недоразумѣнія, никогда не было между ними охлажденія, потому что оба они были увѣрены въ нравственномъ достоинствѣ другъ друга. Сближеніе ихъ произошло въ ранней молодости (Гнѣдичъ всего на три года былъ старше Батюшкова), и потому искреннія отношенія между ними установились очень скоро; друзья были почти неразлучны, посѣщали одинъ общій кругъ знакомыхъ, предавались вмѣстѣ свѣтскимъ развлеченіямъ, сообщали одинъ другому свои литературныя мнѣнія, вмѣстѣ читали написанное ими самими и откровенно критиковали другъ друга. „У Гнѣдича есть прекрасное и самое рѣдкое качество: онъ съ ребяческимъ простодушіемъ любить искать красоты въ томъ, что читаетъ; это самый лучшій способъ съ пользою читать, обогащать себя, наслаждаться. Онъ мало читаетъ, но хорошо“. Такъ говоритъ Батюшковъ о Гнѣдичѣ въ своей записной книжкѣ 1817 года ¹⁾), стало быть, послѣ четырнадцати лѣтъ знакомства съ Гнѣдичемъ и заключивъ уже новыя дружескія связи, притомъ говоритъ не для того, чтобы кто-нибудь услышалъ его. И сколько душев-

¹⁾ Соч., т. II, стр. 361.

ной теплоты, сколько дружелюбія въ этомъ короткомъ и простомъ отзывѣ! Батюшковъ первый поддержалъ Гнѣдича, когда тотъ предпринялъ свой великій подвигъ перевода „Иліады“, которымъ онъ подарилъ русскую словесность и обезсмертилъ свое имя.

Нашъ перечень тѣхъ лицъ, съ которыми Константинъ Николаевичъ велъ знакомство съ ранней молодости, былъ бы не полонъ, если бы мы не упомянули теперь же еще объ одномъ семействѣ, гдѣ Батюшковъ былъ принятъ какъ родной, и гдѣ любили и цѣнили его зарождающееся дарованіе. То былъ гостепріимный домъ извѣстнаго археолога и любителя художествъ, Алексѣя Николаевича Оленина.

Оленинъ принадлежалъ къ тому же кругу просвѣщенныхъ людей въ Петербургѣ, что и М. Н. Муравьевъ, а по супругѣ своей могъ даже причестся ему въ свойство ¹⁾. Пріатели Михаила Никитича, Державинъ и Н. А. Львовъ, были друзьями и Оленина. Капнистъ, своякъ Державина и Львова, также былъ дорогимъ гостемъ у него, когда пріѣзжалъ въ Петербургъ изъ своего деревенскаго уединенія въ Малороссіи. Въ молодости своей Алексѣй Николаевичъ провелъ нѣсколько лѣтъ въ Дрезденѣ; тамъ онъ пристрастился къ пластическимъ искусствамъ и воспиталъ свой вкусъ на произведеніяхъ лучшихъ художниковъ древности и періода возрожденія, какъ они были истолкованы Винкельманомъ и Лессингомъ. Онъ былъ хорошій рисовальщикъ и, кромѣ того, занимался гравированіемъ; завѣдуя, съ 1797 года, монетнымъ дворомъ, онъ познакомился и съ медальернымъ искусствомъ. „Можетъ быть“, говоритъ одинъ изъ современниковъ, коротко его знавшій, — „ему не доставало

¹⁾ Елизавета Марковна Оленина была рожденная Полторацкая, а одинъ изъ братьевъ ея, Петръ Марковичъ, былъ женатъ на Екатеринѣ Ивановнѣ Вульфъ, двоюродной племянницѣ М. Н. Муравьева и И. М. Муравьева-Апостола, дочери Анны Ѳедоровны Вульфъ, рожденной Муравьевой (Р. Архивъ 1884 г., кн. 6, стр. 380).

вполнѣ этой быстрой, наглядной смѣтливости, этого утонченнаго, пронизательнаго чувства, столь полезнаго въ дѣлѣ художествъ; но пламенная любовь его ко всему, что клонилось къ развитію отечественныхъ талантовъ, много содѣйствовала успѣхамъ русскихъ художниковъ“¹⁾. То же должно сказать и относительно словесности. По вѣрному замѣчанію С. Т. Аксакова, имя Оленина не должно быть забыто въ исторіи русской литературы: „всѣ безъ исключенія, русскіе таланты того времени собирались около него, какъ около старшаго друга“²⁾. Озеровъ, Крыловъ, Гнѣдичъ нашли въ Оленинѣ горячаго цѣнителя своихъ дарованій, который усердно поддерживалъ ихъ литературную дѣятельность; И. М. Муравьевъ-Апостолъ и С. С. Уваровъ встрѣтили въ немъ живое сочувствіе своимъ занятіямъ въ области классической древности; А. И. Ермолаева и А. Х. Востокова онъ направлялъ и укрѣплялъ въ ихъ изысканіяхъ по древностямъ русскимъ.

Пользуясь расположеніемъ графа А. С. Строганова, просвѣщеннаго вельможи екатерининскихъ временъ, доживавшаго свой вѣкъ среди общаго уваженія при Александрѣ, умѣя ладить и съ тѣми людьми, которые возвысились въ царствованіе молодаго государя, Оленинъ быстро подвигался въ это время на служебномъ поприщѣ, „однако никогда не измѣняя чести“, замѣтилъ о немъ ѣдкій Вигель. Знающій и дѣловитый, Алексѣй Николаевичъ всѣмъ умѣлъ сдѣлаться нужнымъ; самъ императоръ Александръ прозвалъ его Tausendkünstler, тысячеискусникомъ. Но если служебными успѣхами своими Оленинъ былъ обязанъ не только своему образованію и трудолюбію, а также нѣкоторой уступчивости и искательности предъ сильными міра сего, за то пріобрѣтеннымъ значеніемъ онъ пользовался для добрыхъ

¹⁾ Литературныя воспоминанія, А. В. (графа С. С. Уварова)—Современникъ 1851 г., т. 27, стр. 39.

²⁾ Полное собраніе сочиненій С. Т. Аксакова, т. III, стр. 262.

цѣлей. Онъ былъ отзывчивъ на всякое проявленіе русской даровитости и охотно шелъ ему на помощь. „Его чрезмѣрно сокращенная особа“, говоритъ Вигель, — „была отмѣнно мила: въ маленькомъ живчикѣ можно было найти тонкій умъ, веселый нравъ и доброе сердце“ ¹⁾.

„Дому Оленина“ — скажемъ еще словами Уварова — „служила украшеніемъ его супруга Елизавета Марковна, урожденная Полторацкая. Образецъ женскихъ добродѣтелей, нѣжнѣйшая изъ матерей, примѣрная жена, одаренная умомъ яснымъ и кроткимъ нравомъ, она оживляла и одушевляла общество въ своемъ домѣ“ ²⁾. Она была болѣзненна. „Часто, лежа на широкомъ диванѣ, окруженная посѣтителями, видимо мучась, улыбалась она гостямъ... Ей хотѣлось, чтобы всѣ у нея были веселы и довольны, и желаніе ея безпрестанно выполнялось. Нигдѣ нельзя бы встрѣтить столько свободы, удовольствія и пристойности вмѣстѣ, ни въ одномъ семействѣ — такого добраго согласія, такой взаимной нѣжности, ни въ какихъ хозяйствахъ столько образованной привѣтливости. Всего примѣчательнѣе было искусное сочетаніе всѣхъ пріятностей европейской жизни съ простотой, съ обычаями русской старины. Гувернантки и наставники, Англичанки и Французы, дальнія родственницы, проживающія барышни и нѣсколько подчиненныхъ, обратившихся въ домочадцевъ, наполнили домъ сей, какъ Ноевъ ковчегъ, составляли въ немъ разнородное, не менѣе того весьма согласное общество и давали ему видъ трогательной патріархальности“ ³⁾.

За обѣденнымъ столомъ или въ гостиной Олениныхъ, въ ихъ городскомъ домѣ или въ подгородной дачѣ Пріютинѣ „почти ежедневно встрѣчалось нѣсколько литераторовъ и ху-

¹⁾ Вигель. Воспоминанія, ч. IV, стр. 137.

²⁾ Литературныя Воспоминанія, А. В. — Современникъ, 1851 г., т. 27, стр. 39.

³⁾ Вигель. Воспоминанія, ч. IV, стр. 137—138.

дожниковъ русскихъ. Предметы литературы и искусствъ занимали и оживляли разговоръ... Сюда обыкновенно привозились всѣ литературныя новости: вновь появившіяся стихотворенія, извѣстія о театрахъ, о книгахъ, о картинахъ, словомъ — все, что могло питать любопытство людей, болѣе или менѣе подвижныхъ любовью къ просвѣщенію. Не взирая на грозныя событія, совершавшіяся тогда въ Европѣ, политика не составляла главнаго предмета разговора, она всегда уступала мѣсто литературѣ¹⁾.

Не станемъ утверждать, чтобы тотъ кружокъ, который собирался въ оленинскомъ салонѣ, въ началѣ нынѣшняго столѣтія, далеко опередилъ свое время въ пониманіи вопросовъ искусства и литературы. Уровень господствовавшихъ тамъ художественныхъ и литературныхъ понятій все-таки опредѣлялся псевдоклассицизмомъ, который стѣснялъ свободу и непосредственность творчества и удалялъ его отъ вѣрнаго, неподкрашеннаго воспроизведенія дѣйствительности. Но вкусъ Оленина, воспитанный на классической красотѣ и возсозданіи ея Рафаэлемъ, уже не позволялъ ему удовлетворяться изысканными и вычурными формами искусства XVIII вѣка и стремился къ большей строгости и простотѣ. Лучше всего объ этомъ свидѣлствуютъ извѣстныя иллюстраціи къ стихотвореніямъ Державина, исполненныя по мысли и большею частію трудами Оленина²⁾. Точно также и въ отношеніи къ литературѣ. Въ оленинскомъ кружкѣ не было упрямыхъ поклонниковъ нашей искусственной литературы прошлаго вѣка: очевидно, содержаніе ея находили тамъ слишкомъ фальшивымъ и напыщеннымъ, а формы — слишкомъ грубыми.

¹⁾ Литературныя воспоминанія, А. В. — Современникъ 1851 г., т. 27, стр. 40.

²⁾ О художественномъ стилѣ и характерѣ этихъ иллюстрацій, воспроизведенныхъ въ первыхъ двухъ томахъ перваго академическаго изданія сочиненій Державина, см. прекрасныя замѣчанія Ѳ. И. Буслаева въ его статьѣ: „Новыя иллюстрированныя изданія“—въ сборникѣ: Мои досуги. М. 1886, т. II.

За то въ кружкѣ этомъ съ сочувствіемъ встрѣчались новыя произведенія, хотя и написанныя по старымъ литературнымъ правиламъ, но представлявшія большее разнообразіе и большую естественность въ изображеніи чувства и отличавшіяся большею стройностью, большимъ изяществомъ стихотворной формы; въ этомъ видѣли столь желанное приближеніе нашей поэзіи къ классическимъ образцамъ древности. Но кромѣ того, въ кружкѣ Оленина замѣтно было стремленіе сдѣлать самую русскую жизнь, новую и особенно древнюю, предметомъ поэтического творчества: героическое, возвышающее душу, присуще не одному классическому — греческому и римскому — міру; оно должно быть извлечено и изъ преданій русской древности и возведено искусствомъ въ классическій идеалъ. Присутствіе такихъ требований ясно чувствуется въ литературныхъ симпатіяхъ Оленина и его друзей. Въ этомъ сказалась и его любовь къ археологіи, и его горячее патріотическое чувство.

Нужно согласиться, что такія стремленія оленинскаго кружка имѣли жизненное значеніе для своего времени. Молодой Батюшковъ, воспитанный отчасти въ подобныхъ же идеяхъ М. Н. Муравьевымъ, легко могъ освоиться въ домѣ Оленина и съ пользою проводить здѣсь время. Въ одномъ изъ раннихъ писемъ своихъ къ Алексѣю Николаевичу, онъ съ удовольствіемъ вспоминаетъ свои бесѣды съ нимъ, въ которыхъ они усердно „критиковали проклятый музскій народъ“ ¹⁾. Изъ дома Оленина Батюшковъ вынесъ живой интересъ къ пластическимъ искусствамъ; Оленинъ, безъ сомнѣнія, обратилъ его вниманіе на историка древняго искусства Винкельмана. Здѣсь укрѣплялась его любовь къ классической поэзіи.

Въ первые годы текущаго столѣтія крупнымъ событіемъ въ жизни оленинскаго кружка было появленіе трагедій Озерова. Еще съ послѣднихъ десятилѣтій прошлаго вѣка, рядомъ

¹⁾ Соч., т. III, стр. 11.

съ трагедіями псевдоклассическаго типа, появились на русской сценѣ піесы иного рода, такъ-называемыя мѣщанскія драмы. Написанныя въ духѣ моднаго тогда сентиментализма, но по содержанію своему болѣе близкія къ житейской дѣйствительности, чѣмъ произведенія классическаго репертуара, піесы эти пріобрѣли явное сочувствіе публики, чѣмъ немало смущались присяжные литераторы, хранители традиціонныхъ правилъ. Въ домѣ Оленина хотя и сознавали недостатки устарѣвшихъ трагедій Сумарокова, Княжнина и другихъ писателей, ихъ современниковъ, тѣмъ не менѣе не могли помириться съ обращеніемъ общественнаго вкуса къ сентиментальной мѣщанской драмѣ: столь нравившіяся въ то время большинству публики піесы Коцебу подвергались тамъ строгому осужденію. Поэтому-то появленіе новаго русскаго драматурга, который сумѣлъ примирить возвышенный характеръ старой мнимо-классической трагедіи съ кое-какими нововведеніями сцены, который притомъ владѣлъ красивымъ, звучнымъ, стихомъ, появленіе Озерова встрѣчено было въ домѣ Оленина, какъ настоящее обновленіе русской драматургіи. Въ 1804 году Озеровъ читалъ у Олениныхъ своего „Эдипа въ Аѣинахъ“ и привелъ въ восторгъ своихъ слушателей; ему однако было сдѣлано одно замѣчаніе: „Строгій классицизмъ не допустилъ одного—чтобъ Эдипъ пораженъ былъ громомъ (такъ было въ трагедіи Дюси, которому подражалъ Озеровъ, и который, въ свою очередь, замѣнилъ ударомъ грома таинственную смерть Эдипа въ храмѣ Эвмениды—какъ у Софокла). Требовали, чтобы, по принятому порядку, порокъ былъ наказанъ, торжествовала добродѣтель, и чтобы погибъ Креонъ. Озеровъ долженъ былъ подчиниться этому приговору и передѣлать пятый актъ“ ¹⁾. Такъ и въ оленинскомъ кружкѣ сохранялись предписанія псевдоклассической піитики; однако не всѣ:

¹⁾ Араповъ. Лѣтопись русскаго театра, стр. 167. Слова въ скобкахъ вставлены нами.

Дюси и Озеровъ не соблюдаютъ правила о единствѣ мѣста дѣйствія, и слушатели трагедіи въ домѣ Олениныхъ не осудили автора за такое нововведеніе. „Эдипъ“ имѣлъ блестящій успѣхъ. Черезъ день по его представленіи (25-го ноября 1804 г.) Державинъ писалъ Оленину: „Я былъ во дворцѣ, и государь императоръ, подошедъ ко мнѣ, спрашивалъ: былъ ли я вчера въ театрѣ, и какова мнѣ кажется трагедія. Я и прочіе отвѣтствовали, что очень хороша, и онъ отозвался, что непременно поѣдетъ ее смотрѣть; мы отвѣтствовали, что ваше величество ободрите (автора) своимъ благоволеніемъ, которому подобнаго въ Россіи прежде не видали. Я радъ, сказалъ“. „Вотъ что ко мнѣ пишетъ Гаврила Романовичъ“, прибавлялъ Оленинъ, посылая Озерову копію съ этой записки.— „Читайте и радуйтесь, что истинный талантъ всегда почтенъ“ ¹⁾. Въ домѣ Оленина рѣшено было ознаменовать торжество Озерова выби-тіемъ медали ²⁾.

Еще ближе было участіе Оленина въ другой трагедіи Озерова „Фингалъ“, поставленной въ 1805 году. Оленинъ указалъ поэту на сюжетъ въ одной изъ поэмъ Оссіана, и потомъ составилъ рисунки костюмовъ и аксессуарныхъ вещей для постановки этой піесы ³⁾. Какъ извѣстно, „Фингалъ“ имѣлъ такой же, если не большій успѣхъ среди публики, какъ и „Эдипъ въ Афинахъ“.

Батюшковъ, безъ сомнѣнія, принималъ живое участіе въ этихъ торжествахъ оленинскаго кружка, которыя вмѣстѣ съ тѣмъ были торжествами и для всѣхъ просвѣщенныхъ люби-

¹⁾ Сочиненія Державина, 1-е акад. изданіе, т. VI, стр. 163 и 164. О вниманіи императора Александра къ Озерову см. Арапова, Лѣтопись русск. театра, стр. 168.

²⁾ Мысль эта однако едва ли была приведена въ исполненіе: такой медали не упомянуто въ трудѣ Ю. Б. Иверсена: Медали въ честь русскихъ государственныхъ дѣятелей и частныхъ лицъ. С.-Пб. 1883—1884.

³⁾ Араповъ. Лѣтопись русскаго театра, стр. 172.

телей литературы. Когда, въ началѣ 1807 года, вскорѣ послѣ перваго представленія третьей трагедіи Озерова „Димитрій Донской“, нашему молодому поэту пришлось оставить Петербургъ, онъ и среди новыхъ своихъ заботъ продолжалъ интересоваться успѣхами талантливаго трагика. Оленина просилъ онъ прислать ему экземпляръ только что отпечатаннаго „Димитрія“, а Гнѣдича спрашивалъ, какъ ведетъ себя противная Озерову партія¹⁾. Дѣйствительно, блестящими успѣхами своими Озеровъ скоро нажилъ себѣ враговъ въ литературѣ. Еще послѣ постановки „Эдипа“ трагедію эту предполагали разсмотрѣть въ домѣ Державина, гдѣ собирались преимущественно литераторы стараго поколѣнія. Самъ Державинъ хотя и признавалъ въ ней „несравненныя красоты“, однако усмотрѣлъ ея „нѣкоторыя погрѣшности“²⁾. „Фингалъ“, не смотря на восторженный пріемъ публики, также подалъ поводъ къ „невыгоднымъ“ о немъ сужденіямъ—безъ сомнѣнія, тоже со стороны старыхъ словесниковъ³⁾; Державинъ и въ этой трагедіи нашелъ „дурныя мѣста“⁴⁾. Когда же появился и произвелъ громадное впечатлѣніе „Димитрій Донской“, старый лирикъ сталъ открыто высказывать неодобреніе этой піесы и вздумалъ самъ вступить въ соперничество съ Озеровымъ на поприщѣ драматургіи. Впрочемъ, самымъ враждебнымъ Озерову критикомъ былъ не Державинъ, а Шишковъ, горою стоявшій за старыхъ нашихъ трагиковъ. Счастливое совмѣстничество съ ними Озерова было просто невыносимо для этого яраго и безтолковаго ревнителя старины. Подобно Державину, онъ еще снисходительно отзывался о первыхъ двухъ трагедіяхъ Озерова, но на „Димитрія Донскаго“

¹⁾ Соч., т. III, стр. 10 и 11.

²⁾ Сочиненія Державина, 1-е акад. изданіе, т. VI, стр. 164; т. VIII, стр. 881—882.

³⁾ Сѣв. Вѣстникъ 1805 г., ч. VIII, стр. 265 (отчетъ о первомъ представленіи „Фингала“).

⁴⁾ Сочиненія Державина, 1-е акад. изданіе, т. III, стр. 386—387.

нападалъ съ ожесточеніемъ. Онъ „принималъ за личную обиду искаженіе характера славнаго героя Куликовской битвы, искаженіе старинныхъ нравовъ, русской исторіи и высокаго слога“ ¹⁾, увѣренно предпочиталъ плавности озеровскаго стиха жесткіе стихи Сумарокова и въ особенности вооружался противъ той чувствительности, которою Озеровъ собиралъ

невольны дани
Народныхъ слезъ, рукоплесканій,

и въ которой адмиралъ-писатель видѣлъ развращеніе добрыхъ нравовъ ²⁾. Державину и Шишкову подобострастно вторили окружавшія ихъ бездарности—по выраженію Озерова въ письмѣ Оленину—„послѣдователи стараго слога, стараго сумароковскаго вкуса, выдающіе себя, съ своимъ школярнымъ ученіемъ сорокалѣтней давности, за судей всѣхъ сочинителей“ ³⁾. Мало того, противъ счастливаго драматурга были пущены въ ходъ интриги и клеветы, которыя подѣйствовали на него такъ, что онъ вздумалъ было бросить литературную дѣятельность, тѣмъ болѣе для него пріятную, что онъ обратился къ ней уже въ зрѣломъ возрастѣ, увлекаемый неодолимою потребностью творчества. Дружескія настоянія Оленина, указавшаго ему для новой трагедіи гомеровскій сюжетъ „Поликсены“, удержали его отъ этого шага.

Къ убѣжденіямъ Оленина присоединилъ свой голосъ и Батюшковъ. Оставивъ Петербургъ весной 1807 года подъ впе-

¹⁾ С. Т. Аксаковъ, Воспоминаніе объ А. С. Шишковѣ въ Полномъ собраніи сочиненій, т. III, стр. 209—210.

²⁾ Кромѣ статьи С. Т. Аксакова, объ отношеніяхъ Шишкова въ Озерову см. въ Полномъ собраніи сочиненій кн. II. А. Вяземскаго, т. VII, стр. 266. Любопытенъ также разсказъ С. П. Жихарева о литературномъ вечерѣ у Шишкова, гдѣ И. С. Захаровъ, его пріятель и литературный единомышленникъ, вступился за старую трагедію (Дневникъ чиновника—въ Отеч. Запискахъ 1855 г., т. CI, стр. 195).

³⁾ Р. Архивъ 1869 г., ст. 142.

чатлѣніемъ блестящаго успѣха „Димитрія Донскаго“, онъ вскорѣ прислалъ почитателямъ Озерова посвященное ему стихотвореніе, въ которомъ „безвѣстный пѣвецъ“ выражалъ ему свое сочувствіе и убѣждалъ его „не разставаться съ музами“.

Такъ обозначилась рознь между старыми писателями и тѣмъ кружкомъ образованныхъ людей, который группировался около Алексѣя Николаевича. Горячо поддерживая Озерова, не смотря на свои личныя близкія отношенія къ Державину и Шишкову, Оленинъ засвидѣтельствовалъ самостоятельность своихъ литературныхъ мнѣній и еще разъ доказалъ изящество своего вкуса. Это обстоятельство могло только усилить уваженіе Батюшкова къ Алексѣю Николаевичу, такъ какъ онъ самъ, съ первыхъ шаговъ своихъ на поприщѣ словесности, высказался противъ писателей старой школы, противъ литературныхъ вкусовъ Шипкова и его послѣдователей. Дружба съ семействомъ Оленина сдѣлалась для Батюшкова съ этихъ же поръ одною изъ самыхъ отрадныхъ сторонъ его жизни.

III.

Война 1807 года; милиція; поступленіе въ нее Батюшкова.—Походъ въ Пруссію; знакомство съ И. А. Петькинымъ; рана.—Пребываніе въ Ригѣ; любовь къ г-жѣ Мюгель.—Пребываніе Батюшкова въ деревнѣ.—Смерть М. Н. Муравьева.—Семейныя отношенія.—Болезнь Батюшкова въ Петербургѣ.—Участіе его въ Драматическомъ Вѣстникѣ.—Шведская кампанія и впечатлѣнія Финляндіи.

Между тѣмъ какъ невинныя литературныя распри волновали петербургскихъ дѣятелей и любителей словесности, грозныя тучи собирались въ политическомъ мірѣ. Въ первые годы Александрова царствованія Россія держалась нѣсколько въ сторонѣ отъ междупародной борьбы, происходившей на западѣ Европы. Но вскорѣ, однако, ей пришлось выйти изъ этой сдержанности: во второй половинѣ 1805 года образовалась такъ-называемая первая коалиція, русскія войска двинулись на помощь Австріи, и битва подъ Аустерлицомъ рѣшила противъ Россіи первую борьбу нашу съ Наполеономъ. Впечатлѣніе этой неудачи на русское общество было тяжелое, именно по своей неожиданности: русскіе люди, выросшіе въ царствованіе Екатерины, не были приучены къ пораженіямъ. „Говорили, что императоръ Александръ возвратился послѣ Аустерлица болѣе побѣжденный, чѣмъ его армія; онъ считалъ себя бесполезнымъ для своего народа, потому что не имѣлъ способностей начальствовать войсками, и это его чрезвычайно огорчало“¹⁾. Но долго унывать было не въ его характерѣ, да и ходъ событій требовалъ дѣятельности. По возвращеніи въ Россію императоръ нашелъ здѣсь сильное возбужденіе противъ Наполеона: не смотря на неудачу, желаніе новой войны было всеобщее. И дѣйствительно, не прошло нѣсколькихъ мѣсяцевъ, какъ Россія вступила въ новую борьбу съ Франціей, собравъ для того

¹⁾ С. М. Соловьевъ. Императоръ Александръ. С.-Пб. 1877, стр. 102.

новыя силы и средства. Въ предшествовавшей коалиціи Россія оказывала помощь Австріи; теперь она готовилась помогать Пруссіи. Но какъ Австрія открыла военныя дѣйствія противъ Французовъ, не дождавшись прибытія русскихъ войскъ, такъ и Пруссаки начали войну прежде, чѣмъ подошли къ нимъ союзники. Послѣ быстрого разгрома прусскихъ армій подъ Іеной и Ауерштедтомъ, Русскіе сдѣлались не помощниками только Пруссаковъ, но почти единственными дѣятелями въ войнѣ, которая изъ предполагавшейся оборонительной обратилась въ наступательную. Предвидя возможность вторженія Наполеона въ Россію, императоръ Александръ рѣшился прибѣгнуть къ чрезвычайной, небывалой до тѣхъ поръ мѣрѣ: манифестомъ 30-го ноября 1806 года повелѣно было образовать ополченіе или милицію въ 612,000 ратниковъ, взятыхъ изъ 31 губерніи; остальные губерніи обязаны были вносить деньги, хлѣбъ, оружіе и аммуницію, къ чему приглашены были дворянство, купечество и прочія сословія ¹⁾).

Для образованія милиціи губерніи были сгруппированы въ области, и въ составъ первой изъ такихъ областей должны были войти губерніи Петербургская, Новгородская, Тверская, Ярославская и Олонецкая, которымъ, въ сложности, предстояло поставить до 90,000 ратниковъ. Начальникомъ этой области назначенъ былъ генералъ Н. А. Татищевъ, а правителемъ канцеляріи къ нему поступилъ А. Н. Оленинъ. Изъ желанія послужить общему патріотическому дѣлу онъ согласился принять на себя эту хлопотливую должность, не смотря на то, что занималъ въ то же время другую, болѣе значительную, — товарища министра удѣловъ.

Молодые дворяне охотно записывались въ ряды ополченцевъ; всѣхъ воодушевляло патріотическое усердіе. Не чуждъ,

¹⁾ Богдановичъ. Исторія царствованія императора Александра и Россіи въ его время, т. II, стр. 165.

разумѣтся, остался ему и нашъ молодой поэтъ; но какъ прежде, при началѣ своей службы, онъ долженъ былъ — безъ сомнѣнія, по желанію отца — избрать гражданское поприще вмѣсто военнаго, такъ и теперь не рѣшался нарушить родительскую волю.

Въ исходѣ 1806 года пріѣзжалъ въ Петербургъ С. Н. Глинка, уже опредѣлившійся въ ополченіе по Смоленской губерніи, откуда былъ родомъ. Пылкій, способный увлекаться до величайшихъ крайностей, но вполнѣ искренній и безукоризненно честный во всѣхъ своихъ увлеченіяхъ, Сергѣй Николаевичъ, въ ту пору патріотическаго воодушевленія, былъ, разумѣтся, въ восторженномъ состояніи. Нѣсколько разъ посѣщалъ онъ М. Н. Муравьева и всегда былъ принимаемъ самымъ ласковымъ образомъ. На прощаніи Муравьевъ сказалъ ему приблизительно слѣдующее: „Говорятъ, что въ одахъ нашихъ поэтовъ все дышетъ лестью. Вотъ и теперь перечитываю оду Петрова на день рожденія нынѣшняго государя: въ ней поэтъ какъ будто пророческимъ голосомъ предсказалъ все то, что совершается теперь на глазахъ нашихъ. Онъ говоритъ устами Россіи:

„Пойду, себя на все отважа,
„Сія тебѣ грудь—вѣрна стража,
„И безотказна жертва—кровь!“

„Это не лесть, это — картина нашего времени. Я видѣлъ слезы государя, когда онъ самъ говорилъ: „Я не желалъ войны, за то Богъ послалъ мнѣ великую отраду: торопливость всѣхъ сословій къ вооруженію и пожертвованіямъ передъ цѣлымъ свѣтомъ свидѣлствуетъ любовь Русскихъ къ отечеству и ко мнѣ“ ¹⁾).

Слова Муравьева яркою чертой характеризуютъ настроеніе

¹⁾ Изъ записокъ С. Н. Глинки (отъ 1802 до 1812 годовъ)—Р. Вѣстникъ 1865 г., № 7, стр. 226.

въ томъ домѣ, гдѣ жилъ Батюшковъ. Бесѣды дяди, встрѣча съ Глинкой, и даже одни рассказы о немъ (если пріамого знакомства съ нимъ не состоялось) должны были дѣйствовать на юношу по истинѣ воспламеняющимъ образомъ. Чтобы хоть какъ-нибудь применить къ общему дѣлу, Батюшковъ, 13-го января 1807 года, опредѣлился подъ начальство Оленина писмоводителемъ въ канцелярію генерала Татищева. Разумѣется, не канцелярская служба манила его: напротивъ, къ ней—мы уже знаемъ—онъ чувствовалъ неодолимое отвращеніе; но это опредѣленіе открывало ему возможность стать потомъ въ ряды ополченцевъ. И дѣйствительно, мѣсяць спустя, 22-го февраля, Константинъ Николаевичъ уже дѣлается сотеннымъ начальникомъ въ Петербургскомъ милиціонномъ баталіонѣ ¹⁾). Предъ самымъ назначеніемъ въ эту послѣднюю должность юноша рѣшился открыться во всемъ отцу и повиниться предъ нимъ. „Падаю къ ногамъ твоимъ, дражайшій родитель“, писалъ онъ,— „и прошу прощенія за то, что учинилъ дѣло честное безъ твоего позволенія и благословенія, которое теперь отъ меня требуетъ и Небо, и земля. Но что томить васъ! Лучше объявить все, и Всевышній длань свою простретъ на васъ. Я долженъ оставить Петербургъ, не сказавшись вамъ, и отправиться со стрѣлками, чтобы ихъ проводить до арміи. Надѣюсь, что ваше снисхожденіе столь велико, любовь ваша столь горяча, что не найдете вы ничего предосудительнаго въ семъ предпріятіи. Я самъ на сіе вызвался, и надѣюсь, что государь вознаградитъ (если того сдѣлаюсь достоинъ) печаль и горестъ вашу изліяніемъ къ вамъ щедротъ своихъ. Еще падаю къ ногамъ вашимъ, еще умоляю васъ не сокрушаться. Боже, уже ли я могу заслужить гнѣвъ моего ангела-хранителя, ибо иначе васъ называть не умѣю! Надѣюсь, что и безъ меня Михаилъ Никитичъ

¹⁾ Даты заимствованы изъ послужнаго списка Батюшкова въ архивѣ Имп. Пуб. Библіотеки.

сдѣлаетъ все возможное, чтобы возвратить вамъ спокойствіе и утѣшить послѣдніе дни жизни вашей“ ¹⁾).

Безпорядокъ этого письма ясно доказываетъ, въ какомъ волненіи оно было писано; но едва ли Константинъ Николаевичъ успѣлъ дождаться отвѣта на свои трогательныя строки: дней черезъ десять послѣ того, какъ письмо было отправлено, Батюшкову пришлось уже оставить Петербургъ.

Въ смущеніи и тревогѣ прощался онъ съ отцомъ, но въ походѣ онъ выступилъ веселый и довольный. Первые письма его съ похода исполнены тѣмъ беззавѣтно радостнымъ чувствомъ, которое способна ощущать только юность, когда она видитъ осуществленіе своей любимой мечты. Батюшковъ шутливо рассказываетъ Гнѣдичу подробности своихъ дорожныхъ походовъ, забавно описываетъ Нѣмцевъ, которыхъ видѣлъ въ Ригѣ, и въ то же время требуетъ отъ него петербургскихъ новостей—о литературѣ, о театрѣ, о пріятеляхъ. „Мы идемъ, какъ говорятъ, прямо лбомъ на Французовъ. Дай Богъ поскорѣ!“ восклицаетъ онъ въ своемъ воинственномъ увлеченіи.

Во время похода Батюшковъ сблизился съ однимъ замѣчательнымъ молодымъ человѣкомъ, дружба съ которымъ оставила особенно печальный и долгій слѣдъ въ его жизни, и памяти котораго нашъ поэтъ посвятилъ впослѣдствіи одно изъ лучшихъ и извѣстнѣйшихъ своихъ стихотвореній, элегію „Тѣнь друга“.

Иванъ Александровичъ Петинъ былъ воспитанникомъ сперва Московскаго университетскаго благороднаго пансіона, а потомъ пажескаго корпуса и служилъ въ гвардейскомъ егерскомъ полку. „Тысячи прелестныхъ качествъ“, вспоминалъ о немъ впослѣдствіи Батюшковъ,—„составляли сію прекрасную душу, которая вся блистала въ глазахъ молодаго Петина. Счастливое лицо, зеркало доброты и откровенности, улыбка безопасности, кото-

¹⁾ Соч., т. III, стр. 4—5.

рая исчезаетъ съ лѣтами и съ печальнымъ познаніемъ людей, всѣ плѣнительныя качества наружности и внутренняго человѣка достались въ удѣлъ моему другу. Умъ его былъ украшенъ познаніями и способенъ къ наукѣ и разсужденію—умъ зрѣлаго человѣка и сердце счастливаго ребенка: вотъ въ двухъ словахъ его изображеніе“. Какъ силой обстоятельствъ, такъ и по внутреннему влеченію, молодые люди сошлись скоро и близко. „Одни пристрастія, однѣ наклонности, та же пылкость и та же безпечность, которыя составляли мой характеръ въ первомъ періодѣ молодости, плѣняли меня въ моемъ товарищѣ. Привычка быть вмѣстѣ, переносить трудъ и безпокойства воинскіе, раздѣлять опасности и удовольствія стѣснили нашъ союзъ. Часто и кошелькъ, и шалашъ, и мысли, и надежды у насъ были общія“ ¹⁾).

11-го мая 1807 года Батюшковъ былъ еще въ Шавляхъ, а 24-го онъ уже находился за русскою границей и участвовалъ въ сраженіи подъ Гутштадтомъ, гдѣ былъ разбитъ корпусъ Нея. Впрочемъ, въ общемъ ходѣ кампаніи дѣло это не имѣло рѣшительнаго значенія. Вмѣсто того, чтобъ отрѣзать Нея отъ главныхъ французскихъ силъ и снова атаковать его, главнокомандующій Бенингсенъ ограничился тѣмъ, что прогналъ его за рѣку Пассаргу. Батюшкову пришлось участвовать и въ этомъ преслѣдованіи непріятеля, 25-го мая, а затѣмъ 29-го числа быть въ сраженіи русскихъ войскъ съ главными силами Наполеона на берегахъ рѣчки Алле подъ Гейльсбергомъ ²⁾. Воспоминаніе о дняхъ, предшествовавшихъ этому дѣлу, сохранены нашимъ поэтомъ въ одномъ изъ его стихотвореній:

Какъ сладко я мечталъ на Гейльсбергскихъ поляхъ,
Когда весь станъ дремалъ въ покоѣ,

¹⁾ Соч., т. II, 191—192.

²⁾ О военныхъ дѣйствіяхъ въ кампанію 1807 г. см. Богдановича, Исторію императора Александра, т. II, гл. XX; объ участіи въ нихъ Батюшкова свидѣнія взяты изъ его формулярнаго списка въ архивѣ Имп. II. Библіотеки.

И ратникъ, опершись на копье стальное,
Въ усталости почилъ! Луна на небесахъ
Во всемъ величїи блистала
И низкій мой шалашъ сквозъ вѣтви освѣщала.
Аль свѣтлый чуть струю лѣнливую катилъ
И въ зеркальныхъ водахъ являлъ весь станъ и рощи;
Едва дымился огнь въ часы туманной ночи
Близъ кущи ратника, который сномъ почилъ.
О Гейльсбергски поля, о холмы возвышенны,
Гдѣ столько разъ въ ночи, луною освѣщенный,
Я, въ думу погруженъ, о родинѣ мечталъ!... ¹⁾

Гейльсбергское сраженіе было удачно для Русскихъ, но Бенингсенъ не сумѣлъ воспользоваться пріобрѣтенными имъ выгодами. Лично для Батюшкова однако оно было несчастливо: онъ былъ раненъ; пуля пробила ему ляжку на вылетъ; „его вынесли полумертваго изъ груды убитыхъ и раненныхъ товарищей“ ²⁾. Такимъ образомъ, ему не пришлось уже быть свидѣтелемъ нашей неудачи подъ Фридландомъ, приведшей къ заключенію мира въ Тильзитѣ.

Раненаго отправили къ русской границѣ, въ Юрбургъ. Онъ сильно страдалъ, пока его везли въ телѣгѣ, и боялся умереть въ чужой землѣ.

Но небо, внявъ моимъ моленіямъ усерднымъ,
Взглянуло окомъ милосерднымъ:
Я, Нѣманъ переплывъ, узрѣлъ желанный край
И, землю лобызавъ съ слезами,
Сказалъ: Блаженъ стократъ, кто съ сельскими богами,
Спокойный домосѣдъ, земной вкушаетъ рай
И, шага не ступя за хижину убогу,
Къ себѣ богиню быстроногу
Въ молитвахъ не зоветъ! ³⁾.

¹⁾ Соч., т. I, стр. 87.

²⁾ А. С. Стурдза. Бесѣда любителей русскаго слова и Арзамасъ — въ Москвитянинѣ 1851 г., ч. VI, стр. 15.

³⁾ Соч., т. I, стр. 88.

И дѣйствительно, едва ступивъ на родную землю, нашъ поэтъ былъ обрадованъ пріятною встрѣчей: „въ тѣсной лачугѣ, на берегахъ Нѣмана, безъ денегъ, безъ помощи, безъ хлѣба (это не вымыселъ), въ жестокихъ мученіяхъ“, лежалъ онъ на соломѣ, когда увидѣлъ Петина, которому перевязывали рану. „Не стану описывать моей радости“, говорилъ Батюшковъ, вспоминая впоследствии объ этомъ свиданіи. — „Меня поймутъ только тѣ, которые бились подъ однимъ знаменемъ, въ одномъ ряду, и испытали всѣ случайности военныя“. При этой встрѣчѣ Константинъ Николаевичъ имѣлъ возможность узнать и оцѣнить съ новой стороны трезвое благородство Петина въ одномъ замѣчательномъ случаѣ, который и разсказалъ впоследствии въ воспоминаніи о другѣ своей молодости ¹⁾.

Изъ Юрбурга Батюшковъ былъ перевезенъ, тоже съ трудомъ, въ Ригу; но въ половинѣ іюня онъ уже могъ ходить на костыляхъ и могъ утѣшить своихъ родныхъ и друзей вѣстями о себѣ. Рана его была глубиной въ двѣ четверти, но не внушала серьезныхъ опасеній, потому что пуля не тронула кости. Такъ по крайней мѣрѣ судили врачи въ первое время, и такъ писалъ Батюшковъ, тогда же, сестрамъ и Гнѣдичу. Къ несчастію, послѣдствія не оправдали этихъ благопріятныхъ надеждъ. У раненаго было однако сильное нервное разстройство, и въ письмахъ своихъ онъ просилъ не огорчать его непріятными извѣстіями; о самой войнѣ, на которую такъ рвался еще недавно, онъ вспоминалъ теперь съ неудовольствіемъ ²⁾.

Молодому человѣку пришлось прожить въ Ригѣ болѣе мѣсяца. Онъ былъ помѣщенъ у богатаго тамошняго негоціанта Мюгеля, въ домѣ котораго окружали его самымъ заботливымъ вниманіемъ. „Меня“, писалъ онъ Гнѣдичу, — „принимаютъ въ прекрасныхъ покояхъ, кормятъ, поятъ изъ прекрасныхъ

¹⁾ Соч., т. II, стр. 192—193.

²⁾ Тамъ же, т. III, стр. 12—14.

рукъ: я на розахъ!“ То же повторялъ онъ въ письмѣ къ сестрамъ: „On m’entoure de fleurs, on me berce comme un enfant... Le maître de la maison m-r Mügel est le plus riche négociant de Riga. Sa fille est charmante, la mère bonne, comme un ange, tout cela m’entoure, l’on me fait de la musique“ ¹⁾. Воспоминанію о пребываніи въ этомъ домѣ молодой поэтъ посвятилъ въ послѣдствіи слѣдующія строки:

Ахъ, мнѣ ли позабыть гостепріимный кровъ,
Въ сѣни домашнихъ гдѣ боговъ
Усердный эскулапъ божественной наукой
Исторгъ изъ-подъ косы и дивно изцѣлилъ
Меня, борющагося уже съ смертельной мукой! ²⁾

Въ Ригѣ же Батюшковъ имѣлъ случай познакомиться съ просвѣщеннымъ семействомъ графовъ Віельгорскихъ или, какъ ихъ называли тогда, Велеурскихъ. Віельгорскіе собирались ѣхать изъ Петербурга за границу, но война задержала ихъ въ Ригѣ, и имъ пришлось прожить здѣсь довольно долго. Уже въ то время молодой графъ Михаилъ Юрьевичъ проявлялъ свое блестящее музыкальное дарованіе. Въ Ригѣ было много любителей музыки, и талантъ графа Михаила нашелъ себѣ хорошихъ цѣнителей ³⁾. По всей вѣроятности, и съ Батюшковымъ графъ Михаилъ, почти ровесникъ ему, сблизился благодаря ихъ общей любви къ изящнымъ искусствамъ. Нѣсколько лѣтъ спустя, въ дружескомъ посланіи къ Віельгорскому, нашъ поэтъ вспоминалъ свою встрѣчу съ молодымъ диллетантомъ и вообще свою пріятную жизнь въ Ригѣ:

Обѣтованный край, гдѣ вѣтранный Амуръ
Прелестнымъ личикомъ любезный полъ даруетъ,

¹⁾ Соч., т. III, стр. 13, 14. Всѣ наши попытки собрать въ Ригѣ свѣдѣнія о negociantъ Мюгелѣ и его семействѣ оказались безуспѣшными.

²⁾ Соч., т. I, стр. 88.

³⁾ Походженія Лифляндца въ Петербургъ (Э. Ленца)—Р. Архивъ 1878 г., кн. I, стр. 449.

Подъ дымкой на груди лилеи образуетъ,
Какими бѣ и у насъ гордилась красота,
Вливаетъ томный огонь и въ очи, и въ уста,
А въ сердце юное—любви прямое чувство.
Счастливыя мѣста, гдѣ нравиться искусство
Не нужно для мужей,
Сидящихъ съ трубками веругъ угольныхъ огней
За сыромъ выписнымъ, за Гамбургскимъ журналомъ,
Межъ тѣмъ какъ жены ихъ, смѣясь подъ опахаломъ,
„Люблю, люблю тебя!“ прищельцу говорятъ
И руку жмутъ коварными перстами ¹⁾).

Пребываніе въ Ригѣ получило въ жизни Константина Николаевича важное значеніе. Живя въ „мирномъ семействѣ“ Мюгеля, онъ сблизился съ его прекрасною дочерью и горячо полюбилъ ее. Любовь эта совпала съ днями его выздоровленія:

Ты, Геба юная, лилейною рукою
Сосудъ мнѣ подала: „Пей здравье и любовь!“
Тогда, казалось, сама природа вновь
Со мною воскресала
И новой зеленью вѣнчала
Долины, холмы и лѣса.
Я помню утро то, какъ слабою рукою,
Склонясь на костыли, поддержанный тобою,
Я въ первый разъ узрѣлъ цвѣты и деревья...
Какое счастье съ весной воскреснуть ясной!
(Въ глазахъ любви еще прелестнѣе весна).
Я, восхищенъ природой красной,
Сказалъ Эмили: „Ты видишь, какъ она,
„Расторгнувъ зимній мразъ, съ весной оживаетъ,
„Съ ручьемъ шумитъ въ лугахъ и съ розой разцвѣтаетъ;
„Что бѣ было безъ весны?.. Подобно такъ и я
„На утрѣ дней моихъ увалъ бы безъ тебя!“
Тутъ, грудь кропя горячими слезами,

¹⁾ Соч., т. I, стр. 65—66.

Соединивъ уста съ устами,
Всю чашу радостей мы выпили до дна ¹⁾.

Итакъ, любовь поэта была встрѣчена взаимностью. Онъ наслаждался первыми порывами чувства; оно освѣжило ему душу, но не принесло полного счастья. Самыя условія, въ которыхъ возникла эта любовь, дѣлали почти не осуществимымъ бракъ его съ дѣвицею Мюгель: будущность юноши ничѣмъ не была обезпечена, средства ограничены; притомъ же онъ могъ сомнѣваться въ согласіи своихъ родныхъ на бракъ, который вполне оторвалъ бы его отъ семейной среды. Тѣмъ не менѣе, увлеченный своимъ чувствомъ, онъ медлилъ покидать Ригу. Онъ еще былъ тамъ 12-го іюля, когда писалъ Гнѣдичу и спрашивалъ о здоровьѣ М. Н. Муравьева. Еще въ мартѣ мѣсяцѣ Батюшковъ оставилъ его больнымъ; но теперь вопросъ этотъ былъ вызванъ письмомъ, которое Константинъ Николаевичъ получилъ отъ Екатерины Ѳедоровны, и въ которомъ она увѣдомляла о продолжающейся болѣзни мужа и объ его желаніи видѣть своего племянника ²⁾. Вѣроятно однако, письмо Муравьевой было намѣренно сдержанное; безъ сомнѣнія, она не желала слишкомъ встревожить выздоравливающаго и не сказала ему всей правды о томъ, на сколько опасна была болѣзнь ея мужа; быть можетъ наконецъ, и сама она не знала этой правды. Какъ бы то ни было, но въ исходѣ іюля, когда Батюшковъ, оплакиваемый семействомъ Мюгель, долженъ былъ рѣшиться оставить наконецъ Ригу, онъ отправился не въ Петербургъ, куда звала его Муравьева, а прямо въ деревню, гдѣ ожидали его отецъ и сестры, и куда еще изъ Риги онъ приглашалъ Гнѣдича ³⁾. Тѣмъ болѣе тяжелымъ ударомъ была для

¹⁾ Соч., т. I, стр. 89. Что стихотвореніе намекаетъ на любовь поэта именно къ дѣвицѣ Мюгель, видно въ особенности изъ первоначальной редакціи этой пѣснь, гдѣ говорится о „свѣтлой Двинѣ“ (см. т. I, стр. 331).

²⁾ Соч., т. III, стр. 16.

³⁾ Тамъ же.

Константина Николаевича вѣсть, которую принесло ему, уже въ деревню, слѣдующее письмо его петербургскаго пріятеля:

С.-Петербургъ. Августа 2-го 1807 г.

Любезный Константинъ! Ты какъ будто хотѣлъ испытать дружбу мою, предлагая мнѣ исполненіе того, чего я совершенно не могу по разстроеннымъ моимъ обстоятельствамъ. Я доведенъ до нихъ непредвидѣнными случаями и болѣе тѣмъ, что мальчикъ мой, обокравши меня, бѣжалъ. Гдѣ тонко, тамъ и рвется. Едва имѣю чѣмъ заплатить за это письмо,—но это да останется между нами. Слѣдовательно, ты не взыщешь, что ни книгъ тебѣ не посылаю, ни самъ къ тебѣ не буду; еслибъ наши души были видимы, такъ бы ты увидѣлъ мою близъ тебя. Мы бы поплакали вмѣстѣ, ибо и тебѣ должно плакать: ты лишился многого и совершенно неожиданно—душа человѣка, такъ дорога тобою цѣнимаго, улетѣла: Михаилъ Никитичъ 30-го числа іюля скончался. Горько возрыдають московскія музы!

Гдѣ отъ горестей укрыться?

Жизнь есть скорбный, мрачный путь!

Но посмотрѣвъ заплаканными глазами на небо, вижу звѣзду между черными тучами: благоговѣй и терпи! Будь здоровъ, прощай до радостнаго свиданія! Твой Гнѣдичъ.

Р. S. 19-го іюля я послалъ къ тебѣ письмо въ Ригу на двухъ листахъ; нѣтъ ли у тебя тамъ знакомыхъ, которые, отыскавъ его на почтѣ, къ тебѣ переслали? Я получилъ твою трубку и поцѣловалъ вмѣсто тебя. Цѣлую тебя, милый! О, пріѣзжай! ¹⁾

М. Н. Муравьевъ сталъ хворать съ февраля 1807 года; уже больной онъ хоронилъ въ Петербургѣ друга своей молодости И. П. Тургенева ²⁾. Горячій патріотъ, Муравьевъ съ тревожнымъ чувствомъ слѣдилъ за труднымъ ходомъ нашей борьбы

¹⁾ Это единственное сохранившееся письмо Гнѣдича къ Батюшкову. Оно нашлось въ бумагахъ Ал. Н. Батюшковой. Что письмо писано не въ Ригу, а въ деревню, видно изъ приписки. Указаніе, что письмо, посланное изъ Петербурга 19-го іюля, уже не застало Батюшкова въ Ригѣ, опредѣляетъ приблизительно время отъѣзда его изъ этого города.

²⁾ Соч., т. III, стр. 5; Жихаревъ. Дневникъ чиновника—От. Зап. 1855 г., т. CI, стр. 140; Саятовъ. Петербургскій некрополь, стр. 134. И. П. Тургеневъ умеръ 28-го февраля 1807 г. и похороненъ въ Александро-Невской лаврѣ.

съ Наполеономъ; послѣ неудачи подъ Фридландомъ вѣсть о неожиданномъ мирѣ въ Тильзитѣ поразила его глубокимъ горемъ: онъ тяжело заболѣлъ и уже не вставалъ болѣе съ постели ¹⁾).

Уѣзжая изъ Риги, Батюшковъ мечталъ провести „нѣсколько мѣсяцевъ въ гостепріимной тѣни отеческаго крова“ ²⁾. Еще не зная о смерти Михаила Никитича, съ сердцемъ, полнымъ любовью, онъ отправился въ Даниловское, вѣроятно, имѣя намѣреніе возбудить вопросъ о женитьбѣ. Но вмѣсто радостей въ родной семьѣ встрѣтилъ его рядъ неожиданныхъ огорченій. Поступленіе его въ военную службу безъ отцовскаго согласія едва ли было одобрено Николаемъ Львовичемъ; на счетъ молодого человѣка были пущены въ ходъ какія-то клеветы или сплетни, вѣроятно, съ цѣлью поссорить его съ родными ³⁾; но главное—Николай Львовичъ, не смотря на свой зрѣлый возрастъ, задумалъ жениться вторично: въ 1807 году состоялся его второй бракъ. Это семейное событіе послужило поводомъ къ замѣтному охлажденію между отцомъ и его дѣтьми отъ перваго брака: съ тѣхъ поръ Константинъ Николаевичъ сталъ рѣже видаться съ Николаемъ Львовичемъ, а незамужнія дочери, Александра и Варвара, оставили родительскій домъ и переселились въ имѣнье, которое досталось имъ, вмѣстѣ съ братомъ, отъ матери, въ село Хантоново. Словомъ, въ семействѣ Батюшковыхъ произошли несогласія, которыя отзывались неблагоприятно и на матеріальномъ благосостояніи его членовъ.

При такихъ обстоятельствахъ пребываніе въ деревнѣ утрачивало для Константина Николаевича всякую привлекательность, и онъ уѣхалъ оттуда, унося съ собою одни тяжелыя впечатлѣнія. Послѣ свѣтлой, беззаботной юности судьба сразу под-

¹⁾ Сообщено П. Н. Батюшковымъ.

²⁾ Соч., т. III, стр. 16.

³⁾ Смутный намекъ на эти клеветы находится въ посланіи къ Гнѣдичу 1808 г. Соч., т. I, стр. 45.

готовила ему нѣсколько ударовъ; удовлетвореніе потребности его сердца превратилось въ неосуществимую мечту, и неразцвѣтшая любовь затаилась въ его душѣ какъ тяжелое горе.

Батюшковъ рѣшилъ не покидать военной службы и по заключеніи Тильзитскаго мира. Еще въ сентябрѣ 1807 года онъ былъ переведенъ въ гвардейскій егерскій полкъ ¹⁾, въ тотъ самый, гдѣ служилъ его пріятель Петинъ, и подвиги котораго онъ видѣлъ въ минувшую войну. По возвращеніи Константина Николаевича въ Петербургъ его постигла тяжелая болѣзнь, и въ то время, когда молодой поэтъ, по его словамъ, всѣми оставленный, приближался къ смерти, онъ имѣлъ счастье привлечь къ себѣ заботливость со стороны человѣка, который до сихъ поръ не входилъ въ интересы его частной жизни: Оленинъ взялъ его на свое попеченіе; вѣчно занятой, онъ цѣлые вечера просиживалъ у постели больного и предупреждалъ его желанія ²⁾. Этими попеченіями Алексѣй Николаевичъ какъ бы платилъ дань памяти Муравьева, съ которымъ связанъ былъ тѣсною дружбой.

Въ этотъ тяжелый годъ скорбей душевныхъ и тѣлесныхъ общество Оленина и его гостепріимной семьи вообще составляло лучшую и, можетъ быть, единственную отраду для Константина Николаевича. Въ исходѣ 1807 года одинъ изъ постоянныхъ посѣтителей дома Олениныхъ, князь А. А. Шаховской, задумалъ изданіе журнала, специально посвященнаго театру, и съ начала 1808 года сталъ появляться небольшими еженедѣльными листками Драматическій Вѣстникъ, цѣлью котораго было поставлено развивать вкусъ публики относительно театральныхъ зрѣлищъ. Журналъ до извѣстной степени выражалъ мнѣнія оленинскаго кружка, гдѣ, какъ мы знаемъ,

¹⁾ Свѣдѣнія изъ формулярнаго списка Батюшкова въ архивѣ Имп. Публ. Библіотеки.

²⁾ Соч., т. III, стр. 26.

много интересовались театромъ; Вѣстникъ старался давать читателямъ запасъ свѣдѣній объ исторіи драматическаго искусства и указывать руководящія начала для болѣе здоровой оцѣнки театральныхъ произведеній. Вообще говоря, критика журнала стояла на старой псевдоклассической точкѣ зрѣнія, но по крайней мѣрѣ не преклонялась слѣпо предъ нашими уже устарѣвшими драматургами прошлаго вѣка. Здѣсь между прочимъ нашли себѣ одобреніе комедіи Крылова и „Король Лиръ“ въ переводѣ Гнѣдича съ передѣлки Дюси; здѣсь печатались подробные отзывы о представленіяхъ г-жи Жоржъ, пріѣхавшей тогда въ Петербургъ; напротивъ того, слезливыя драмы Коцебу, столь нравившіяся большинству тогдашней публики, и даже драмы Шиллера подвергались здѣсь осужденію, вмѣстѣ съ разными піесами новаго французскаго репертуара. Журналъ этотъ несомнѣнно пользовался сочувствіемъ Оленина, который былъ самъ большой любитель театра и восхищался пластическою игрою г-жи Жоржъ ¹⁾. Нѣсколько небольшихъ статей его можно найти на страницахъ Драматическаго Вѣстника. Что касается Батюшкова, то онъ хотя и не принадлежалъ къ числу тѣхъ страстныхъ театраловъ, какіе водились у насъ въ старину, однако съ интересомъ слѣдилъ за изданіемъ, которое поставило себѣ цѣлью воспитать театральнѣйшій вкусъ публики, и охотно помѣщалъ здѣсь свои стихи. Такъ, въ Драматическомъ Вѣстникѣ напечатано было уже упомянутое нами стихотвореніе Константина Николаевича, посвященное Озерову, басня „Пастухъ и Соловей“. Когда эта басня, чрезъ посредство Оленина, стала извѣстна жившему въ деревнѣ драматургу, онъ отозвался на привѣтствіе Батюшкова не одними выраженіями благодарности. „Прелестную басню твоею“, писалъ Озеровъ къ Алексѣю Николаевичу, — „почитаю истинно драгоценнымъ вѣнкомъ моихъ трудовъ. Его самого природа одарила всѣми

¹⁾ Соч., т. III, стр. 26.

способностями быть великимъ стихотворцемъ, и онъ уже смолода поетъ соловьемъ, котораго старыя пѣвчія птицы въ дубравѣ надъ Ипокреномъ заслушиваются и которымъ могутъ восхищаться“ ¹⁾. Это письмо свидѣтельствуетъ о большомъ чутьѣ изящнаго въ Озеровѣ; припомнимъ, что тотъ же писатель выражалъ живое сочувствіе поэтическому творчеству Жуковского ²⁾; эти ясныя симпатіи нарождающимся талантамъ составляютъ характерную черту оленинскаго кружка, которая рѣзко отдѣлила его отъ сторонниковъ Шишкова и доставила гостиню частнаго лица такое значеніе въ литературномъ мірѣ, какого не имѣла въ то время и сама Россійская академія.

Съ Драматическимъ Вѣстникомъ связывается еще одно обстоятельство въ литературной жизни Батюшкова: на страницахъ этого журнала появились первыя его произведенія, свидѣтельствовавшія о занятіяхъ его италіянскою словесностью.

Мы уже знаемъ, что поэтъ нашъ познакомился съ италіянскимъ языкомъ еще въ дѣтствѣ. Затѣмъ, когда руководство его образованіемъ перешло въ руки М. Н. Муравьева, послѣдній, безъ сомнѣнія, воспользовался нѣкоторою подготовкой Константина Николаевича, чтобы обратить его вниманіе на классическія произведенія италіянской поэзіи. Муравьевъ былъ знакомъ съ ними въ подлинникѣ и въ особенности цѣнилъ „Освобожденный Іерусалимъ“, который—по его мнѣнію—поставилъ Тасса на ряду съ Гомеромъ и Виргиліемъ ³⁾. И дѣйствительно, уже въ первомъ посланіи Батюшкова къ Гнѣдичу (1805 г.) мелькаютъ черты и краски, заимствованныя изъ Тассовой поэмы ⁴⁾. Нѣсколько позже, если не въ домѣ дяди, то у А. Н. Оленина Батюшковъ встрѣтился съ В. В. Капнистомъ, и авторъ „Ябеды“, человекъ умный и просвѣщенный, своими

¹⁾ Р. Архивъ 1869 г., ст. 137.

²⁾ Русск. Архивъ 1875 г., кн. III, стр. 363: письмо Озерова къ Жуковскому.

³⁾ П. собр. соч. М. Н. Муравьева, т. I, стр. 173.

⁴⁾ Соч., т. I, стр. 26, 27.

совѣтами нерѣдко руководившій геніальнаго Державина, оцѣнилъ, подобно Озерову, развивающееся дарованіе молодаго поэта и также поддержалъ въ немъ интересъ къ италіанской поэзіи; отъ него Батюшковъ услышалъ совѣтъ заняться переводомъ „Освобожденнаго Іерусалима“¹⁾. Отрывки изъ этого перевода и были напечатаны въ Драматическомъ Вѣстникѣ. Въ то же время нашъ поэтъ познакомился съ біографіей Тасса; жизнь „сіяющаго и несчастнаго“—по выраженію Муравьева—пѣвца Іерусалима произвела на Константина Николаевича сильное впечатлѣніе и подала ему поводъ написать посланіе къ Тассу. Не смотря на недостатки внѣшней формы, стихотвореніе это замѣчательно, какъ первая попытка нашего автора воспроизвести печальный образъ своего любимаго поэта: посланіе свидѣлствуетъ, что Батюшковъ столько же сочувствовалъ его великому таланту, сколько и его судьбѣ, совершенно исключительной по сцѣпленію несчастныхъ обстоятельствъ:

Торквато, кто испилъ всѣ горькія отравы
Печалей и любви и въ храмъ безсмертной славы,
Ведомый музами, въ дни юности проникъ,
Тотъ преждевременно несчастливъ и великъ²⁾.

Уже съ этихъ поръ Тассъ становится въ глазахъ Батюшкова типическимъ представителемъ людей отвлеченной мысли и творческаго вдохновенія. Мало того, подъ впечатлѣніемъ первыхъ имъ самимъ испытанныхъ горестей Батюшковъ начинаетъ находить какое-то загадочное сродство между нимъ самимъ и великимъ италіанскимъ поэтомъ, для котораго судьба не пощадила самыхъ тяжелыхъ своихъ ударовъ.

Наконецъ, весною 1808 года послѣдовало выздоровленіе

¹⁾ На это есть указаніе въ позднѣйшемъ посланіи Капниста къ Батюшкову (Соч. Капниста, изд. Смирдина, стр. 485), но что совѣтъ относится ко времени не позже 1807 г., видно изъ одного письма Батюшкова 1807 г. (Соч., т. III, стр. 8).

²⁾ Соч., т. I, стр. 51.

Батюшкова. Оно обязывало его возвратиться къ дѣйствительной службѣ, тѣмъ болѣе, что снова наступала боевая пора: началась война со Швеціей.

Въ маѣ 1808 года Батюшковъ находился уже въ Финляндіи. Первоначальный составъ русскихъ войскъ, еще въ концѣ зимы двинутыхъ противъ Шведовъ подъ начальствомъ генерала Буксгевдена, оказался недостаточнымъ; потребованы были подкрѣпленія, и въ числѣ ихъ отправленъ тотъ баталіонъ гвардейскихъ егерей, гдѣ Батюшковъ состоялъ въ должности адъютанта. Въ томъ же баталіонѣ, находившемся подъ командой полковника Андрея Петровича Турчанинова, служилъ и пріятель нашего поэта Петинъ; тамъ же состояли на службѣ и два молодые французскіе эмигранта, графъ де-Лагардь и Шапъ де-Рас-тиньякъ, съ которыми Батюшковъ былъ довольно коротко знакомъ. Общество этихъ образованныхъ людей придавало походу извѣстную пріятность въ глазахъ нашего поэта, пока ходъ военныхъ дѣйствій не разлучилъ его съ сочувственными ему людьми.

Въ лѣтней кампаніи 1808 года, успѣхи которой доставили Русскимъ обладаніе почти всею Финляндіей, гвардейскіе егеря не приняли однако дѣятельнаго участія. Но они проникли до сѣверныхъ границъ княжества и, въ половинѣ сентября, когда было заключено перемиріе со Шведами, стояли у кирки Иденсальми, въ сѣверной части нынѣшней Куопіосской губерніи. 15-го октября военныя дѣйствія возобновились горячимъ дѣломъ у названной кирки, во время котораго убитъ былъ командовавшій отрядомъ генераль-адъютантъ князь М. П. Долгорукій. Смерть любимаго войскомъ начальника была главною причиною тому, что схватка кончилась неудачно. Долгорукаго временно замѣстилъ старшій по немъ, генераль Алексѣевъ, и въ пору его командованія отряду пришлось выдержать новое сильное нападеніе Шведовъ. Алексѣевъ былъ человѣкъ очень гостепріимный, и ежедневно въ его главную квартиру собиралось мно-

жество офицеровъ. Такъ было и 29-го октября, когда въ числѣ другихъ гостей пріѣхали къ генералу егерскіе офицеры де-Лагардъ, Растиньякъ и Батюшковъ, едва оправившійся отъ лихорадки. Къ вечеру многіе изъ гостей, въ томъ числѣ и Константинъ Николаевичъ, уже отправились къ мѣсту своей стоянки, какъ вдругъ послѣ полуночи оставшіеся въ главной квартирѣ слышали ружейные выстрѣлы съ юга ¹⁾). Оказалось, что ободренные недавнимъ успѣхомъ Шведы, подъ командой предприимчиваго генерала Сандельса, напали на войска, стоявшія у кирки Иденсальми. Нападеніе было такъ быстро, что съ перваго раза Шведы проникли въ нѣсколько бараконъ, прежде чѣмъ наши солдаты могли выбѣжать изъ нихъ. Однако, при первыхъ же выстрѣлахъ, начальникъ авангарда, генералъ Тучковъ, послалъ за подкрѣпленіями, и въ числѣ послѣднихъ былъ вытребованъ гвардейскій егерскій баталіонъ. Главная часть его лицомъ къ лицу встрѣтилась съ нападающими, между тѣмъ какъ остальные егеря оставались въ резервѣ. Наши стремглавъ бросились на Шведовъ, засѣвшихъ въ лѣсу, и отрѣзали имъ отступленіе. Тогда, въ темнотѣ осенней ночи, въ лѣсной чащѣ, все смѣшалось, и произошла ожесточенная схватка, окончившаяся полнымъ пораженіемъ Шведовъ и взятіемъ въ плѣнъ части шведскаго отряда. Петинъ былъ героемъ этого дѣла: онъ — рассказываетъ его пріятель — „съ ротой егерей очистилъ лѣсъ, прогналъ непріятеля и покрылъ себя славою. Его вынесли на плащѣ, жестоко раненаго въ ногу. Генералъ Тучковъ осыпалъ его похвалами“. Растиньякъ и де-Лагардъ также участвовали въ дѣлѣ, и послѣдній также былъ раненъ. Самъ же Батюшковъ не былъ въ огнѣ, а оставался въ резервѣ. Но онъ слышалъ тѣ слова одобренія, съ которыми Тучковъ обратился къ раненому Петину, и горячо радовался за своего друга: „Молодой человекъ“ — такъ Батюшковъ описывалъ впоследствии эту счаст-

¹⁾ Липранди. Замѣчанія на Воспоминанія Ф. Ф. Вигеля. М. 1874, стр. 21.

ливую минуту— „забылъ и болѣзнь, и опасность. Радость блистала въ глазахъ его, и надежда увидѣться съ матерью придавала силы“ ¹⁾. Вскорѣ послѣ того друзья разстались и увидѣлись уже года черезъ полтора, въ Москвѣ. Тогда-то Батюшковъ написалъ свое посланіе къ Петину, въ которомъ вспоминалъ пережитыя вмѣстѣ опасности, въ особенности

Иденсальми страшну ночь,

и въ веселыхъ стихахъ изобразилъ свою скромную роль въ этомъ дѣлѣ:

Между тѣмъ какъ ты штыками
Шведовъ за лѣсъ провожалъ,
Я геройскими руками....
Ужинъ вамъ приготовлялъ ²⁾.

Дальнѣйшія, послѣ втораго дѣла при Иденсальми, дѣйствія того русскаго отряда, въ которомъ находился нашъ поэтъ, состояли въ движеніи къ сѣверо-западу на Улеаборгъ и Торнео. Но гвардейскіе егеря, а съ ними и Константинъ Николаевичъ, доходили только до Улеаборга. Въ декабрѣ 1808 года егеря расположились въ городѣ Вазѣ и его окрестностяхъ и простояли здѣсь до марта 1809 года, когда предположено было совершить экспедицію на Аландскіе острова. Экспедиція была возложена на абовскій русскій отрядъ, усиленный на этотъ случай еще другими войсками, въ томъ числѣ и гвардейскими егерями. Не смотря на опасность похода по льду и на трудность снабжать экспедиціонный корпусъ провіантомъ, этотъ смѣлый набѣгъ увѣнчался полною удачей: острова были заняты Русскими, и въ концѣ марта главная часть отряда возвратилась на сушу. Батюшковъ принималъ участіе въ этомъ походѣ, но послѣ того и до самаго конца Шведской войны ему уже не пришлось

¹⁾ Соч., т. II, стр. 195; т. III, стр. 21.

²⁾ Соч., т. I, стр. 91.

быть въ военныхъ дѣйствіяхъ: болѣе двухъ мѣсяцевъ прожилъ онъ въ окрестностяхъ Або, въ мѣстечкѣ Надендалѣ, скучая бездѣйствіемъ и одиночествомъ и страдая отъ суровости климата. Живой и впечатлительный, Константинъ Николаевичъ, не смотря на слабое здоровье, легко переносилъ тягости войны, пока она велась дѣятельно, но быстро впадалъ въ уныніе, когда настоящая боевая пора смѣнялась періодами выжиданія или отдыха. Такъ было и теперь. „Здѣсь такъ холодно“, писалъ онъ къ Оленину изъ Надендала, — „что у времени крылья примерзли. Ужасное однообразіе! Скука стелется по снѣгамъ, а безъ затѣй сказать, такъ грустно въ сей дикой, бесплодной пустынѣ безъ книгъ, безъ общества и часто безъ вина, что мы середи съ воскресеньемъ различить не умѣемъ“ ¹⁾. Гнѣдичу, предъ которымъ Батюшковъ не находилъ нужнымъ стѣсняться въ откровенномъ изображеніи своего душевнаго настроенія, а иногда даже усиливалъ краски, какъ бы для вящаго убѣжденія своего недовѣрчиваго друга, Гнѣдичу нашъ поэтъ высказывалъ свои жалобы еще рѣзче: „Въ какомъ ужасномъ положеніи пишу къ тебѣ письмо сіе! Скученъ, печаленъ, уединенъ! И кому повѣрю горести раздраннаго сердца? Тебѣ, мой другъ, ибо все, что меня окружаетъ, столь же холодно, какъ и самая финская зима, столь же глухо, какъ камни. Ты спросишь меня: откуда взялась желчь твоя? Право, не знаю; не знаю даже, зачѣмъ я пишу, но по сему можешь ты судить о безпорядкѣ мыслей моихъ. Но писать тебѣ есть нужда сердца, которому скучно быть одному: оно хочетъ излиться. Зачѣмъ нѣтъ тебя, другъ мой! Ахъ, если въ жизни я не жилъ бы другихъ минутъ, какъ тѣ, въ которыя пишу къ тебѣ, то право, давно пересталъ бы существовать“ ²⁾. Не сомнѣваемся въ искренности сказаннаго въ этихъ строкахъ, но думаемъ, что онѣ

¹⁾ Соч., т. III, стр. 26.

²⁾ Тамъ же, стр. 29.

написаны въ исключительную минуту, въ одинъ изъ тѣхъ моментовъ внезапнаго упадка духа, которые Батюшковъ переживалъ всегда мучительно тяжело, но которые не могли быть слишкомъ продолжительны въ тогдашнемъ его измѣнчивомъ положеніи. И дѣйствительно, по другимъ его письмамъ изъ Финляндіи видно, что даже въ тамошнемъ своемъ одиночествѣ онъ находилъ иногда пріятныя минуты: большою отрадой для него было, напримѣръ, встрѣтить въ Або одну молодую русскую даму. „Madame Tcheglokof est ici“, пишетъ онъ однажды сестрѣ, — „je vais la voir de tems en tems, elle est bien aimable“, а въ другомъ откровенно прибавляетъ: „Madame Tcheglokof que je vois souvent a manqué de me tourner la tête, mais cela a passé et n'a rien de funeste“ ¹⁾.

Такъ быстро смѣнялись настроенія въ душѣ нашего поэта; но чѣмъ дольше обстоятельства задерживали его въ Финляндіи, тѣмъ сильнѣе разгоралось въ немъ желаніе возвратиться на родину. Еще въ ноябрѣ 1808 года, успокоивая сестеръ по поводу вторичнаго отправленія своего на войну, онъ говорилъ, что постарается оставить военную службу при первой возможности. Въ слѣдующихъ письмахъ онъ снова упоминаетъ о томъ же; наконецъ, въ маѣ или іюнѣ 1809 года, когда военныя дѣйствія уже прекратились, ему удалось наконецъ получить если не отставку, то продолжительный отпускъ, и онъ поспѣшилъ въ Петербургъ. Внезапное возвращеніе Константина Николаевича было полною неожиданностью для Гнѣдича ²⁾.

Этимъ закончились на сей разъ военныя походы нашего поэта, и ему предстояло возвратиться къ мирнымъ занятіямъ. Впрочемъ, и годъ, проведенный Батюшковымъ въ Финляндіи, не прошелъ безслѣдно для его литературнаго развитія: здѣсь впервые талантъ его познакомился съ впечатлѣніями своеобраз-

¹⁾ Соч., т. III, стр. 31 и 33.

²⁾ Тамъ же, стр. 123.

ной сѣверной природы. Уѣзжая въ Финляндію, Батюшковъ былъ занятъ мыслью о переводѣ „Освобожденнаго Іерусалима“, но уже по первому его письму съ похода видно, что вниманіе его обращается на другіе предметы: въ письмѣ этомъ онъ набрасываетъ стихами красивую картинку лѣтняго вечера на берегу одного изъ безчисленныхъ финляндскихъ озеръ. Вслѣдъ затѣмъ и прошлыя судьбы дикой и унылой страны заняли его воображеніе; но у него не было ни способвъ, ни времени ознакомиться съ ея достовѣрною исторіей; онъ даже и не подозревалъ, что финскую древность вовсе не слѣдуетъ смѣшивать съ древностью скандинавскою, ни тѣмъ менѣе съ кельтическою. Итакъ, за неимѣніемъ другихъ источниковъ, Батюшковъ обращается къ извѣстнымъ ему поэтическимъ произведеніямъ, содержаніе которыхъ заимствовано изъ жизни сѣверныхъ народовъ; онъ припоминаетъ черты скандинавской міеологіи, которыя зналъ изъ поэмы Парни: „Isnel et Aslèga“; онъ пишетъ Гнѣдичу: „Купи мнѣ... книгу: Ossian tradotto dall'abate Cesaroti. Я объ ней ночь и день думаю“¹⁾. Такъ возбуждена была его мысль тѣмъ, что онъ видѣлъ вокругъ себя. Онъ задумываетъ дать себѣ отчетъ въ своихъ впечатлѣніяхъ и рѣшается набросать очеркъ Финляндіи—первый свой опытъ въ прозѣ. Такая попытка нашего автора, при полной его неподготовленности въ этому труду, не можетъ не показаться черезъ-чуръ смѣлою; но при всей своей внутренней несостоятельности она легко объясняется живою впечатлительностью молодого поэта. Какъ бы то ни было, Финляндія, очевидно, представила Батюшкову новыя и оригинальныя образы и картины живаго міра, и созерцаніе ихъ расширило кругъ его поэтическихъ наблюденій и впечатлѣній.

Пріѣздъ въ Петербургъ послѣ военныхъ тревогъ возвратилъ Батюшкова къ обыденному теченію жизни. Война и осо-

¹⁾ Соч., т. III, стр. 24—25.

бенно скучная зимовка въ глухихъ мѣстахъ Финляндіи утомили его нравственно, быть можетъ, болѣе, чѣмъ физически, и онъ съ удовольствіемъ думалъ о возвращеніи въ кругъ близкихъ ему людей, „подъ тѣнь домашнихъ боговъ“ ¹⁾. Однако, первая петербургскія впечатлѣнія были для него не радостны: въ столицѣ ему показалось теперь еще болѣе пусто, чѣмъ за два года передъ симъ, когда онъ возвратился сюда послѣ Прусскаго похода; во время его отсутствія умерла его замужняя сестра, Анна Николаевна Гревенсъ. „Tous ceux qui m'étaient chers ont passé le Cocyte“, писалъ онъ сестрамъ изъ Петербурга 1-го іюля 1809 года. — „Домъ Абрама Ильича (Гревенса) осиротѣлъ, покойнаго Михаила Никитича и тѣни не осталось; Ниловыхъ, гдѣ время летѣло такъ быстро и весело, проданъ; Оленины на дачѣ: все перемѣнилось; одна Самарина осталась, какъ колонна между развалинами“ ²⁾. Итакъ, запасшись „абшидомъ изъ военной коллегіи“, Константинъ Николаевичъ рѣшился не медлить въ Петербургѣ и ѣхать на родину. „Друзья мои“, писалъ онъ сестрамъ въ томъ же письмѣ, — „ожидайте меня у волнъ Шексны“. Отдохнувъ въ кругу родныхъ, онъ имѣлъ намѣреніе совершить, для укрѣпленія здоровья, поѣздку на кавказскія воды ³⁾. Къ исходу іюля онъ уже, вѣроятно, былъ въ деревнѣ.

¹⁾ Соч., т. III, стр. 31.

²⁾ Тамъ же, стр. 37.

³⁾ Тамъ же, стр. 28 и 67

IV.

Жизнь Батюшкова въ Хантоновѣ въ 1809 году.—Хозяйство.—Сосѣди.—Хандра.—
Литературныя занятія.—Вліяніе Вольтера.—Антологическій родъ.—Вліяніе Гора-
ція, Тибулла и Парни.—Отношенія Батюшкова къ современной литературѣ.—
Антипатія къ исключительному націонализму.—„Видѣніе на берегахъ Леты“.—
Рѣшеніе ѣхать въ Москву.

Село Хантоново, имѣнье, которое Батюшковъ и его сестры унаслѣдовали отъ своей матери, находится въ Череповскомъ уѣздѣ Новгородской губерніи, не далеко отъ береговъ Шексны. Въ 1809 году, когда пріѣхалъ туда Константинъ Николаевичъ, при селѣ была господская усадьба, гдѣ и жили незамужнія сестры его, Александра и Варвара. Хантоновскій домъ былъ—по выраженію его владѣльца—и ветхъ, и дуренъ, и опасенъ ¹⁾: онъ грозилъ разрушеніемъ, и жить въ немъ зимою становилось почти невозможнымъ; поэтому Константинъ Николаевичъ еще изъ Финляндіи писалъ сестрамъ о необходимости выстроить новый домъ или по крайней мѣрѣ флигель; тотъ же совѣтъ повторялъ онъ неоднократно и впослѣдствіи, предлагая старый домъ сломать, или же исправить и сохранить только для лѣтняго житія. Однако, желаніе Батюшкова касательно возведенія новаго дома въ Хантоновѣ было осуществлено лишь около 1816 года ²⁾. При домѣ былъ садъ и птичій дворъ, то и другое—предметъ особенныхъ заботъ Александры Николаевны; Константинъ Николаевичъ также любилъ свой садъ и заботился о цвѣтахъ ³⁾. Но этимъ и ограничивалось все его хозяй-

¹⁾ Соч., т. III, стр. 223. Посвящая нѣсколько строкъ К. Н. Батюшкову какъ помѣщику, мы заимствуемъ данныя для того изъ его писемъ къ сестрѣ, и притомъ не ограничиваемся только письмами 1809 г., но пользуемся и болѣе поздними: свойство предмета не только допускаетъ это, но и обязываетъ насъ къ тому.

²⁾ Тамъ же, стр. 31, 91, 119, 186, 223, 233, 245, 292, 380, 386, 580.

³⁾ Тамъ же, стр. 31, 42, 181, 186, 384, 471, 472.

ничанье въ деревнѣ: болѣе важными дѣлами по извлеченію доходовъ изъ имѣнья онъ совершенно не умѣлъ заняться; управленіе имѣніемъ было предоставлено старшей сестрѣ, которая жила тамъ почти безвыѣздно. Она хлопотала о немъ много и усердно, но въ женскихъ рукахъ хозяйство шло плохо и доставляло ей много огорченій и мало дохода; хронически обнаруживавшіяся плутни прикащиковъ доказывали, что настоящаго присмотра за ходомъ хозяйственныхъ дѣлъ не было. Вслѣдствіе того, Батюшковы нерѣдко бывали стѣснены въ средствахъ, тогда какъ, по словамъ Константина Николаевича, материнское наслѣдство могло бы доставить имъ совершенно независимое существованіе¹⁾. Имѣнье закладывалось и перезаклаживалось; порою приходилось продавать землю по клочкамъ²⁾.

Къ чести Константина Николаевича нужно сказать, что онъ и не считалъ себя дѣльнымъ хозяиномъ. Оправдываясь однажды, въ 1809 году, передъ Гнѣдичемъ въ недостаткѣ дѣятельности, онъ иронически примѣнялъ къ себѣ слова Мирабо: „Еслибъ я строилъ мельницы, пивоварни, продавалъ, обманывалъ... то вѣрно бѣ прослылъ честнымъ и притомъ дѣтельнымъ человекомъ“³⁾. Но ничего подобнаго Батюшковъ не дѣлалъ: не мудрилъ въ деревенскомъ хозяйствѣ, не отвлекалъ крестьянъ отъ тѣхъ занятій & промысловъ, на которые указывала имъ природа ихъ края, и напротивъ того, осуждалъ затѣи отца устраивать какой-то заводъ въ Даниловскомъ⁴⁾; за то нашъ поэтъ и не клалъ мужиковъ подъ прессъ

Вмѣстѣ съ свекловицей.

Въ общеніи съ М. Н. Муравьевымъ Батюшковъ долженъ былъ почерпнуть взглядъ на крѣпостныя отношенія, высоко поды-

¹⁾ Соч., т. III, стр. 579 и 286.

²⁾ Тамъ же, стр. 92, 95, 225 и др.

³⁾ Тамъ же, стр. 65.

⁴⁾ Тамъ же, стр. 334, 395.

мавшійся надъ обычнымъ уровнемъ тогдашнихъ понятій объ этомъ предметѣ. Идеалистъ Муравьевъ смотрѣлъ на крѣпостныхъ, какъ на „несчастныхъ и равныхъ намъ людей, которые принуждаются бѣдностію состоянія своего исполнять безъ награжденія всѣ наши своенравія“¹⁾, и указывалъ помѣщику цѣлый рядъ обязанностей по отношенію къ своимъ крестьянамъ; понятія эти, безъ сомнѣнія, Муравьевъ внушалъ своему племяннику, и если послѣдній не задался прямо цѣлью улучшить бытъ своихъ крестьянъ матеріальный и нравственный, то все же онъ не оставался глухъ къ совѣтамъ дяди. Константинъ Николаевичъ жилъ почти исключительно доходомъ съ имѣнія, но онъ не облагалъ своихъ крѣпостныхъ непосильными поборами; нуждаясь въ деньгахъ, онъ стѣснялся требовать оброкъ въ трудное для крестьянъ время²⁾. „Не худо бы было еще набавить тысячу, хотя на два года“, писалъ онъ однажды сестрѣ касательно возвышенія оброка, — „но я боюсь отяготить мужиковъ; не думай, чтобъ это было une manière de parler, нѣтъ! Судьба подчиненныхъ мнѣ людей у меня на сердцѣ. Выгода минутная! Притомъ же, какъ мнѣ ни нужны деньги для уплаты долгу и затѣмъ, чтобъ жить здѣсь (въ Петербургѣ) по ужасной дороговизнѣ, но я все боюсь отяготить крестьянъ. Дай Богъ, чтобъ они поправились! Еслибъ въ моей то было волѣ, я не пощадилъ бы издержекъ, чтобъ устроить ихъ лучше“³⁾. Что же касается дворовыхъ людей, собственно тѣхъ, которые были въ личной услугѣ у Батюшкова, то нетерпѣливый баринъ, правда, часто негодовалъ на ихъ дурную службу и особенно на ихъ испорченность, но по добродушію своему немало и терпѣлъ отъ ихъ пороковъ и охотно цѣнилъ тѣхъ изъ своихъ слугъ, которые честно исполняли свои обязанности.

¹⁾ Пол. собр. соч. Муравьева, т. I, стр. 92.

²⁾ Соч., т. III, стр. 180.

³⁾ Тамъ же, стр. 477; ср. стр. 479 и 564.

Имѣнне Батюшковыхъ находилось въ глухой сторонѣ. Ихъ уѣздный городъ былъ въ то время не лучше инаго села, а до ближайшаго губернскаго считалось болѣе ста верстъ; да Батюшковъ и не любилъ Вологды и называлъ ее болотомъ ¹⁾; притомъ же сношенія съ нею были не часты, и такіе обиходные предметы, какъ напримѣръ, турецкій табакъ и почтовую бумагу, приходилось выписывать изъ Петербурга ²⁾. Сосѣдей у владѣльцевъ Хантонова было немного, а тѣ, какіе были, отличались уже слишкомъ провинціальнымъ отпечаткомъ. „Съ какими людьми живу!“ восклицалъ нашъ поэтъ въ одномъ изъ писемъ къ Гнѣдичу лѣтомъ 1809 года, и пояснялъ стихами Буало:

Deux nobles campagnards, grands lecteurs de romans,
Qui m'ont dit tout „Cyrus“ dans leurs longs compliments.

„Вотъ мои сосѣди! Прошу веселиться!... Къ кому здѣсь прибѣгнуть музѣ?“ говоритъ Батюшковъ въ томъ же письмѣ. — „Я съ тѣхъ поръ, какъ съ тобою разстался, никому даже и полустигшія, не только своего, но и чужаго, не прочиталъ!“ ³⁾

Воспитанный въ столицѣ, гдѣ онъ вращался въ самой образованной средѣ, нашъ поэтъ никакъ не умѣлъ примириться съ деревенскою обстановкой и скоро соскучился въ сельскомъ уединеніи. Съ наступленіемъ осени жизнь въ деревнѣ стала казаться ему чѣмъ-то въ родѣ единичнаго заключенія; уже въ сентябрѣ мѣсяцѣ онъ начинаетъ, въ письмахъ къ Гнѣдичу, жаловаться на овладѣвающее имъ уныніе. „Еслибъ ты зналъ“, пишетъ онъ своему другу, — что здѣсь время за вещь, что крылья его свинцовыя, что убить его не чѣмъ“ ⁴⁾; и въ другомъ письмѣ прибавляетъ: „Еслибъ ты зналъ, какъ мнѣ скучно! Я теперь-то чувствую, что дарованію нужно побужденіе и ободреніе; бѣда,

¹⁾ Соч., т. III, стр. 181 и др.

²⁾ Тамъ же, стр. 40, 45, 46 и др.

³⁾ Тамъ же, стр. 55—56.

⁴⁾ Тамъ же, стр. 42.

если самолюбіе заснетъ, а у меня вздремало. Я становлюсь въ тягость себѣ и ни къ чему не способенъ“ ¹⁾. Эти припадки умственной апатіи Батюшковъ объяснялъ въ себѣ „ранними несчастіями и опытностію“. Но двадцатидвухлѣтній молодой человѣкъ обладалъ, конечно, лишь скуднымъ запасомъ жизненнаго опыта, да и самыя несчастія его были не изъ числа тѣхъ непоправимыхъ житейскихъ неудачъ, которыя способны убить всякую энергію личности: избалованный въ юности нѣжною и просвѣщенною заботливостію дяди, Батюшковъ находилъ, что вся его будущность испорчена смертью этого человѣка въ ту пору, когда его питомецъ всего болѣе нуждался въ его попечительной поддержкѣ. Дѣло проще объясняется раздражительною впечатлительностію нашего поэта. Какъ бы отгѣнокъ каприза слышится въ новыхъ жалобахъ его въ одномъ изъ ноябрьскихъ писемъ: „Право, жить скучно; ничто не утѣшаетъ. Время летитъ то скоро, то тихо; зла болѣе, нежели добра; глупости болѣе, нежели ума; да чтó и въ умѣ?.. Въ домѣ у меня такъ тихо; собака дремлетъ у ногъ моихъ, глядя на огонь въ печкѣ; сестра въ другихъ комнатахъ перечитываетъ, я думаю, старыя письма... Я сто разъ бралъ книгу, и книга падала изъ рукъ. Мнѣ не грустно, не скучно, а чувствую что-то необыкновенное, какую-то душевную пустоту...“ ²⁾. Но даже еслибы мы хотѣли счесть эти слова выраженіемъ одного малодушія, мы не въ правѣ отказать въ сочувствіи тому, кто ихъ написалъ: они вылились изъ-подъ пера его съ полною искренностію минутнаго настроенія, и имъ предшествуетъ горькое восклицаніе, получившее роковой смыслъ въ устахъ поэта: „Если я проживу еще десять лѣтъ, то сойду съ ума!“

До какихъ сильныхъ потрясеній доводила Батюшкова, въ деревенскомъ одиночествѣ, его почти болѣзненная впечатли-

¹⁾ Соч., т. III, стр. 48.

²⁾ Тамъ же, 51—52.

тельность, свидѣтельствуешь слѣдующій его рассказъ въ одномъ изъ писемъ къ Гнѣдичу: „Недавно я читалъ Державина: „Описание Потемкинскаго праздника“. Тишина, безмолвіе ночи, сильное устремленіе мыслей, пораженное воображеніе, все это произвело чудесное дѣйствіе. Я вдругъ увидѣлъ предъ собою людей, толпу людей, свѣчки, апельсины, бриліанты, царицу, Потемкина, рыбъ и Богъ знаетъ чего не увидѣлъ: такъ былъ пораженъ мною прочитаннымъ. Внѣ себя побѣждалъ къ сестрѣ... „Что съ тобой?“... „Оно, они!“... „Перекрестись, голубчикъ!“ Тутъ-то я на силу опомнился“... ¹⁾). Но этотъ же характерный рассказъ свидѣтельствуешь и о томъ, что при всей тоскѣ, которую испытывалъ Батюшковъ вдали отъ людей своего петербургскаго круга, онъ и въ деревенской глуши не утрачивалъ нисколько тѣхъ интересовъ, которыми жилъ въ столицѣ. „Это описаніе сильно врѣзалось въ мою память!“ продолжаетъ онъ въ томъ же письмѣ. — „Какіе стихи! Прочитай, прочитай, Бога ради, со вниманіемъ: ничѣмъ никогда я такъ пораженъ не былъ!“ Оторванный отъ литературнаго міра, Батюшковъ и въ деревнѣ продолжалъ жить почти исключительно его жизнью: всѣ тогдашнія письма его къ Гнѣдичу наполнены вопросами о литературныхъ новостяхъ и собственными его замѣчаніями по этому предмету. Но что еще важнѣе, и чего, быть можетъ, нашъ поэтъ не хотѣлъ признавать въ періоды унынія, — удаленіе отъ разсѣяній столицы, отъ суеты и мелкихъ дразгъ литературныхъ кружковъ подѣйствовало благотворно на его развитіе и творчество. Въ одиночествѣ своемъ Батюшковъ, не смотря даже на посѣщавшія его болѣсти, отдался умственному труду съ бѣльшимъ постоянствомъ, чѣмъ было доселѣ; не въ чужомъ поощреніи, а въ самомъ себѣ нашелъ онъ теперь силу и охоту трудиться, и это внутреннее возбужденіе не замедлило оказать свое живительное дѣйствіе

¹⁾ Соч., т. III, стр. 53.

на его дарованія: образъ мыслей его пріобрѣтаетъ замѣтную опредѣленность, а творческая способность зрѣетъ почти до полноты своихъ силъ.

Въ деревнѣ у Батюшкова былъ кое-какой запасъ книгъ, которыя онъ очень усердно читалъ и перечитывалъ. Кругъ его чтенія по прежнему составляла главнымъ образомъ французская словесность XVII и XVIII столѣтій; кромѣ того, онъ имѣлъ подъ рукою, въ подлинникъ и переводѣ, нѣсколькихъ римскихъ поэтовъ—Горація, Тибулла и Виргилія, и главные произведенія Аріоста и Тасса. Напротивъ того, въ тогдашнихъ занятіяхъ Батюшкова не замѣтно никакихъ слѣдовъ знакомства съ германскою и англійскою словесностью. Такимъ образомъ, во всей этой умственной пищѣ преобладающее значеніе принадлежало очевидно свободомыслящимъ писателямъ такъ-называемой эпохи просвѣщенія. Изъ двухъ главныхъ теченій, послѣдовательно характеризующихъ умственное движеніе XVIII вѣка, страстный идеализмъ Руссо имѣлъ на Батюшкова менѣе вліянія, чѣмъ разсудочная философія Вольтера. „Чтеніе Вольтера менѣе развратило умовъ, нежели пламенные мечтанія и блестящіе софизмы Руссо: одинъ говоритъ безпрестанно уму, другой—сердцу; одинъ угождаетъ суетности и скоро утомляетъ остроуміемъ; другой никогда не можетъ наскучить, ибо всегда плѣняетъ, всегда убѣждаетъ или трогаетъ: онъ во сто разъ опаснѣе“. Такъ говорилъ Батюшковъ уже въ болѣе позднее время своей литературной дѣятельности, когда желалъ порвать свои умственные связи съ XVIII вѣкомъ ¹⁾, но и въ этомъ позднѣйшемъ отреченіи отъ прошлаго видна живая память прежнихъ сочувствій, сквозитъ тайная симпатія къ Вольтеру. Гораздо замѣтнѣе сказывается она въ нашемъ поэтѣ въ болѣе молодые его годы, въ ту пору, когда—по собственнымъ его словамъ—онъ почувствовалъ необходимость „принять свѣтильникъ мудрости—той или другой школы“.

¹⁾ Соч., т. II, стр. 128.

Въ то время, когда складывались убѣжденія Батюшкова, умы были еще подъ живымъ впечатлѣніемъ ужасовъ французской революціи; ставя въ связь съ ея грознымъ развитіемъ „пламенные мечтанія Руссо“, Батюшковъ могъ отшатнуться отъ отъ сихъ послѣднихъ, между тѣмъ какъ Вольтеръ, казалось ему, своимъ здравомысліемъ давалъ болѣе вѣрную мѣрку для отношеній къ дѣйствительности и къ основнымъ задачамъ человѣческаго мышленія. Такимъ образомъ, Батюшковъ сталъ поклонникомъ Вольтера, хотя и не сдѣлался настоящимъ „вольтеріанцемъ“ въ томъ смыслѣ, въ какомъ понималось это слово у насъ въ старину, въ смыслѣ рѣзкаго отрицанія въ сферѣ религіозной. Замѣтимъ при этомъ, что Вольтеръ, которому поклонялся Батюшковъ, былъ не совсѣмъ настоящимъ, съ его достоинствами и недостатками, а тотъ легендарный, такъ-сказать, Фернейскій мудрецъ, который болѣе полувѣка восхищалъ собою Европу. Уже давно стоустая молва и всемірная слава идеализировали его личность, а уровень общественнаго пониманія сдѣлалъ выборъ между его сочиненіями, превознося одни, болѣе общедоступныя, и не понимая, не цѣня другихъ, болѣе глубокихъ по своему смыслу. И Батюшкову, конечно, не были знакомы въ своей полнотѣ всѣ сочиненія Вольтера; въ общей оцѣнкѣ ихъ онъ подчинялся господствовавшимъ мнѣніямъ; но тѣ произведенія Вольтера, которыя пользовались наибольшою популярностью, принадлежавшія преимущественно къ области изящной словесности, онъ зналъ хорошо; онъ часто приводитъ цитаты изъ нихъ, любитъ остроуміемъ ихъ автора, восхищается мѣткостью его сужденій, выражаетъ негодованіе противъ его враговъ и критиковъ, вообще относится къ нему, какъ къ непревѣжаемому авторитету. Но все это только внѣшняя сторона дѣла. Важнѣе то, что въ образѣ мыслей Батюшкова, какъ онъ сложился къ 1809 году и какимъ оставался до Отечественной войны и паденія Наполеонова владычества, дѣйствительно видно внутреннее вліяніе тѣхъ идей, которыя Воль-

теръ проповѣдывалъ съ такою настойчивостью и съ такимъ талантомъ.

Сочиненія Фернейскаго мудреца подѣйствовали на нашего поэта главнымъ образомъ своею культурною силой; на нихъ воспиталась въ Батюшковѣ глубокая любовь къ просвѣщенію и неразрывно связанной съ нею свободѣ мысли; изъ нихъ почерпнулъ онъ уваженіе къ достоинству человѣка, къ благородному умственному труду и къ званію писателя, отвращеніе отъ педантизма, помрачающаго умъ и ожесточающаго сердце; они же внушили ему общую гуманность понятій и терпимость къ чужимъ убѣжденіямъ. Вмѣстѣ съ этими истинами, которыя составляютъ основныя и вѣчныя начала образованности, Батюшковъ позаимствовалъ у Вольтера и такія идеи, въ которыхъ послѣдній является только сыномъ своего вѣка. Вслѣдъ за Вольтеромъ (и Кондильякомъ) Батюшковъ высказываетъ сенсуалистическія понятія о неразрывности души отъ тѣла; подъ его вліяніемъ берется онъ за чтеніе Локка и вооружается противъ метафизики, которую и Вольтеръ любилъ сводить къ морали ¹⁾. Наконецъ, и религіозныя идеи Вольтера отразились на Батюшковѣ. Противникъ положительной религіи, Вольтеръ оставался однако деистомъ и защищалъ идею Божества противъ Гольбаха. Батюшковъ, безъ сомнѣнія, зналъ эти возраженія Вольтера противъ атеизма; когда онъ прочелъ Гольбахову „Систему природы“, онъ въ слѣдующихъ словахъ высказалъ Гнѣдичу свое впечатлѣніе: „Сочинитель въ концѣ книги, разрушивъ все, смѣшавъ все, призываетъ природу и дѣлаетъ ее всему началомъ... Не возможно никому отвергнуть и не познать какое-либо начало; назови его, какъ хочешь, все одно; но оно существуетъ, то-есть, существуетъ Богъ“ ²⁾.

Само собою разумѣется, что сочиненія Вольтера должны

¹⁾ Соч., т. III, стр. 49, 52, 56, 136.

²⁾ Тамъ же, стр. 57.

Они оказали влияние на Батюшкова и в собственно литературном смысле. Умъ Вольтера, столь смелый в вопросах религии и политики, оказался очень робким в сферах искусства: в делах литературной критики авторъ „Генриады“ не вышел изъ рамок псевдоклассицизма. Впрочем на Батюшкова онъ повлиялъ не столько какъ теоретикъ, а скорѣе какъ поэтъ, особенно какъ лирикъ. Но в этомъ случаѣ отношеніе къ нему нашего автора необходимо разсматривать въ связи съ другими литературными влияніями, испытанными Батюшковымъ, къ чему мы теперь и переходимъ.

Мы уже видѣли, что Батюшковъ съ рѣдкимъ тактомъ и очень рано опредѣлилъ свойство и родъ своего дарованія. Въ этомъ случаѣ онъ обнаружилъ такое же вѣрное чутье, какъ и Жуковский. Какъ для послѣдняго лиро-эпическая форма баллады сдѣлалась любимой формою творчества, такъ Батюшковъ сосредоточился на тѣхъ родахъ лирики, которые служатъ поэтическимъ выраженіемъ интимнаго чувства и облекаются въ форму иногда элегіи, но чаще антологическаго стихотворенія. Мы съ намѣреніемъ употребляемъ это послѣднее выраженіе, не имѣющее вполне точнаго терминологическаго значенія: піесы Батюшкова, всего искреннѣе вылившіяся изъ его души, всего ярче характеризующія его талантъ, съ трудомъ могутъ быть подведены подъ видовыя опредѣленія; но и по внутреннему чувству, которымъ вызваны, и по художественнымъ цѣлямъ автора онѣ вообще удобно входятъ въ ту рубрику „антологическихъ стихотвореній“, которую Французы издавна привыкли называть *poésies fugitives*, а нашъ поэтъ называлъ произведеніями „легкой поэзіи“. Терминъ этотъ, положимъ, неудаченъ, но смыслъ его достаточно ясенъ и вѣрно соотвѣтствуетъ характеру творчества Батюшкова.

Антологическій родъ въ то время былъ мало разработанъ въ русской литературѣ; поэтому за образцами Батюшковъ долженъ былъ обращаться въ другія литературы, болѣе зрѣлыя.

Такъ онъ и дѣлалъ; и нужно сказать, онъ любилъ свѣрять свое вдохновеніе съ чужимъ; нерѣдко бралъ онъ у того или другаго поэта ту или иную черту и усваивалъ ее своему произведенію; онъ самъ говоритъ объ этомъ въ своихъ письмахъ ¹⁾, и притомъ какъ о дѣлѣ художественнаго выбора, а не простаго заимствованія. Таковъ былъ старый литературный обычай, быть можетъ, завѣщанный молодому поэту Муравьевымъ, и если обычай этотъ стѣснялъ иногда свободные порывы творчества, за то служилъ къ выработкѣ точности въ поэтической рѣчи. Батюшковъ любилъ говорить, что онъ не отдѣливаетъ своихъ стиховъ ²⁾; но это не вѣрно: за недостаткомъ черновыхъ, которыхъ не сохранилось, сличеніе его стихотвореній по нѣсколькимъ редакціямъ, послѣдовательно явившимся въ печати, доказываетъ, что почти каждая піеса его подвергалась неоднократно переработкѣ, и этотъ внимательный трудъ составляетъ одну изъ главныхъ заслугъ нашего поэта въ общемъ развитіи русской литературы: Батюшковъ, на ряду съ Жуковскимъ, долженъ быть признанъ однимъ изъ главныхъ строителей нашей поэтической рѣчи; въ этомъ именно смыслѣ ихъ обоихъ называлъ своими учителями великій Пушкинъ.

Для антологическихъ стихотвореній Батюшковъ избралъ себѣ образцами, съ одной стороны—Горація и Тибулла, съ другой—Вольтера и Парни. Но отношенія его къ этимъ образцамъ были неодинаковы; они различались сообразно свойству оригиналовъ.

Высокое мнѣніе о талантѣ Вольтера, какъ антологическаго поэта, было внушено Батюшкову, безъ сомнѣнія, еще Муравьевымъ. Вотъ чтò читаемъ мы у послѣдняго въ „Эмилиевыхъ письмахъ“: „Наслѣдникъ Ниноны, очистившій остроуміе свое въ школѣ хорошаго вкуса, въ обхожденіи знатнѣйшихъ особъ

¹⁾ Соч., т. III, стр. 99, 114 и др.

²⁾ Тамъ же, стр. 187.

своего времени, удивилъ ожиданіе общества великими твореніями, которыя поставили его подлѣ Корнеля и Расина. Величественъ, иногда возвышаетъ онъ глубокую мысль сіяніемъ выраженія, иногда послѣдуетъ своенравію грацій:

Онъ въ отрочествѣ былъ угодникомъ Нинонѣ,
Къ Виргилію въ двадцать лѣтъ въ сообщество спѣшилъ,
Во зрѣломъ мужествѣ Софокловъ путь свершилъ;
У старца богъ любви поконился на лонѣ.

Дорать.

„Сія легкія или убѣгающія стихотворенія (*pièces fugitives*), если можно занять сіе слово, не стоили ему минуты размысленія. Первая мысль, которая представлялась уму его, принимала безъ принужденія извѣстныя формы, и тонкая шутка становилась учтивымъ привѣтствіемъ. Дружескія посланія, сказочки, эпиграммы, все, чѣмъ забавлялся пѣвецъ Генриха IV, дышало свободою и не было обезображено слѣдами неблагоприятнаго труда. Его образъ писанія сдѣлался образцомъ и отчаяніемъ послѣдователей“¹⁾. Нѣкоторые замѣчанія Батюшкова въ рѣчи „о легкой поэзіи“ живо напоминаютъ эти строки: видно, что понятія о ней сложились у Батюшкова именно по типу произведеній Вольтера въ этомъ родѣ. У него же могъ онъ найти и теоретическія разсужденія о томъ же предметѣ. Естественно, что въ собственныхъ своихъ антологическихъ піесахъ нашъ поэтъ старался уловить и воспроизвести непринужденную, игривую манеру французскаго автора, и это удавалось ему не только въ эпиграммахъ и надписяхъ, но и въ другихъ мелкихъ стихотвореніяхъ, каковы: „На смерть Пнина“, „Къ Семеновой“, „Къ Машѣ“, „На смерть Даниловой“ и т. п. Но кромѣ оригинальныхъ *pièces fugitives*, у Вольтера есть нѣсколько опытовъ подражанія античнымъ поѣтамъ; подражанія эти, хотя и далекія отъ подлинниковъ, служатъ доказательствомъ тому, что Вольтеръ,

¹⁾ Полн. собр. соч. Муравьева, т. I, стр. 191—192.

не смотря на свои псевдоклассическіе предрасудки, способенъ былъ возвыситься до дѣйствительнаго пониманія тонкихъ красотъ поэзіи, очень далекой отъ той среды, гдѣ онъ воспитался и жилъ; онъ былъ большимъ поклонникомъ Горація и восхищался изяществомъ эпиграммъ греческой Антологіи. Эта сторона Вольтерова таланта и вкуса также не ускользнула отъ вниманія Батюшкова: она навела его на первое знакомство съ Антологіей, и первая піеса, заимствованная изъ нея нашимъ поэтомъ, была переведена съ переложенія Вольтера. Наконецъ, можно предположить, что и попытка воспроизвести въ стихахъ библейскую „Пѣснь Пѣсней“ предпринята была имъ также по образцу Вольтера, у котораго есть такой же опытъ; но переложеніе Батюшкова не сохранилось и извѣстно только по упоминаніямъ о немъ въ письмахъ ¹⁾).

Итакъ, Вольтеръ, какъ антологическій поэтъ, далъ въ значительной мѣрѣ тонъ поэзіи Батюшкова. Въ томъ же смыслѣ повліялъ на нее и Горацій. По вѣрному замѣчанію Вине, есть много общаго между Гораціемъ и Вольтеромъ, какъ лирикомъ: основа ихъ міросозерцанія—одна и та же, умѣренный эпикуреизмъ; у обоихъ много изящной и остроумной непринужденности, даже небрежности, никогда однако не переходящей въ пошлость; слогъ Горація выработанный, за то слогъ Вольтера болѣе блестящій, и притомъ у французскаго поэта звучитъ иногда струна чувствительности, которой нѣтъ у Горація ²⁾). При такихъ условіяхъ знакомство съ Гораціемъ должно было отразиться на Батюшковѣ тѣми же результатами, что и изученіе Вольтера, то-есть, посильнымъ усвоеніемъ изящной художественной формы гораціанской оды и въ частности заимствованіемъ изъ нея нѣкоторыхъ образовъ и картинъ. Ярче всего подражаніе Горацію замѣтно въ одной изъ раннихъ піесъ Ба-

¹⁾ Соч., т. III, стр. 104.

²⁾ Vinet. Histoire de la littérature française au XVIII siècle, t. II, p. 52.

тюшкова: „Совѣтъ друзьямъ“, проникнутой чисто гораціанскимъ эпикуреизмомъ. Этотъ гимнъ тихому, беззаботному веселью сложенъ нашимъ поэтомъ въ ту пору его жизни, когда она не была еще омрачена никакими неудачами, и къ той же темѣ онъ возвратился въ піесѣ „Веселый часъ“ нѣсколько позже, когда душевное спокойствіе снова посѣтило его на короткое время.

Если въ отношеніяхъ Батюшкова къ Вольтеру и къ Горацию замѣчается стремленіе усвоить не только форму, но отчасти и содержаніе ихъ лирики, то еще болѣе видно это въ томъ, какъ нашъ поэтъ воспринялъ въ себя вліяніе Тибулла и Парни, двухъ писателей, дарованіе которыхъ очень сродно его собственному.

Небольшой сборникъ стихотвореній, помѣченныхъ именемъ Тибулла, составляетъ одно изъ лучшихъ украшеній римской литературы. Тибуллъ — поэтъ глубоко искренній и вмѣстѣ съ тѣмъ великій художникъ. Обычная тема его элегій — любовь, но какое разнообразіе настроеній, какую роскошь красокъ, какое обиліе оттѣнковъ умѣетъ онъ найти для изображенія этого чувства! Въ его стихахъ слышатся всѣ переливы сердечнаго недуга — первыя робкія проявленія заражающаго чувства, надежда и страхъ, радость и горе, спокойствіе любви удовлетворенной и затѣмъ случайно пробудившіяся тревоги сомнѣній и жестокія мученія ревности, слѣдствіе очевидной измѣны. Всѣ эти разнообразныя состоянія любящей души поэтъ рисуетъ яркими, но тонкими чертами, и притомъ безъ всякой изысканности, съ неподдѣльною простотой. Стройное сочетаніе естественности и задушевности съ художественностью формы дѣлаетъ поэзію Тибулла легко доступною для читателя, даже мало знакомаго съ древностью. Это обстоятельство доставило ему прочный успѣхъ въ новыхъ литературахъ и привлекло къ нему вниманіе множества переводчиковъ. Современная критика признаетъ однако, что въ четырехъ книгахъ стихотвореній, при-

писываемых Тибуллу, не все действительно принадлежить этому поэту ¹⁾. Но въ старину объ этомъ не думали и вѣрили преданію на слово. Такъ и Батюшковъ выбралъ для перваго перевода своего изъ Тибулла элегію, принадлежность которой ему весьма сомнительна; но выборъ нашего поэта объясняется личнымъ его настроеніемъ. Въ то время самъ онъ еще носилъ въ сердцѣ глубокое чувство, но находился далеко отъ любимой имъ женщины и, не смотря на встрѣченную имъ взаимность, не могъ быть увѣренъ въ ея прочности. „Гдѣ истинная любовь?“ писалъ онъ въ ту пору Гнѣдичу. — „Нѣтъ ея! Я вѣрю одной вздыхательной, петраркизму, то-есть, живущей въ душѣ поэтовъ, и болѣе никакой“ ²⁾. Въ этой-то душевной истомѣ Батюшковъ принялся переводить элегію, гдѣ поэтъ изображаетъ свои сердечныя страданія въ разлукѣ съ любимой женщиной, говорить, что не сталъ бы дорожить всѣми благами, лишь бы быть всегда съ нею, что безъ нея счастье для него не возможно, и заключаетъ призывомъ къ смерти, если ему не суждено обладать предметомъ своей страсти. Принадлежность именно этой элегіи (кн. III, эл. 3) Тибуллу отвергается современною критикой весьма основательно; но, какъ мы уже сказали, подобныя сомнѣнія не существовали для Батюшкова; поэтому въ своемъ переводѣ, вмѣсто находящагося въ подлинникѣ имени Нееры, онъ смѣло поставилъ имя Деліи, действительно воспѣтой Тибулломъ во многихъ стихотвореніяхъ (несомнѣнно ему принадлежащихъ), и главное—въ замѣнъ нѣкоторой разстѣнутости и риторичности оригинала придавъ своему свободному переложенію сжатость и тотъ оттѣнокъ мечтательнаго чувства, котораго нѣтъ въ латинскомъ псевдо-тибулловомъ стихотвореніи, но которымъ отличаются настоящія элегіи римскаго лирика, действительно вышед-

¹⁾ Teuffel. Studien und Charakteristiken zur Griechischen und Römischen so wie Deutschen Litteraturgeschichte. Leipzig. 1871, стр. 372—378.

²⁾ Соч., т. III, стр. 46.

шія изъ-подъ его пера. Это доказываетъ, что Батюшковъ своимъ художническимъ чутьемъ, не смотря на слабость филологической подготовки, вѣрно угадалъ отличительный характеръ поэзіи Тибулла — „сладкую задумчивость, истинный признакъ чувствительной и нѣжной души“ ¹⁾—и сумѣлъ найти надлежащіе оттѣнки рѣчи для выраженія такого настроенія въ своихъ стихахъ.

Другой любимый образецъ Батюшкова, Парни, считался въ свое время обновителемъ интимной лирики въ родной ему литературѣ. При первомъ появленіи его любовныхъ элегій близкій уже къ смерти Вольтеръ назвалъ молодого автора французскимъ Тибулломъ, а другіе цѣнители провозгласили, что Парни внесъ простоту и искренность чувства въ поэтическую область, въ которой до него господствовала изысканность, манерность, и ловко сложенный комплиментъ замѣнялъ настоящее вдохновеніе. Въ самомъ дѣлѣ, крупный поэтический талантъ Парни не можетъ подлежать сомнѣнію. Въ своихъ элегіяхъ онъ, подобно Тибуллу, далъ цѣлую поэмую о дѣйствительно пережитой имъ пламенной страсти; но при одинаковой правдивости въ передачѣ своихъ ощущеній, онъ, конечно, уступаетъ римскому лирику въ тонкости психологическаго наблюденія, въ умѣнны изображать различныя настроенія любящей души. Нравственная распущенность той среды, въ которой онъ вращался, и ходячія идеи свѣтскаго эпикурейства не могли не оставить на немъ своего слѣда: чувственный порывъ нерѣдко замѣняетъ у него болѣе идеальное чувство. Но за то въ произведеніяхъ его много воображенія, и стихъ живаго блещетъ яркою изобразительностью. Этою-то лучшею стороною своего таланта Парни преимущественно и повліялъ на Батюшкова. Правда, и у нашего

¹⁾ Слова эти сказаны Батюшковымъ собственно о М. Н. Муравьевѣ, но тамъ именно, гдѣ онъ сравниваетъ его съ Тибулломъ (Соч., т. II, стр. 90—91); прямо къ этому послѣднему почти тѣ же слова примѣнены въ т. II, стр. 161.

поэта встрѣчаются иногда образы и картины съ оттѣнкомъ чувственности; но мы не имѣемъ права видѣть здѣсь вліяніе одного Парни—это скорѣе общій характеръ эротической лирики; напротивъ того, когда Батюшковъ переводилъ французскаго поэта или, что чаще, только подражалъ ему, онъ обыкновенно смягчалъ слишкомъ чувственный характеръ его образовъ, сохраняя въ то же время ихъ грацію и изящество. Родство поэзіи Батюшкова съ поэзіей Парни было замѣчено еще современниками, между прочимъ—Карамзинымъ; но это родовое сходство не слѣдуетъ преувеличивать: дарованіе Парни словно замерло послѣ того, какъ онъ написалъ свои знаменитыя элегіи; талантъ Батюшкова развивался непрерывно.

Мы уже имѣли случай воспользоваться для біографіи Константина Николаевича тѣми его стихотвореніями, которыя были имъ написаны въ 1809 году, и мы должны были ими воспользоваться, потому что въ ихъ поэтическомъ отраженіи правдиво сказались пережитыя имъ впечатлѣнія боевыхъ тревогъ и волненій любви. Въмѣстѣ съ указанными образцами, эти глубокія впечатлѣнія довершили воспитаніе его таланта: поэтъ нашелъ свойственную ему форму въ то время, когда жизнь дала его творчеству содержаніе. Мало того: онъ вполне овладѣлъ этою формой; отнынѣ мы имѣемъ дѣло уже не съ начинающимъ стихотворцемъ, который испытываетъ свои силы, а съ художникомъ, который свободно распоряжается своимъ дарованіемъ и лишь продолжаетъ разрабатывать свое мастерство, свое умѣнье творить.

Какъ ни тяжело было для Батюшкова деревенское уединеніе, но сознаніе успѣха, достигнутаго имъ теперь въ разработкѣ своего таланта, должно было укрѣпить его нравственно. Вдали отъ чужихъ сужденій онъ яснѣе сознаетъ и свое собственное призваніе какъ писателя, и свои отношенія къ господствующимъ въ литературѣ направленіямъ. Мы видѣли, что, еще живя въ Петербургѣ, онъ не мирился ни съ грубымъ вкусомъ

363421

тамошнихъ литераторовъ, ни съ ихъ предубѣжденіями, ни съ тенденціознымъ стремленіемъ остановить развитіе литературы. Теперь полемика между двумя литературными поколѣніями, вызванная книгой Шишкова о старомъ и новомъ слогѣ, получаетъ для него болѣе глубокое значеніе. Сторонники Шишкова, защищая старый слогъ и старыхъ писателей, выдвинули вопросъ о національности въ литературѣ. Но въ неумѣлыхъ и невѣжественныхъ рукахъ справедливая идея получила смѣшной и нелѣпый видъ. Понятно поэтому, что мысль Батюшкова могла уклониться въ противоположную крайность: онъ взглянулъ съ отрицательной точки зрѣнія на русскую жизнь, на русскую исторію, на самую возможность самобытнаго развитія. „Нѣтъ!“ пишетъ онъ Гнѣдичу, — „не возможно читать русской исторіи хладнокровно, то-есть, съ разсужденіемъ. Я сто разъ принимался: все напрасно. Она дѣлается интересною только со временъ Петра Великаго. Подивись, подивимся мелкимъ людямъ, которые роются въ этой пыли. Читай римскую, читай греческую исторію, и сердце чувствуетъ, и разумъ находитъ пищу. Читай исторію среднихъ вѣковъ, читай басни, ложь, невѣжество нашихъ праотцовъ, читай набѣги Половцевъ, Татаръ, Литвы и проч., и если книга не выпадетъ изъ рукъ твоихъ, то я скажу: или ты великій, или мелкій человѣкъ! Нѣтъ середины! Великій, ибо видишь, чувствуешь то, чего я не вижу; мелкій, ибо занимаешься пустяками“. Запальчивыя слова и сказанныя слишкомъ легкомысленно и поспѣшно; но самая ихъ запальчивость свидѣтельствуетъ объ искреннемъ въ данную минуту убѣжденіи говорящаго, хотя у него и нѣтъ твердыхъ основаній для такого сужденія. Батюшковъ продолжаетъ: „Еще два слова: любить отечество должно. Кто не любитъ его, тотъ извергъ. Но можно ли любить невѣжество? Можно ли любить нравы, обычаи, отъ которыхъ мы отдалены вѣками, и что еще болѣе — цѣлымъ вѣкомъ просвѣщенія? Зачѣмъ же эти усердные маратели въхваляютъ все старое! Я умѣю разрѣшить эту задачу, знаю,



что и ты умѣешь, — и такъ, ни слова. Но повѣрь мнѣ, что эти патріоты, жалкіе декламаторы, не любятъ или не умѣютъ любить Русской земли. Имѣю право сказать это, и всякій пусть скажетъ, кто добровольно хотѣлъ принести жизнь на жертву отечеству...“¹⁾ Эти послѣднія замѣчанія уже значительно умѣряютъ рѣзкій смыслъ первой тирады. Очевидно, Батюшковъ вооружается не противъ любви къ отечеству, даже не противъ націонализма, а противъ того археологическаго отчизнолюбія, наивнаго у однихъ и поддѣльнаго у другихъ, которое само не умѣло объяснить что есть хорошаго въ прославляемой имъ старинѣ. Эта общая смутность понятій — неизбежное впрочемъ слѣдствіе подражательнаго направленія XVIII вѣка — смутность, которую могло разсѣять только время, и въ которую яркій лучъ свѣта бросилъ великій трудъ Карамзина, исподволь въ тиши подготавливаемый, — достаточно объясняетъ горячую филиппику Батюшкова противъ тупыхъ литературныхъ старовѣровъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, снимаетъ съ него обвиненіе въ сознательномъ отчужденіи отъ своей народности. Но существенно важно для характеристики нашего поэта то, что онъ скоро и ясно понялъ весь объемъ вопроса, составлявшаго предметъ полемики, понялъ, что споръ шелъ не о слогѣ только, а о цѣломъ строѣ идей. Дальнѣйшая литературная жизнь Батюшкова показываетъ, что онъ умѣлъ стать на достаточную высоту, чтобъ участвовать въ успѣшномъ рѣшеніи этого спора.

Впрочемъ, и въ первомъ пылу увлеченія нашъ поэтъ уже обнаруживаетъ наклонность вмѣшаться въ полемику. При всей мягкости его натуры, въ немъ была сатирическая жилка, было много остроумія: рядомъ съ критическими замѣтками на произведенія старой литературной школы, которыя онъ сообщаетъ въ своихъ письмахъ къ Гнѣдичу, онъ пишетъ на нихъ колкія

¹⁾ Соч., т. III, стр. 56—58.

эпиграммы для печати и затѣмъ сочиняетъ большое сатирическое стихотвореніе, гдѣ опять выводитъ въ каррикатурномъ видѣ представителей дурнаго вкуса въ литературѣ. Это — „Видѣніе на берегахъ Леты“, въ свое время надѣлавшее много шума въ литературныхъ кружкахъ. Батюшковъ писалъ эту вещь съ самымъ наивнымъ увлеченіемъ, и потому, отправивъ списокъ сатиры къ Гнѣдичу, живо интересовался, какое впечатлѣніе произвела эта шутка въ Петербургѣ. „Каковъ Глинка? Каковъ Крыловъ?“ спрашиваетъ онъ своего пріятеля въ одномъ изъ писемъ; — „это живые портреты, по крайней мѣрѣ мнѣ такъ кажется“ ¹⁾. Батюшковъ не придавалъ однако большаго значенія своей шуткѣ: „Этакіе стихи слишкомъ легко писать, и чести большой не приносятъ“, замѣчаетъ онъ въ другомъ письмѣ ²⁾. Вѣрный тактъ подсказывалъ ему, что талантъ его выше подобныхъ мелочей.

Посылая въ Петербургъ свои сатирическія шалости, Константинъ Николаевичъ придерживалъ до времени въ своихъ рукахъ тѣ болѣе значительныя свои произведенія, которыя были имъ написаны въ деревнѣ. При всей дружбѣ къ Гнѣдичу, онъ, кажется, не вполнѣ довѣрялъ его эстетическому пониманію и часто возражалъ на тѣ совѣты, которыми Гнѣдичъ желалъ руководить его литературныя занятія. А между тѣмъ одиночество все болѣе и болѣе тяготило его; потребность общества, обмѣна мыслей съ просвѣщенными людьми росла все сильнѣе. Такъ мало по малу созрѣло въ Батюшковѣ убѣжденіе, что хоронить себя въ деревнѣ ему не слѣдуетъ. „Съ моею дѣятельностью и лѣтностью“, писалъ онъ все тому же петербургскому пріятелю, — „я буду совершенно несчастливъ въ деревнѣ и въ Москвѣ, и вездѣ. Служилъ всегда честно: это засвидѣтельствуетъ тебѣ совѣсть моя. Служилъ несчастливо: ты самъ знаешь; служилъ

¹⁾ Соч., т. III, стр. 61.

²⁾ Тамъ же, стр. 55.

изъ креста, и того не получилъ, и упустилъ все, даже время, невозвратное время!“¹⁾ И такъ, обиженный своими служебными неудачами, Батюшковъ рѣшилъ оставить военную карьеру и проложить себѣ путь къ дипломатической службѣ: „Гнѣть не могу и не хочу нигдѣ, а желаю, если возможно, быть посланъ въ миссію; поговори объ этомъ съ людьми умными: нѣтъ ли способа?“²⁾ Давая это порученіе Гнѣдичу, Батюшковъ думалъ прибѣгнуть къ содѣйствию и другихъ лицъ. Онъ надѣялся сдѣлаться извѣстнымъ великой княгинѣ Екатеринѣ Павловнѣ чрезъ гофмейстера ея князя И. А. Гагарина, представить ей, какъ любительницѣ литературы, свой переводъ первой пѣсни „Освобожденнаго Іерусалима“ и на этомъ основаніи просить ея ходатайства для опредѣленія въ иностранную коллегію³⁾. Наконецъ, въ случаѣ неудачи, весьма возможной, онъ составилъ и другой планъ—просто ѣхать за границу, хотя бы это и разстроило его состояніе⁴⁾. Какъ бы то ни было, но приступить къ осуществленію этихъ намѣреній можно было только выѣхавъ изъ деревни. Какъ разъ въ это время пришло письмо отъ Е. О. Муравьевой съ приглашеніемъ Константину Николаевичу пріѣхать къ ней въ Москву. Это какъ нельзя болѣе отвѣчало его желаніямъ. 25-го декабря Батюшковъ былъ уже на Никитской, въ приходѣ Егорья на Вспольѣ.

¹⁾ Соч., т. III, стр. 50.

²⁾ Тамъ же, стр. 49.

³⁾ Тамъ же, стр. 72. Изъ упомянутаго перевода сохранился только отрывокъ.

⁴⁾ Тамъ же, стр. 50—51.

V.

Пребываніе Батюшкова въ Москвѣ въ первой половинѣ 1810 года.—Впечатлѣнія Москвы.—Свиданіе съ И. А. Петинимъ.—Отношенія къ московскимъ литераторамъ.—Знакомство съ В. Л. Пушкинымъ, В. А. Жуковскимъ, кн. П. А. Вяземскимъ и Н. М. Карамзинимъ.—Пребываніе Батюшкова въ с. Остафьевѣ лѣтомъ 1816 года.

„Я пріѣхалъ сюда въ Рождество и живу у Катерины Ѳеодоровны, которая не хочетъ, чтобъ я жилъ одинъ. Поэтому можешь разсудить, любезная сестрица, любить ли она меня; поэтому можешь разсудить, люблю ли я ее, я, который растворяю настежь обѣ двери сердца моего, когда дѣло идетъ до.... любви, напримѣръ“ ¹⁾. Такъ писалъ Батюшковъ Александрѣ Николаевичу въ первомъ своемъ письмѣ изъ Москвы. Если не ошибаемся, это было первое свиданіе Константина Николаевича съ Е. Ѳ. Муравьевою послѣ того, какъ она овдовѣла. Ей, конечно, было больно, что Батюшковъ не пріѣхалъ въ Петербургъ по ея вызову лѣтомъ 1807 года, во время предсмертной болѣзни Михаила Никитича; но Муравьевъ умирая поручалъ Батюшкова попеченіямъ своей жены ²⁾, и достойнѣйшая Екатерина Ѳеодоровна сочла исполненіе его завѣта своимъ священнымъ долгомъ. Она слѣдила за молодымъ своимъ родственникомъ и писала ему еще во время финляндскаго похода ³⁾. Теперь же, когда Батюшковъ задумалъ оставить военную службу и не зналъ самъ, какъ устроится его судьба, она оказала ему истинно родственное вниманіе и участіе. Съ этихъ поръ между ними установились такія отношенія, въ которыхъ на долю Екатерины Ѳеодоровны выпало замѣнить Константину Николаевичу родную мать.

¹⁾ Соч., т. III, стр. 71.

²⁾ Тамъ же, стр. 341.

³⁾ Тамъ же, стр. 20, 31.

Муравьева переселилась въ Москву, чтобы дать своимъ сыновьямъ образованіе въ университетѣ, котораго ея мужъ былъ столь заботливымъ попечителемъ. Въ 1810 году, при старшемъ ихъ сынѣ, умномъ и даровитомъ Никитѣ Михайловичѣ (ему было тогда 14 лѣтъ), находился воспитателемъ Швейцарецъ Петра, по свидѣтельству Батюшкова, добрый и честный человѣкъ, внушившій горячее расположеніе къ себѣ своему питомцу ¹⁾. Домъ Муравьевой посѣщали между прочимъ нѣкоторые изъ московскихъ профессоровъ и вообще лицъ учебнаго вѣдомства, пользовавшіеся расположеніемъ покойнаго Михаила Никитича, въ особенности умный и дѣловитый П. М. Дружининъ, директоръ училищъ Московской губерніи, нѣкоторое время преподававшій естественную исторію въ университетѣ, и извѣстный врачъ, питомецъ масоновъ, М. Я. Мудровъ. Кажется, что и профессоръ Буле, отличный знатокъ древнихъ языковъ и исторіи искусства, бывшій главнымъ сотрудникомъ М. Н. Муравьева по упроченію классическихъ студій въ Московскомъ университетѣ, также бывалъ у Екатерины Ѳедоровны; старшій сынъ ея готовился въ то время къ поступленію въ университетъ и обучался древнимъ языкамъ, если не ошибаемся, у Буле и его ученика Н. Ѳ. Кошанскаго ²⁾. Въ домѣ же Муравьевой Константинъ Николаевичъ встрѣтился съ родственникомъ и другомъ ея мужа, И. М. Муравьевымъ-Апостоломъ, котораго въ юности знавалъ въ Петербургѣ; это былъ одинъ изъ самыхъ умныхъ и просвѣщенныхъ людей своего

¹⁾ Соч., т. III, стр. 180, 186. Здѣсь кстати замѣтить, что извѣстіе Вигеля, будто революціонныя идеи были внушены Никитѣ Михайловичу его воспитателемъ Магьеромъ (Воспоминанія, ч. IV, стр. 40—41 и 131—132), крайне сомнительно. Изъ писемъ Батюшкова видно, что Петра оставался въ домѣ Муравьевыхъ до самой смерти своей въ апрѣлѣ 1812 года, а въ августѣ того же года Вигель видѣлъ Магьера въ Пензѣ. Когда же успѣлъ этотъ Магьеръ быть наставникомъ Н. М. Муравьева?

²⁾ О знакомствѣ Н. М. Муравьева съ древними языками упоминаетъ и Батюшковъ (Соч., т. III, стр. 515).

времени. Наконецъ, своимъ человѣкомъ въ томъ же домѣ былъ Карамзинъ; онъ называлъ Екатерину Ѳедоровну „истинною женой Михаила Никитича“ и считалъ ее „за свою родную“¹⁾; въ 1809 году, не смотря на свои историческія работы, онъ согласился взять на себя наблюденіе за изданіемъ нѣкоторыхъ сочиненій ея мужа, которое и появилось въ Москвѣ въ началѣ 1810 года²⁾. Но Карамзинъ былъ въ то время отчаянно боленъ, и Батюшковъ не скоро могъ съ нимъ познакомиться³⁾.

Итакъ, уже въ домѣ Муравьевой Батюшковъ нашелъ образованное общество, отсутствіе котораго столь тяготило его въ деревнѣ; но вскорѣ по пріѣздѣ въ Москву у него составилось обширное знакомство и внѣ семейнаго круга.

Быть можетъ, въ дѣтствѣ Батюшкову случилось быть въ Москвѣ; но взрослымъ онъ впервые посѣтилъ ее теперь, и древняя столица произвела на него сильное впечатлѣніе. Онъ задумалъ сейчасъ же дать о томъ отчетъ Гнѣдичу⁴⁾; но это намѣреніе нашего поэта постигла участь весьма многихъ обширныхъ предпріятій: оно не было приведено въ исполненіе, и памятникомъ его остался лишь небольшой отрывокъ, очень впрочемъ любопытный во многихъ отношеніяхъ⁵⁾.

Москва поразила Батюшкова и внѣшнимъ видомъ своимъ, и характеромъ своего населенія. Въ допожарной Москвѣ памятники древности сохранялись еще въ большемъ количествѣ, чѣмъ сколько ихъ уцѣлило послѣ нашествія Французовъ. Образованіемъ своимъ Батюшковъ вовсе не былъ подготовленъ къ

¹⁾ Непозданныя сочиненія и переписка Н. М. Карамзина. С.-Пб. 1866. Ч. I, стр. 143 и 151.

²⁾ Письма Карамзина къ Дмитріеву, стр. 136.

³⁾ Соч., т. III, стр. 71.

⁴⁾ Тамъ же, стр. 72 и 75.

⁵⁾ Отрывокъ этотъ напечатанъ въ II-мъ томѣ изданія 1885 г. и отнесенъ тамъ къ 1810 году. Правильнѣе считать, что редакція его относится къ первой половинѣ 1812 года. Впрочемъ, содержаніе его очевидно состоитъ изъ наблюденій, сдѣланныхъ авторомъ въ теченіе пребыванія его въ Москвѣ въ 1810 и 1811 годахъ.

тому, чтобы цѣнить эти остатки прошлаго; но и онъ не могъ остаться равнодушнымъ къ тѣмъ историческимъ воспоминаніямъ, которыя проснулись въ немъ, когда онъ вступилъ въ Кремль. „Здѣсь“, говоритъ онъ,—„представляется взорамъ картина, достойная величайшей въ мірѣ столицы, построенной величайшимъ народомъ на пріятнѣйшемъ мѣстѣ. Тотъ, кто, стоя въ Кремлѣ и холодными глазами смотрѣвъ на исполинскія башни, на древніе монастыри, на величественное Замоскворѣчье, не гордился своимъ отечествомъ и не благословлялъ Россіи, для того (и я скажу это смѣло) чуждо все великое, ибо онъ былъ жалостно ограбленъ природою при самомъ его рожденіи“¹⁾. Но рядомъ съ этими остатками древности, пробудившими патриотическую гордость нашего поэта, глазамъ его представилась картина новой жизни въ Москвѣ. Въ рядѣ легкихъ очерковъ Батюшковъ рисуетъ предъ читателемъ различные типы и сцены, подмѣченные въ московскомъ обществѣ, и затѣмъ приходитъ къ такому заключенію: „Я думаю, что ни одинъ городъ въ мірѣ не имѣетъ ниже малѣйшаго сходства съ Москвою. Она являетъ рѣдкія противоположности въ строеніяхъ и нравахъ жителей. Здѣсь роскошь и нищета, изобиліе и крайняя бѣдность, набожность и невѣріе, постоянство дѣдовскихъ временъ и вѣтренность неимовѣрная, какъ враждебныя стихіи, въ вѣчномъ несогласіи и составляютъ сіе чудное, безобразное, исполинское цѣлое, которое мы знаемъ подъ общимъ именемъ: Москва“²⁾. Та же мысль о смѣшеніи рѣзкихъ противоположностей въ московской жизни повторена Батюшковымъ и въ другомъ мѣстѣ статьи и даетъ поводъ къ такому замѣчанію: „Москва есть вывѣска или живая картина нашего отечества.... Видя отпечатки древнихъ и новыхъ временъ, вспоминаю прошедшее, сравниваю оное съ настоящимъ, тихонько

¹⁾ Соч., т. II, стр. 21.

²⁾ Тамъ же, стр. 28.

говору про себя: Петръ Великій много сдѣлалъ и—ничего не кончилъ“¹⁾).

Такъ наблюденія надъ Москвой привели Батюшкова къ роковому вопросу нашей образованности—о значеніи Петровской реформы. Вопросъ этотъ еще съ Екатерининскихъ временъ былъ возбуждаемъ въ нашей литературѣ, и мы можемъ не сомнѣваться, что теоретически Батюшковъ сочувствовалъ тому его рѣшенію, которое было предложено, также теоретически, Карамзинымъ въ „Письмахъ русскаго путешественника“²⁾; но въ своихъ московскихъ очеркахъ нашъ авторъ воздерживается отъ прямаго отвѣта на поставленный вопросъ; мало того, непосредственное наблюденіе московской жизни вызываетъ его на слѣдующее тонкое замѣчаніе: „Москва есть большой провинціальный городъ, единственный, несравненный,—ибо что значить имя столицы безъ двора? Москва идетъ сама собою къ образованію, ибо на нее почти никакія обстоятельства вліянія не имѣютъ“³⁾. Значить, въ пестромъ составѣ московскаго общества Батюшковъ подмѣтилъ дѣйствительный процессъ умственнаго развитія, совершающійся безъ толчковъ извнѣ, естественною силою вещей, иначе — призналъ возможность и законность того, чтобы общечеловѣческія начала образованности развивались на русской почвѣ въ примѣненіи къ условіямъ страны и народности.

Такимъ образомъ общія впечатлѣнія пребыванія Батюшкова въ Москвѣ были самыя благопріятныя: онъ сразу понялъ и оцѣнилъ ея великое значеніе въ общей русской жизни; въ этомъ отношеніи его непритязательныя замѣтки напоминаютъ извѣстное сужденіе о Москвѣ, высказанное Карамзинымъ нѣсколько позже (въ 1817 году) въ „Запискѣ о московскихъ достопамят-

¹⁾ Соч., т. II, стр. 20.

²⁾ Письмо изъ Парижа, отъ мая 1790 г.

³⁾ Соч., т. II, стр. 29.

ностях". За то обыденное теченіе московской жизни, въ которомъ выражался бытъ и характеръ ея обитателей, удовлетворилъ его гораздо менѣе.

Карамзинъ не безъ гордости называлъ Москву „столицей російскаго дворянства“, куда охотнѣе, чѣмъ въ Петербургъ, „отцы везутъ дѣтей для воспитанія, и люди свободные ѣдутъ наслаждаться пріятностями общежитія“. Коренной Москвичъ, зоркій наблюдатель и дѣятельный участникъ прежней московской жизни, князь П. А. Вяземскій, въ своихъ позднѣйшихъ воспоминаніяхъ о допожарной Москвѣ, написалъ ея апологію. „Въ то время“, говорилъ онъ, — „были еще Европѣ памятны свѣжія преданія о событіяхъ, возмутившихъ и обогрившихъ кровью почву Франціи въ борьбѣ съ старыми порядками и въ напряженныхъ восторженныхъ усиліяхъ установить порядки новые. Въ самой Франціи умы успокоились и остыли. Эта реакція вызвала потребность и жажду мирныхъ и общежитейскихъ удовольствій. Эта реакція, хотя до насъ собственно и не касавшаяся, потому что у насъ не было перелома, неминуемо однако же должна была отозваться и въ Россіи. Праздная Москва обратилась къ этимъ удовольствіямъ, и общественная жизнь сдѣлалась потребностью и цѣлью ея исканій и усилій. Было въ этомъ много поверхностнаго, много, можетъ быть, легкомысленнаго—не спорю; но по крайней мѣрѣ виѣшняя и блестящая сторона умственной жизни, именно допожарной Москвы, была во всей силѣ своей и процвѣтаніи“¹⁾. На нашего поэта то, что въ приведенныхъ строкахъ представлено въ столь радужныхъ краскахъ, подѣйствовало нѣсколько иначе. Какъ ни цѣнилъ онъ пріятность общества, однако шумная пустота и праздное легкомысліе московской общественной жизни не соблазнили его; если онъ иногда и жертвовалъ имъ, то никогда не отдавался всецѣло. „Праздность“, говоритъ онъ,—

¹⁾ П. собр. соч. кн. Вяз., т. VII, стр. 113—114.

„есть нѣчто общее, исключительно принадлежащее сему городу; она болѣе всего примѣтна въ какомъ-то безпокойномъ любопытствѣ жителей, которые безпрестанно ищутъ новаго разсѣянія. Въ Москвѣ отдыхаютъ, въ другихъ городахъ трудятся менѣе или болѣе, и потому-то въ Москвѣ знаютъ скуку со всѣми ея мученіями. Здѣсь хвалятся гостепріимствомъ, но — между нами — что значить это слово? Часто — любопытство. Въ другихъ городахъ васъ узнаютъ съ хорошей стороны и приглашаютъ навсегда; въ Москвѣ сперва пригласятъ, а послѣ узнаютъ“ ¹⁾. Въ первое время по пріѣздѣ Батюшковъ довольно много посѣщалъ общество; но вскорѣ эти безцѣльные выѣзды потеряли для него интересъ. Свѣтъ, пишетъ онъ Гнѣдичу чрезъ мѣсяцъ по пріѣздѣ въ Москву, — „такъ холоденъ и ничтоженъ, такъ скученъ и глупъ, такъ для меня, словомъ, противенъ, что я рѣшился никуда ни на шагъ“ ²⁾. „Сегодня“ — читаемъ мы въ другомъ письмѣ — „ужасный маскарадъ у г. Грибоѣдова“ ³⁾, вся Москва будетъ, а у меня билетъ покойно пролежитъ на столикѣ, ибо я не поѣду... Я вовсе не для свѣта сотворенъ премудрымъ Діемъ! Эти условія, проклятыя приличности, эта суетность, этотъ холодъ и къ дарованію, и къ уму, это уравненіе сына Фебова съ сыномъ откупщика или выб....ъ счастья, это меня бѣситъ!“ ⁴⁾. По уму и дарованіямъ своимъ Батюшковъ, конечно, имѣлъ право считать себя выше средняго уровня московскаго общества. Понятно поэтому, что онъ скоро сталъ уклоняться отъ встрѣчъ съ людьми, къ которымъ не чувствовалъ расположенія, сталъ избѣгать толпы; но не слѣдуетъ придавать слишкомъ большое значеніе тѣмъ частымъ жалобамъ на скуку, которыя встрѣчаются въ его московскихъ

¹⁾ Соч., т. II, стр. 28.

²⁾ Соч., т. III, стр. 76.

³⁾ Алексѣй Феодоровичъ Грибоѣдовъ, дядя автора „Горе отъ ума“, лицо, съ котораго, какъ говорятъ, списанъ Фамусовъ.

⁴⁾ Соч., т. III, стр. 77—79.

письмахъ. Рядомъ съ этими жалобами въ тѣхъ же письмахъ мы находимъ свидѣтельство, что онъ нигдѣ не проводилъ время пріятнѣе, чѣмъ въ Москвѣ. Въ одномъ изъ позднѣйшихъ своихъ стихотвореній ¹⁾ онъ самъ признается, что именно въ Москвѣ онъ „дышалъ свободою прямою“.

Кромѣ случайныхъ знакомствъ въ разныхъ московскихъ гостинныхъ, Батюшковъ съ удовольствіемъ встрѣтилъ здѣсь и нѣкоторыхъ петербургскихъ пріятелей и, сверхъ того, сошелся съ нѣсколькими новыми лицами, которыя вскорѣ стали его близкими друзьями.

Изъ Петербуржцевъ онъ видѣлся въ Москвѣ съ Л. Н. Львовымъ, К. М. Бороздинымъ, Н. А. Радищевымъ, А. И. Ермолаевымъ ²⁾, но всего болѣе радъ былъ встрѣчѣ съ И. А. Петинимъ, своимъ сослуживцемъ въ двухъ походахъ. Бесѣды съ нимъ развлекали Батюшкова въ дни хандры ³⁾. Петинъ былъ натура серьезная и чрезвычайно гуманная, и этими сторонами своего характера онъ, по видимому, оказывалъ отрезвляющее вліяніе на Батюшкова, въ которомъ живость доходила порой до легкомыслія. Вотъ одинъ случай изъ ихъ дружескихъ сношеній, рассказанный самимъ поэтомъ и свидѣствующій о благородномъ характерѣ Петина: „По окончаніи Шведской войны мы были въ Москвѣ. Петинъ лѣчился отъ жестокихъ ранъ и свободное время посвящалъ удовольствіямъ общества, котораго прелесть военные люди чувствуютъ живѣе другихъ. Но одинъ вечеръ мы просидѣли у камина въ сихъ сладкихъ разговорахъ, которымъ откровенность и веселость даютъ чудесную прелесть. Къ ночи мы вздумали ѣхать на балъ и ужинать въ собраніи. Проѣзжая мимо Кузнецкаго моста, пристяжная оторвалась, и между тѣмъ какъ ямщикъ заботился объ упряжкѣ, къ намъ

¹⁾ Соч., т. I, стр. 223, ср. т. III, стр. 303.

²⁾ Тамъ же, стр. 75, 76, 78, 82 и др.

³⁾ Тамъ же, стр. 78—79.

подошелъ нищій, ужасный плодъ войны, въ лохмотьяхъ, на костыляхъ. „Пріятель“, сказалъ мнѣ Петинъ, — „мы намѣревались ужинать въ собраніи; но лучше отдадимъ серебро наше этому бѣдняку и возвратимся домой, гдѣ найдемъ простой ужинъ и каминъ“. Сказано — сдѣлано. Это бездѣлка, если хотите“, заключаетъ свой разсказъ Батюшковъ, — „но ее не надобно презирать... Это бездѣлка, согласенъ; но молодой человѣкъ, который умѣетъ пожертвовать удовольствіемъ другому, чистѣйшему, есть герой въ моральномъ смыслѣ“ ¹⁾. Прибавимъ къ этому, что и разсказчикъ, который умѣлъ оцѣнить такого рода героизмъ въ Петинѣ, самъ рисуется здѣсь очень симпатичными чертами.

Новые знакомые, съ которыми Батюшковъ сблизился въ Москвѣ, принадлежали большею частью къ литературному кругу. Первая встрѣча Константина Николаевича съ представителями московскаго „Парнасса“ произвела на него неблагопріятное впечатлѣніе: въ письмѣ къ сестрѣ онъ отозвался о нихъ очень насмѣшливо ²⁾, а въ письмѣ къ Гнѣдичу выразилъ предположеніе, что они „хотятъ съѣсть“ его ³⁾. Въ этомъ случаѣ онъ имѣлъ въ виду главнымъ образомъ даровитаго университетскаго стихотворца Мерзлякова, котораго еще въ 1805 году встрѣчалъ въ Петербургѣ у М. Н. Муравьева ⁴⁾, и бездарнаго князя П. И. Шаликова. Ихъ обоихъ Батюшковъ осмѣялъ въ своемъ „Видѣніи на берегахъ Леты“, гдѣ Мерзляковъ выведенъ въ видѣ жалкаго педанта. Это сатирическое стихотвореніе уже ходило тогда въ Москвѣ въ спискахъ ⁵⁾, и осмѣянные дѣйствительно могли быть въ обидѣ на остроумнаго автора. Притомъ

¹⁾ Соч., т. II, стр. 194.

²⁾ Тамъ же, т. III, стр. 71: „Я познакомился здѣсь со всѣмъ Парнассомъ... Эдакихъ рожекъ и не видывалъ“.

³⁾ Тамъ же, стр. 76.

⁴⁾ Тамъ же, т. II, стр. 507.

⁵⁾ Тамъ же, т. III, стр. 86.



же, нѣкоторая исключительность и самомнѣніе въ самомъ дѣлѣ отличали тѣхъ изъ московскихъ профессоровъ, которые принимали болѣе дѣятельное участіе въ литературѣ; чувствуя превосходство своего образованія, они свысока смотрѣли на тѣхъ писателей, которые избрали себѣ это поприще по непосредственному влеченію таланта, а не по указаніямъ школы; такъ держалъ себя даже столь умный человѣкъ, какъ Каченовскій; не совсѣмъ свободенъ былъ отъ этого недостатка и добродушный, но самолюбивый Мерзляковъ. Батюшковъ однако ошибся въ своихъ опасеніяхъ: познакомившись съ Каченовскимъ, онъ встрѣтилъ вниманіе съ его стороны и, въ свою очередь, не могъ не оцѣнить его ума и честности ¹⁾, а сойдясь съ Мерзляковымъ, убѣдился въ благородствѣ его характера. Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ онъ писалъ уже Гнѣдичу: „Мерзляковъ... обошелся (со мною), какъ человѣкъ истинно съ дарованіемъ, который имѣетъ довольно благороднаго самонадѣянія, чтобъ забыть личность въ человѣкѣ... Онъ меня видитъ—и ни слова, видитъ—и приглашаетъ на обѣдъ. Тонъ его ни мало не перемѣнился... Я молчалъ, молчалъ и молчу до сихъ поръ, но если прійдетъ случай, самъ ему откроюсь въ моей винѣ“ ²⁾.

Батюшковъ встрѣчался съ Мерзляковымъ между прочимъ у Ѳ. Ѳ. Иванова, посредственнаго писателя, но занимательнаго собесѣдника и любезнаго, гостепріимнаго человѣка, въ домѣ котораго особенно часто сходились московскіе литераторы и любители литературы. На этихъ собраніяхъ появлялись А. М. и В. Л. Пушкины, А. Ѳ. Воейковъ, князь И. М. Долгорукій, Ѳ. Ѳ. Кокошкинъ и князь П. А. Вяземскій; по словамъ нашего поэта, здѣсь проводили время весело, „съ пользою и съ чашею въ рукахъ“ ³⁾. Изъ названныхъ лицъ Константинъ Ни-

¹⁾ Соч., т. III, стр. 77, 86.

²⁾ Тамъ же, стр. 86.

³⁾ Тамъ же, стр. 86; ср. стр. 674—375. Быть можетъ, не всѣ названныя лица находились въ Москвѣ въ первой половинѣ 1810 г., когда Батюшковъ впервые

колаевичъ болѣе коротко сошелся съ В. Л. Пушкинымъ и княземъ Вяземскимъ. Въ то же время онъ сблизился и съ Жуковскимъ, и такимъ образомъ положено было начало новымъ дружескимъ связямъ, которыми отмѣченъ дальнѣйшій періодъ литературной жизни Батюшкова.

Василій Львовичъ Пушкинъ въ то время уже не былъ молодымъ человѣкомъ; но въ его даровитой натурѣ столько было живости, въ характерѣ столько добродушія, что онъ легко становился товарищемъ самой зеленой молодежи. Остроумный и любезный собесѣдникъ въ обществѣ, хорошо образованный на французскій ладъ, онъ былъ однимъ изъ самыхъ горячихъ сторонниковъ карамзинскаго направленія. При всемъ его легкомысліи, культъ Карамзина составлялъ для него предметъ твердаго убѣжденія; онъ не безъ ловкости отстаивалъ его и чутко слѣдилъ за всякимъ маневромъ противной партіи. Собственная его литературная дѣятельность была ничтожна; но въ то непритязательное время и онъ былъ, по выраженію князя Вяземскаго, стихотворецъ на счету: цѣнили легкость его стиха и смѣялись остроумію его сатирическихъ выходокъ. Симпатіи Батюшкова къ Пушкину обозначились очень рано: еще въ первой молодости онъ написалъ подражаніе одному изъ стихотвореній Василя Львовича, нѣкогда напечатанному въ Аонидахъ Карамзина ¹⁾. Личное знакомство поставило Константина Николаевича въ пріятельскія отношенія къ Пушкину, которыя хотя и не стали вполне задушевными, оставались однако постоянно неизмѣнными.

Другимъ и болѣе серьезнымъ характеромъ отличались связи Батюшкова съ Жуковскимъ и Вяземскимъ. Перваго Батюшковъ

появился въ домѣ О. О. Иванова, но наше указаніе относительно этихъ литературныхъ собраний и ихъ посѣтителей одинаково примѣняется и къ первой половинѣ 1810 г., и къ первымъ мѣсяцамъ 1811, которые Батюшковъ также провѣлъ въ Москвѣ.

¹⁾ См. въ Соч. Бат., т. I, стр. 7.

давно зналъ заочно по его произведеніямъ; въ то время, когда огромное большинство авторитетныхъ петербургскихъ литераторовъ и не подозрѣвало, что въ Москвѣ появился писатель съ крупнымъ поэтическимъ талантомъ ¹⁾, нашъ юный поэтъ уже слѣдилъ за дѣятельностью автора „Сельскаго кладбища“ и „Людмилы“ ²⁾; зналъ онъ, безъ сомнѣнія, и то, что М. Н. Муравьевъ, всегда столь внимательный ко всякому дарованію, замѣтилъ Жуковского и нѣсколько разъ предлагалъ ему свое покровительство ³⁾. Теперь Жуковскій предсталъ Константину Николаевичу во-очію, со всею привлекательностью своего характера наивнаго, глубоко искренняго, но въ то же время твердаго, и съ оригинальнымъ взглядомъ на жизнь, очень далекимъ отъ воззрѣній самаго Батюшкова. Послѣдній однако скоро понялъ и оцѣнилъ его; въ письмахъ Гнѣдичу Батюшковъ безпрестанно говоритъ о немъ, и всегда въ самыхъ нѣжныхъ выраженіяхъ: „Жуковскій—истинно съ дарованіемъ, миль и любезень, и добръ. У него сердце на ладони... Я съ нимъ вижусь часто и всегда съ новымъ удовольствіемъ“ ⁴⁾. Или еще: „Жуковского я болѣе и болѣе любить начинаю“ ⁵⁾, и т. п. Какъ прежде съ Гнѣдичемъ, Константинъ Николаевичъ сошелся съ Жуковскимъ отчасти въ силу того, что ихъ натуры и сами по себѣ, и въ творчествѣ были совершенно различны, и какъ увидимъ впослѣдствіи, эта разница придавала особенную прелесть ихъ дружбѣ въ глазахъ Батюшкова.

Что касается Вяземскаго, то къ сближенію съ нимъ нашъ поэтъ ничѣмъ не былъ подготовленъ: ни своего живаго ума, ни своеобразнаго поэтическаго дарованія семнадцатилѣтній юноша еще не успѣлъ обнаружить. Но встрѣтившись съ нимъ,

¹⁾ См. о томъ любопытное свидѣтельство С. П. Жихарева въ Дневникѣ чиновника—Отеч. Записки 1855 г., т. CI, стр. 387—388.

²⁾ Соч., т. III, стр. 19.

³⁾ Соч. Жуковского, изд. 7-е, т. VI, стр. 394.

⁴⁾ Соч., т. III, стр. 81.

⁵⁾ Тамъ же, стр. 87.

Батюшковъ нашелъ много общаго съ собою и въ складѣ его образованія, и въ направленіи ума, и въ воззрѣніяхъ. Подобно Батюшкову, Вяземскій выросъ въ средѣ очень просвѣщенной, и потому развился очень рано; онъ то же воспитался на свободныхъ мыслителяхъ XVIII вѣка и также смотрѣлъ на жизнь глазами эпикурейца; такимъ образомъ, здѣсь именно сходство воззрѣній послужило основой для дружбы. Но подъ холоднымъ лоскомъ свѣтскости, подъ нѣсколько суровою внѣшностью, которою князь Петръ Андреевичъ отличался и смолоду, въ немъ билось участливое сердце, способное къ дѣятельной любви; никто лучше Вяземскаго не умѣлъ понять, что тревожная натура Батюшкова нуждалась въ особенно нѣжномъ уходѣ; Вяземскій обратилъ на нее свою дружескую заботливость: онъ не только былъ путеводителемъ нашего поэта въ московскомъ обществѣ, но и ободрялъ его въ житейскихъ неудачахъ и готовъ былъ войти въ его личныя нужды, ни мало притомъ не затрогивая чуткаго самолюбія Константина Николаевича. Этимъ попеченіямъ, этой пріязни Вяземскаго нашъ поэтъ былъ обязанъ, можетъ быть, счастливейшими минутами своей молодости.

Независимость холостаго человѣка, при хорошемъ достаткѣ, давала Вяземскому возможность стать центромъ дружескаго кружка. Сходки пріятелей и веселые ужины устраивались преимущественно въ домѣ князя. Батюшковъ сохранилъ воспоминаніе объ этомъ домѣ, сгорѣвшемъ въ 1812 году, и о происходившихъ тамъ собраніяхъ въ одномъ изъ своихъ стихотвореній, которое написано уже послѣ пожара Москвы:

Гдѣ домъ твой, счастья домъ?... Онъ въ бурѣ бѣдъ исчезъ,
И мѣсто поросло крапивой,
Но я узналъ его: я сердцу дань принесъ
На прахъ его краснорѣчивой.

Скажи, давно ли здѣсь, въ кругу твоихъ друзей,
Сіяла Лила красотою?

Благія небеса, казалось, дали ей
Все счастье смертной подъ луною:

Нравъ тихій ангела, даръ слова, тонкій вкусъ,
Любви и очи, и ланиты,
Чело открытое одной изъ важныхъ музъ
И прелесть дѣвственной хариты.

Ты самъ, забывъ и свѣтъ, и тиетный шумъ пировъ,
Ея бесѣдой наслаждался
И въ тихой радости, какъ путникъ средь песковъ,
Прелестнымъ цвѣтомъ любовался...

Кромѣ того, въ самую бытность свою въ Москвѣ, Батюшковъ написалъ стихотвореніе „Веселый часъ“, которое служить памятникомъ пріятныхъ минутъ, проведенныхъ имъ тамъ въ дружескомъ кружкѣ. Въ этой піесѣ онъ повторилъ тѣ же мотивы эпикурейскаго взгляда на жизнь, которые встрѣчаются въ стихахъ ранней его молодости ¹⁾, и какъ бы въ отвѣтъ нашему поэту, тѣ же мотивы находимъ въ піесѣ, написанной въ то же время Вяземскимъ: „Молодой Эпикуръ“ ²⁾.

Но не одни веселые пиры сблизили Батюшкова съ новыми московскими пріятелями. Въ бесѣдахъ съ ними онъ нашелъ то, чего ему недоставало не только въ деревнѣ, но и въ Петербургѣ, нашелъ сочувственную, справедливую оцѣнку своего дарованія и провѣрилъ тѣ литературные взгляды, которые выработывались у него въ деревенскомъ уединеніи. Правда, и на берегахъ Невы у него былъ близкій пріятель, отъ котораго онъ не скрывалъ своего отвращенія отъ господствовавшаго въ Петербургѣ литературнаго вкуса; но Гнѣдичъ былъ человекъ черезъ-чуръ осторожный и не рѣшался разорвать вполне связи съ литературными старовѣрами. Когда „Видѣніе на берегахъ Леты“ рас-

¹⁾ „Веселый часъ“ составляетъ передѣлку стихотворенія 1805 года: „Совѣтъ друзьямъ“.

²⁾ П. собраніе сочиненій князя П. А. Вяземскаго, т. III, стр. 12.

пространилось въ Петербургѣ и произвело взрывъ негодованія противъ смѣлаго автора среди сторонниковъ Шишкова, Гнѣдичъ понизилъ свое мнѣніе объ этой сатирѣ нашего поэта, о которой прежде отзывался съ восхищеніемъ ¹⁾. Съ новыми московскими друзьями Константина Николаевича не могло случиться чего-либо подобнаго: они были убѣжденные противники литературнаго старовѣрства и не скрывали этого. Даже мирный Жуковский, вовсе не охотникъ до литературной полемики, при самомъ началѣ своего знакомства съ Батюшковымъ совѣтовалъ ему приняться за новую сатирическую поэмку на тему о распрѣ новаго языка со старымъ ²⁾, а Вяземскій, самъ прирожденный полемистъ, могъ, разумѣется, только поддерживать и укрѣплять въ Батюшковѣ вражду противъ представителей „дурнаго вкуса“. Въ томъ же смыслѣ подавалъ свой голосъ и В. Л. Пушкинъ. Такимъ образомъ, Батюшковъ, не приученный прежде жизнью въ петербургскихъ литературныхъ кружкахъ къ самостоятельному изъявленію литературныхъ мнѣній, выработалъ себѣ теперь ясное убѣжденіе, какому направленію должно слѣдовать въ литературѣ. Съ этихъ поръ онъ становится усерднымъ вкладчикомъ въ Вѣстникъ Европы, въ редакціи котораго Жуковский еще принималъ участіе, и гдѣ вообще въ то время стремленія литературныхъ старовѣровъ встрѣчали себѣ дѣльный отпоръ.

Окончательно укрѣпило Батюшкова въ сочувствіи къ новой школѣ знакомство его съ Карамзинымъ. По причинѣ болѣзни послѣдняго оно состоялось не раньше, какъ мѣсяца чрезъ полтора по пріѣздѣ Константина Николаевича въ Москву. Карамзинъ въ то время уже былъ погруженъ въ свой историческій трудъ и не только не принималъ участія въ полемикѣ, вызванной преждею его дѣятельностью, но и пересталъ

¹⁾ Соч., т. III, стр. 86.

²⁾ Тамъ же, стр. 77.

писать въ прежней своей литературной манерѣ; опытъ жизни измѣнилъ уже во многомъ убѣжденія Русскаго Путешественника. Батюшковъ никогда не былъ поклонникомъ сентиментализма и даже смѣялся надъ приторными крайностями, до которыхъ его довели первые подражатели Карамзина. Онъ не посѣщалъ Лизина пруда, „сего мѣста, очарованнаго Карамзиновымъ перомъ“, какъ выразился одинъ изъ его наивныхъ почитателей ¹⁾, и не пошелъ бы на поклонъ къ „чувствительному автору“ ²⁾; но онъ искренно уважалъ просвѣщеннаго писателя, который „показалъ намъ истинные образцы русской прозы“, далъ новую обработку литературному языку и возбудилъ плодотворное движеніе въ родной словесности. Съ своей стороны, и Карамзинъ былъ предрасположенъ въ пользу даровитаго воспитанника М. Н. Муравьева ³⁾. Первая ихъ встрѣча произошла случайно, на улицѣ ⁴⁾, но Батюшковъ тогда же получилъ приглашеніе къ нему въ домъ. Карамзинъ вообще былъ довольно разборчивъ на знакомства и жилъ уединенно; къ этому побуждала его и ограниченность его средствъ, и клеветы враговъ и завистниковъ, не брезгавшихъ писать доносы, что онъ проповѣдуетъ безбожіе и якобинство. За то въ тѣсномъ кругу своихъ близкихъ друзей онъ любилъ откровенную бесѣду, и рѣчь его была поучительна и увлекательна:

Съ подъятыми перстами,
Со пламенемъ въ очахъ,
Подъ сѣрымъ юберрокомъ
И въ пыльных сапогахъ,
Казался онъ пророкомъ,
Открывшимъ въ небесахъ
Всѣ тайны ихъ священны.

¹⁾ Молодой художникъ И. А. Ивановъ, пріятель А. Х. Востокова, въ письмѣ къ нему отъ 1799 г.—Сборникъ 2-го отд. А. К. Н., т. V, вып. 2, стр. VIII.

²⁾ Соч., т. II, стр. 83.

³⁾ Тамъ же, т. III, стр. 75, 77.

⁴⁾ Тамъ же, стр. 78.

Такъ изобразилъ Карамзина одинъ изъ преданнѣйшихъ его слушателей, Жуковскій ¹⁾, и такимъ же, безъ сомнѣнія, представлялся онъ Батюшкову, когда тотъ сталъ постояннымъ посѣтителемъ его дома. Но первое посѣщеніе Карамзина нашимъ поэтомъ обошлось не безъ приключеній. Константинъ Николаевичъ былъ приведенъ къ Николаю Михайловичу Вяземскимъ; какъ рассказывалъ князь впоследствии, онъ явился туда въ военной формѣ и со смущеніемъ вертѣлъ своею огромною трехугольною шляпою, составлявшею странную противоположность съ его маленькою, „субтильною фигуркой“ ²⁾; Карамзинъ же принялъ его съ нѣкоторою важностью, его отличавшею. Безъ сомнѣнія поэтому Батюшковъ, описывая вскорѣ затѣмъ Гнѣдичу свое первое появленіе въ домѣ знаменитаго писателя, говорилъ, что онъ „видѣлъ автора „Марен“ упоеннаго, избалованнаго постояннымъ куреніемъ“ ³⁾. Но это первое впечатлѣніе было непродолжительно; самолюбивый молодой человекъ скоро освоился въ степенномъ домѣ Карамзиныхъ и сталъ бывать тамъ очень часто ⁴⁾. „Я вчера ужиналъ и провелъ приятный вечеръ у Карамзина“, пишетъ Батюшковъ Гнѣдичу послѣ одного изъ такихъ посѣщеній ⁵⁾. Едва ли ошибемся мы, предположивъ, что въ галереѣ московскихъ сценъ и лицъ, представленной нашимъ поэтомъ въ „Прогулкѣ по Москвѣ“, слѣдующія строки заключаютъ въ себѣ именно описаніе дома Карамзина: „Вотъ маленькій деревянный домъ, съ палисадникомъ, съ чистымъ дворомъ, обсаженнымъ сиренями, акаціями и цвѣтами. У дверей насъ встрѣчаетъ учтивый слуга не въ богатой ливреѣ, но въ простомъ опрятномъ фракѣ. Мы спрашиваемъ хозяина: Войдите! Комнаты чисты, стѣны распи-

¹⁾ Соч. Жуковского, изд. 7-е, т. I, стр. 307. Жуковскій изображаетъ Карамзина въ дружеской бесѣдѣ въ саду И. И. Дмитриева.

²⁾ Слышано отъ П. Н. Батюшкова.

³⁾ Соч., т. III, стр. 82.

⁴⁾ Тамъ же, стр. 94.

⁵⁾ Тамъ же, стр. 88.

саны искусною кистію, а подъ ногами богатые ковры и полъ лакированный. Зеркала, свѣтильники, кресла, диваны, все прелестно и, кажется, отдѣлано самимъ богомъ вкуса. Здѣсь и общество совершенно противно тому, которое мы видѣли въ сосѣднемъ домѣ (старого Москвича, богомольнаго князя, который помнитъ страхъ Божій и воеводство). Здѣсь обитаетъ пріятливость, пристойность и людскость. Хозяйка зоветъ насъ къ столу: мы садимъ гдѣ хотимъ, безъ принужденія, и можетъ быть, развеселенный старымъ виномъ, я скажу, только не въ слухъ:

„Налейте мнѣ еще шампанскаго стаканъ!“

„Я сердцемъ Славянинъ, желудкомъ галломанъ!“¹⁾

Въ особенности Батюшковъ оцѣнилъ ясный и трезвый умъ Карамзина²⁾. Привѣтствуя просвѣтительныя мѣры императора Александра въ Вѣстникѣ Европы, Карамзинъ не разъ говорилъ, что желаніе быть Русскимъ, сохранить свою народность не исключаетъ необходимости заботиться объ образованіи, которое есть „корень государственнаго величія“, и что на оборотъ, нельзя остаться Русскимъ, получивъ воспитаніе чужеземное. Этимъ патріотическимъ убѣжденіямъ Карамзина Батюшковъ вполне сочувствовалъ; тѣ же мысли лежатъ въ основѣ его взгляда на Москву, проведеннаго въ не разъ упомянутой „Прогулкѣ“, и если въ умственной жизни древней столицы нашъ авторъ подмѣтилъ, что она сама собою идетъ къ образованію, то безъ сомнѣнія, такого Москвича, какъ Карамзинъ, онъ считалъ лучшимъ представителемъ этого движенія.

Такимъ образомъ вошелъ Батюшковъ въ кружокъ Карамзина и его ближайшихъ послѣдователей и, сочувственно встрѣченный ими какъ новое, свѣжее дарованіе, какъ человѣкъ съ чистыми, благородными стремленіями, легко освоился въ этой

¹⁾ Соч., т. II, стр. 30—31.

²⁾ Тамъ же, т. III, стр. 94.

средѣ. Между тѣмъ изъ Петербурга стали доходить до Константина Николаевича слухи, что „Видѣніе на берегахъ Леты“, распространившееся и тамъ въ рукописяхъ, возбудило чрезвычайное негодованіе среди литературныхъ старовѣровъ. Это огорчило и встревожило нашего поэта: онъ не ожидалъ, чтобы „шутка, написанная истинно для кружка друзей“, могла быть встрѣчена съ такою нетерпимостью. „Бомарше“, пишетъ онъ по этому случаю Гнѣдичу, — „сказалъ: *Sans la liberté de blâmer il n'est point d'éloge*. Слова, которыхъ истина разительна. Я часто себя поставлю на мѣстѣ людей, персплывшихъ черезъ Лету. Разсердился ли бы я? Нѣтъ, право, нѣтъ и нѣтъ“ ¹⁾. Онъ даже не спалъ нѣсколько ночей, „размышляя, что де надѣлалъ“; но при всемъ томъ оставался въ убѣжденіи, что написалъ вещь забавную и оригинальную, въ которой „человѣкъ, не смотря ни на какія личности, отдалъ справедливость таланту и вздору“ ²⁾. Онъ понялъ однако, что огласка, которую получила его сатира, испортила ему петербургскія отношенія, понялъ, что ему не возможно теперь рассчитывать на петербургскія связи для устройства своей будущности, которая такимъ образомъ становилась вполне неопредѣленною; это заставило его отказаться даже отъ намѣренія искать покровительства великой княгини Екатерины Павловны ³⁾. За то тѣмъ сильнѣе привязывался онъ къ московскимъ друзьямъ и въ письмахъ къ Гнѣдичу хвалилъ даже осмѣяннаго въ „Видѣніи“ Мерзлякова, противопоставляя его „благородное самонадѣяніе“ тупой нетерпимости петербургскихъ „Варяго-Россовъ“ ⁴⁾.

Въ концѣ мая или началѣ іюня пріѣхалъ въ Москву Гнѣдичъ. Предубѣжденный противъ направленія московскихъ литературныхъ кружковъ, онъ, по видимому, недовѣрчиво и рев-

¹⁾ Соч., т. III, стр. 83.

²⁾ Тамъ же, стр. 86.

³⁾ Тамъ же, стр. 82.

⁴⁾ Тамъ же, стр. 86 и 94.

ниво относился къ новымъ московскимъ симпатіямъ своего пріятеля; въ то время, какъ Батюшковъ, въ своихъ письмахъ, сообщалъ ему похвалы его произведеніямъ, слышанныя отъ Жуковского и Карамзина, Гнѣдичъ высказывалъ сомнѣнія на счетъ ума Жуковского, и Батюшкову приходилось возражать ему ¹⁾. Теперь Гнѣдичъ своими глазами увидѣлъ Батюшкова въ новой обстановкѣ, и вотъ въ какихъ словахъ выразилъ онъ свое впечатлѣніе въ письмѣ къ ихъ общему пріятелю Полозову: „Батюшкова я нашелъ больнаго, кажется — отъ московскаго воздуха, зараженнаго чувствительностью, сыраго отъ слезъ, проливаемыхъ авторами, и густаго отъ ихъ воздыханій“ ²⁾. Очевидно, Гнѣдичъ замѣтилъ въ своемъ другѣ перемѣну, которая была ему не совсѣмъ по сердцу. Видѣлся Гнѣдичъ и съ Жуковскимъ и отозвался о немъ въ слѣдующихъ выраженіяхъ: „Жуковский—истинно умный и благородный человѣкъ, но Москвичъ и Нѣмецъ“. Эта послѣдняя оговорка относилась именно къ литературному направленію Жуковского: Гнѣдичъ не любилъ балладъ и въ авторѣ „Людмилы“ предполагалъ недостатокъ вкуса ³⁾. Все это, безъ сомнѣнія, было высказано Гнѣдичемъ Батюшкову, но какъ ни цѣнилъ послѣдній литературныя мнѣнія своего стараго петербургскаго пріятеля и даже раздѣлялъ его нерасположеніе къ балладамъ ⁴⁾, онъ остался вѣренъ своимъ новымъ московскимъ друзьямъ-карамзинистамъ. Гнѣдичъ совѣтовалъ ему уѣхать изъ Москвы ⁵⁾; онъ и дѣйствительно уѣхалъ, но отправился въ Остафьево, подмосковное имѣнье кн. Вяземскаго, гдѣ Карамзины обыкновенно проводили лѣто, и куда они пригласили его ⁶⁾. Туда же поѣхалъ и Жуковский.

¹⁾ Соч., т. III, стр. 73, 81, 88.

²⁾ П. Н. Тихановъ. Николай Ивановичъ Гнѣдичъ, стр. 40.

³⁾ См. тамъ же, стр. 64, отзывъ Гнѣдича о Жуковскомъ въ записной книжкѣ перваго.

⁴⁾ Соч., т. II, стр. 508.

⁵⁾ П. Н. Тихановъ. Н. И. Гнѣдичъ, стр. 40.

⁶⁾ Соч., т. III, стр. 88.

Карамзинъ особенно охотно предавался своимъ историческимъ трудамъ въ мирной тишинѣ Остафьева, гдѣ доселѣ уцѣлѣла скромная обстановка его рабочей комнаты и еще свѣжа та липовая аллея, которая служила любимымъ мѣстомъ его прогулокъ. Лѣтомъ 1810 года спокойное теченіе его деревенской жизни было отчасти нарушено продолжительною болѣзнью его дѣтей и грустью по кончинѣ одной изъ дочерей, послѣдовавшей въ весну того года ¹⁾. Тѣмъ пріятнѣе былъ для него отдыхъ въ бесѣдѣ съ молодыми пріятелями. Для Батюшкова трехнедѣльное пребываніе его въ Остафьевѣ ²⁾ было, конечно, самымъ свѣтлымъ заключеніемъ его московской жизни. Съ неохотой оставилъ онъ имѣнье Вяземскаго для своего Хантанова и оттуда написалъ Жуковскому душевное письмо, въ которомъ высказалъ ему свои чувства: „Я васъ оставилъ *en impromptu*, уѣхалъ, какъ Эней, какъ Тезей, какъ Улиссъ отъ.... потому что присутствіе мое было необходимо здѣсь въ деревнѣ, потому что мнѣ стало грустно, очень грустно въ Москвѣ, потому что я боялся заслушаться васъ, чудаки мои. По прибытіи моемъ сюда, болѣзнь моя, *les douleurs*, такъ усилилась, что я девятый день лежу въ постелѣ. Боль, кажется, уменьшилась, и я очень бы былъ благодаренъ тебѣ, любезный Василій Андреевичъ, еслибы не написалъ нѣсколько словъ: дружество твое мнѣ будетъ всегда драгоценно, и я могу смѣло надѣяться, что ты, великій чудакъ, могъ замѣтить въ короткое время мою къ тебѣ привязанность. Дай руку, и болѣе ни слова!“ ³⁾ Этими словами нашъ поэтъ какъ бы скрѣплялъ новый заключенный имъ дружескій союзъ.

¹⁾ Письма Карамзина къ Дмитріеву, стр. 128; Переписка Карамзина съ братомъ—Атенею 1858 г., ч. III, стр. 477.

²⁾ Соч., т. III, стр. 65.

³⁾ Тамъ же, стр. 98.

VI.

Пребываніе Батюшкова въ деревнѣ во второй половинѣ 1810 года. — Чтеніе Монтаня. — Литературныя занятія. — Поѣздка въ Москву въ 1811 году. — Свиданіе съ московскими пріятелями. — Знакомство съ Ю. А. Нелединскимъ-Мелецкимъ и Е. Г. Пушкиной. — Жизнь въ Хантоновѣ во второй половинѣ 1811 года.

Съ возвращеніемъ Батюшкова въ деревню возобновились столь тягостныя для него дни одиночества. Если онъ могъ теперь развлекаться переборомъ своихъ московскихъ впечатлѣній, то воспоминанія эти составляли слишкомъ рѣзкую противоположность со скучною обстановкой его жизни въ деревенской глуши. Дѣятельной переписки съ московскими друзьями у него пока не завязывалось. Оленинъ оставлялъ его письма безъ отвѣта ¹⁾, какъ будто охладѣлъ къ нему, и только Гнѣдичъ, по прежнему, поддерживалъ съ нимъ корреспонденцію; но и въ его письмахъ Батюшковъ уже не находилъ той отрады, какъ прежде: Гнѣдичъ журилъ его за бездѣйствіе и никакъ не могъ помириться съ тѣмъ, что Константинъ Николаевичъ сблизился съ московскими карамзинистами.

Упрекъ въ бездѣйствіи основывался на томъ, что Батюшковъ вышелъ въ отставку. Его прошеніе о томъ было отправлено еще изъ Москвы, и въ маѣ мѣсяцѣ онъ уже былъ уволенъ изъ полка ²⁾. Планамъ его о поступленіи на дипломатическое поприще Гнѣдичъ, по видимому, не придавалъ серьезнаго значенія, да и въ самомъ дѣлѣ планы эти оставались въ области весьма смутныхъ надеждъ; въ другую же службу по гражданской части Батюшковъ по прежнему ни за что не желалъ опредѣлиться и не разъ высказывалъ это Гнѣдичу. Все это давало послѣднему поводъ для упрековъ, которые тѣмъ

¹⁾ Соч., т. III, стр. 63 и 67.

²⁾ Тамъ же, стр. 89; формулярный списокъ въ архивѣ Имп. П. Библіотекъ.

больше были нашему поэту, что онъ чувствовалъ въ нихъ долю справедливости и самъ ясно сознавалъ неопредѣленность своего положенія; ему приходилось оправдываться предъ петербургскимъ другомъ, и оправданія эти оказывались не совсѣмъ убѣдительными ¹⁾. У него мелькнула было мысль ѣхать въ Петербургъ, чтобы лично хлопотать объ устройствѣ своихъ дѣлъ, но домашнія обстоятельства задержали его въ Хантоновѣ ²⁾. Все это волновало и огорчало Константина Николаевича, и для него снова наступили дни унынія и хандры. „Повѣришь ли?“ писалъ онъ въ такомъ настроеніи Гнѣдичу.— „Я живу здѣсь четыре мѣсяца, и въ эти четыре мѣсяца почти никуда не выѣзжалъ. Отчего? Я вздумалъ, что мнѣ надобно писать въ прозѣ, если я хочу быть полезенъ по службѣ, и давай писать — и написалъ груды, и еще бы написалъ, несчастный! И я могъ думать, что у насъ дарованіе безъ интригъ, безъ ползанья, безъ какой-то расчетливости можетъ быть полезно! И я могъ еще дѣлать на воздухѣ замки и ловить дымъ! Нынѣ, бросивъ все, я читаю Монтаня, который иныхъ учитъ жить, а другихъ ждать смерти“ ³⁾. Словомъ, и на этотъ разъ Батюшковъ переживалъ то же недовольство и собою, и другими, какое мы уже видѣли въ его прошлогоднихъ жалобахъ.

Но какъ ни было уныло его душевное настроеніе, умственная дѣятельность его не ослабѣвала: поэтъ не покидалъ ни чтенія, ни литературныхъ занятій. Изъ Москвы онъ, по видимому, привезъ новый запасъ книгъ, которыя служили обильною пищей для его не слабѣющей любознательности. Между прочимъ онъ продолжалъ изученіе италіянскихъ поэтовъ, но теперь, оставивъ Тасса, онъ принялся за Петрарку и ознакомился съ произведеніями Касті; весьма возможно, что на

¹⁾ Соч., т. III, стр. 101—103.

²⁾ Тамъ же, стр. 103 и 105.

³⁾ Тамъ же, стр. 63.

последняго вниманіе Батюшкова было обращено И. М. Муравьевымъ-Апостоломъ, который сошелся съ Касті во время своихъ странствованій за границей ¹⁾. Изъ Петрарки и Касті Батюшковъ перевелъ въ это время нѣсколько піесъ, выбирая при томъ большею частью такія стихотворенія, которыя по своему содержанію соотвѣтствовали его собственному душевному настроенію. Такъ, у Петрарки онъ взялъ одну изъ канцонъ, посвященныхъ италіянскимъ поэтомъ памяти Лауры; въ переводѣ Батюшкова она заключается такими стихами:

О пѣснопѣнній мать, въ вертепахъ отдаленныхъ,
Въ изгнаньи горестномъ утѣха дней моихъ,
О лира, возбуди брацаньямъ струнъ златыхъ
И холмы спящіе, и кипарисны рощи,
Гдѣ я, печали сынъ, среди глубокой ночи,
Объятый трепетомъ, склонился на гранитъ...
И надо мною тѣнь Лауры пролетитъ! ²⁾

Это обращеніе къ поэзіи Батюшковъ могъ бы высказать и прямо отъ своего имени, такъ какъ творчество было для него въ деревенской глуши лучшею отрадой.

Вышеприведенное упоминаніе о Монтанѣ также служитъ свидѣтельствомъ тому, что ходъ занятій Батюшкова въ деревнѣ находился въ тѣсной связи съ тогдашнимъ расположеніемъ его духа. Константинъ Николаевичъ, безъ сомнѣнія, съ раннихъ лѣтъ былъ знакомъ съ знаменитыми „Опытами“ Монтаня; но до 1810 года въ деревенской библіотекѣ нашего поэта не было этой книги ³⁾; теперь же онъ съ увлеченіемъ зачитывался ею и даже собирался переводить отрывки изъ нея для Вѣстника Европы ⁴⁾. Причины этого увлеченія вполне понятны: въ Монтаневыхъ „Опытахъ“ Батюшковъ находилъ, изложенное въ легкой и привлекательной формѣ, то самое міросозерцаніе, ко-

¹⁾ Сынъ Отеч. 1813 г., ч. IX, № 39, стр. 6.

²⁾ Соч., т. I, стр. 119.

³⁾ Тамъ же, т. III, стр. 45.

⁴⁾ Тамъ же, стр. 99.

торое выработалось у него самого подъ другими литературными вліяніями. Сентъ-Бевъ называетъ Монтаня французскимъ Гораціемъ; и дѣйствительно, въ образѣ мыслей этого блестящаго представителя французскаго Ренессанса, упитаннаго древними и какъ бы чуждаго христіанству, мы видимъ соединеніе скептицизма съ чисто гораціанскимъ эпикурействомъ. Монтанъ убѣжденъ, что человѣку не дано знать истину во всей ея полнотѣ: въ ограниченности своего познанія онъ можетъ только наблюдать самого себя. Такъ Монтанъ и дѣлаетъ: его „Опыты“ не содержатъ въ себѣ цѣльнаго философскаго ученія, а представляютъ лишь рядъ замѣтокъ по вопросамъ нравственной философіи, основанныхъ на самонаблюденіи. Изучая самого себя, Монтанъ пришелъ къ заключенію, что цѣль человѣческой жизни есть наслажденіе: человѣкъ находитъ его, подчиняясь естественнымъ влеченіямъ своей природы и свободно удовлетворяя потребностямъ своей души и тѣла. Тому же учила и сенсуалистическая философія XVIII вѣка. Поэтому Вольтеръ высказываетъ такое же сочувствіе Монтаню, какое питалъ къ эпикурейцу Горацію. Это, безъ сомнѣнія, послужило руководящимъ указаніемъ для нашего поэта: всѣ три названные писателя были его наставниками въ житейской мудрости въ его молодые годы.

Батюшковъ любилъ ссылаться на свой ранній жизненный опытъ; но вопреки тому, чему, казалось бы, должны были научить его неудачи и огорченія, онъ еще твердо вѣрилъ въ возможность создать свое счастье, посвятивъ жизнь наслажденію. Гнѣдичъ укорялъ своего друга въ лѣни и побуждалъ его къ труду, который усовершенствовалъ бы его дарованіе. „Я гривны не дамъ“, отвѣчалъ ему Батюшковъ, — „за то, чтобы быть славнымъ писателемъ... а хочу быть счастливымъ. Это желаніе внушила мнѣ природа въ пеленахъ“ ¹⁾. Между тѣмъ дѣйстви-

¹⁾ Соч., т. III, стр. 68.

тельность слишкомъ часто напоминала ему о себѣ и болѣзнями, и хозяйственными неудачами, и безденежьемъ, и только въ области творчества Константинъ Николаевичъ могъ свободно предаваться своимъ любимымъ грезамъ; за то въ этой сферѣ онъ всего настойчивѣе охранялъ свою независимость и, вѣрно понимая свойство своего таланта, упорно отказывался принимать совѣты Гнѣдича, когда тотъ предлагалъ ему продолжать переводъ Тасса или взяться за Расина, но не переводить Парни ¹⁾. Вопреки этимъ совѣтамъ Батюшковъ не покидалъ французскаго лирика и, кромѣ того, съ особеннымъ увлеченіемъ занимался теперь передѣлкой любимаго произведенія своей ранней юности, элегіи „Мечта“; особенно разработалъ онъ въ этомъ стихотвореніи характеристику Горациа, какъ представителя эпикурейства, и тѣмъ выразилъ свое сочувствіе философіи наслажденія.

Счастливая мечта, живи еще со мной!

восклицаетъ поэтъ, какъ бы сознавая самъ, что несбыточные надежды на счастье ускользаютъ отъ него, гонимыя печальною дѣйствительностью ²⁾. Батюшкову во что бы то ни стало хотѣлось продлить еще хотя немного свою вольную жизнь. Въ то время, какъ Гнѣдичъ убѣждалъ его приняться за дѣло и ѣхать для того въ Петербургъ, приводя въ числѣ своихъ доводовъ даже такое соображеніе, что въ Москвѣ онъ сталъ бы писать хуже ³⁾, Константинъ Николаевичъ рѣшился снова отправиться въ Москву, гдѣ у него не предвидѣлось никакихъ удобствъ для устройства своей карьеры, но гдѣ жили милые ему люди, среди которыхъ онъ могъ провести нѣсколько мѣсяцевъ пріятно и весело; въ дальнѣйшемъ будущемъ онъ задумывалъ

¹⁾ Соч., т. III, стр. 64, 68, 117.

²⁾ Въ первоначальной редакціи „Мечты“ приведенный стихъ читался такъ:

Счастливая мечта, живи, живи со мной!

³⁾ Соч., т. III, стр. 68.

мывалъ совершить поѣздку на кавказскія воды, чтобы найти въ нихъ облегченіе отъ своихъ болѣзней ¹⁾). Для начала Константинъ Николаевичъ въ декабрѣ 1810 года отправился въ Вологду, но здѣсь его постигла новая серьезная болѣзнь, замедлившая дальнѣйшій путь его; такимъ образомъ, до Москвы онъ добрался только къ началу февраля 1811 года и по прежнему примѣру остановился у Е. Ѳ. Муравьевой.

Здѣсь нѣсколькихъ пріятныхъ впечатлѣній было достаточно, чтобы возстановить душевную бодрость нашего мечтателя. Встрѣча съ Жуковскимъ и Вяземскимъ убѣдила его, что московскіе пріятели любятъ его по прежнему; изъ Петербурга также пришли пріятныя вѣсти: Оленинъ написалъ Батюшкову „дружественное“ письмо, свидѣтельствовавшее, что Константинъ Николаевичъ можетъ разсчитывать на его содѣйствіе, въ случаѣ пріисканія должности. Все это побудило Батюшкова извѣстить Гнѣдича радостнымъ посланіемъ о своемъ пріѣздѣ въ Москву и о томъ, что онъ вскорѣ собирается въ Петербургъ ²⁾). На самомъ дѣлѣ однако онъ не спѣшилъ уѣзжать изъ древней столицы; онъ даже закинулъ Гнѣдичу слово, что будетъ отвѣчать Оленину только мѣсяца черезъ три, „чтобы не уронить своего достоинства и не избаловать его“. По просту сказать, московская жизнь была слишкомъ соблазнительна для нашего поэта, и снова попавъ въ ея круговоротъ, Батюшковъ не желалъ разстаться съ нею слишкомъ скоро.

Опять возобновились сходки у Ѳ. Ѳ. Иванова и особенно у князя Вяземскаго, съ тѣмъ же характеромъ изящнаго веселья, который такъ нравился Батюшкову въ прошломъ году. На дружескія собранія у Вяземскаго Константинъ Николаевичъ намекнулъ въ обращеніи къ нему въ своихъ „Пенатахъ“:

¹⁾ Соч., т. III, стр. 67 и 106.

²⁾ Тамъ же, стр. 110—111.

О, Аристипповъ внукъ,
Ты любишь пѣсни нѣжны
И рюмокъ звонъ и стужу!
Въ часъ нѣги и прохлады
На ужинахъ твоихъ
Ты любишь томны взгляды
Прелестницъ записныхъ,
И всѣ заботы славы,
Суетъ и шумъ, и блажь
За быстрый мигъ забавы
Съ поклонами отдашь! ¹⁾

Впослѣдствіи Вяземскій, вспоминая о своихъ раннихъ сношеніяхъ съ Батюшковымъ, выразился про себя, что онъ „жилъ тогда на-вѣтеръ“ ²⁾; но и эта пора веселой молодости имѣла свое значеніе въ жизни, какъ его собственной, такъ и тѣхъ молодыхъ писателей, которые собирались вокругъ него. Къ сожалѣнію, преданіе сохранило слишкомъ мало подробностей объ этихъ пріятельскихъ сходкахъ. Вмѣстѣ съ Батюшковымъ, постоянными гостями Вяземскаго по прежнему были, конечно, Жуковскій и В. Л. Пушкинъ; къ нимъ присоединились теперь и новыя лица: А. М. Пушкинъ, циникъ и вольтеріанецъ, ѣдкій на языкъ, но очень цѣнимый хозяиномъ за свой оригинальный и бойкій умъ; Левушка (Л. В.) Давыдовъ, братъ знаменитаго Дениса и, вѣроятно, сродный ему по уму и дарованіямъ, такъ какъ слылъ между пріятелями подъ именемъ Анакреона ³⁾; Д. П. Сѣверинъ, питомецъ И. И. Дмитріева и товарищъ Вяземскаго по ученію; С. Н. Маринъ, петербургскій стихотворецъ и остроловъ, съ поклоненіемъ Шишкову соединявшій любовь къ легкимъ стихамъ и сочинявшій пародіи на торжественныя оды Ломоносова и Державина ⁴⁾; наконецъ, гр. Мих. Юр.

¹⁾ Соч., т. I, стр. 139—140.

²⁾ П. собр. соч. кн. Вяз., т. IX, стр. 122.

³⁾ Соч., т. III, стр. 155, 168.

⁴⁾ Тамъ же, стр. 133; П. собр. соч. кн. Вяз., т. VIII, стр. 115.

Вьельгорскій, талантливый пѣвецъ и композиторъ, сочинявшій музыку для куплетовъ, которые пѣлись на ужинахъ Вяземскаго ¹⁾; Батюшковъ былъ знакомъ съ нимъ еще со времени своего пребыванія въ Ригѣ въ 1807 году.

Литература составляла господствующій интересъ на этихъ дружескихъ собраніяхъ. Въ то время поэтический талантъ Жуковскаго уже достаточно окрѣпъ, и въ значительной степени опредѣлилось направленіе его творчества. Въ ранней юности горячій поклонникъ Руссо, онъ былъ теперь ревностнымъ почитателемъ германской литературы, въ особенности шиллеровскаго идеализма; воображеніе его питалось фантастическими образами средневѣковаго міра, душа требовала живой вѣры; на жизнь онъ смотрѣлъ съ возвышенной всепримиряющей точки зрѣнія, въ силу которой всякое душевное страданіе настоящей минуты находить себѣ разрѣшеніе въ твердой надеждѣ на будущее, въ вѣрѣ въ жизнь за гробомъ. Это міросозерцаніе, равно какъ влеченіе Жуковскаго къ германской поэзіи, должно было вызывать сильныя возраженія со стороны его друзей, воспитанныхъ на французской словесности, на раціонализмъ и сенсуализмъ XVIII вѣка и болѣе склонныхъ искать наслажденія въ земныхъ благахъ. Въ то время, какъ Жуковский твердилъ свой любимый оптимистическій афоризмъ: „добра несравненно болѣе, нежели зла“ ²⁾, Батюшковъ говорилъ какъ разъ противоположное ³⁾. Восхищаясь прелестью стиховъ Жуковскаго, онъ осуждалъ выборъ сюжетовъ въ его балладахъ и посмѣивался надъ его любовью къ наивной народной фантастикѣ ⁴⁾. Онъ не подозрѣвалъ, что уже самая форма баллады открывала доступъ въ поэзію народному элементу. Какъ видно изъ прозаическаго опыта самого Батюшкова, повѣсти „Пред-

¹⁾ Соч. Бат., т. III, стр. 155; П. собр. соч. кн. Вяз., т. VIII, стр. 434.

²⁾ Загаринъ. В. А. Жуковский и его произведенія, стр. 53.

³⁾ Соч., т. III, стр. 51.

⁴⁾ Тамъ же, стр. 111 и 187.

слава и Добрыня“, русская народность неизбежно облекалась въ его представленіи въ героическіе образы и величественныя картины классическаго стиля. Мрачныя мотивы балладъ Жуковскаго, привидѣнія, мертвецы и тому подобныя образы, между прочимъ, подали однажды поводъ друзьямъ его къ слѣдующей шуткѣ: Вяземскій и Батюшковъ заѣхали въ квартиру Василя Андреевича и, не найдя тамъ ни хозяина, ни слуги, оставили маленькій дѣтскій гробикъ, нарочно купленный въ ближней гробовой лавкѣ. Слуга Жуковскаго, возвратившись домой раньше барина, испугался при видѣ этого неожиданнаго гостинца, побѣждалъ разыскивать Василя Андреевича по всѣмъ его знакомымъ и, наконецъ отыскавъ, сказалъ: „У насъ въ домѣ случилось большое несчастье“. Разумѣется, когда Жуковскій узналъ, въ чемъ дѣло, онъ расхохотался и послѣ журилъ своихъ пріятелей за ихъ шутку ¹⁾.

Расходясь съ Жуковскимъ во взглядѣ на предметы творчества, Батюшковъ однако, какъ мы уже знаемъ, чрезвычайно высоко цѣнилъ его поэтическое дарованіе и художественное чувство: свои собственныя произведенія онъ охотно отдавалъ на его судъ и исправленіе ²⁾. Вообще, это были, такъ-сказать, домашнія разногласія кружка, не имѣвшія вліянія ни на дружескія связи его членовъ, ни на солидарность ихъ мнѣній относительно общаго состоянія тогдашней русской литературы. Напротивъ того, въ ту пору, когда въ Петербургѣ оконча-

¹⁾ Сообщено Н. П. Барсуковымъ со словъ кн. П. А. Вяземскаго въ Р. Архивѣ 1874 г., кн. II, ст. 1089. Въ одномъ изъ писемъ 1814 г. Батюшковъ напоминаетъ Жуковскому то счастливое время, когда авторъ „Людмилы“ „жилъ у Дѣвичьяго монастыря въ сладкой бесѣдѣ съ музами“. „Всегда“, говоритъ онъ, — „съ удовольствіемъ живѣйшимъ вспоминаю и тебя, и Вяземскаго, и вечера наши, и споры, и шалости, и проказы“ (Соч., т. III, стр. 303). Это воспоминаніе нельзя не сблизить съ вступленіемъ къ „Прогулкѣ въ академію художествъ“, которое, будучи написано въ формѣ письма къ „старому московскому пріятелю“, также содержитъ въ себѣ указанія на споры и бесѣды автора съ его пріятелемъ о предметахъ искусства и литературы.

²⁾ Соч., т. III, стр. 99.

тельно сформировалась Бесѣда любителей русскаго слова, этотъ главный штабъ литературнаго старовѣрства, а въ Москвѣ, при университетѣ, готовилось образованіе Общества любителей словесности, когда такимъ образомъ противники Карамзина смыкались, чтобъ окончательно захватить въ свои руки литературное движеніе,—и среди московскихъ карамзинистовъ особенно сильно почувствовалась потребность общенія, и тамъ стали собираться съ силами для полемики. Это-то настроеніе и оживляло тотъ кружокъ, центромъ котораго былъ юноша Вяземскій. На его ужинахъ уже возглашался такой куплетъ:

Пускай Сперанскій образуетъ,
Пускай на вкусъ Бесѣда плюетъ
И хлещетъ умъ въ бока хлыстомъ:
Я не собьюся съ панталыка!
Нѣтъ, мое дѣло только пить
И, на нихъ глядя, говорить:
„Сомте ҫа брусника!“¹⁾

Вяземскій уже осмѣивалъ плохихъ писателей безчисленными эпиграммами, а В. Л. Пушкинъ, тѣмъ временемъ, сочинялъ „Опаснаго сосѣда“, въ которомъ въ забавной роли выведены старикъ Шишковъ и его молодой любимецъ, благочестивый поэтъ князь Шихматовъ, и готовилъ посланія къ Жуковскому и Д. В. Дашкову съ горячею исповѣдью своей карамзинской вѣры. Такъ весело и бойко сторонники новаго слога выступали на борьбу со старыми словесниками. На вечерахъ князя Вяземскаго уже господствовало то настроеніе, которое, нѣсколько лѣтъ спустя, послужило живительнымъ началомъ для Арзамаса, и амфитріонъ этихъ дружескихъ собраній уже носилъ свое арзамасское прозвище Асмодея²⁾. Вспоминая впоследствии это свѣтлое время юности, Вяземскій самъ говорилъ:

¹⁾ П. собр. соч. кн. Вяз., т. VIII, стр. 434; тамъ же и объясненіе припѣва.

²⁾ Соч. Бат., т. III, стр. 193.

„Мы уже были арзамасцами между собою, когда Арзамаса еще и не было“ ¹⁾).

Батюшкова очень занимала эта все сильнѣе разгоравшаяся борьба литературныхъ партій. Съ тѣхъ поръ, какъ его „Видѣніе на берегахъ Леты“ пошло по рукамъ, на него стали смотрѣть въ обществѣ, какъ на одного изъ горячихъ ратоборцевъ новой школы. До него доходили слухи, что въ Петербургѣ на него написана сатира, въ которой онъ осмѣянъ вмѣстѣ съ В. Пушкинымъ и Карамзинымъ. Батюшковъ желалъ поскорѣ прочесть ее, чтобы, какъ писалъ онъ Гнѣдичу, сдѣлать надъ собою моральный опытъ, то-есть, провѣрить, можетъ ли онъ быть равнодушенъ къ насмѣшкѣ ²⁾). Между тѣмъ „Видѣніе“ продолжало восхищать собою московскихъ карамзинистовъ: Вяземскій ставилъ его очень высоко. Константинъ Николаевичъ, въ свою очередь, наслаждался эпиграммами князя и съ восторгомъ писалъ о нихъ Гнѣдичу ³⁾. „Опасный сосѣдъ“ В. Пушкина также привелъ его въ восхищеніе, которое на этотъ разъ сообщилось и его петербургскому пріятелю, столь часто съ нимъ несогласному ⁴⁾. Личныя столкновенія своихъ литературныхъ друзей со старыми словесниками Батюшковъ горячо принималъ къ сердцу: такъ было при ссорѣ Гнѣдича съ Державинымъ изъ-за членства перваго въ Бесѣдѣ, и въ то время, когда старый лирикъ написалъ грубое письмо къ Жуковскому за помѣщеніе его піесъ въ „Собраніи русскихъ стихотвореній“ ⁵⁾. Въ этомъ послѣднемъ столкновеніи особенно возмутила Константина Николаевича нравственная сторона поступка Державина; онъ вообще не мирился съ тѣмъ высокоуміемъ, съ одной стороны, и угодничествомъ—съ другой, которыя господствовали въ тогдашнихъ

¹⁾ П. собр. соч. кн. Вяз., т. VII, стр. 411.

²⁾ Соч., т. III, стр. 113.

³⁾ Тамъ же, стр. 121; ср. стр. 138.

⁴⁾ Тамъ же, стр. 118, 128, 132.

⁵⁾ Тамъ же, стр. 112, 113, 121.

литературныхъ нравахъ, особливо петербургскихъ. „Вотъ истинный бѣсъ и никого видно не боится“, писалъ онъ Гнѣдичу, прослышавъ, что князь Б. В. Голицынъ написалъ книгу о русской словесности, въ которой „разбранилъ Карамзина и Шишкова“ ¹⁾, то-есть, отнесся самостоятельно къ обоимъ преобладавшимъ въ литературѣ теченіямъ. Негодованіе Батюшкова всего чаще возбуждалось отсутствіемъ вкуса, грубостью слога и бѣдностью мысли, которыми отличались писанія словесниковъ старой школы, и въ этомъ случаѣ онъ не щадилъ ихъ своими насмѣшками въ письмахъ къ Гнѣдичу и, конечно, въ бесѣдахъ съ московскими друзьями. „Валый слогъ, безчисленныя ошибки противъ правилъ языка, совершенная пустота въ мысляхъ, вотъ что можно сказать о большей части оригинальныхъ книгъ. Тотъ же валый, а часто и грубый слогъ, тѣ же ошибки, исковерканіе мыслей — вотъ главные признаки ежедневно выходящихъ переводовъ“. Такъ еще въ 1810 году судилъ о большинствѣ явленій тогдашней литературы Вяземскій въ письмѣ къ Батюшкову по поводу перевода одной Кребилъоновой трагедіи С. И. Висковатовымъ ²⁾; въ томъ же смыслѣ высказывался и Жуковскій въ своихъ критическихъ статьяхъ, печатавшихся въ Вѣстникѣ Европы, и Дашковъ въ разборѣ книгъ Шишкова „Переводъ двухъ статей изъ Лагарпа“ ³⁾. Мнѣнія Батюшкова вполне сходились съ этими отзывами; на разборъ Дашкова онъ обратилъ вниманіе прежде, чѣмъ узналъ, кто его авторъ, въ то время не знакомый ему лично ⁴⁾; по поводу рѣчи, произнесенной Шишковымъ при открытіи Бесѣды, Константинъ Николаевичъ высказался очень рѣзко: „Иные смѣялись, читая его слово“, писалъ онъ Гнѣдичу, — „а я плакалъ. Вотъ образецъ нашего жалкаго просвѣ-

¹⁾ Соч., т. III, стр. 121.

²⁾ П. собр. соч. кн. Вяземскаго, т. I, стр. 3.

³⁾ Разборъ Дашкова напечатанъ въ Цвѣтникѣ 1810 г., ч. IV.

⁴⁾ Соч., т. III, стр. 123.

щенія! Ни мыслей, ни ума, ни соли, ни языка, ни гармоніи въ періодахъ: *une stérile abondance de mots*, и все тутъ, а о ходѣ и планѣ не скажу ни слова. Это—академическая рѣчь? Гдѣ мы?... И этотъ человѣкъ, и эти люди бранятъ Карамзина за мелкія ошибки и строки, написанныя въ молодости, но въ которыхъ дышетъ дарованіе! И эти люди хотятъ сдѣлать революцію въ словесности не образцовыми произведеніями, нѣтъ, а системою новою, глупою!¹⁾ Изъ этихъ словъ ясно, что Батюшковъ видѣлъ въ распрѣ между старою и новою школою не случайный споръ, а серьезную борьбу просвѣщенныхъ идей противъ упорнаго коснѣнія въ застарѣлыхъ предразсудкахъ; произведенія Карамзина уже получали въ его глазахъ классическое значеніе и становились основой дальнѣйшаго литературнаго развитія. Такимъ образомъ, въ той группѣ писателей, съ которою нашъ поэтъ сблизился въ Москвѣ, онъ нашелъ не только наклонность позабавиться на счетъ литературныхъ нелѣпостей старой школы, но и болѣе глубокія идеи о задачахъ литературы, и услышалъ голосъ дѣльной критики, основанной если не на философскомъ принципѣ, то по крайней мѣрѣ на требованіяхъ здраваго и просвѣщеннаго вкуса.

Кромѣ кружка молодыхъ литераторовъ, Батюшковъ, во второй свой пріѣздъ въ Москву, посѣщалъ довольно много общество, и на этотъ разъ, кажется, съ большимъ удовольствіемъ, чѣмъ въ прошломъ году. Онъ не жаловался теперь на скуку, а напротивъ, писалъ Гнѣдичу, что разсѣянность и суета московской жизни испортили его, что онъ облѣнился, не писалъ ничего все это время и даже читалъ мало²⁾. Но конечно, эти самообвиненія нужно принимать только съ извѣстными ограниченіями: Константинъ Николаевичъ вращался по преимуществу среди людей, которые жили дѣятельною умственною жизнью.

¹⁾ Соч., т. III, стр. 127.

²⁾ Тамъ же, стр. 126.

По прежнему онъ видался съ умнымъ и образованнымъ И. М. Муравьевымъ-Апостоломъ и посѣщалъ Карамзина, при чемъ слышалъ отрывки изъ его „Исторіи“ въ чтеніи самого автора ¹⁾; вновь познакомился онъ съ Ю. А. Нелединскимъ и нашелъ, что это—„истинный Анакреонъ, самый острый и умный человекъ, добродушный въ разговорахъ и любезный въ своемъ быту—вопреки и звѣздѣ, и сенаторскому званію, которое онъ заставляетъ забывать“ ²⁾. Не чуждался нашъ поэтъ и шумныхъ свѣтскихъ удовольствій и бывалъ даже на блестящемъ каруселѣ, которымъ забавлялись тогда богатые Москвичи ³⁾. Но самымъ интереснымъ изъ новыхъ знакомствъ, сдѣланныхъ теперь Константиномъ Николаевичемъ, было знакомство съ Еленой Григорьевной Пушкиной, супругой уже извѣстнаго намъ Алексѣя Михайловича. Мы уже говорили, какъ высоко цѣнилъ Батюшковъ общество образованныхъ женщинъ, какое придавалъ ему облагораживающее и смягчающее значеніе. Въ ранней юности онъ любилъ проводить время у П. М. Ниловой и А. П. Квашниной-Самариной; теперь въ Москвѣ онъ находилъ удовольствіе въ обществѣ Е. Г. Пушкиной. Это, конечно, была одна изъ лучшихъ русскихъ женщинъ своего времени. Большой умъ въ ней признавали даже тѣ, кто не хотѣлъ или не умѣлъ видѣть въ ней другихъ качествъ. Злые языки находили, что она любила блистать своимъ умомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ выставить на показъ свою чувствительность; говорили, что въ ней много претензій ⁴⁾; но такіе люди, какъ Жуковский, Вяземскій и Ал. Тургеневъ, какъ Муравьевъ-Апостолъ и Батюшковъ, питали къ ней не поддѣльное и глубокое уваженіе: обладая замѣчательнымъ образованіемъ, хорошо знакомая съ современною литературой,

¹⁾ Соч., т. III, стр. 116.

²⁾ Тамъ же, стр. 113; ср. стр. 128.

³⁾ Тамъ же, стр. 123 и 133.

⁴⁾ Вигель. Воспоминанія, ч. VI, стр. 14; Переписка Ф. Крестина, стр. 144—339.

любезная въ своемъ обращеніи, эта молодая женщина стояла совершенно на уровнѣ умственнаго и нравственнаго развитія лучшихъ своихъ современниковъ. „Въ вашемъ прелестномъ для меня обществѣ“, писалъ ей однажды Батюшковъ, — „я находилъ сладостныя, неизъяснимыя минуты и горжусь мыслью, что женщина, какъ вы, съ добрымъ сердцемъ, съ просвѣщеннымъ умомъ и, можетъ быть, съ твердымъ, постояннымъ характеромъ, любила угадывать всѣ движенія моего сердца и часто была мною довольна“ ¹⁾. Съ своей стороны, Елена Григорьевна прекрасно поняла живую, мягкую, увлекающуюся натуру и счастливое дарованіе поэта, и ихъ соединила самая благородная дружба. Елена Григорьевна сама описала начало ихъ знакомства, и этотъ небольшой отрывокъ, приведенный въ началѣ настоящаго очерка, содержитъ въ себѣ самую теплую и самую вѣрную характеристику Константина Николаевича.

Такъ, среди пріятныхъ впечатлѣній, промелькнули для Батюшкова четыре мѣсяца, и у него не хватило рѣшимости покинуть Москву и промѣнять ее на Петербургъ. По временамъ онъ съ безпокойствомъ вспоминалъ о приглашеніи Оленина и въ письмахъ къ Гнѣдичу повторялъ, что скоро явится къ нему, а между тѣмъ все-таки не ѣхалъ. Наконецъ, въ началѣ лѣта Константинъ Николаевичъ замѣтилъ, что средства, припасенныя имъ на поѣздку, приходятъ къ концу; ѣхать въ Петербургъ безъ денегъ становилось невозможнымъ, и потому въ концѣ іюня или въ началѣ іюля онъ, во избѣжаніе дальнѣйшихъ затрудненій, положилъ отправиться снова въ свою деревню, быть можетъ, не совсѣмъ недовольный тѣмъ, что такимъ образомъ избѣгъ еще на нѣкоторое время печальной необходимости искать службы въ Петербургѣ.

Но Батюшковъ зналъ, что это его рѣшеніе вызоветъ новое неудовольствіе со стороны его петербургскаго друга и потому,

¹⁾ Соч., т. III, стр. 231.

едва приѣхавъ въ Хантоново, поспѣшилъ изложить Гнѣдичу свое оправданіе. Гнѣдичъ однако разсердился, по видимому, не на шутку; у него было мелкое самолюбіе тѣхъ людей, которые обижаются, когда даваемые ими совѣты не приводятся въ исполненіе ¹⁾. Онъ цѣлые два мѣсяца не отвѣчалъ Батюшкову, и когда наконецъ рѣшился писать ему, то опять повелъ рѣчь въ прежнемъ тонѣ, снова сталъ корить своего пріятеля лѣнью, недостаткомъ житейской опытности, погоней за несбыточною независимостью и т. под. Всѣ эти безконечныя упреки Батюшковъ принималъ теперь очень добродушно и не падалъ духомъ, какъ то, вѣроятно, случилось бы прежде: онъ въ свою очередь продолжалъ твердить, что не хочетъ поступать въ какую-нибудь канцелярію, не гонится за жалованьемъ, и снова сталъ заговаривать о дипломатической карьерѣ или о поѣздкѣ за границу. „Я говорю о путешествіи“, объяснялъ онъ Гнѣдичу, — „ты пожимаешь плечами. Но я тебя въ свою очередь спрошу: Батюшковъ былъ въ Пруссіи, потомъ въ Швеціи; онъ былъ тамъ самъ, по своей охотѣ, тогда, когда все ему препятствовало; почему жъ Батюшкову не быть въ Италіи?... Если фортуна можно умиловити, если въ сильномъ желаніи тлѣется искра исполненія, если я буду здоровъ и живъ, то я могу быть при миссіи, гдѣ могу быть полезенъ. И еще скажу тебѣ, что когда бы обстоятельства позволяли, и курсъ денежный унизился, то Батюшковъ былъ бы на свои деньги въ чужихъ краяхъ, куда онъ хочетъ ѣхать за тѣмъ, чтобъ наслаждаться жизнію, учиться, зѣвать; но это все одни если, и то правда, но если сбыточныя“ ²⁾. Такая настойчи-

¹⁾ Эту черту замѣтилъ въ Гнѣдичѣ Н. И. Гречъ, бывшій его пріятелемъ. Вотъ слова Греча: „Многіе молодые писатели совѣтовались съ Гнѣдичемъ и пользовались его уроками, которые онъ давалъ имъ охотно и откровенно... Бѣда, бывало, друзьямъ его не прочесть ему своихъ статей или стиховъ предварительно: напечатанные бранилъ онъ тогда безпощадно и въ глаза автору, а за одобренныя или по крайней мѣрѣ выслушанныя имъ вступался съ усердіемъ и жаромъ“ (Газетныя замѣтки въ Сѣверной Пчелѣ 1857 г., № 159).

²⁾ Соч., т. III, стр. 159.

вость въ преслѣдованіи своей мечты, такая вѣра въ возможность достигнуть того, что сильно желается, была у Константина Николаевича прямымъ результатомъ той душевной бодрости, которую дало ему вторичное пребываніе въ Москвѣ; еще болѣе, чѣмъ послѣ первой поѣздки туда, онъ вынесъ теперь изъ общенія съ московскими пріятелями увѣренности въ свои силы и дарованіе. Подъ этими впечатлѣніями онъ написалъ въ деревнѣ свое извѣстное посланіе къ Жуковскому и Вяземскому, озаглавленное „Мои пенаты“. Еще разъ возвращается въ немъ поэтъ къ своей любимой мечтѣ, что жизнь дана для наслажденія:

Пока бѣжить за нами
Богъ времени сѣдой
И губить дугъ съ цвѣтами
Безжалостной косой,
Мой другъ, скорѣй за счастьемъ
Въ путь жизни полетимъ,
Упьемся сладострастьемъ
И смерть опередимъ;
Сорвемъ цвѣты украдкой
Подъ лезвіемъ косы
И лѣнью жизни краткой
Продлимъ, продлимъ часы!

Но теперь наслажденіе жизнью представляется поэту уже не въ шумномъ веселіи пировъ, какъ прежде: онъ готовъ примириться съ своею скромною долей подъ охраною „отеческихъ пенатовъ“, лишь бы его не покидали друзья и вдохновеніе—

сердца тихій жаръ
И сладки пѣснопѣнья,
Богинь пермесскихъ даръ.

Какъ бы въ поясненіе этихъ поэтическихъ желаній, читаемъ мы слова Батюшкова въ одномъ изъ тогдашнихъ писемъ его къ Гнѣдичу: „Поэзія, сіе вдохновеніе, сіе нѣчто изнимаю-

щее душу изъ ея обыкновеннаго состоянія дѣлаетъ любимцевъ своихъ несчастными счастливыми“¹⁾).

И дѣйствительно, не смотря на свое одиночество, Батюшковъ сохранялъ и въ Хантоновѣ покойное расположеніе духа и меньше испытывалъ припадковъ хандры, обыкновенной спутницы его деревенской жизни. Онъ занимался хозяйственными дѣлами, много читалъ, между прочимъ философскія книги, и изучалъ италіянскихъ поэтовъ²⁾; усердно слѣдилъ за литературными новостями петербургскими и московскими и судилъ о нихъ съ независимостью человѣка, выработавшаго себѣ опредѣленный взглядъ на вещи; задумывалъ новыя произведенія и хотя писалъ мало, но очевидно, находился въ томъ творческомъ настроеніи, когда въ душѣ поэта зрѣютъ новыя художественныя замыслы. Письма его изъ этой поры отличаются живостью и веселостью; кромѣ Гнѣдича, у Константина Николаевича завязалась теперь дѣятельная переписка съ Вяземскимъ, и между тѣмъ какъ въ письмахъ къ петербургскому пріятелю Батюшкову часто приходилось пускаться въ скучныя для него разсужденія объ устройствѣ своей дальнѣйшей судьбы, съ княземъ онъ могъ переписываться только о предметахъ литературныхъ, одинаково интересныхъ имъ обоимъ. Дружба, какъ замѣтила Е. Г. Пушкина, была кумиромъ Батюшкова; но не со всѣми своими пріятелями онъ былъ такъ задушевно откровененъ, какъ съ Вяземскимъ³⁾: ему одному онъ свободно повѣрялъ и свои мнѣнія, и свое душевное настроеніе, въ твердомъ убѣжденіи, что встрѣтитъ сочувственный откликъ. Большою неожиданностью было для Константина Николаевича извѣстіе, что Вяземскій, этотъ почти юноша, еще не уставшій отъ всевозможныхъ развлеченій самой разсѣланной жизни, собирается вступить въ

¹⁾ Соч., т. III, стр. 140.

²⁾ Тамъ же, стр. 136, 137, 165, 170, 171 и др.

³⁾ Тамъ же, стр. 414.

бракъ. Батюшковъ не скрылъ своего удивленія при этой новости, но вмѣстѣ съ тѣмъ радостно привѣтствовалъ важную перемену въ быту своего друга ¹⁾).

Такъ прошли для Батюшкова въ „безмолвномъ уединеніи“ деревенской жизни шесть мѣсяцевъ—вторая половина 1811 года, прошли безъ особенныхъ радостей, но и безъ гнетущаго унынія, и не отняли у нашего поэта душевныхъ силъ, которыя онъ, по своей впечатлительности, умѣлъ тратить столь неразчетливо. Все настоятельнѣе чувствовалъ онъ необходимость принять какое-нибудь рѣшеніе для того, чтобы обезпечить свое будущее. Утративъ надежду проложить себѣ путь къ дипломатической службѣ, Батюшковъ сталъ думать, нельзя ли ему пристроиться къ Императорской Публичной Библіотекѣ подъ непосредственное начальство Оленина ¹⁾. Между тѣмъ какъ Гнѣдичъ звалъ Константина Николаевича въ Петербургъ, Вяземскій желалъ видѣть его въ Москвѣ. Туда же стремился своими помыслами и самъ Батюшковъ; но на сей разъ благоразуміе должно было взять верхъ: онъ согласился послѣдовать настойчивымъ совѣтамъ своего петербургскаго друга и въ январѣ 1812 года, миновавъ Москву и ея соблазны, отправился на берега Невы.

¹⁾ Соч., т. III, стр. 143, 146, 154.

²⁾ Тамъ же, стр. 115 и 132.

VII.

Приѣздъ Батюшкова въ Петербургъ и поступленіе на службу. — Сближеніе съ И. И. Дмитріевымъ, А. И. Тургеневымъ, Д. Н. Блудовымъ и Д. В. Дашковымъ. — Переписка съ Жуковскимъ. — Вольное Общество любителей словесности. — Начало Отечественной войны. — Поѣздка Батюшкова въ Москву и Нижній-Новгородъ. — Москвичи въ Нижнемъ; Карамзинъ, И. М. Муравьевъ-Апостолъ и С. Н. Глинка. — Впечатлѣнія войны на Батюшкова. — Отъѣздъ его изъ Нижняго въ Петербургъ.

По приѣздѣ въ Петербургъ первую заботой Батюшкова было выяснить вопросъ о возможности опредѣлиться на службу. Но и въ этомъ случаѣ успѣхъ давался не легко. Въ половинѣ февраля, уже проживъ въ Петербургѣ около мѣсяца, онъ сообщалъ сестрѣ не совсѣмъ утѣшительныя вѣсти касательно поступленія на службу: „Что же касается до мѣста, то и до сихъ поръ ничего не знаю. Въ Библіотекѣ всѣ заняты (помнишь ли деревенскія басни и мои слова?), а надежда вся на Алексѣя Николаевича, который ко мнѣ весьма ласковъ“ ¹⁾. И дѣйствительно, надежда на этотъ разъ не обманула поэта: встрѣченный у Олениныхъ съ тою же привѣтливостью, съ какою былъ принимаемъ прежде, Константинъ Николаевичъ имѣлъ таки возможность поступить подъ непосредственное начальство своего давняго покровителя. Въ апрѣлѣ 1812 года произошло передвиженіе въ составѣ чиновниковъ Императорской Публичной Библіотеки: старикъ Дубровский, которому она обязана была приобрѣтеніемъ драгоценныхъ латинскихъ и французскихъ рукописей, вывезенныхъ имъ изъ Парижа при началѣ Французской революціи, оставилъ должность хранителя манускриптовъ; его замѣстилъ бывший дотолѣ его помощникомъ А. И. Ермолаевъ, а на мѣсто сего послѣдняго опредѣленъ былъ отставной гвардіи подпоручикъ Батюшковъ ²⁾. Такъ еще новая связь скрѣпила

¹⁾ Соч., т. III, стр. 173.

²⁾ Отчетъ Имп. Публ. Библіотеки за 1808, 1809, 1810, 1811 и 1812 года. С.-Пб. 1813, стр. 57; Соч., т. III, 175, 180.

его съ оленинскимъ кружкомъ, въ которомъ сослуживцы и подчиненные Алексѣя Николаевича, большею частью имъ самимъ выбранные, всегда играли видную роль. Тотъ же духъ благоволенія, та же любовь къ просвѣщенію, къ наукамъ и искусствамъ, которыми отличался оленинскій салонъ, распространялись и на составъ служащихъ въ Библіотекѣ; присоединяясь къ нему, Батюшковъ становился сослуживцемъ Уварова, Крылова, Гнѣдича, Ермолаева, людей большею частью хорошо ему извѣстныхъ и искренно имъ уважаемыхъ; раздѣлять съ ними служебные труды было для него, конечно, также пріятно, какъ и находиться въ умственномъ общеніи съ ними; притомъ же, надобно думать, что обязанности помощника хранителя манускриптовъ были въ то время не обременительны, особенно при такомъ трудолюбивомъ и ученомъ библіотекарѣ отдѣленія рукописей, каковъ былъ страстный палеографъ Ермолаевъ. На дежурствѣ Гнѣдича, по вечерамъ, въ Библіотекѣ собирались его пріатели и проводили время въ дружеской бесѣдѣ; тутъ Константинъ Николаевичъ встрѣчался съ М. В. Милоновымъ, П. А. Никольскимъ, М. Е. Лобановымъ, П. С. Яковлевымъ и Н. И. Гречемъ ¹⁾.

Вообще, жизнь Батюшкова устроилась въ Петербургѣ довольно пріятно: здоровье его было удовлетворительно, и онъ не утрачивалъ того свѣтлаго и покойнаго расположенія духа, съ которымъ пріѣхалъ. Огорчали его только тревожныя извѣстія о семейныхъ и хозяйственныхъ дѣлахъ, бремя которыхъ все болѣе и болѣе падало на Александру Николаевну. Письма ея сообщали мало утѣшительнаго; она знала прихотливую неустойчивость братнина характера, и ей не вѣрилось, что Константинъ Николаевичъ можетъ упрочить свое положеніе въ Петербургѣ; въ виду разстройства ихъ состоянія, въ виду новыхъ расходовъ, которые влекло за собою пребы-

¹⁾ Газетныя замѣтки Эрміона (Н. И. Греча) въ Сѣв. Пчелѣ 1857 г., № 157.

ваніе брата въ столицѣ, она готова была желать возвращенія брата на дешевое житіе въ деревнѣ. Такія соображенія, разумѣется, не сходились съ надеждами и намѣреніями Константина Николаевича. „Я право иногда вамъ завидую“, писалъ онъ сестрамъ,—„и желаю быть хоть на день въ деревнѣ... правда, на день, не болѣе. Бога ради, не отвлекайте меня изъ Петербурга: это можетъ быть вредно моимъ предпріятіямъ касательно службы и кармана. Дайте мнѣ хоть годъ пожить на одномъ мѣстѣ“¹⁾. Онъ старался по мѣрѣ силъ помогать роднымъ своими хлопотами въ Петербургѣ и питалъ убѣжденіе, что пребываніе его здѣсь можетъ быть не бесполезно и для семейныхъ дѣлъ. Ободренный встрѣченнымъ имъ здѣсь вниманіемъ, онъ чувствовалъ въ себѣ еще болѣе рѣшимости преслѣдовать намѣченную цѣль, если не изъ честолюбія или изъ матеріальныхъ выгодъ, то быть можетъ, изъ потребности интеллигентной жизни, недостатокъ которой такъ былъ тягостенъ ему въ деревенской глуши. Несомнѣнно, благоразуміе, съ которымъ Батюшковъ взялся за службу, свидѣтельствовало, что онъ разставался съ мечтами юности о безпечной, вольной жизни, посвященной одному наслажденію.

Обжившись въ Петербургѣ, Батюшковъ не забывалъ и о своихъ московскихъ друзьяхъ: онъ поддерживалъ дѣятельную переписку съ княземъ Вяземскимъ и писалъ иногда къ Жуковскому, жившему тогда въ Бѣлевѣ. Кромѣ того, онъ сблизился съ пріятелями своихъ московскихъ друзей, переселившимися въ Петербургъ на службу, и въ ихъ обществѣ какъ бы продолжалъ нить той московской жизни, періодъ которой называлъ самымъ счастливымъ своимъ временемъ. Въ знакомствѣ съ И. И. Дмитріевымъ, который занималъ тогда постъ министра юстиціи и охотно окружалъ себя даровитыми молодыми людьми съ литературными наклонностями, Батюшковъ на

¹⁾ Соч., т. III, стр. 181.

шелъ какъ бы отраженіе пріятныхъ и поучительныхъ бесѣдъ Карамзина; сношенія съ А. И. Тургеневымъ, Д. Н. Блудовымъ, Д. П. Сѣверинымъ и Д. В. Дашковымъ напоминали ему о Жуковскомъ и Вяземскомъ. Тургенева Батюшковъ зналъ давно, съ ранней молодости, когда встрѣчалъ его въ домѣ М. Н. Муравьева, но только теперь, познакомившись съ нимъ ближе, онъ оцѣнилъ его просвѣщенный умъ, любезность и безконечно доброе сердце. Съ своей стороны, и Тургеневъ, узнавъ о дружбѣ Константина Николаевича съ Жуковскимъ, охотнѣе выражалъ теперь расположеніе къ „милому и прекрасному поэту“ ¹⁾. Съ Блудовымъ, писалъ Батюшковъ Василю Андреевичу, — „я познакомился очень коротко, и не мудрено: онъ тебя любить, какъ брата, какъ любовницу, а ты, мой любезный чудакъ, наговорилъ много добраго обо мнѣ, и Дмитрій Николаевичъ ужь готовъ былъ меня полюбить. Съ нимъ очень весело. Онъ уменъ“ ²⁾. Дашковъ привлекъ къ себѣ Батюшкова тонкостью своего ума, образованностью и тою энергіей, которую онъ обнаруживалъ въ литературныхъ спорахъ со сторонниками Шишкова.

Въ то время, когда Батюшковъ переселился въ Петербургъ, здѣшніе друзья Жуковского задумали и его привлечь въ сѣверную столицу и пристроить на службу. Константина Николаевича радовала возможность увидѣться съ другомъ, и онъ также написалъ ему письмо, съ горячими убѣжденіями пріѣхать „на берега Невы“, хотя они и „гораздо скучнѣе нашихъ московскихъ“. Къ письму было приложено посланіе къ Пена-тамъ, въ которомъ нашъ поэтъ повторялъ свою прежнюю исповѣдь эпикурейства и между прочимъ говорилъ о минутныхъ восторгахъ сладострастья. Жуковскій не сдался тогда на при-

¹⁾ См. письмо Тургенева къ Жуковскому отъ 9-го февраля 1812 г. въ Соч. Бат., т. I, стр. 370.

²⁾ Соч., т. III, стр. 178.

глашенія друзей: весь погруженный въ свою любовь, онъ былъ увлеченъ мечтой создать себѣ семейное счастье въ тишинѣ сельскаго уединенія; препятствій, которыя встрѣтились со стороны матери любимой имъ дѣвушки, онъ еще не считалъ тогда непреодолимыми. На письмо и стихи Батюшкова Жуковский также отвѣчалъ прозой и стихами: въ письмѣ онъ совѣтовалъ нашему поэту тщательно отдѣлывать свои произведенія ¹⁾, а въ стихотворномъ посланіи раскрывалъ предъ нимъ высокій идеалъ счастья, основанный на чистой любви. Любовь, говорилъ Жуковский,—

Любовь—святой хранитель
Иль грозный истребитель
Душевной чистоты.
Отвергни сладострастья
Погибельны мечты
И не восторговъ—счастья
Въ прямой ищи любви;
Восторговъ изступленье
Минутное забвенье.
Отринь ихъ, разорви
Лансъ коварныхъ узы;
Друзья стыдливыхъ—музы;
Во храмъ священный ихъ
Прелестницъ записныхъ
Толпа войти страшится... ²⁾

Отвѣтное посланіе Жуковского дошло до Батюшкова только въ концѣ 1812 года ³⁾, на письмо же своего друга нашъ поэтъ возразилъ шутками: онъ отказывался заниматься обработкой своихъ стиховъ, предпочитая посвящать свое время веселой

¹⁾ Письма Жуковского къ Константину Николаевичу, въ томъ числѣ и это, не сохранились; но содержаніе письма Жуковского, о которомъ идетъ рѣчь, уясняется отчасти изъ отвѣта Батюшкова—Соч., III, стр. 187.

²⁾ Соч. Жук., изд. 7-е, т. I, стр. 240.

³⁾ Соч., т. III, стр. 215.

бесѣдѣ съ друзьями. Батюшковъ чувствовалъ однако, что этотъ отвѣтъ не могъ удовлетворить Жуковскаго; поэтому къ своему письму онъ присоединилъ новое посланіе къ Жуковскому, въ которомъ говорилъ и о своемъ душевномъ настроеніи:

Тебѣ—одна лишь радость,
Мнѣ—горести даны!
Какъ сонъ, проходитъ младость
И счастье прежнихъ дней!
Все сердцу измѣнило:
Здоровье легкокрыло
И другъ души моей! ¹⁾.

Жуковскому едва ли могъ быть вполне понятенъ намекъ, заключавшійся въ послѣднемъ изъ приведенныхъ стиховъ, а Батюшковъ, въ свою очередь, еще не зналъ тогда, что и другу его любовь сулитъ не однѣ радости; ему казалось, что Жуковский слишкомъ ослѣпленъ своимъ чувствомъ, и потому

Для двухъ коварныхъ глазъ,
Подъ знаменемъ Киприды,
Сей новый Донъ-Кихотъ
Проводитъ вѣкъ съ мечтами,
Съ химерами живетъ,
Бесѣдуетъ съ духами
И—міръ смѣшать собой!

Доля ироніи слышна въ этихъ строкахъ, обращенныхъ, разумѣется, не къ самому Жуковскому, а къ одному изъ общихъ пріятелей ²⁾; но отсюда не слѣдуетъ заключать, чтобы Батюшковъ легко относился къ чужому чувству. Онъ могъ любить иначе, чѣмъ Жуковский, но онъ ли не зналъ могучей силы страсти? Еще въ ранней юности Константинъ Николаевичъ

¹⁾ Соч., т. III, стр. 189; отрывокъ этотъ приведенъ по первоначальной редакціи посланія находящейся въ письмѣ Батюшкова къ Жуковскому отъ іюня 1812 года.

²⁾ Посланіе къ А. И. Тургеневу, 1812 г.,—Соч., т. I, стр. 148.

испыталъ горячій порывъ ея, встрѣченный полною взаимностью, и эта любовь оставила глубокій слѣдъ въ его душѣ; два года разлуки послѣ встрѣчи съ г-жею Мюгель не измѣнили его чувства. Правда, впоследствии, разсѣянная жизнь въ Москвѣ, а можетъ быть, и доходившіе до поэта слухи, что онъ забыть любимую имъ дѣвушкой, охладили его юношескій порывъ, и съ тѣхъ поръ у него сложился скептическій взглядъ на прочность женскаго чувства ¹⁾, взглядъ, который, какъ и поиски минутныхъ увлеченій, служилъ ему отчасти утѣшеніемъ въ его разочарованіи. Быть можетъ, Константинъ Николаевичъ и не совсѣмъ былъ правъ въ частной причинѣ своего скептицизма, но сомнѣніе, закравшееся въ его душу, внесло въ жизнь его сердца ту горечь, отъ которой онъ уже никогда не могъ освободиться: онъ уже не въ силахъ былъ вѣрить въ ту возможность счастья въ любви, мечтой о которомъ была полна душа Жуковского. Различный, но одинаково печальный путь готовило будущее обоимъ поэтамъ въ ихъ сердечной жизни, и тогда они лучше сумѣли понять другъ друга въ этомъ отношеніи.

Между тѣмъ какъ обмѣнъ мыслей между Батюшковымъ и Жуковскимъ затрогивалъ самыя глубокія стороны ихъ внутренней жизни, переписка Константина Николаевича съ княземъ Вяземскимъ вращалась около предметовъ болѣе легкихъ. Они обмѣнивались литературными новостями и извѣстіями объ общихъ пріятеляхъ. Въ жизни тѣхъ изъ нихъ, которые находились въ Петербургѣ, литературные интересы занимали не меньше мѣста, чѣмъ въ кружкѣ московскихъ карамзинистовъ, и дѣятельность ихъ, по скольку они участвовали въ литературѣ, имѣла направленіе, разумѣется, враждебное Бесѣдѣ и вообще шишковской партіи. Мало по малу и Блудовъ, и Дашковъ, и Сѣверинъ вошли въ составъ Вольнаго Общества любителей словесности, наукъ и художествъ, единственнаго въ Петербургѣ

¹⁾ Соч., т. III, стр. 149.

организованнаго учрежденія, гдѣ хотя и не очень смѣло, но признавались литературныя заслуги Карамзина, и вообще обнаруживалось сочувствіе къ новымъ стремленіямъ въ словесности. Дашкову принадлежитъ мысль оживить дѣятельность этого почти заснувшаго Общества и противопоставить его шумливой хлопотнѣ членовъ Бесѣды ¹⁾. Въ началѣ 1812 года Общество предприняло изданіе журнала С.-Петербургскій Вѣстникъ, въ которомъ критикѣ отведено было видное мѣсто. Теперь и Батюшковъ сдѣлался членомъ Вольнаго Общества и сталъ помѣщать въ его журналѣ свои стихотворенія, между тѣмъ какъ Дашковъ печаталъ тамъ дѣльныя критическія статьи. Во взглядахъ членовъ Вольнаго Общества не было однако полной солидарности, и вскорѣ въ немъ обнаружилось разъединеніе. Напѣлись въ его составѣ лица, которыя къ избранію въ почетные члены предложили бездарнаго метромана, графа Д. И. Хвостова. Дашковъ былъ противъ этого; но большинство рѣшило выборъ. Тогда Дашковъ просилъ дозволенія сказать Хвостову привѣтственную рѣчь, на что и получилъ разрѣшеніе. Рѣчь была сказана въ засѣданіи 14-го марта 1812 года и подъ видомъ похвалъ заключала въ себѣ такую иронію, что смутила многихъ изъ присутствовавшихъ. Въ своей рѣчи Дашковъ предлагалъ сочленамъ заняться разборомъ произведеній Хвостова и „показать все ихъ достоинство“. Члены обязаны были высказаться по содержанію этого предложенія. Въ засѣданіи 18-го марта члены Сѣверинъ, Батюшковъ, Лобановъ, Блудовъ и Жихаревъ предложили „потребовать объясненія, какъ отъ г. Дашкова объ его намѣреніяхъ, такъ и отъ графа Д. И. Хвостова о томъ, что ему кажется оскорбительно въ семъ предложеніи, и въ самомъ ли дѣлѣ онъ имъ оскорбляется“. Авторы этого предложенія, очевидно, рассчитывали, что Хвостовъ не при-

¹⁾ Н. И. Гречъ. Памяти А. Х. Востокова. С.-Пб. 1864, стр. 7.

знаеть рѣчи Дашкова обидною для себя, и что такимъ образомъ дѣло будетъ замято. Но другіе члены прямо заявили, что похвалы Дашкова, по своему двусмыслию, имѣютъ видъ укоризны Хвостову, и что поэтому Дашковъ, какъ оскорбитель, подлежитъ исключенію. Большинство членовъ рѣшительно присоединилось къ этому мнѣнію; тогда лица, внесшія первое предложеніе, не желали настаивать на истребованіи объясненія у Дашкова и представили такое заявленіе, составленное Батюшковымъ: „Если графъ Дмитрій Ивановичъ дѣйствительно оскорбленъ предложеніемъ г. Дашкова, въ такомъ случаѣ, съ сожалѣніемъ соглашаемся на исключеніе г. Дашкова, который въ теченіе продолжительнаго времени былъ полезенъ Обществу“. Подъ этимъ послѣднимъ заявленіемъ подписи Блудова не было ¹⁾).

Такимъ образомъ Дашковъ принужденъ былъ выйти изъ Общества, которое вслѣдъ за нимъ оставили и его друзья. Въ маѣ 1812 года Батюшковъ писалъ по этому случаю въ Москву къ Вяземскому слѣдующее: „Когда увидишь Сѣверина (онъ гостилъ въ то время въ Москвѣ), то... со всевозможною осторожностью, внушенною дружествомъ, скажи ему—полно, говорить ли?—скажи ему, что онъ выключенъ изъ нашего Общества; прибавь въ утѣшеніе, что Блудовъ и азъ грѣшный подали просьбы въ отставку. Общество едва ли не разрушится. Такъ все проходитъ, все исчезаетъ! На развалинахъ словесности останется одинъ столпъ—Хвостовъ, а Измайловъ изъ утробы своей родитъ новыхъ словесниковъ, которые будутъ снова писать и печатать!“ ²⁾

Прошло съ небольшимъ полтора мѣсяца послѣ того, какъ написаны были эти шуточные строки, и содержаніе писемъ Батюшкова къ его московскому пріятелю совершенно измѣнилось.

¹⁾ Подробности рассказаннаго происшествія см. въ статьѣ Н. С. Тихонравова въ Русск. Старинѣ 1884 г., т. XLIII, стр. 105—113.

²⁾ Соч., т. III, стр. 184—185.

„Что съ тобою сдѣлалось“? писалъ онъ князю 1-го іюля.— „Здоровъ ли ты? Или такъ заняты политическими обстоятельствами, Нѣманомъ, Двиной, позиціей направо, позиціей налѣво, передовымъ войскомъ, задними магазинами, голодомъ, моромъ и всѣмъ снарядомъ смерти, что забылъ маленькаго Батюшкова?“¹⁾ Въ этихъ словахъ сквозь прежній шутливый тонъ слышна уже новая нота тревоги. Историческій Двѣнадцатый годъ наступалъ во всеоружіи ужаса и славы, и помыслы Русскихъ людей обращались къ грознымъ событіямъ, которыя развертывала предъ ними рука судьбы.

При началѣ войны въ русскомъ обществѣ однако не воображали, до какихъ громадныхъ размѣровъ разросется эта борьба. Великая армія Наполеона уже вступила въ русскіе предѣлы, наши войска уже стягивались къ назначеннымъ пунктамъ, а въ Петербургѣ еще не думали, чтобы непріятельское нашествіе распространилось за линію Западной Двины и Днѣпра; о возможности занятія Французами Москвы никто не помышлялъ ни на берегахъ Невы, ни въ самой древней столицѣ. Въ общественныхъ толкахъ замѣчалось даже нѣкоторое легкомысліе: одни требовали наступательныхъ дѣйствій, какъ лучшаго средства для быстрой побѣды; другіе не вѣрили въ возможность одолѣть Наполеона и потому признавали благоразумнѣйшимъ предупредить разгромъ уступками. Тѣмъ не менѣе, послѣ воззванія императора Александра, объявившаго, что онъ не положитъ оружія, доколѣ ни единого непріятельскаго воина не останется въ Русскомъ царствѣ, общественное воодушевленіе возросло очень сильно. Правда, Русскимъ людямъ не было поводовъ къ той ненависти, которая соединяла противъ гениальнаго проходимца высшее сословіе во всѣхъ государствахъ Западной Европы; это аристократическое отвращеніе отъ деспота, вышедшаго изъ нѣдръ революціи, могло быть привито

¹⁾ Соч., т. III, стр. 192—193.

эмигрантами - роялистами лишь къ небольшой части нашего высшаго столичнаго общества; но жесткій деспотизмъ наполеоновской политики, возобладавшій и надъ Россіей со времени союза въ Тильзитѣ, послѣ неудачи двухъ первыхъ войнъ съ великимъ полководцемъ, задѣвалъ за живое русскую народную гордость. Пока у нашего правительства не было разлада съ новымъ союзникомъ, это тайное раздраженіе въ русскомъ обществѣ прикрывалось гоненіемъ на галломанію: возобновилась старая уже полемика о вредѣ иностраннаго вліянія на русскую образованность, и подъ этимъ благовиднымъ предлогомъ слѣпая косность и простодушное певѣжество повели въ литературѣ нападеніе на коренныя основы просвѣщенія; естественно, что этотъ натискъ встрѣтилъ горячій отпоръ со стороны болѣе образованныхъ представителей литературы, умѣвшихъ впрочемъ любить отечество не хуже своихъ противниковъ. Мы уже отмѣтили прежде нѣкоторыя явленія этой борьбы и указали, на какую сторону склонялись сочувствія нашего поэта. Но когда вмѣсто домашняго спора объ отвлеченномъ вопросѣ общественное вниманіе обратилось къ международной политикѣ, когда теченіе событій поставило въ первую очередь задачу государственной самостоятельности, тогда смолкли теоретическія препирательства, и русское общество единодушно поднялось на защиту родной страны.

„Еслибы не проклятая лихорадка“, писалъ Батюшковъ къ Вяземскому въ первой половинѣ іюля, — „я бы полетѣлъ въ армію. Теперь стыдно сидѣть сиднемъ надъ книгою, мнѣ же не пріучаться къ войнѣ. Да кажется, и долгъ велитъ защищать отечество и государя намъ, молодымъ людямъ“¹⁾. Константинъ Николаевичъ съ завистью смотрѣлъ на своихъ пріятелей: Вяземскій уже вступилъ въ военную службу, Сѣверинъ собирался сдѣлать то же; о Жуковскомъ можно было предполагать, что и

¹⁾ Соч., т. III, стр. 194.

онъ послѣдуетъ ихъ примѣру ¹⁾. Болѣзнь и безденежье удерживали нашего поэта отъ такого же рѣшенія, которому притомъ противились и его родные; Батюшковъ успокаивалъ на этотъ счетъ свою сестру, а въ то же время надѣялся при первой возможности ускользнуть изъ Петербурга и явиться въ армию ²⁾. Между тѣмъ событія принимали теченіе все болѣе и болѣе тревожное. Движеніе непріятеля въ глубь страны обращало военную грозу въ личную бѣду для всѣхъ и каждаго. Константинъ Николаевичъ не могъ быть спокоенъ ни за свою сестру, ни за своихъ крестьянъ. Александра Николаевна находилась въ то время въ Хантоновѣ, вдали даже отъ своихъ вологодскихъ родныхъ; братъ совѣтовалъ ей переѣхать въ Вологду и не разставаться съ близкими. „Я истинно огорчаюсь, сравнивая твое положеніе съ моимъ“, писалъ онъ ей 9-го августа. — „Я здѣсь спокоенъ, ни въ чемъ нужды не имѣю, а ты, мой другъ, и нуждаешься, и хлопочешь, и за насъ всѣхъ въ огорченіи. Богъ тебя за это наградитъ, мой милый и единственный другъ! Бога ради, живите дружныѣ между собою! Такое ли время теперь, чтобъ хотя одну розную мысль имѣть?“ ³⁾ Соболезнованіе о крестьянахъ вызывалось тяжестью наборовъ; Константинъ Николаевичъ предоставилъ своимъ крѣпостнымъ уладить поставку рекрутъ по собственному ихъ усмотрѣнію и потомъ благодарилъ старость за ихъ исправность въ этомъ дѣлѣ ⁴⁾. Наконецъ, еще одна важная забота была у него на сердцѣ — положеніе Е. Ѳ. Муравьевой. Незадолго предъ войной она продала свой домъ и жила теперь на дачѣ подъ Москвою; близость военныхъ дѣйствій заставила ее подумать объ отъѣздѣ въ какой-нибудь другой городъ; въ виду этого она звала къ себѣ Константина Николаевича на помощь: „Катерина Ѳеодо-

¹⁾ Соч., т. III, стр. 194, 195, 207.

²⁾ Тамъ же, стр. 200—202.

³⁾ Тамъ же, стр. 197.

⁴⁾ Тамъ же, стр. 197 и 202.

ровна“, разсуждалъ онъ,—„ожидаеть меня въ Москвѣ больная, безъ защиты, безъ друзей: какъ ее оставить? Вотъ единственный случай быть ей полезнымъ!“¹⁾ Соображеній этихъ было достаточно, чтобъ опредѣлить рѣшеніе: Батюшковъ поспѣшилъ въ Москву²⁾.

Онъ пріѣхалъ туда за нѣсколько дней до Бородинскаго боя и съ грустью узналъ, что Вяземскаго уже нѣтъ въ столицѣ: онъ находился при арміи; за то здѣсь Константинъ Николаевичъ былъ обрадованъ письмомъ другаго своего пріятеля Петина, писаннымъ съ поля Бородинскаго на канунѣ сраженія. „Мы находились“, говорилъ онъ впослѣдствіи, — „въ неизъяснимомъ страхѣ въ Москвѣ, и я удивился спокойствію душевному, которое являлось въ каждой строкѣ письма, начертаннаго на барабанѣ въ роковую минуту“³⁾. Вѣсть объ исходѣ боя еще застала Батюшкова въ столицѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ онъ узналъ, что изъ двухъ сыновей Оленина, бывшихъ въ сраженіи, одинъ, Николай, убитъ, а другой, Петръ, тяжело раненъ. Несчастнаго привезли въ Москву и затѣмъ отправили на излѣченіе въ Нижній-Новгородъ. Батюшковъ имѣлъ возможность тогда же сообщить его родителямъ утѣшительное извѣстіе о состояніи здоровья сына⁴⁾. Между тѣмъ Муравьева съ семействомъ также рѣшила ѣхать въ Нижній, и Батюшковъ увидѣлъ себя въ необходимости сопровождать ее. На пути, во Владимірѣ, онъ нашелъ Петина, также раненаго, и, какъ рассказывалъ впослѣдствіи, „съ завистью смотрѣлъ на его почтенную рану“⁵⁾.

Около 10-го сентября бѣглецы прибыли на берега Волги. Въ трехъ комнатахъ, которыя имъ удалось нанять, помѣстились

¹⁾ Соч., т. III, стр. 197.

²⁾ Изъ дѣлъ архива Имп. Публ. Библіотеки видно, что отпускъ былъ данъ ему 14-го августа.

³⁾ Соч., т. II, стр. 197.

⁴⁾ Тамъ же, т. III, стр. 203.

⁵⁾ Тамъ же, стр. 197.

Муравьева съ тремя дѣтьми, двѣ бывшія при нихъ иностранки, Константинъ Николаевичъ, И. М. Муравьевъ-Апостолъ, П. М. Дружининъ и Англичанинъ Эвенсъ, служившій при Московскомъ университетѣ. Теперь, когда патріотическое воодушевленіе доходило до высшаго предѣла, когда каждый видѣлъ вокругъ себя и на самомъ дѣлѣ испытывалъ ужасы войны, нашего поэта болѣе, чѣмъ когда-либо, увлекала мысль вступить въ военную службу; но связанный родственными обязанностями, онъ долженъ былъ пока отсрочивать исполненіе этого намѣренія ¹⁾.

Послѣ отдачи Москвы Французамъ Нижній-Новгородъ сталъ настоящимъ уголкомъ древней столицы. Туда съѣхалось множество Москвичей и между ними не мало знакомыхъ Батюшкова. Онъ нашелъ здѣсь семейство Ив. П. Архарова, на старшей дочери котораго женатъ былъ извѣстный театраль О. О. Кокошкинъ, нашелъ Карамзина съ женою и дѣтьми, С. С. Апраксина, А. О. Малиновскаго, В. Л. и А. М. Пушкиныхъ, жену послѣдняго и много другихъ лицъ. Стеченіе пріѣзжихъ придавало городу большое оживленіе, въ которомъ возбужденіе опасностью, развившеюся надъ отечествомъ, и скорбь о разореніи своеобразно смѣшивались съ широкимъ разгуломъ. Москвичи перенесли на берега Волги свои привычки шумной, разсѣянной жизни: вмѣсто любимаго своего гулянья—красивыхъ московскихъ бульваровъ—толпились на городской площади, среди дорожныхъ колясокъ и крестьянскихъ телегъ; пріютившись какъ Богъ послалъ, устраивали шумныя сборища, „балы и маскарады, гдѣ“—вспоминалъ впоследствии Батюшковъ — „наши красавицы, осыпавъ себя брилліантами и жемчугами, прыгали до перваго обморока въ кадрилихъ французскихъ, во французскихъ платьяхъ, болтая по французски Богъ знаетъ какъ, и проклинали враговъ нашихъ“ ²⁾.

¹⁾ Соч., т. III, стр. 202—205, 208.

²⁾ Тамъ же, стр. 268.

Во многихъ домахъ кипѣла большая игра. „Здѣсь довольно насъ московскихъ“, писалъ изъ Нижняго Карамзинъ. — „Кто на Тверской или Никитской игралъ въ вистъ или бостонъ, для того мало разницы: онъ играетъ и въ Нижнемъ“ ¹⁾. Это впрочемъ сказано о людяхъ болѣе спокойныхъ; болѣе горячіе предавались азартнымъ играмъ; А. М. Пушкинъ, тоже одинъ изъ разоренныхъ, въ короткое время приобрѣлъ картами тысячъ до восьми ²⁾. Иванъ Петровичъ Архаровъ, этотъ—по выраженію князя Вяземскаго ³⁾—„послѣдній бургграфъ московскаго барства и гостепріимства, сгорѣвшихъ вмѣстѣ съ Москвою въ 1812 году“, широко раскрывъ двери своего богатаго дома; на архаровскихъ обѣдахъ, рассказываетъ нашъ поэтъ,—отъ псовой охоты до подвиговъ Кутузова все дышало любовью къ отечеству; здѣсь по преимуществу сходилась вся Москва или, лучше сказать, всѣ бѣдняки: кто безъ дома, кто безъ деревни, кто безъ куска хлѣба, „и я“, прибавляетъ рассказчикъ,—„хожу къ нимъ учиться фізіономіямъ и терпѣнію. Вездѣ слышу вздохи, вижу слезы и вездѣ—глупость. Всѣ жалуются и бранятъ Французовъ по французски, а патріотизмъ заключается въ словахъ: point de paix!“ ⁴⁾ Нерѣдко собирались также у нижегородскаго вице-губернатора А. С. Крюкова, и на его ужинахъ В. Л. Пушкинъ, уже успѣвшій сочинить стихотворное патріотическое привѣтствіе Нижегородцамъ, по старому обычаю потѣшалъ гостей чтеніемъ своихъ басенъ и французскими каламбурами.

Какъ ни любилъ Батюшковъ общественную жизнь, какъ ни способенъ онъ былъ, по своей художнической натурѣ, увлечься живописною пестротой этого московскаго табора на берегахъ Волги, но легкомысліе людей, не умѣвшихъ остепениться въ

¹⁾ Письма къ Дмитріеву, стр. 168.

²⁾ Р. Архивъ 1866 г., ст. 242.

³⁾ Соч. кн. Вяз., т. VІІІ, стр. 370.

⁴⁾ Соч., т. ІІІ, стр. 206; ср. стр. 268.

трудныя минуты всенароднаго бѣдствія, утомляло его и болѣзненно отзывалось въ его сердцѣ. Великія событія, совершавшіяся передъ его глазами, настраивали его строго и возвышенно и заставляли искать бесѣды съ людьми серьезными. Въ домѣ Карамзина онъ слышалъ сдержанныя, но глубоко прочувствованныя сѣтованія на медленный и неопредѣленный ходъ дѣлъ. Какъ извѣстно, и до войны, и при началѣ ея Карамзинъ не былъ за борьбу съ Наполеономъ, къ которой—думалъ онъ—мы недостаточно приготовлены ¹⁾. Весь первый періодъ военныхъ дѣйствій—отступление внутрь страны, рядъ кровопролитныхъ, но нерѣшительныхъ сраженій и наконецъ очищеніе Москвы—казались ему подтвержденіемъ его мнѣнія. Съ мыслью объ утратѣ древней столицы онъ долго не могъ помириться и строго осуждалъ за то Кутузова ²⁾; все новыя жертвы, требуемыя отъ населенія, также вызывали въ немъ горькое чувство, и оно еще болѣе увеличивалось при мысли, что лично онъ оторванъ отъ своего любимаго труда и, быть можетъ, никогда уже не будетъ въ состояніи возвратиться къ нему. Если внутренно Карамзинъ не терялъ надежды на окончательное торжество Россіи, то онъ долгое время опасался великаго позора—преждевременнаго заключенія мира, и только во второй половинѣ октября, послѣ того, какъ до Нижняго-Новгорода достигло извѣстіе о выходѣ Наполеона изъ Москвы, сталъ выражать увѣренность, что Богъ еще не совсѣмъ оставилъ Россію ³⁾.

Этотъ не чуждый пессимизма взглядъ на событія, быть можетъ, не вполне удовлетворялъ нашего поэта. Его увлекающейся натурѣ сроднѣе былъ горячій, ничѣмъ не смущающійся патриотическій пылъ такихъ людей, какъ И. М. Муравьевъ-Апо-

¹⁾ Соч. кн. Вяз., т. VII, стр. 181.

²⁾ Письма Карамзина къ Дмитріеву, стр. 165, 168.

³⁾ Переписка Карамзина съ братомъ—Атенеи 1858 г., ч. III, стр. 532

столь или С. Н. Глинка. По собственному признанію Муравьева, онъ также, какъ Карамзинъ, пережилъ на берегахъ Волги, подъ давленіемъ событій, рядъ самыхъ разнообразныхъ чувствованій, сначала униженія и трепета, потомъ надежды и наконецъ торжества; и онъ страдалъ душою при мысли о народномъ бѣдствіи ¹⁾, но болѣе всего впечатлительность его поражалась тѣмъ отсутствіемъ русскаго самосознанія, какое засталъ въ нашемъ обществѣ наполеоновскій погромъ. Изъ своей долгой жизни среди народовъ Запада, изъ знакомства съ ихъ языками и литературами Муравьевъ вынесъ рѣдкое въ тѣ времена пониманіе идеи національности, и его глубоко оскорбляло то исключительное преклоненіе предъ французскою культурой, которое такъ рѣзко проявлялось въ нашемъ высшемъ обществѣ. „Чему подражать!“ говорилъ онъ.— „Въ этомъ народѣ давно сердце высохло: не въ состояніи болѣе производить Расиновъ, онъ гордится теперь Кондорсетами, хладною философіей исчисленія, которая убиваетъ воображеніе и вмѣстѣ съ нимъ вкусъ къ изящному, то-есть, стремленіе къ добродѣтели.... Никогда Франція такъ не процвѣтала, какъ подъ державою Лудовика XIV или, лучше сказать, подъ министерствомъ Кольберта.... Вскорѣ послѣ него ты усматриваешь, что музы уступаютъ мѣсто софистамъ (философовъ давно не бывало во Франціи).... Меркнетъ свѣтъ истиннаго просвѣщенія, дарованія употребляются какъ орудіе разврата, и опаснѣйшій изъ софистовъ, лжемудрецъ фернейскій, въ теченіе полвѣка напрягаетъ всѣ силы необыкновеннаго ума своего на то, чтобы осыпать цвѣтами чашу съ ядомъ, уготованную имъ для отравленія грядущихъ поколѣній.... Невѣріе подьмлетъ главу свою и явно проповѣдуетъ безбожіе.... Раскрывается предъ тобою лѣтопись революціи, начертанная кровію человѣческою.... И теперь еще продолжается она во Франціи, и безъ нея не атаманствовалъ бы Бонапарте!

¹⁾ Письма изъ Москвы въ Нижній Новгородъ; письма 1-е и 2-е.

Свѣточи фуріи не столько ужасны ему, какъ пламенникъ просвѣщенія, и для того онъ употребляетъ всѣ мѣры тиранства на то, чтобы сгустить мракъ невѣжества надъ своими рабами и, если можно, распространить оный по всей землѣ, ибо онъ знаетъ, что рабство и просвѣщеніе несовмѣстны¹⁾. На сборищахъ въ Нижнемъ неоднократно происходили споры о вредѣ французскаго вліянія на русское общество, и тутъ Муравьевъ-Апостолъ выступалъ горячимъ противникомъ В. Л. Пушкина²⁾.

И та страшная картина народнаго разоренія, которую Батюшковъ видѣлъ въ окрестностяхъ Москвы, и тѣ слухи и толки, которыми размѣнивались московскіе бѣглецы среди тревожнаго бездѣлья нижегородской жизни, производили на нашего поэта сильнѣйшее впечатлѣніе. „Я слишкомъ живо чувствую раны, нанесенныя любезному нашему отечеству“, писалъ онъ Гнѣдичу въ октябрѣ 1812 года, — „чтобъ минуту быть покойнымъ. Ужасные поступки Вандаловъ или Французовъ въ Москвѣ и въ ея окрестностяхъ, поступки, безпримѣрные и въ самой исторіи, вовсе разстроили мою маленькую философію и поссорили меня съ человѣчествомъ. Ахъ, мой милый, любезный другъ, зачѣмъ мы не живемъ въ счастливѣйшія времена! Зачѣмъ мы не отжили прежде общей гибели!“³⁾. Какъ нѣкогда ужасы Французской революціи поколебали гуманитарныя убѣжденія юноши-Карамзина и заставили его воскликнуть: „Вѣкъ просвѣщенія, не узнаю тебя, въ крови и пламени не узнаю тебя, среди убійствъ и разрушенія не узнаю тебя!“⁴⁾—такъ теперь

¹⁾ Письма въ Нижній-Новгородъ изъ Москвы, п. VI — Сынъ Отечества, 1813 г. ч. X, № 48, стр. 101—103. Письма эти писаны Муравьевымъ уже въ 1813 г., по отъѣздѣ изъ Нижняго, но очевидно, содержатъ въ себѣ мысли, выработавшіяся въ авторѣ подъ впечатлѣніемъ событій 1812 г. и болѣе раннихъ.

²⁾ Соч., т. III, стр. 268.

³⁾ Тамъ же, стр. 209.

⁴⁾ Письмо Мелодора къ Физалету (1794 г.).

Батюшковъ отступался отъ своихъ прежнихъ сочувствій и идеаловъ. Та самая французская образованность, подъ вліяніемъ которой онъ выросъ и воспитался, представлялась ему теперь ненавистною: „Варвары, Вандалы! И этотъ народъ изверговъ осмѣлился говорить о свободѣ, о философіи, о человѣколюбіи! И мы до того были ослѣплены, что подражали имъ, какъ обезьяны! Хорошо и они намъ заплатили! Можно умереть съ досады при одномъ разсказѣ о ихъ неистовыхъ поступкахъ“ ¹⁾. И не только Гнѣдичу, то же повторялъ онъ и Вяземскому, тому самому, съ которымъ прежде всего тѣснѣе былъ связанъ сходствомъ воззрѣній и складомъ образованія: „Москвы нѣтъ! Потери невозвратныя! Гибель друзей, святыня, мирное убѣжище наукъ, все осквернено шайкою варваровъ! Вотъ плоды просвѣщенія или, лучше сказать, разврата остроумнѣйшаго народа, который гордился именами Генриха и Фенелона. Сколько зла! Когда будетъ ему конецъ? На чемъ основать надежды? Чѣмъ наслаждаться? А жизнь безъ надежды, безъ наслажденія — не жизнь, а мученіе!“ ²⁾ Въ новомъ своемъ увлеченіи Константинъ Николаевичъ отдавалъ теперь справедливость Оленину, съ которымъ прежде не соглашался въ мнѣніи о современныхъ Французахъ: „Алексѣй Николаевичъ“, писалъ онъ Гнѣдичу, — „совершенно правъ; онъ говорилъ назадъ тому три года, что нѣтъ народа, нѣтъ людей, подобнымъ этимъ уродамъ, что всѣ ихъ книги достойны костра, а я прибавлю: ихъ головы — гильотины“ ³⁾. Точно также и пламенная проповѣдь С. Н. Глинки противъ галломаніи и въ защиту русской самобытности получила, подъ впечатлѣніемъ борьбы съ Наполеономъ, новый смыслъ и значеніе въ глазахъ Батюшкова. Въ былое время онъ осмѣивалъ издателя Русскаго Вѣстника въ своихъ сатирическихъ сти-

¹⁾ Соч., т. III, стр. 210.

²⁾ Тамъ же, стр. 205—206.

³⁾ Тамъ же, стр. 210—211.

хахъ и письмахъ; но когда, еще будучи въ Петербургѣ, Батюшковъ узналъ о благородной патріотической дѣятельности Глинки среди московскаго населенія и о пожалованіи ему Владимірскаго креста „за любовь къ отечеству, доказанную сочиненіями и дѣяніями“, онъ пожелалъ привѣтствовать его съ полученіемъ этого высокаго отличія ¹⁾. Затѣмъ Батюшковъ встрѣтился съ Сергѣемъ Николаевичемъ въ Нижнемъ и, извиняясь передъ нимъ за свои прежнія шутки, сказалъ ему: „Обстоятельства оправдали васъ и ваше изданіе“. Безкорыстѣйшій человѣкъ, Глинка вполнѣ забывалъ себя и свои частныя нужды для общаго патріотическаго дѣла; онъ оставилъ Москву въ день вступленія туда Французовъ и послѣ разныхъ странствованій, не вѣдая, гдѣ находится его семья, явился наконецъ въ Нижній-Новгородъ безъ денегъ, безъ необходимѣйшихъ вещей, съ одною рубашкой. Узнавъ объ этомъ, Константинъ Николаевичъ поспѣшилъ къ нему на помощь: отъ имени неизвѣстнаго Глинкѣ былъ доставленъ запасъ бѣлья ²⁾.

Захваченный въ водоворотъ событій, Константинъ Николаевичъ не могъ возвратиться въ Петербургъ изъ короткаго отпуска, который былъ данъ ему Оленинымъ; онъ впрочемъ могъ быть увѣренъ, что въ виду чрезвычайныхъ обстоятельствъ просрочка не будетъ поставлена ему въ вину. Итакъ, онъ остался въ Нижнемъ-Новгородѣ, и здѣсь у него окончательно созрѣло рѣшеніе опредѣлиться въ военную службу ³⁾. Быть можетъ, сперва онъ предполагалъ, подобно Карамзину, поступить въ ополченіе, которое, какъ тогда думали, двинется изъ Нижняго къ Москвѣ для выручки ея отъ непріятеля ⁴⁾; но плѣнь Москвы кончился, и эта мысль была покинута. Затѣмъ однако

¹⁾ Соч., т. III, стр. 200.

²⁾ Записки о 1812 годѣ, С. Глинки. С.-Пб. 1836, стр. 98.

³⁾ Соч., т. III, стр. 211.

⁴⁾ Письма Карамзина къ Дмитріеву, стр. 165, 166.

представился другой случай: въ Нижній прїѣхалъ генералъ А. Н. Бахметевъ, раненый подъ Бородинымъ; почтенный воинъ, оставшійся здѣсь для лѣченія, выразилъ готовность взять Батюшкова къ себѣ въ адъютанты ¹⁾. Однако, прежде чѣмъ Батюшковъ облекся въ военное платье, на долю его выпало не мало хлопотъ: онъ дважды, въ октябрѣ и ноябрѣ, ѣздилъ изъ Нижняго въ Вологду, для свиданія съ родными и проживавшимъ тамъ Вяземскимъ, и оба раза возвращался въ Нижній чрезъ разоренную Москву ²⁾. Поѣздки эти познакомили его съ зрѣлищемъ народной войны, которою ознаменовался второй періодъ нашей героической борьбы съ Наполеономъ.

Между тѣмъ ужасная война окончательно приняла благоприятный для насъ оборотъ; разбитые остатки великой арміи въ исходѣ декабря покинули предѣлы Россіи; общественная тревога улеглась и уступила мѣсто торжеству побѣды. Вмѣстѣ съ тѣмъ и Москвичи стали разъѣзжаться, изъ Нижняго-Новгорода. Но Е. О. Муравьева не спѣшила отъѣздомъ, опасаясь зимней стужи ³⁾; какъ это обстоятельство, такъ и замедлившееся выздоровленіе Бахметева, удерживали нашего поэта на берегахъ Волги; онъ еще находился тамъ въ исходѣ января и только мѣсяцъ спустя, послѣ разнообразныхъ препятствій, могъ прибыть въ Петербургъ. Еще разъ на этомъ пути онъ посѣтилъ древнюю столицу; какъ бы невольною силою влекло его къ ея развалинамъ, зрѣлище которыхъ не выходило изъ его головы ⁴⁾; съ болью сердца вспомнилъ онъ потомъ эти посѣщенія въ первомъ стихотвореніи, которое вылилось съ его пера послѣ страшной грозы Двѣнадцатаго года:

¹⁾ II. собр. соч. кн. Вяз., т. II, стр. 416.

²⁾ Р. Архивъ 1866 г., ст. 231 и 235; Соч., т. III, стр. 213 и 214.

³⁾ Соч., т. III, стр. 216.

⁴⁾ Тамъ же, стр. 219.

Трикраты съ ужасомъ потомъ
Бродилъ въ Москвѣ опустошенной,
Среди развалинъ и могилъ;
Трикраты прахъ ея священной
Слезами скорби омочилъ.
И тамъ, гдѣ зданья величавы
И башни древнія царей,
Свидѣтели протекшей славы
И новой славы нашихъ дней,
И тамъ, гдѣ съ миромъ почивали
Останки иноковъ святыхъ,
И мимо вѣки протекали,
Святыни не касаясь ихъ,
И тамъ, гдѣ роскоши рукою,
Дней мира и трудовъ плоды,
Предъ златоглавою Москвою
Воздвиглись храмы и сады, —
Лишь угли, прахъ и камней горы,
Лишь груды тѣлъ кругомъ рѣки,
Лишь нищихъ блѣдныя полки
Вездѣ мои встрѣчали взоры ¹⁾.

¹⁾ Посланіе къ Д. В. Дашкову, Соч., т. I, стр. 151, 152.

VIII.

Батюшковъ въ Петербургѣ въ 1813 году.—Впечатлѣнія Отечественной войны въ Петербургѣ.—Отъѣздъ Батюшкова за границу; участіе въ военныхъ дѣйствіяхъ.—Вступленіе въ Парижъ.—Заграничныя впечатлѣнія Батюшкова.—Возвращеніе его въ Петербургъ.—Культурные вопросы въ русскомъ обществѣ въ 1814 году и отношеніе къ нимъ Батюшкова.—А. О. Фурманъ.

Когда, въ февралѣ 1813 года, Батюшковъ пріѣхалъ въ Петербургъ, онъ засталъ тамъ общество въ напряженномъ состояніи, подъ впечатлѣніемъ извѣстій съ мѣста военныхъ дѣйствій. Но это было уже не смутное, полное неизвѣстности волненіе прошлаго года, а бодрое ожиданіе грядущихъ событій, въ благополучный исходъ которыхъ легко вѣрилось послѣ того, какъ Русскій народъ съ такимъ единодушіемъ, съ такою энергіей и беззавѣтнымъ самоотверженіемъ выдержалъ и одолѣлъ жестокую грозу непріятельскаго нашествія. Петербургъ однако не видѣлъ врага лицомъ къ лицу, и теченіе общественной жизни не было въ немъ прервано и потрясено такъ глубоко, какъ внутри Россіи. Поэтому Константину Николаевичу показалось даже на первый взглядъ, что на берегахъ Невы и теперь, послѣ великихъ испытаній народнаго духа, все идетъ по старому, и онъ уже готовъ былъ жалѣть о тяжелыхъ дняхъ лихорадочной жизни въ Нижнемъ-Новгородѣ ¹⁾. Его восторженный патриотизмъ все еще требовалъ удовлетворенія, и въ своемъ посланіи къ Д. В. Дашкову, въ это время написанномъ, на предложеніе возвратиться къ прежнимъ мотивамъ своей поэзіи онъ отвѣчалъ слѣдующими воодушевленными строками:

...пока на полѣ чести
За древній градъ моихъ отцовъ
Не понесу я въ жертву мести
И жизнь, и къ родинѣ любовь,

¹⁾ Соч., т. III, стр. 219, 220.

Пока съ израненнымъ героемъ,
Кому извѣстенъ къ славѣ путь,
Три раза не поставлю грудь
Передъ враговъ сомннутымъ строемъ,—
Мой другъ, дотолѣ будутъ мнѣ
Всѣ чужды музы и хариты,
Вѣнки, рукой любви свиты,
И радость шумная въ винѣ!

Было бы однако несправедливо думать, что въ Петербургѣ мало понимали внутреннее значеніе великой борьбы, славно законченной въ предѣлахъ Россіи и теперь смѣло перенесенной за ея рубежъ, чтобы довершить пораженіе врага, покушавшагося наложить свою тяжелую руку на независимость нашего отечества. Напротивъ того, такое пониманіе Батюшковъ могъ встрѣтить въ людяхъ особенно ему близкихъ. Такъ, Оленинъ, давнишній врагъ галломаніи, не только выражалъ горячее негодованіе противъ недостойнаго просвѣщенной націи грабительства, которое позволяли себѣ наполеоновскія войска (негодование хотя и вполнѣ справедливое и законное, но вскорѣ ставшее общимъ мѣстомъ подобно толкамъ о слѣпой подражательности Французамъ), но и умѣлъ цѣнить самосотверженіе, проявленное простыми Русскими людьми въ борьбѣ съ врагомъ. Еще глубже взглянулъ на дѣло А. И. Тургеневъ: еще въ исходѣ октября 1812 года онъ написалъ князю Вяземскому замѣчательное письмо, въ которомъ высказалъ свое воззрѣніе на тогдашнее положеніе Россіи и на ближайшія слѣдствія войны, въ ту пору едва начинавшей получать благопріятное для насъ направленіе. „Война, сдѣлавшись національной“, писалъ Тургеневъ, — „приняла теперь такой оборотъ, который долженъ кончиться торжествомъ Сѣвера и блистательнымъ отмщеніемъ за безполезныя злодѣйства и преступленія южныхъ варваровъ.... Постоянство и рѣшительность правительства, готовность и благоразуміе народа и патріотизмъ его.... все сіе успокоиваетъ насъ на счетъ будущаго, и если мы совершенно отка-

жемся отъ эгоизма и рѣшимся дѣйствовать для младшихъ братьевъ и дѣтей нашихъ и въ собственныхъ настоящихъ дѣлахъ видѣть только одно отдаленное счастье грядущаго поколѣнія, то частныя неудачи не остановятъ насъ на нашемъ поприщѣ. Безпрестанныя лишенія и несчастія милыхъ ближнихъ не погрузятъ насъ въ совершенное отчаяніе, и мы преднасладимся будущимъ и, по моему увѣренію, весьма близкимъ воскресеніемъ нашего отечества. Близкимъ считаю я его потому, что намъ досталось играть послѣдній актъ въ европейской трагедіи, послѣ котораго авторъ ея долженъ быть непременно освистанъ... Сильное сіе потрясеніе Россіи освѣжить и подкрѣпить силы наши и принесетъ намъ такую пользу, которой мы при началѣ войны совсѣмъ не ожидали. Напротивъ, мы страшились послѣдствій отъ сей войны, совершенно противныхъ тѣмъ, какія мы теперь видимъ. Отношенія помещиковъ и крестьянъ (необходимое условіе нашего теперешняго гражданскаго благоустройства) не только не разорваны, но еще болѣе утвердились. Покушенія съ сей стороны нашихъ враговъ совершенно не удались имъ, и мы должны неудачу ихъ почитать блистательнѣйшею побѣдой, не войсками нашими, но самимъ народомъ одержанною. Послѣдствія сей побѣды невозможно исчислить. Они обратятся въ пользу обоихъ состояній. Связи ихъ утвердятся благодарностію и уваженіемъ, съ одной стороны, и увѣренностью въ собственной пользѣ—съ другой“ ¹⁾. Если Оленинъ основаніе нашихъ успѣховъ въ борьбѣ съ Наполеономъ видѣлъ въ искренней религіозности Русскаго народа, „въ природной простой нравственности, суетмудріемъ не искаженной, въ вѣрности къ царю не по умствованію, но по закону Божію“ ²⁾ и признавалъ общественный

¹⁾ Р. Архивъ 1866 г., ст. 251 и 252.

²⁾ Письмо Оленина къ архимандриту Филарету—Чтенія въ Бесѣдѣ любителей русскаго слова. Чт. 13-е, стр. 14.

строй Россіи не нуждающимся ни въ какихъ измѣненіяхъ, то въ разсужденіяхъ Тургенева, напротивъ того, сквозить мысль о необходимости улучшить этотъ строй, и прежде всего позаботиться о бытѣ крѣпостныхъ людей. Таковы были идеи, на которыя наводило мыслящіе умы народное движеніе 1812 года; мы увидимъ вскорѣ, что эти стремленія не остались безъ вліянія на Батюшкова. Въ связи съ возбужденіемъ общественной мысли состоялось въ 1812 году основаніе перваго въ Россіи неофіціального политическаго журнала: съ октября мѣсяца сталъ выходить въ Петербургѣ Сынъ Отечества. Редактируемый Н. И. Гречемъ, журналъ пользовался особеннымъ покровительствомъ А. Н. Оленина и С. С. Уварова. Обращая, въ вышеупомянутомъ письмѣ, вниманіе Вяземскаго на это изданіе, Тургеневъ говорилъ, что назначеніе журнала—„помѣщать все, что можетъ ободрить духъ народа и познакомить его съ самимъ собою. „Какой народъ!“ прибавлялъ Тургеневъ. — „Какой патриотизмъ и какое благоразуміе! Сколько примѣровъ высокаго чувства своего достоинства и неограниченной преданности и любви къ отечеству!“¹⁾ Сынъ Отечества дѣйствительно нерѣдко сообщалъ подобные примѣры на своихъ страницахъ и вообще усердно служилъ своей задачѣ. Здѣсь между прочимъ печатались въ 1813 и слѣдующихъ годахъ тѣ „Письма изъ Москвы въ Нижній-Новгородъ“ И. М. Муравьева-Апостола, основныя мысли которыхъ, изустно имъ развиваемыя въ нижегородскихъ бесѣдахъ, такъ увлекали тогда Константина Николаевича.

Болѣзнь Бахметева долго испытывала терпѣніе нашего поэта: въ ожиданіи пріѣзда „своего“ генерала Батюшкова сидѣлъ въ Петербургѣ безъ дѣла и въ неизвѣстности о томъ, что его ожидаетъ. Только высочайшимъ приказомъ 29-го марта 1813 года былъ онъ принятъ въ военную службу съ зачисленіемъ въ

¹⁾ Р. Архивъ 1866 г., ст. 253.

Рыльскій пѣхотный полкъ и съ назначеніемъ въ адъютанты къ Бахметеву; но еще 30-го іюня оставался въ ожиданіи его пріѣзда и уже начиналъ жаловаться на то, что потерялъ въ бездѣйствіи цѣлую кампанію ¹⁾). Невольный досугъ свой онъ наполнялъ чтеніемъ, между прочимъ, нѣмецкихъ книгъ, безъ сомнѣнія, съ цѣлю освѣжить въ своей памяти знаніе языка той страны, гдѣ теперь шла война, и куда ему предстояло ѣхать. Наконецъ, въ началѣ іюля, пріѣздъ Бахметева выяснилъ, что состояніе его здоровья не позволитъ ему принять участіе въ военныхъ дѣйствіяхъ, и онъ далъ Константину Николаевичу разрѣшеніе ѣхать безъ него въ дѣйствующую армію.

Такимъ образомъ, только въ исходѣ іюля Батюшковъ оставилъ Петербургъ и чрезъ Вильну, Варшаву, Силезію и Прагу достигъ Дрездена, гдѣ тогда находилась русская главная квартира. Здѣсь онъ представился главнокомандующему графу Витгенштейну и былъ отправленъ имъ къ генералу Н. Н. Раевскому, къ которому имѣлъ рекомендацію отъ Бахметева ²⁾). Раевскій оставилъ его при себѣ за адъютанта, и съ нимъ Батюшковъ совершилъ всю кампанію 1813 и 1814 годовъ.

Въ первый разъ Константинъ Николаевичъ былъ въ огнѣ во время небольшого авангарднаго дѣла подъ Деной, въ виду Дрездена, а затѣмъ участвовалъ въ жаркомъ бою близъ Теплица (15-го августа). Движеніе союзныхъ армій изъ Богеміи въ Саксонію сопровождалось постоянными столкновеніями съ неприятелемъ, пока наконецъ не произошло 4-го октября генеральное сраженіе подъ Лейпцигомъ. Здѣсь Батюшковъ находился подлѣ Раевского, когда послѣдній былъ раненъ, и здѣсь же убитъ былъ другъ нашего поэта, Петинъ. Рана Раевского оказалась не слишкомъ опасною, и уже 5-го числа онъ, къ ра-

¹⁾ Соч., т. III, стр. 224 и 231.

²⁾ Соч. Д. В. Давыдова, изд. 4-е, ч. I, стр. 21: Замѣчанія на некрологію Н. Н. Раевского.

дости Батюшкова, снова сѣлъ на коня; но смерть Петина была для Константина Николаевича тяжкимъ ударомъ. „Петинъ, добрый, милый товарищъ трехъ походовъ, прекрасный молодой человекъ, скажу болѣе: рѣдкій юноша!“ Такъ писалъ Батюшковъ Гнѣдичу вскорѣ послѣ его смерти. „Эта вѣсть меня разстроила совершенно и на долго. На лѣвой рукѣ отъ батарей, вдали была кирка. Тамъ погребенъ Петинъ, тамъ поклонился я свѣжей могилѣ и просилъ со слезами пастора, чтобъ онъ по берегъ прахъ моего товарища“¹⁾.

Необходимость лѣчить рану заставила однако Раевского ѣхать въ Веймаръ, куда послѣдовалъ за нимъ и Батюшковъ. Здѣсь прожили они около двухъ мѣсяцевъ и возвратились въ дѣйствующую армію только въ декабрѣ, когда главная квартира ея находилась уже во Фрейбургѣ, въ Брейзгау. Въ половинѣ января отрядъ Раевского блокировалъ крѣпость Бельфоръ въ южномъ Альзасѣ, затѣмъ перешелъ въ Шампань, участвовалъ въ жаркомъ дѣлѣ подъ Арсисъ-сюръ-Объ и другихъ сраженіяхъ и наконецъ, въ рѣшительномъ боѣ подъ стѣнами Парижа. „Съ высотъ Монтреля“, рассказываетъ Константинъ Николаевичъ,— „я увидѣлъ Парижъ, покрытый густымъ туманомъ, безконечный рядъ зданій, надъ которыми господствуетъ Notre-Dame съ высокими башнями. Признаюсь, сердце затрепетало отъ радости! Сколько воспоминаній! Здѣсь ворота Трона, влѣво Венсенъ, тамъ высоты Монмартра, куда устремлено движеніе нашихъ войскъ. Но ружейная пальба часъ отъ часу становилась сильнѣе и сильнѣе. Мы подвигались впередъ съ большимъ урономъ черезъ Баньолетъ къ Бельвилю, предмѣстію Парижа. Всѣ высоты заняты артиллерією; еще минута, и Парижъ засыпанъ ядрами! Желать ли сего? Французы послали офицера съ переговорами, и пушки замолчали. Раненые русскіе офицеры проходили мимо насъ и поздравляли съ побѣдою: „Слава

¹⁾ Соч., т. III, стр. 236, 237.

Богу! Мы увидѣли Парижъ съ шпагою въ рукахъ!“ „Мы отместили за Москву!“ повторяли солдаты, перевязывая раны свои“. 19-го марта императоръ Александръ, король Пруссій и вожди союзныхъ арій поскакали въ Парижъ. Въ свитѣ государя находился и Раевскій съ своимъ адъютантомъ. „Ура гремѣло со всѣхъ сторонъ. Чувство, съ которымъ побѣдители въѣзжали въ Парижъ, неизъяснимо!“ ¹⁾).

Съ намѣреніемъ въ краткихъ словахъ рассказали мы военную одиссею нашего поэта, такъ какъ онъ самъ, въ письмахъ своихъ къ Гнѣдичу и къ сестрѣ, описалъ ее очень живо и послѣдовательно. Мелкій офицеръ огромнаго войска, не отмѣченный никакими выдающимися военными талантами, онъ, конечно, не имѣлъ никакой самостоятельной роли въ тогдашнихъ событіяхъ и только исполнялъ честно свой долгъ, и то не какъ воинъ по призванію, а какъ гражданинъ-патріотъ, который, говоря его словами—по своей волѣ „на дѣлѣ всегда былъ готовъ пролить кровь свою за отечество“ ²⁾). Патріотическое воодушевленіе, пробудившееся въ немъ при извѣстіи, что родной Москвѣ угрожаетъ непріятельское вторженіе, не покидало его въ теченіе всего похода до самаго Парижа и придавало бодрость и твердость его духу. „Ни труды, ни грязь, ни дороговизна, ни малое здоровье не заставляютъ меня жалѣть о Петербургѣ, и я вѣчно буду благодаренъ Бахметеву за то, что онъ мнѣ доставилъ случай быть здѣсь“ ³⁾). Такъ писалъ Батюшковъ изъ-подъ Теплица, вскорѣ по пріѣздѣ въ армію, и то же воодушевленіе слышится въ слѣдующихъ радостныхъ строкахъ, писанныхъ уже изъ самой столицы Франціи: „Повѣрите ли? Мы, которые участвовали во всѣхъ важныхъ происшествіяхъ, мы едва ли до сихъ поръ вѣримъ, что Наполеонъ

¹⁾ Соч., т. III, стр. 251, 252.

²⁾ Тамъ же, стр. 217.

³⁾ Тамъ же, стр. 234, 235.

изчезъ, что Парижъ нашъ, что Людовикъ на тронѣ, и что сумасшедшіе соотечественники Монтескье, Расина, Фенелона, Робеспьера, Кутона, Дантона и Наполеона поютъ по улицамъ: „Vive Henri Quatre, vive ce roi vaillant!“ Такія чудеса превосходятъ всякое понятіе. И въ какое короткое время, и съ какими странными подробностями, съ какимъ кровопролитіемъ, съ какою легкостію и легкомысліемъ! Чудны дѣла Твоя, Господи!“ ¹⁾).

Но поэтъ, литераторъ, Батюшковъ оставался имъ и во время похода. Среди тягостей бивуачной жизни, среди боевыхъ столкновеній мысль его нерѣдко обращалась къ предметамъ мирной образованности, наблюдательность и фантазія увлекались впечатлѣніями совершенно иной, не военной сферы; даже самыя событія войны и ея обстановка занимали его не столько по своему практическому значенію и достигнутымъ результатамъ, а какъ пестрыя, живописныя картины, которыя словно чудесною силою развѣртывались предъ его поэтическимъ взоромъ ²⁾; различные типы военныхъ людей, отъ смѣшнаго момана военного дѣла Кроссара до хладнокровнаго героя Раевского, служили ему предметами художническаго наблюденія ³⁾, какъ прежде, въ Нижнемъ-Новгородѣ, лица внезапно обѣдѣвшихъ бѣглецовъ московскихъ.

Пребываніе за границей имѣло для Батюшкова большое образовательное значеніе. Подготовленный къ знакомству съ западною Европой „Письмами русскаго путешественника“,

¹⁾ Тамъ же, стр. 258.

²⁾ Впослѣдствіи Батюшковъ намѣревался посвятить этому предмету особый литературный этюдъ (Соч., т. II, стр. 288, прим.); ср. также боевыя сцены въ элегіи „Переходъ черезъ Рейнъ“ (Соч., т. I, стр. 179), описаніе „кровавой драки“ въ посланіи къ Н. М. Муравьеву (тамъ же, стр. 270 и 271), воспоминаніе о русскомъ казакѣ въ Парижѣ въ повѣсти „Странствователь и домохѣдъ“ (тамъ же, стр. 216) и замѣтки о боевыхъ сценахъ у Тасса (тамъ же, т. II, стр. 152—155).

³⁾ Ср. замѣтки о Раевскомъ, Кроссарѣ и Писаревѣ въ записной книжкѣ 1817 г. и въ письмахъ съ похода (Соч., т. II, стр. 327 — 331, 356, 357; т. III, стр. 234—244).

поэтъ нашъ, подобно Карамзину, съ уваженіемъ смотрѣлъ на ея старую культуру и также старался уловить черты умственной жизни въ посѣщенныхъ имъ странахъ, хотя военныя обстоятельства того времени представляли не много удобствъ для этихъ мирныхъ наблюдений. Воспитанный на французскій ладъ, Константинъ Николаевичъ въ ранней юности пріобрѣлъ нѣкоторое предубѣжденіе противъ нѣмецкой литературы и мало изучалъ ее. Пребываніе въ Германіи отчасти содѣйствовало къ разсѣянію этого предразсудка. Проведя довольно долгое время въ Веймарѣ, онъ не могъ не вспомнить, что этотъ городъ, „германскія Аѳины“, какъ его называли тогда, былъ мѣстопребываніемъ главныхъ корифеевъ новой нѣмецкой словесности. Гуляя по веймарскому саду, Батюшковъ думалъ, что „здѣсь Гѣте мечталъ о Вертерѣ, о нѣжной Шарлоттѣ; здѣсь Виландъ обдумывалъ планъ „Оберона“ и леталъ мыслию въ области воображенія; подъ сими вязами и кипарисами великіе творцы Германіи любили отдыхать отъ трудовъ своихъ“¹⁾. Подъ этими впечатлѣніями Батюшковъ спѣшилъ сообщить Гнѣдичу о своей, „новой страсти“ — къ нѣмецкой литературѣ. Особенно полюбился ему теперь Шиллеръ, надъ сочиненіями котораго онъ прежде посмѣивался; его „Донъ-Карлоса“ нашъ поэтъ видѣлъ на веймарскомъ театрѣ, и это блистательное произведеніе, такъ ярко выражающее высокій идеализмъ Шиллера и человѣчность его сердца, очень ему понравилось²⁾. Изученіе Шиллера Батюшковъ продолжалъ и впослѣдствіи. Самый бытъ нѣмецкій показался Константину Николаевичу очень привлекательнымъ; простота мелкой провинціальной жизни представлялась ему остаткомъ древней патріархальности; въ любви Нѣмцевъ къ памятникамъ своей старины онъ находилъ

¹⁾ Соч., т. II, стр. 240. Предположеніе Батюшкова не совсѣмъ вѣрно относительно Гете: „Вертеръ“ написанъ имъ не въ Веймарѣ, а во Франкфуртѣ.

²⁾ Карамзинъ также видѣлъ „Донъ-Карлоса“ въ Берлинѣ и въ письмѣ отъ 4-го іюля 1789 г. высказалъ свое мнѣніе объ этомъ произведеніи.

„знакъ добраго сердца, уваженія къ законамъ, къ нравамъ и обычаямъ предковъ“ и противопоставлялъ эту любовь пренебреженію Французовъ къ своему прошлому, видя въ томъ слѣдствіе „легкомыслія, суетности и жестокаго презрѣнія ко всему, что не можетъ насытить корыстолюбія, отца пороковъ“ ¹⁾).

Новое увлеченіе Батюшкова было такъ велико, что онъ „сходилъ съ ума“ даже на „Луизѣ“, извѣстной идиллической поэмѣ Фосса, и писалъ Гнѣдичу: „Надобно читать ее въ оригиналѣ и здѣсь въ Германіи“ ²⁾. Сама по себѣ, идиллія Фосса—произведеніе не высокаго поэтическаго достоинства; у автора ея не было способности къ самобытному творчеству, но онъ былъ отличный знатокъ классической древности и хорошо понималъ наивное міросозерцаніе Гомера и Теоокрита; въ своей поэмѣ онъ сдѣлалъ попытку изобразить съ античною простотою филистерскіе нравы сельскихъ нѣмецкихъ пасторовъ; плавный стихъ и естественность изображенія составляютъ едва ли не единственныя достоинства его произведенія, при чемъ однако натурализмъ его доходитъ нерѣдко до пошлости. Отзывъ Батюшкова о „Луизѣ“ тѣмъ не менѣе очень любопытенъ, какъ знаменіе его тогдашнихъ симпатій, и главнымъ образомъ потому, что онъ совпадаетъ съ сужденіемъ одного изъ лицъ, мнѣнія котораго особенно цѣнились Константиномъ Николаевичемъ. Въ одномъ изъ своихъ писемъ изъ Москвы въ Нижній Новгородъ И. М. Муравьевъ-Апостолъ проводитъ параллель между французскою словесностью и другими литературами западной Европы и между прочимъ говоритъ: Ума много, а изящной природы во всей очаровательной ея простотѣ нѣтъ ни въ одномъ (французскомъ писателѣ). Вездѣ натяжка: нигдѣ нѣтъ цвѣтовъ, которые мы видимъ въ природѣ: наблюдатель строгій тотчасъ догадается, что картина простой сельской

¹⁾ Соч., т. II, стр. 62; ср. т. I, стр. 177.

²⁾ Тамъ же, т. III, стр. 240.

жизни писалась въ парижскомъ будуарѣ, а Теоокритовы пастухи срисованы въ оперѣ съ танцовщиковъ. И быть иначе не можетъ! Французы осуждены писать въ одномъ Парижѣ; внѣ столицы имъ не дозволяется имѣть ни вкуса, ни дарованій: то какъ же имъ познакомиться съ природою, которой ничего нѣтъ противоположнаго, какъ большіе города. Напротивъ того, въ Нѣмецкой землѣ писатели рѣдко живутъ въ столицахъ; большая часть ихъ разсѣяна по маленькимъ городамъ, а нѣкоторые изъ нихъ цѣлую жизнь свою провели въ деревняхъ; за то они знакомѣе съ природою, и за то, между тѣмъ какъ Фоссъ начерталъ прелестную „Луизу“ свою въ Эйтинѣ, подражатель приторнаго Флоріана въ Парижѣ, смотря въ окно на грязную улицу, описываетъ испещренные цвѣтами андалузскіе луга или пышно рисуетъ цѣпь Пиренейскихъ горъ, глядя съ чердака на Монмартръ“. Мы уже знаемъ, какое сильное впечатлѣніе производили на Батюшкова въ Нижнемъ-Новгородѣ споры Муравьева съ исключительными поклонниками французской словесности, и потому можемъ съ увѣренностью предположить, что подъ этимъ вліяніемъ сложилось у нашего поэта сужденіе о „Луизѣ“, да и вообще произошелъ поворотъ въ его мнѣніяхъ о нѣмецкой литературѣ ¹⁾. Въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи поворотъ этотъ долженъ былъ расширить и сдѣлать болѣе правильными эстетическія понятія Константина Николаевича, что и замѣтно по его позднѣйшимъ произведеніямъ.

Итакъ, даже кратковременное пребываніе въ Германіи было небезслѣдно для умственной жизни поэта. Точно также оставило на немъ замѣтный слѣдъ и посѣщеніе Франціи. Онъ ступилъ на ея почву еще полный негодованія на тѣ жестокости

¹⁾ Письмо Муравьева, изъ котораго приведенъ отрывокъ, напечатано въ Сынѣ Отечества 1813 г., № XLIV; этотъ номеръ появился въ Петербургѣ 30-го октября, въ тотъ самый день, когда Батюшковъ писалъ о „Луизѣ“ Гнѣдичу изъ Веймара; слѣдовательно, онъ могъ имѣть въ виду только устное мнѣніе Муравьева, а не высказанное въ печати.

и варварство, которыми ознаменовалось въ Россіи нашествіе Великой арміи. Ему казалось тогда, что революція и тираннія Наполеона совершенно исказили народный характеръ Французовъ. Такія заключенія были понятны и возможны въ виду „пылающей Москвы“. Но дальнѣйшій ходъ событій и состояніе Франціи въ 1814 году заставили Батюшкова думать нѣсколько иначе. Въ первомъ же письмѣ изъ Парижа, описавъ торжественное вступленіе туда союзныхъ войскъ, Константинъ Николаевичъ прибавлялъ: „Всѣ ожидаютъ мира: Дай Богъ! Мы всѣ желаемъ того. Выстрѣлы надобѣли, а болѣе всего плачь и жалобы несчастныхъ жителей, которые вовсе разорены по большимъ дорогамъ“ ¹⁾. Такъ, мало по малу, чувство негодованія стало смѣняться у Батюшкова чувствомъ жалости къ Французамъ. Не будучи проницательнымъ политикомъ, онъ раздѣлялъ общераспространенное тогда мнѣніе, что Франція легко можетъ возвратиться къ старому порядку, если не вполнѣ, то въ значительной степени, и во всякомъ случаѣ можетъ успокоиться и не подвергнется новымъ потрясеніямъ. При быстромъ поворотѣ общественнаго мнѣнія въ побѣжденной странѣ, воображеніе нашего поэта поражалось видомъ черни парижской „вѣтренной и неблагодарной“, которая еще вчера славилъ своего императора, а нынче призывала спасителей—Русскихъ и требовала возвращенія Бурбоновъ; и подъ этимъ впечатлѣніемъ Батюшковъ примѣнялъ къ Парижанамъ слова германскаго поэта: „О, чудесный народъ парижскій, народъ достойный сожалѣнія и смѣха!“ ²⁾

Ходъ нашего собственнаго просвѣщенія былъ таковъ, что образованный Русскій человѣкъ начала нынѣшняго вѣка, даже вооружавшійся противъ пороковъ французской культуры, оказывался заранѣе подкупленнымъ въ ея пользу. Русскіе офи-

¹⁾ Соч., т. III, стр. 256; ср. т. II, стр. 63.

²⁾ Тамъ же, стр. 254.

церы, вступившіе въ Парижъ въ 1814 году, мало-мальски образованные, увлекались блескомъ, внѣшнимъ изяществомъ и свободой парижской жизни. Болѣе просвѣщенные, или тѣ, въ которыхъ таилось особое дарованіе, успѣвали вынести отсюда новые залого для своего развитія и дальнѣйшей дѣятельности. Въ такомъ положеніи оказался и Константинъ Николаевичъ. Едва вступивъ въ предѣлы Франціи, онъ уже почувствовалъ себя, такъ-сказать, подъ вліяніемъ той атмосферы, изъ которой было почерпнуто его образованіе. Еще во время похода по Лотарингіи онъ счелъ долгомъ посѣтить замокъ маркизы дю-Шатле, пріятельницы Вольтера, давшей ему здѣсь убѣжище въ лучшіе трудовые годы его жизни, когда онъ занимался философіей Ньютона, написалъ „Альзиру“ и „Мерону“, готовилъ „Вѣкъ Людовика XIV“ и задумывалъ „Essai sur les moeurs“. Въ самомъ Парижѣ, послѣ нѣсколькихъ дней отдыха, необходимаго по окончаніи тяжелаго похода, Константинъ Николаевичъ отдается столичнымъ развлеченіямъ и еще болѣе интересамъ литературы и искусства. Онъ любитъ парижскими памятниками, посѣщаетъ театры, осматриваетъ музеи, закупаетъ книги, присутствуетъ въ томъ знаменитомъ засѣданіи Французской академіи, гдѣ былъ императоръ Александръ, и гдѣ между прочимъ Вильменъ говорилъ ему привѣтствіе и читалъ пріемъ отрывки изъ своего разсужденія о критикѣ. Трагикъ Тальма и комикъ Брюне, г-жа Жоржъ и ея соперница г-жа Дюшенуа попеременно приводятъ Батюшкова въ восхищеніе. Въ залахъ Лувра въ то время были выставлены не только произведенія искусства, въ теченіе нѣсколькихъ столѣтій собранныя Французскими королями, но и многія художественныя сокровища, вывезенныя Наполеономъ изъ чужестранныхъ, преимущественно италіянскихъ музеевъ, въ качествѣ военной добычи; это обстоятельство дѣлало тогдашній Парижъ художественнымъ центромъ Европы, и благодаря тому, Батюшкову удалось видѣть здѣсь особенно много произведеній искусства новаго и древняго, въ

томъ числѣ подлинную статую Аполлона Бельведерскаго; она привела его въ особенный восторгъ, который онъ высказалъ въ письмѣ къ Дашкову живописнымъ выраженіемъ: „Это не мраморъ—богъ!“ Оно было впослѣдствіи усвоено Пушкинымъ. „Я часто захожу въ музеумъ“, прибавляетъ Константинъ Николаевичъ,—„единственно за тѣмъ, чтобы взглянуть на Аполлона, и какъ отъ бесѣды мудраго мужа и милой, умной женщины, по словамъ нашего поэта, лучшимъ возвращаюсь“¹⁾. Вообще посѣщеніе Парижа укрѣпило и развило въ Батюшковѣ любовь къ пластическимъ искусствамъ, зародыши которой таились въ немъ и прежде.

Соціальные вопросы никогда не привлекали къ себѣ особеннаго вниманія Батюшкова; мало занимался онъ ими и за границей, но остаться вполне въ сторонѣ отъ нихъ не могъ по самымъ обстоятельствамъ того времени. Ожидаемое замиреніе Европы выдвигало ихъ впередъ. Просвѣщенные Русскіе люди питали надежду, что императоръ Александръ, по окончаніи войны, столь счастливо завершенной, займется внутреннимъ благоустройствомъ Россіи и въ особенности обезпеченіемъ положенія крѣпостнаго населенія. Мы видѣли изъ письма А. И. Тургенева, что въ его умѣ этотъ вопросъ возникъ въ самую горячую пору войны 1812 года; улучшеніе быта крестьянъ казалось ему дѣломъ справедливости, послѣ того какъ народъ обнаружилъ въ борьбѣ съ нашествіемъ враговъ беззавѣтное самоотверженіе и самопожертвованіе. Еще глубже занимала та же мысль другаго Тургенева, дѣльнаго и умнаго Николая Ивановича. Во время заграничнаго похода онъ былъ назначенъ состоять при извѣстномъ баронѣ Штейнѣ, и Батюшковъ, знавшій его съ Петербурга, встрѣтился съ нимъ во Фрейбургѣ, когда тамъ находилась главная квартира и провелъ съ нимъ „нѣ-

¹⁾ Соч., т. III, стр. 263.

сколько пріятныхъ дней“ ¹⁾). Въ Парижѣ они также были въ одно время и, нѣтъ сомнѣнія, не разъ толковали о русскихъ дѣлахъ, объ общественныхъ потребностяхъ отечества. Весьма вѣроятно, что подъ впечатлѣніемъ бесѣдъ съ этимъ горячимъ поборникомъ идеи объ освобожденіи крестьянъ, Батюшковъ написалъ тогда „прекрасное четверостишіе, въ которомъ, обращаясь къ императору Александру, говорилъ, что послѣ окончанія славной войны, освободившей Европу, призванъ онъ Провидѣніемъ довершить славу свою и обезсмертить свое царствованіе освобожденіемъ Русскаго народа“. Такъ свидѣтельствуєтъ князь П. А. Вяземскій ²⁾). Къ сожалѣнію, стихи эти не сохранились.

Послѣ двухмѣсячнаго пребыванія въ столицѣ Франціи, утомленный обиліемъ самыхъ разнообразныхъ впечатлѣній и, къ довершенію всего, перенесшій въ Парижѣ новый приступъ болѣзни, Батюшковъ почувствовалъ горячее желаніе возвратиться на родину; онъ уже лелѣялъ мысль опять соединиться съ друзьями, чтобы въ мирной бесѣдѣ подѣлиться съ ними тѣмъ, что пережилъ и испыталъ въ теченіе десяти мѣсяцевъ своего отсутствія. Однако, для возвращенія онъ не избралъ кратчайшаго пути черезъ Германію, а рѣшился отправиться моремъ, посѣтивъ предъ тѣмъ Лондонъ. Раньше Константина Николаевича туда же отправился Сѣверинъ, также бывшій въ Парижѣ. Пребываніе Батюшкова въ Англіи было непродолжительно: онъ ограничился краткимъ осмотромъ Лондона и его окрестностей, изъ которыхъ особенно понравился ему Ричмондъ, съ своимъ великолѣпнымъ паркомъ, и затѣмъ изъ Гарича отплылъ къ берегамъ Швеціи. Предъ отходомъ судна онъ посѣтилъ гаричскую церковь и вынесъ „глубокое и сладостное впечатлѣніе“ отъ простоты служенія, набожности и сосредоточен-

¹⁾ Соч., т. III, стр. 247.

²⁾ Полн. собр. соч., т. VII, стр. 418.

наго умиленія молящихся. „Никогда“, писалъ онъ послѣ,— „религія и священныя обряды ея не казались мнѣ столь плѣнительными“¹⁾. Для человѣка, воспитаннаго въ свободомысліи, это чувство было новымъ, и оно глубоко запало въ его душу. Какъ многіе люди его поколѣнія, свидѣтели великаго политическаго переворота, счастливый исходъ котораго они приписывали прямому участію Провидѣнія, Батюшковъ испыталъ сильное возбужденіе давно заснувшаго въ немъ религіознаго чувства, и описанный случай едва ли не былъ первымъ проявленіемъ такого настроенія. Самое плаваніе до Готенбурга совершилось вполне благополучно; но свѣтлое настроеніе Константина Николаевича, не покидавшее его ни въ походѣ, ни въ бытность въ Парижѣ, уже исчезло, и оставшись одинъ самъ съ собою, въ унылой обстановкѣ морскаго плаванія, онъ отдался воспоминаніямъ о понесенныхъ имъ утратахъ: въ эти-то минуты грустнаго раздумья его посетило вдохновеніе, внушившее ему исполненные глубокаго, сосредоточеннаго чувства стихи въ память друга юныхъ лѣтъ, Петина²⁾. Плакивая его, поэтъ вмѣстѣ съ тѣмъ оплакивалъ и свою молодость, которой приходилъ конецъ.

Проѣхавъ изъ Готенбурга въ Стокгольмъ сухимъ путемъ, Батюшковъ имѣлъ удовольствіе найти здѣсь Д. Н. Блудова. Блудовъ съ 1812 года состоялъ совѣтникомъ нашего посольства при Шведскомъ дворѣ и за отсутствіемъ посланника управлялъ миссіей; онъ скучалъ въ шведской столицѣ и теперь, по прибытіи вновь назначеннаго посланника (барона Г. А. Строгонова), спѣшилъ покинуть ее³⁾. Батюшкову Швеція тоже показалась страной „не плѣнительною“. Друзья рѣшили ѣхать вмѣстѣ и, переправившись въ Або, прибыли черезъ Финляндію въ Петербургъ въ началѣ іюля.

¹⁾ Соч., т. III, стр. 277.

²⁾ Извѣстную элегію „Тѣнь друга“.

³⁾ Ковалевскій. Графъ Блудовъ и его время, изд. 2-е, стр. 84—89; Р. Архивъ 1879 г., кн. III, стр. 481—485; Изъ воспоминаній графини А. Д. Блудовой.

Батюшковъ остановился у Е. Θ. Муравьевой, которая жила теперь въ Петербургѣ и встрѣтила племянника съ прежнимъ радушіемъ. О встрѣчѣ своей съ нею и пріятелями онъ вспоминалъ потомъ въ одномъ изъ своихъ стихотвореній:

Я самъ, друзья мои, дань сердца заплатилъ,
Когда, волненьями судьбины
Въ отчизну брошенный изъ дальнихъ странъ чужбины,
Увидѣлъ наконецъ адмиралтейскій шпигъ,
Фонтанку, этотъ домъ и столько милыхъ лицъ,
Для сердца моего единственныхъ на свѣтѣ! ¹⁾

Пріѣздъ Батюшкова предшествовалъ нѣсколькими днями прибытію императора Александра. Восторженный пріемъ ожидалъ возвращеніе миротворца Европы въ столицѣ. Посѣщеніе государемъ Павловска императрица Марія Ѳеодоровна пожелала ознаменовать особымъ праздникомъ, который и состоялся 27-го іюля. Устройство праздника и главнымъ образомъ приготовленіе хоровъ и лирическихъ сценъ, которые предполагалось исполнить, императрица возложила на Ю. А. Нелединскаго-Мелецкаго. Спѣшность дѣла и неудача первыхъ попытокъ очень затрудняли его, и онъ чрезвычайно обрадовался пріѣзду Батюшкова и поручилъ ему сочиненіе стиховъ. Еще не отдохнувъ съ дороги и уже застигнутый нездоровьемъ, Константинъ Николаевичъ не могъ отказаться отъ предложенія. „Трудно было отговориться“, писалъ онъ по этому поводу, — „старикъ такъ былъ ласковъ и убѣдителенъ. Я намаралъ, какъ умѣлъ... Къ несчастію, я спѣшилъ: то убавлялъ, то прибавлялъ по словамъ капельмейстера и, вопреки моему усердію, кажется, написалъ не очень удачно“ ²⁾. Изъ писемъ императрицы къ Нелединскому видно, что нѣкоторыя измѣненія дѣлались не только по требованію капельмейстера, но и по ея собственнымъ указа-

¹⁾ Соч., т. I, стр. 215.

²⁾ Тамъ же, т. III, стр. 289.

ніямъ ¹⁾. Праздникъ, разумѣется, имѣлъ полный успѣхъ, и по словамъ поэта, актеры удачно исполнили сочиненныя имъ сцены. Къ сожалѣнію, текстъ ихъ не былъ напечатанъ въ свое время и не сохранился. Императрица пожаловала автору брилліантовый перстень, который онъ тотчасъ же отослалъ своей младшей сестрѣ ²⁾.

Свиданіе съ сестрами послѣ долгой разлуки, разумѣется, было бы очень пріятно Константину Николаевичу; однако, по разнымъ причинамъ онъ не спѣшилъ ѣхать въ Хантоново. Внѣшнимъ препятствіемъ было то, что разрѣшить ему отпускъ могъ только генераль Бахметевъ, а его не было въ Петербургѣ. Затѣмъ пріѣхать въ Хантоново къ сестрамъ и не посѣтить отца въ его Даниловскомъ было бы не возможно, а между тѣмъ эта встрѣча, при натянутыхъ отношеніяхъ между отцемъ и сыномъ, представлялась послѣднему не особенно пріятною. Наконецъ, послѣ разнообразныхъ впечатлѣній заграничнаго похода, поэтъ нашъ какъ бы боялся одиночества въ деревенской глуши. Притомъ, его занимали и тревожили соображенія о его ближайшемъ будущемъ. Военная служба въ мирное время не представляла для него привлекательности, и онъ готовъ былъ промѣнять ее на гражданскую, но желалъ извлечь извѣстныя выгоды изъ своего пребыванія въ арміи: пріобрѣтеніе ихъ оправдало бы передъ родными его вторичное поступленіе въ военную службу. Еще въ январѣ 1814 года онъ былъ награжденъ орденомъ св. Анны второй степени за сраженіе подъ Лейпцигомъ; кромѣ того, онъ надѣялся получить Владимірскій крестъ и быть переведеннымъ въ гвардію, съ повышеніемъ на два чина, что дало бы ему возможность перечислиться въ гражданскую службу надворнымъ

¹⁾ Хроника недавней старины. Изъ архива кн. С. А. Оболенскаго-Меледницкаго-Мелецкаго, стр. 209, 210; ср. Р. Архивъ 1866 г., ст. 886.

²⁾ Соч., т. III, стр. 289.

совѣтникомъ. При видѣ тѣхъ наградъ, которыя война доставила многимъ изъ его сослуживцевъ, въ немъ тоже пробудилось честолюбіе, и онъ съ лихорадочною тревогой ожидалъ для себя отличій, уже заранѣе огорчаясь возможностью неудачи, которую приписывалъ своей „неблагопріятной звѣздѣ“ ¹⁾. Если къ тревогамъ этого рода прибавить, что Константинъ Николаевичъ нерѣдко получалъ отъ сестры извѣстія о непрерывно возрастающемъ разстройствѣ ихъ хозяйственныхъ дѣлъ, то прійдется сказать, что въ частныхъ его обстоятельствахъ, по возвращеніи изъ похода, оказывалось немало поводовъ къ волненіямъ. Будущее опять представлялось ему вполне не обезпеченнымъ, и самая жизнь казалась лишенною цѣли. Хандра, обычная спутница этихъ тревогъ, стала овладѣвать имъ чрезъ два-три мѣсяца по возвращеніи въ Петербургъ. „Развѣ ты не знаешь“, писалъ онъ Жуковскому въ ноябрѣ 1814 года, — „что мнѣ не посидится на мѣстѣ, что я сдѣлался совершеннымъ Калмыкомъ съ нѣкотораго времени, и что пріятелю твоему нуженъ „осѣдлокъ“, какъ говоритъ Шишковъ, пристанище, гдѣ онъ могъ бы собраться съ духомъ и силами душевными и тѣлесными, могъ бы дышать свободнѣе въ кругу такихъ людей, какъ ты, напримѣръ?“ Онъ жаловался, что на его долю достались „однѣ заботы житейскія и горести душевныя“ и, рассказавъ вкратцѣ свою заграничную одиссею, прибавлялъ о себѣ и своихъ друзьяхъ слѣдующее: „Мы подобны теперь Гомеровымъ воинамъ, разсѣянными по лицу земному. Каждого изъ насъ гонитъ какой-нибудь мститель-богъ: кого Марсъ, кого Аполлонъ, кого Венера, кого Фуріи, а меня—Скука“. Подъ вліяніемъ хандры Батюшковъ склоненъ былъ даже чувствовать сомнѣніе въ своемъ дарованіи: оно представлялось ему бесполезнымъ и для общества, и для него самого ²⁾. Понятно, что гнетъ этой мысли дѣйствовалъ на него

¹⁾ Соч., т. III, стр. 285.

²⁾ Тамъ же, стр. 302—304.

мучительно и еще болѣе усиливалъ душевную тревогу нашего поэта. Въ сущности однако, это сомнѣніе свидѣтельствовало только о жизненности его таланта, который, очевидно, искалъ новыхъ путей для своего развитія.

Батюшковъ возвратился изъ славнаго похода, горячо воодушевленный тѣми великими событіями, которыхъ былъ свидѣтелемъ и участникомъ, и которыя такъ высоко поставили политическое и военное значеніе Россіи. Чтò же засталъ онъ на родинѣ? Могло ли удовлетворить его то общественное настроеніе, которое нашелъ онъ въ Петербургѣ? Отвѣтъ на этотъ вопросъ онъ даетъ въ слѣдующихъ стихахъ:

Казалось, небеса карать его устали
И тихо соннаго домчали
До милыхъ родины давножеланныхъ скалъ.
Проснулся онъ—и что жь?... Отчизны не позналъ! ¹⁾

Высокое патріотическое воодушевленіе 1812 года значительно измѣнилось въ русскомъ обществѣ къ концу борьбы съ Наполеономъ. Вызванный ею подъѣмъ національнаго самосознанія обратилъ общественное вниманіе на задачи внутренняго развитія, но при обсужденіи ихъ мнѣнія людей, еще недавно соединенныхъ общимъ чувствомъ патріотизма, разошлись совершенно въ разныя стороны. Тѣсно связанные съ самыми основами нашей образованности, вопросы просвѣщенія ставились какъ попало и рѣшались вкривь и вкосъ, болѣе смѣло, чѣмъ основательно. „Состояніе умовъ теперь таково“, писалъ въ концѣ 1813 года одинъ изъ образованнѣйшихъ людей своего времени, С. С. Уваровъ,—„что путаница идей не знаетъ предѣловъ. Одни хотятъ просвѣщенія безвреднаго, то-есть, огня, который бы не жегъ; другіе, и ихъ всего болѣе, кидаютъ

¹⁾ Соч., т. I, стр. 193. Стихи взяты изъ піесы „Судьба Одиссея“, составляющей подражаніе стихотворенію Шиллера: „Odysseus“, но самымъ выборомъ своимъ очевидно выражающей собственное настроеніе нашего поэта.

въ одинъ мѣшокъ Наполеона и Монтескье, французскія арміи и французскія книги, Моро и Розенкампа, бредни Шишкова и открытія Лейбница; словомъ, это — такой хаосъ криковъ, страстей, партій, ожесточенныхъ одна противъ другой, одно-стороннихъ преувеличеній, что долго присутствовать при такомъ зрѣлищѣ нѣтъ возможности. Кидають другъ другу въ лицо выраженіями: религія въ опасности, потрясеніе нравственности, поборники чужеземныхъ идей, иллюминаты, философъ, франкъ-масонъ, фанатикъ и т. п. Словомъ, безуміе полное! ¹⁾ Замѣтимъ, что это свидѣтельство принадлежитъ человѣку, который, какъ и Батюшковъ, далеко не отличался крайними мнѣніями. Дикая вражда противъ просвѣщенія шла главнымъ образомъ со стороны тѣхъ людей, которые еще до войны ратоборствовали противъ галломаніи, то-есть, со стороны пресловутой Бесѣды, и Шишковъ, съ простодушіемъ невѣжды и откровенностью ограниченного человѣка, не затруднялся утверждать, что писатели, искавшіе литературныхъ образцовъ во французской словесности, были виновниками не только „заразы французской“, но даже нашествія Наполеона и пожара Москвы, то-есть, измѣнниками своему отечеству.

Въ горячую пору 1812 года Батюшковъ также вооружался противъ „новыхъ Вандаловъ“; но огульная вражда противъ просвѣщенія, прикрытая любовью къ отечеству, и тогда возбуждала его негодованіе; крайности фанатиковъ удержали его отъ слишкомъ сильныхъ увлеченій, и еще предъ отправленіемъ въ заграничный походъ, во время своего невольнаго досуга въ Петербургѣ въ 1813 году, онъ написалъ сатирическое стихотвореніе, въ которомъ предалъ посмѣянію бездарныхъ и невѣжественныхъ изувѣровъ Бесѣды. Остроумной сатирѣ этой была дана форма пародіи на „Пѣвца въ станѣ русскихъ вои-

¹⁾ Pertz. Das Leben d. Ministers Fr. v. Stein. III-r B. 2-te Aufl. Berlin. 1885, S. 697—698.

новъ“, незадолго предъ тѣмъ напечатаннаго. Какъ пѣвецъ Жуковского взываетъ къ мщенію Наполеона, такъ пѣвецъ въ Бесѣдѣ Славянороссовъ, грозя мщеніемъ даровитому виновнику литературныхъ новшествъ Карамзину между прочимъ возглашаетъ:

Нѣтъ логики у насъ въ домахъ,
Грамматикъ не бывало,
Мы Прологъ въ руки — гибни, врагъ,
Съ твоей дружиной вялой!
Отвѣдай, дерзкій, что сильнѣй —
Разсудокъ или мщенье.
Пришлецъ, мы въ родинѣ своей!
За глупыхъ Провидѣнье!

Общій смыслъ сатиры составляетъ осужденіе дикой вражды къ наукамъ, слѣпago пристрастія къ національной исключительности и фантастической любви къ добродѣтелямъ невѣдомой старины.

Изъ пребыванія за границей Константинъ Николаевичъ вынесъ новое подкрѣпленіе своихъ убѣжденій. Онъ не могъ не видѣть, что Европа далеко опередила Россію богатымъ разцвѣтомъ умственной жизни, которая у насъ только въ зачаткахъ; онъ сознавалъ, что и послѣ великой побѣды надъ Наполеономъ намъ есть чему учиться на Западѣ, есть чтѣ усвоивать изъ его литературы; кичливость русскихъ фанатиковъ предъ европейскою образованностью казалась ему не только неумѣстной, но и недостойною великаго молодаго народа, который своими побѣдами открывалъ себѣ славное будущее: въ этомъ-то смыслѣ онъ и говорилъ, уподобляя себя скитальцу Одиссею, что по возвращеніи онъ „не позналъ своей родины“.

Какъ ни громко раздавались возгласы фанатиковъ, нашлись однако люди, которые не захотѣли молчать предъ этою ожесточенною проповѣдью невѣжества; особенно замѣчательно то, что защиту дѣла просвѣщенія приняли на себя не крайніе сторон-

ники западнаго образованія, а представители умѣренныхъ убѣжденій, рѣзко высказывавшіеся противъ галломаніи, но въ то же время умѣвшіе отличить отъ нея развитіе истинной образованности. Мы видѣли въ своемъ мѣстѣ, какъ члены оленинскаго кружка, не смотря на личную пріязнь Алексѣя Николаевича къ Шишкову и Державину, отдѣлились отъ литературныхъ старовѣровъ въ сужденіи о трагедіяхъ Озерова; такъ и теперь представители той же среды сочли нужнымъ высказаться самостоятельно по вопросу, горячо волновавшему общество. Замѣтимъ, что многія изъ этихъ лицъ, какъ и самъ Оленинъ, принадлежали къ составу Бесѣды любителей русскаго слова; но въ данномъ случаѣ они не могли сочувствовать Шишкову и его приснымъ. Съ половины 1813 года началось въ Сынѣ Отечества печатаніе знаменитыхъ писемъ И. М. Муравьева-Апостола изъ Москвы въ Нижній-Новгородъ; въ нихъ много говорилось о смѣшномъ пристрастіи русскаго общества къ Французамъ, говорилось и о вредномъ вліяніи французской философіи XVIII вѣка на умы, но разумѣется, не было тѣхъ выходокъ противъ образованія, которыя вызвали такое горячее негодованіе Уварова, когда онъ слышалъ ихъ въ петербургскихъ салонахъ. Муравьевъ, напротивъ, настаивалъ на томъ, что наше дворянство учится слишкомъ мало, и что въ основу нашей школы необходимо положить изученіе классическихъ языковъ; онъ же указывалъ и на другія литературы новой Европы, какъ на источники просвѣщенія. Мнѣнія Муравьева, близкаго Оленину, могутъ быть принимаемы, какъ выраженіе убѣжденій, господствовавшихъ въ этомъ кругу. Тѣ же мысли высказывалъ Уваровъ въ своихъ письмахъ о переводѣ „Иліады“ ¹⁾.

¹⁾ Чтенія въ Бесѣдѣ любителей русскаго слова, кн. 13 и 17; второе письмо появилось въ печати только въ 1815 г., но еще въ 1814 г. было читано въ Бесѣдѣ и тогда же стало извѣстно Батюшкову (см. Соч., т. II, стр. 75, 76 и 429)

„Безъ основательныхъ познаній и долговременныхъ трудовъ въ древней словесности“, писалъ онъ,—„никакая новѣйшая существовать не можетъ; безъ тѣснаго знакомства съ другими новѣйшими мы не въ состояніи объять все поле человѣческаго ума, обширное и блистательное поле, на которомъ всѣ предубѣжденія должны бы умирать и всякая ненависть гаснуть“¹⁾. Въ самомъ началѣ 1814 года послѣдовало открытіе Императорской Публичной Библіотеки, и по этому случаю состоялось, при многочисленныхъ посѣтителяхъ, торжественное собраніе, въ которомъ, по мысли Оленина, библіотекарями Красовскимъ и Гнѣдичемъ прочитаны были разсужденія, первымъ—о пользѣ знаній, а вторымъ—о причинахъ, замедляющихъ успѣхи нашей словесности; причины эти Гнѣдичъ находилъ въ томъ, что у насъ слишкомъ мало изучаются древніе языки и слишкомъ много пристрастія къ языку французскому; сходясь въ этомъ заключеніи съ Муравьевымъ-Апостоломъ и Уваровымъ, онъ однако отдѣлялся отъ нихъ тѣмъ, что вовсе умалчивалъ о значеніи литературъ новой Европы для развитія нашей собственной. Прочитанная въ томъ же собраніи басня Крылова „Водолазы“ также по своему рѣшала вопросъ о пользѣ наукъ, доказывая, что

... въ ученіи зримъ мы многихъ благъ причину,
Но дерзкій умъ находитъ въ немъ пучину
И свой погибельный конецъ,
Лишь съ разницею тою,
Что часто въ гибель онъ другихъ влечетъ съ собою.

Такимъ образомъ представители оленинскаго кружка подали свой голосъ по вопросу, который въ данную минуту вызывалъ самыя разнообразныя сужденія въ обществѣ. Мнѣніе было высказано очень осторожно и обставлено разными оговорками,

¹⁾ Чтенія въ Бесѣдѣ, кн. XVII, стр. 63.

но въ общемъ оно, очевидно, противорѣчило рѣшенію фанатиковъ и имѣло даже смыслъ протеста противъ проповѣдуемыхъ ими крайностей.

Естественно, что Батюшковъ примкнулъ къ сужденіямъ, которыя были заявлены его просвѣщенными собесѣдниками въ домѣ Оленина. Онъ воспользовался первымъ удобнымъ случаемъ, чтобы привести въ печати изъ не изданнаго еще письма Уварова слова его о пользѣ изученія древней и новой иностранной словесности. Мало того: въ разсужденіяхъ своихъ друзей онъ увидѣлъ указанія для своей дальнѣйшей литературной дѣятельности. До сихъ поръ онъ признавалъ свой талантъ способнымъ преимущественно къ тому роду, который называлъ „легкою поэзіей“; но теперь, когда потребности времени указывали литературѣ высокія просвѣтительныя задачи, онъ счелъ себя не въ правѣ ограничиваться областью интимной лирики. Еще въ виду ужасовъ непріятельскаго нашествія онъ отрекался отъ нея въ посланіи къ Дашкову. Призывая теперь Жуковскаго „сдѣлать себѣ прочную славу, основанную на важномъ дѣлѣ“¹⁾, онъ и самому себѣ намѣчалъ болѣе серьезный планъ въ литературныхъ занятіяхъ. Уваровъ указывалъ на пользу переводовъ изъ древнихъ авторовъ; но скудость классическихъ знаній препятствовала Батюшкову взяться за трудъ, подобный предпринятому Гнѣдичемъ; къ тому же онъ зналъ за собою недостатокъ усидчивости, которой потребовала бы такая работа. Итакъ, не желая насиловать свое поэтическое дарованіе, Батюшковъ рѣшился обратиться къ прозѣ и испытать свои силы въ критикѣ. Онъ находилъ необходимымъ содѣйствовать образованію вкуса публики и признавалъ долгомъ просвѣщеннаго писателя

¹⁾ Соч., т. III, стр. 306; важное дѣло, на которое Батюшковъ вызывалъ Жуковскаго, состояло въ задуманной послѣднимъ поэмѣ „Владимиръ“. Настоянія свои нашъ поэтъ высказывалъ и въ печати, и въ письмахъ къ другу (Соч., т. II, стр. 410; т. III, стр. 99). Уваровъ давалъ Жуковскому тотъ же совѣтъ (Чтенія въ Бесѣдѣ, кн. 17, стр. 64).

напомнить русскимъ читателямъ, что и ихъ родная словесность не лишена замѣчательныхъ произведеній. Съ этою цѣлью Батюшковъ въ 1814 году занялся статьею о сочиненіяхъ М. Н. Муравьева и даже принялъ на себя заботы по изданію его „Эмилиевыхъ писемъ“ ¹⁾. Та же мысль—дать справедливую и сочувственную оцѣнку отечественнымъ талантамъ въ области пластическихъ искусствъ—руководила имъ и въ другой, тогда же написанной (подъ руководствомъ Оленина) статьѣ: „Прогулка въ Академію художествъ“. Наконецъ, то же стремленіе замѣчается во многихъ позднѣйшихъ статьяхъ Константина Николаевича, также большею частью посвященныхъ вопросамъ литературнымъ или нравственнымъ въ связи со словесностью.

Никогда, быть можетъ, мысль Батюшкова не работала столь дѣятельно, какъ въ первые годы по возвращеніи его изъ заграничнаго похода, и это напряженіе умственныхъ силъ продолжало возрастать въ то время, какъ частныя его дѣла приходили все въ большее разстройство и подавали ему новые поводы къ тревогамъ и огорченіямъ. Но, что еще важнѣе—въ сердцѣ его открылся источникъ другихъ, еще сильнѣйшихъ потрясеній: ему суждено было снова испытать волненія любви. Въ домѣ Олениныхъ жила одна молодая дѣвушка, Анна Федоровна Фурманъ. Она рано лишилась матери ²⁾ и воспитывалась сперва въ домѣ своей бабки (вмѣстѣ съ двоюроднымъ братомъ своимъ О. П. Литке, впослѣдствіи графомъ), а затѣмъ

¹⁾ Соч., т. III, стр. 306.

²⁾ Рожденной Энгель, сестры статсъ-секретаря Фед. Пав. Энгеля. Отецъ Анны Федоровны, по происхожденію Саксонецъ, состоялъ на русской государственной службѣ. Анна Федоровна родилась въ Звенигородскомъ уѣздѣ, Московской губерніи, въ 1791 году. Послѣ пребыванія въ домѣ Олениныхъ Анна Федоровна жила въ Дерптѣ, а потомъ въ Ревелѣ и здѣсь, въ 1822 году, вышла замужъ за г. Оома. Въ 1827 году, уже вдовой, она была назначена начальницею С.-Петербургскаго сиротскаго института (нынѣ Николаевскій) и скончалась въ этой должности въ 1850 году. Сынъ ея О. А. Оомъ—нынѣ секретарь Ея Величества Государыни Императрицы и почетный опекунъ.

у Олениныхъ. Здѣсь она имѣла случай видѣть лучшихъ русскихъ писателей и еще ребенкомъ была любимицей Державина. Гнѣдичъ былъ ея учителемъ, Константинъ Николаевичъ также зналъ ее съ дѣтства. Еще въ 1809 году онъ вспоминалъ о ней въ одномъ письмѣ изъ Финляндіи къ своему пріятелю, который былъ равнодушенъ къ своей ученицѣ: „Выщипли перья у любви, которая состарѣлась, не вылетая изъ твоего сердца; ей крылья не нужны. Анна Ѳедоровна право хороша, и давай ей кадить! Этимъ ничего не возьмешь. Не летай вокругъ свѣчки—обожжешься!“¹⁾ Самъ Батюшковъ былъ въ то время увлеченъ другою привязанностью и уже испытывалъ горе разлуки съ любимой женщиной. По пріѣздѣ въ Петербургъ, въ началѣ 1812 года, онъ снова увидѣлъ Анну Ѳедоровну девятнадцатилѣтнею русою красавицей. „Она“—по свидѣтельству сообщеннаго намъ извѣстія—„по скромности и прекраснымъ качествамъ ума и сердца, а равно и прелестною наружностью своею, плѣняла многихъ, сама того не подозрѣвая“. Разлука, а потомъ развлеченія затушили первую любовь нашего поэта, и въ то время онъ, кажется, считалъ себя застрахованнымъ отъ новыхъ волненій чувства и храбро посмѣивался надъ романтическою привязанностью своего друга Жуковскаго. Затѣмъ военная буря 1812 года увлекла Константина Николаевича изъ Петербурга; но, по возвращеніи сюда въ слѣдующемъ году, новая встрѣча съ особою, столь давно ему знакомою, имѣла для него рѣшительное значеніе; еще до отъѣзда его въ дѣйствующую армію пріятели замѣчали, что сердце его несвободно²⁾. Самъ поэтъ оставилъ намъ трогательное признаніе въ томъ, что воспоминаніе объ этой встрѣчѣ не покидало его во время пребывания за границей:

¹⁾ Соч., т. III, стр. 35.

²⁾ Письмо Д. В. Дашкова къ кн. П. А. Вяземскому, отъ 25-го іюня 1814 г.—Р. Архивъ 1866 г., ст. 497.

Твой образъ я таилъ въ душѣ моеѣ залогомъ
Всего прекраснаго и благодати Творца,
И съ именемъ твоимъ летѣлъ подъ знамя брани
Искать иль славы, иль конца.
Въ минуты страшныя чистѣйши сердца дани
Тебѣ я приносилъ на Марсовыхъ поляхъ;
И въ мирѣ, и въ войнѣ, во всѣхъ земныхъ краяхъ
Твой образъ слѣдовалъ съ любовію за мною,
Съ печальнымъ странникомъ онъ неразлученъ сталъ...
Какъ часто въ тишинѣ, весь занятый тобою,
Въ лѣсахъ, гдѣ Жувизи гордится надъ рѣкою,
И Сейна по цвѣтамъ льетъ серебряный кристалъ,
Какъ часто средь толпы и шумной, и безпечной,
Въ столицѣ роскоши, среди прелестныхъ женъ
Я пѣнье забывалъ волшебное сиренъ
И о тебѣ одной мечталъ въ тоскѣ сердечной;
Я имя милое твердилъ
Въ прохладныхъ рощахъ Альбіона
И эхо называть прекрасную училъ
Въ цвѣтущихъ нажитихъ Ричмона ¹⁾.

Изъ-за границы Батюшковъ возвратился съ свѣтлою надеждой найти въ раздѣленной любви успокоеніе своей метушейся душѣ. Бракъ его, по видимому, не могъ встрѣтить противодѣйствія со стороны близкихъ людей; правда, и на этотъ разъ онъ не надѣялся на согласіе отца ²⁾; за то въ семьѣ Олениныхъ смотрѣли благосклонно на возможность этого союза, а Е. О. Муравьева вполне сочувствовала выбору Константина Николаевича и готова была содѣйствовать его женитьбѣ, безъ сомнѣнія, въ томъ убѣжденіи, что бракъ дастъ осѣдлость ея слишкомъ непосѣдливому племяннику. Но въ самой той особѣ, о которой шла рѣчь, нашъ поэтъ не нашелъ полного отвѣта

¹⁾ Соч., т. I, стр. 227.

²⁾ Тамъ же, т. III, стр. 341.

на свое чувство, а увидѣлъ скорѣе покорность предъ рѣшеніемъ другихъ лицъ:

...Я видѣлъ, я читалъ
Въ твоёмъ молчаніи, въ прерывномъ разговорѣ,
Въ твоёмъ уныломъ взорѣ,
Въ сей тайной горести потупленныхъ очей,
Въ улыбкѣ и въ самой веселости твоей
Слѣды сердечнаго терзанья... ¹⁾.

Батюшковъ любилъ слишкомъ сильно и слишкомъ честно для того, чтобы насиловать чужое чувство; утративъ надежду на свободное согласіе со стороны любимой имъ особы, онъ предпочелъ остановить свои исканія. Но ударъ былъ нанесенъ ему прямо въ сердце и тяжело отозвался на всемъ его существѣ. И не смотря на то, покинуть Петербургъ, оторваться отъ среды, гдѣ на него обрушилось столько огорченій, но гдѣ въ то же время сіяли немногія свѣтлыя точки его жизни, онъ не имѣлъ духа. Такъ прошло около шести мѣсяцевъ, наполненныхъ для него мучительными колебаніями. Въ январѣ 1815 года душевное волненіе Константина Николаевича²⁾ разрѣшилось болѣзнью, сильнымъ нервнымъ разстройствомъ, и только въ исходѣ этого мѣсяца, благодаря попеченіямъ Е. Ѳ. Муравьевой, онъ вышелъ изъ опасности ²⁾. Тогда наконецъ онъ рѣшился оставить столицу и ѣхать въ деревню, куда уже давно призвали его родственныя обязанности.

¹⁾ Соч., т. I, стр. 228.

²⁾ Тамъ же, т. III, стр. 309.

IX.

Батюшковъ въ деревнѣ въ первой половинѣ 1815 года. — Пребываніе въ Каменцѣ-Подольскомъ во второй половинѣ того же года. — Тяжелое душевное состояніе. — Правдивый переломъ и побѣда надъ собою. — Переписка съ Жуковскимъ. — Произведенія Батюшкова въ прозѣ и стихахъ, написанныя въ Каменцѣ. — Отъѣздъ Батюшкова въ Москву.

Батюшковъ еще по зимнему пути могъ пріѣхать въ Хантоново. Повидавшись съ его обитательницами, онъ успѣшилъ навѣстить старика-отца въ его Даниловскомъ. Посѣщеніе это произвело на сына самое тяжелое впечатлѣніе. „Я былъ у батюшки“, писалъ онъ Е. О. Муравьевой, — „и нашелъ его въ горестномъ положеніи: дѣла его разстроены, но поправить можно ему самому. Шесть дней, которые провелъ у него, измучили меня“ ¹⁾. Не лучше впрочемъ шли дѣла и въ Хантоновѣ, гдѣ хозяйничала Александра Николаевна, и не такому беззаботному и непредусмотрительному человѣку, какъ ея братъ, было распутывать прихотливую сѣть экономическихъ неурядицъ. Тѣмъ не менѣе, все настоящее пребываніе Константина Николаевича въ Хантоновѣ было посвящено хлопотамъ по хозяйству; даже съ Гнѣдичемъ онъ переписывался на этотъ разъ не столько о литературныхъ дѣлахъ, сколько о закладѣ сестрина имѣнія въ опекунскій совѣтъ. Вопросъ о переводѣ Батюшкова въ гвардію по прежнему оставался не рѣшеннымъ и также возбуждалъ его беспокойство. По этому дѣлу Константинъ Николаевичъ писалъ и къ Дашкову, и къ Муравьевой, и къ Оленину, но дѣло не двигалось, а Алексѣй Николаевичъ даже не отвѣчалъ ему. Къ концу своего отпуска Батюшковъ, не получивъ увольненія отъ службы, увидѣлъ себя въ необходимости ѣхать въ Каменецъ-Подольскъ, гдѣ жилъ Бахметевъ, и гдѣ на-

¹⁾ Соч., т. III, стр. 310.

ходилась его штабъ-квартира. „Если переводъ въ гвардію не удастся“, писалъ Батюшковъ своей теткѣ, — „Богъ съ нимъ! Я перенесу это огорченіе безъ дальнихъ усилій. Но признаюсь вамъ, что мнѣ пріятнѣе бы было получить два чина при отставкѣ, однимъ словомъ — то, что я заслужилъ. Неудачи по службѣ меня отвратили отъ нея совершенно“ ¹⁾. Самолюбіе его еще разъ было сильно уязвлено, и хотя онъ собирался нести свою скучную службу въ Каменцѣ „en véritable chevalier“, но въ то же время находилъ, что служба эта несовсѣмъ лестная. „На счастье“, писалъ онъ Гнѣдичу, — „я права не имѣю, конечно; но горестно истратить прелестные дни жизни на большой дорогѣ, безъ пользы для себя и для другихъ. Всего же горестнѣе быть оторваннымъ отъ словесности, отъ занятій ума, отъ милыхъ привычекъ жизни и друзей своихъ. Такая жизнь—бремя!“ ²⁾

Въ іюлѣ 1815 года Константинъ Николаевичъ находился уже въ Подоліи. Заранѣе рѣшивъ, что пребываніе въ Каменцѣ для него все равно, что ссылка, Батюшковъ никакъ не могъ помириться съ жизнью провинціального города, куда его закинули обстоятельства. Онъ любовался его живописною стариной, былъ доволенъ, что находится въ тепломъ климатѣ, „въ царствѣ зефировъ и цвѣтовъ“, но чрезвычайно тяготился отсутствіемъ людей, которые были бы ему по душѣ. „Разсѣянія никакого!“ — жаловался онъ въ одномъ изъ писемъ къ теткѣ. — „Мы живемъ въ крѣпости, окружены горами и Жидами. Вотъ шесть недѣль, что я здѣсь, и ни одного слова ни съ одною женщиной не говорилъ. Вы можете судить, какое общество въ Каменцѣ! Кромѣ совѣтниковъ съ женами и съ дѣтьми, кромѣ должностныхъ людей и страпчихъ, двухъ или трехъ гарнизонныхъ полковниковъ, безмолвныхъ офицеровъ и цѣлой толпы Жидовъ, — ни

¹⁾ Соч., т. III, стр. 317.

²⁾ Тамъ же, стр. 318, 319.

души!"¹⁾ Бахметевъ принялъ Батюшкова ласково; но Константинъ Николаевичъ, по видимому, не находилъ особеннаго удовольствія въ обществѣ болѣзненнаго старика, хотя и видѣлся съ нимъ непрерывно. У нашего поэта мелькнула было мысль съѣздить на Черное море, чтобы купаться; но намѣреніе это не могло быть осуществлено²⁾. Едва ли не единственный человѣкъ въ Каменцѣ, съ которымъ Батюшковъ могъ вести пріятную и занимательную бесѣду, былъ мѣстный губернаторъ, графъ К. Фр. де-Сенъ-При; у этого любезнаго, добраго, честнаго и хорошо образованнаго французскаго эмигранта, оставшагося на русской службѣ и по возстановленіи Бурбоновъ, Константинъ Николаевичъ охотно проводилъ вечера и пользовался его библіотекой; но и то было случайное знакомство, не освященное старою пріязнью и дѣйствительною общностью интересовъ. Такой же случайный характеръ имѣла встрѣча его въ Каменцѣ съ г. Герке: онъ напомнилъ Батюшкову Жуковскаго и Тургенева, такъ какъ былъ ихъ товарищемъ по Московскому благородному пансіону³⁾. Такимъ образомъ, одинокая жизнь Константина Николаевича на далекой окраинѣ Россіи волей-неволей сосредоточивала его мысль и заставляла его углубиться въ самого себя; этому впрочемъ вполне соответствовало то душевное состояніе, которое онъ принесъ съ собою въ Каменецъ.

Съ глубокою раной въ сердцѣ Батюшковъ оставилъ Петербургъ, и не на радость побывалъ онъ въ родной семьѣ, гдѣ встрѣтилъ лишь новыя огорченія. Въ Каменцѣ то чувство, которое онъ старался затушить въ себѣ отъѣздомъ изъ столицы, вспыхнуло съ новою силой:

Напрасно я спѣшилъ отъ сѣверныхъ степей,
Холоднымъ солнцемъ освѣщенныхъ,

¹⁾ Соч., т. III, стр. 343.

²⁾ Тамъ же, стр. 333.

³⁾ Тамъ же, стр. 337, 343, 347.

Въ страну, гдѣ Тирасъ бьетъ излучистой струей,
Сверкая между горъ, Церерой позлащенныхъ,
И древнія поить народовъ племена!
Напрасно! Всюду мысль преслѣдуетъ одна
О милой, сердцу незабвенной,
Которой имя мнѣ священно,
Которой взоръ одинъ лазоревыхъ очей
Всѣ неба на землѣ блаженства отверзаетъ,
И слово, звукъ одинъ, прелестный звукъ рѣчей,
Меня мертвить и оживляетъ! ¹⁾

Порою казалось ему, что счастье раздѣленной любви для него
не утрачено, и онъ со страстнымъ призывомъ обращался къ
любимому существу:

Другъ милый, ангелъ мой, сокроюсь туда,
Гдѣ волны кроткія Тавриду омываютъ,
И Фебовы лучи съ любовью озаряютъ
Имъ древней Греціи священныя мѣста!
Мы тамъ, отверженные рокомъ,
Равны несчастіемъ, любовію равны,
Подъ небомъ сладостнымъ полуденной страны
Забудемъ слезы лить о жребіи жестокомъ,
Забудемъ имена фортуны и честей.
Тамъ, тамъ насъ хижина простая ожидаетъ,
Домашній ключъ, цвѣты и сельскій огородъ.
Послѣдніе дары фортуны благосклонной,
Васъ пламенны сердца привѣтствуютъ стократъ!
Вы краше для любви и мраморныхъ палатъ
Пальмиры сѣвера огромной! ²⁾

Но такіа мечты поэта бывали непродолжительны, и вмѣсто нихъ
снова являлась горечь сомнѣнія, болѣе мучительнаго, чѣмъ самая
разлука:

Ничто души не веселить,
Души, встревоженной мечтами,

¹⁾ Соч., т. I, стр. 223, 224.

²⁾ Тамъ же, стр. 221.

И гордый умъ не побѣдитъ
Люби—холодными словами! ¹⁾

Вдали отъ всего, что было дорого его сердцу, поэтъ самъ себя
не узнавалъ

Подъ новымъ бременемъ печали.

Теряя надежду на взаимность, онъ утрачивалъ вѣру и въ
последнее свое богатство, въ свой талантъ:

Нѣтъ, нѣтъ, мнѣ бремя жизни! Что въ ней безъ упованья
Украсить жребій твой
Люби и дружба прочнѣйшими цвѣтами,
Всѣмъ жертвовать тебѣ, гордиться лишь тобой,
Блаженствомъ дней твоихъ и милыми очами,
Признательность твою и счастье находить
Въ рѣчахъ, въ улыбкѣ, въ каждомъ взорѣ,
Миръ, славу, суеты протекшія и горе,
Все, все у ногъ твоихъ, какъ тяжкій сонъ, забыть!
Что въ жизни безъ тебя! Что въ ней безъ упованья,
Безъ дружбы, безъ любви—безъ идоловъ моихъ!..
И муза, сѣтун, безъ нихъ,
Свѣтильникъ гаситъ дарованья ²⁾.

Состояніе духа Батюшкова было близко къ отчаянію. А
между тѣмъ изъ Петербурга до него достигали только безот-
радные вѣсти и приходили не заслуженные упреки. Тамъ не
умѣли объяснить себѣ причины, почему онъ воздержался отъ
рѣшительнаго шага. Упорное молчаніе Оленина въ отвѣтъ на
его письма доказывало, что онъ на него сердится; Гнѣдичъ
также писалъ Батюшкову очень рѣдко ³⁾; даже Е. О. Муравьева,
умная, благородная женщина, съ горячимъ сердцемъ, любившая
Константина Николаевича какъ роднаго сына, даже она находила

¹⁾ Соч., т. I, стр. 225.

²⁾ Тамъ же, стр. 228, 229.

³⁾ Тамъ же, т. III, стр. 335, 337.

въ его поступкахъ непонятную непослѣдовательность. „Вы меня критикуете жестоко“, писалъ ей Батюшковъ изъ Каменца, — „и вездѣ видите противорѣчія. Виновать ли я, если мой разсудокъ воюетъ съ моимъ сердцемъ? Но дѣло о разсудкѣ: я правъ совершенно. Ни отсутствіе, ни время меня не измѣнили. Если Всевышній не отниметъ отъ меня руки Своей, то я все буду мыслить по старому, не пожертвую никѣмъ для собственныхъ выгодъ... Если Михайло Никитичъ любилъ меня, какъ ребенка, если онъ поручалъ меня вамъ, то онъ же не требуетъ ли отъ меня еще строже пожертвованій? Нѣтъ, не пожертвованій, но исполненія моего долга по всей силѣ“. Чтобы быть болѣе понятнымъ и убѣдительнымъ, но въ то же время не сказать ничего лишняго, Батюшковъ распространялся объ ограниченности своего состоянія, которое не позволяетъ ему жениться, о препятствіяхъ со стороны отца, о своемъ непостоянномъ характерѣ, но затѣмъ нечаяннымъ намекомъ все-таки проговаривался объ истинной причинѣ, почему онъ не рѣшился просить руки любимой имъ дѣвушки: „Не имѣть отвращенія и любить—большая разница. Кто любитъ, тотъ гордъ“. И затѣмъ прибавлялъ: „Что касается до службы, до выгодъ ея, то Богъ съ ними, съ ней! Для чего я буду теперь искать чиновъ, которыхъ я не уважаю, и денегъ, которыя меня не сдѣлаютъ счастливымъ? А искать чины и деньги для жены, которую любишь? Начать жить подъ одною кровлею въ нищетѣ, безъ надежды?.. Нѣтъ, не согласусь на это, и согласился бы, еслибъ я только на себѣ основалъ мои наслажденія! Жертвовать собою позволено, жертвовать другими могутъ одни злые сердца. Оставимъ это на произволъ судьбы! Жизнь — не вѣчность, къ счастью нашему: и терпѣнію есть конецъ!“¹⁾

Итакъ, вопреки самымъ дружескимъ совѣтамъ, Батюшковъ твердо стоялъ на своемъ рѣшеніи. Но откуда же у этого слабо-

¹⁾ Соч., т. III, стр. 341—342.

характернаго, капризнаго человѣка, который до сихъ поръ такъ легко поддавался своимъ прихотямъ, взялась душевная сила, чтобы противостоять влеченію своей страсти? Попытаемся найти отвѣтъ въ его собственныхъ признаніяхъ ¹⁾.

До сихъ поръ Батюшковъ считалъ цѣлью жизни счастье и искалъ его въ наслажденіяхъ ума и сердца, души и тѣла. Такъ его учили любимцы его—Горацій, Монтанъ, Вольтеръ; такъ проповѣдовала господствовавшая въ XVIII вѣкѣ философская школа, которой онъ былъ вѣрнымъ послѣдователемъ. Опытъ жизни показалъ ему цѣну этого ученія. Если и прежде въ стихахъ его и особенно въ письмахъ прорывались иногда жалобы на недостижимость столь желаннаго благополучія, то теперь, когда молодость была прожита, онъ приходилъ къ горькому сознанію, что жестоко обманулъ въ своемъ идеалѣ. „Гдѣ же“, спрашивалъ онъ себя теперь,—„сіи сладости, сіи наслажденія непрерывныя, сіи дни безоблачныя, сіи часы и минуты, сотканныя усердною Паркою изъ нѣжнѣйшаго шелка, изъ золота и розъ сладострастія?.. Гдѣ и что такое эти наслажденія, убѣгающія, обманчивыя, непостоянныя, отравленныя слабостію души и тѣла, помраченныя воспоминаніемъ или грустнымъ предвидѣніемъ будущаго? Къ чему ведутъ эти суетныя познанія ума, науки и опытность, трудомъ пріобрѣтенныя?“ ²⁾ Вопросы эти оставались безъ отвѣта, или приводили къ отвѣту отрицательному.

Не одинъ и не первый изъ людей своего вѣка, Батюшковъ испыталъ это смутное состояніе души, порожденное разладомъ между идеаломъ и дѣйствительностью. Предчувствовавшій Руссо, намѣченный Гётевскимъ „Вертеромъ“, типъ разочарованнаго человѣка уже воплотился въ Шатобріановомъ „Рене“ и увлекалъ

¹⁾ Разумѣемъ двѣ замѣчательныя статьи, написанныя Батюшковымъ въ бытность въ Каменцѣ: „Нѣчто о морали, основанной на философіи и религіи“ и „О лучшихъ качествахъ сердца“.

²⁾ Соч., т. II, стр. 133.

тогда многіе умы. Батюшковъ не остался чуждъ этому соблазну: еще въ 1811 году онъ сознавался, что „любить этого сумасшедшаго Шатобріана... а особливо по ночамъ, тогда, когда можно дать волю воображенію“ ¹⁾. Въ этомъ характерѣ, который представленъ французскимъ писателемъ съ очевиднымъ сочувствіемъ, нашъ поэтъ могъ находить оправданіе своимъ собственнымъ слабостямъ: какъ Рене, онъ былъ непостояненъ и, подобно ему, объяснялъ свою неустойчивость тѣмъ, что всегда стремился къ совершенному, высшему благополучію. „Раздражаемый своею фантазіей, Рене презираетъ все обыкновенное: на дѣйствительность онъ смотритъ свысока, какъ на призрачный міръ, къ которому не стоитъ прилагать своихъ силъ и способностей. Отъ жизненной прозы онъ уходитъ въ себя и живетъ среди своихъ несбыточныхъ грезъ, мечтаній и химеръ“ ²⁾. Таковъ былъ и Батюшковъ въ годы своей молодости, когда, въ погонѣ за какимъ-то неосуществимымъ счастіемъ, на призывы своихъ друзей заняться простыми житейскими дѣлами онъ отвѣчалъ, что не рожденъ для такихъ скучныхъ и бесполезныхъ занятій. Но съ тѣхъ поръ измѣнилось очень многое. Надъ Россіей промчалась гроза непріятельскаго нашествія, которая, затронувъ интересы всѣхъ и cadaго, пробудила неслыханное патріотическое воодушевленіе. Мы уже знаемъ, какъ отозвались эти событія на нашемъ поэтѣ, какъ они подняли энергію его духа и поколебали его прежнія космополитическія убѣжденія; каковы бы ни были его впечатлѣнія по возвращеніи въ отечество изъ славнаго заграничнаго похода, но теперь онъ сталъ ближе къ своему родному, къ кореннымъ основамъ русской жизни. Какъ большинству своихъ современниковъ, въ „чудесныхъ событіяхъ“ победы надъ Наполеономъ и въ его низложеніи онъ видѣлъ те-

¹⁾ Соч., т. III, стр. 130; ср. стр. 135.

²⁾ Шаховъ. Французская литература въ первые годы XIX вѣка. М. 1875, стр. 137.

перь непосредственное вмѣшательство Высшихъ Силъ. Тогда и въ его сердце проникъ опять лучъ свѣта изъ того міра, который онъ забывалъ ради обманувшей его людской мудрости. Совсѣмъ новый строй мыслей слышится теперь въ его рѣчахъ: „Человѣкъ есть странникъ на землѣ, говорить святой мужъ; чужды ему грады, чужды веси, чужды нивы и дубравы: гробъ—его жилище во вѣкъ. Вотъ почему всѣ системы и древнихъ, и новѣйшихъ недостаточны! Онѣ ведутъ человѣка къ блаженству земнымъ путемъ и никогда не доводятъ; систематики забываютъ, что человѣкъ, сей царь, лишенный вѣнца, брошенъ сюда не для счастья минутнаго; они забываютъ о его высокомъ назначеніи, о которомъ вѣра, одна святая вѣра, ему напоминаетъ. Она подаетъ ему руку въ самыхъ пропастяхъ, изрытыхъ страстями или непріязненнымъ рокомъ; она изводитъ его невредимо изъ тревоженій жизни и никогда не обманываетъ, ибо она переноситъ въ вѣчность всѣ надежды и все блаженство человѣка. Лучшіе изъ древнѣйшихъ писателей приближались къ симъ вѣчнымъ истинамъ, которыя Святое Откровеніе явило намъ въ полномъ сіяніи“ ¹⁾).

Это-то пробужденіе религіозныхъ инстинктовъ въ душѣ Батюшкова и было тою великою, неодолимою силой, которая помогла ему стойко выдержать борьбу съ порывомъ пламенной страсти, овладѣвшей его существомъ. У любви, когда она не встрѣчаетъ сочувствія, пробуждается особая чуткость, которая разоблачаетъ предъ нею печальную истину; съ той минуты, какъ Батюшковъ понялъ, что его любовь не находитъ себѣ полного отвѣта, онъ рѣшился отказаться отъ всякой мысли о бракѣ, не смотря на дружескія убѣжденія близкихъ, говорившихъ о другой сторонѣ: стерпится—слюбится. Поступить иначе значило, по его понятіямъ, поступить противъ совѣсти и по-

¹⁾ Соч., т. II, стр. 135, 136. То же говорилъ онъ тогда и въ стихахъ своихъ; см. посланіе „Къ другу“ (кн. П. А. Вяземскому)—Соч., т. I, стр. 237.

губить за разъ и любимое существо, и себя самого: „Я не могу“, говорилъ онъ, — „постигнуть добродѣтели, основанной на исключительной любви къ самому себѣ. Напротивъ того, добродѣтель есть пожертвованіе добровольное какой-нибудь выгоды, она есть отреченіе отъ самого себя“ ¹⁾). Возвышенное настроеніе, давшее ему твердость пожертвовать влеченіями своей страсти и съ покорностью перенести новый ударъ судьбы, въ конецъ разрушавшій его мечты о счастіи, выразилось во всей полнотѣ въ слѣдующемъ превосходномъ стихотвореніи, которымъ завершается душевная борьба, пережитая поэтомъ вдали отъ близкихъ ему людей:

Мой духъ, довѣренность къ Творцу!
Мужайся, будь въ терпѣнныя каменъ!
Не Онъ ли къ лучшему концу
Меня провелъ сквозь бранный пламень?
На полѣ смерти чья рука
Меня таинственно спасала
И жадный крови мечъ врага,
И градъ свинцовый отражала?
Кто, кто мнѣ силу далъ сносить
Труды и гладь, и непогоду
И силу въ бѣдствѣ сохранить
Души возвышенной свободу?
Кто велъ меня отъ юныхъ дней
Къ добру стезею потаенной
И въ бурѣ пламенныхъ страстей
Мой былъ вожатай неизмѣнной?

Онъ, Онъ! Его все даръ благой!
Онъ намъ источникъ чувствъ высокихъ,
Любви къ изящному прямой
И мыслей чистыхъ и глубокихъ!
Все даръ Его, и краше всѣхъ
Даровъ—надежда лучшей жизни!

¹⁾ Соч., т. II, стр. 144.

Когда жъ узрю спокойный берегъ,
Страну желанную отчизны?
Когда струей небесныхъ благъ
Я утолю любви желанье,
Земную ризу брошу въ прахъ
И обновлю существованье? ¹⁾

Это вдохновенное обращеніе къ божественной благодати начинается стихомъ, взятымъ у Жуковского ²⁾, и не случайно: въ томъ настроеніи, въ какомъ чувствовалъ себя теперь Батюшковъ, мысль его естественно обращалась къ тѣмъ изъ его близкихъ, кто былъ чистъ душой и помыслами, а таковы по преимуществу были Жуковский и Петинъ. Памяти этого послѣдняго, товарища трехъ походовъ, „погибшаго надъ Плейскими струями“, Батюшковъ посвятилъ двѣ написанныя въ Каменцѣ статьи, и въ одной изъ нихъ онъ самъ объясняетъ, какой смыслъ имѣла для него память объ этой свѣтлой личности: „Я ношу сей образъ въ душѣ, какъ залогъ священный; онъ будетъ путеводителемъ къ добру; съ нимъ неразлучный, я не стану блѣднѣть подъ ядрами, не измѣню чести, не оставлю ея знамени. Мы увидимся въ лучшемъ мірѣ; здѣсь мнѣ осталось одно воспоминаніе о другѣ, воспоминаніе, прелестный цвѣтъ посреди пустыней могилъ и развалинъ жизни“ ³⁾. Что касается Жуковского, то авторъ „Пѣвца въ станѣ русскихъ воиновъ“ сталъ теперь для нашего поэта типомъ литературнаго дѣятеля, способнаго удовлетворить высокому значенію національнаго поэта, и вмѣстѣ съ тѣмъ явился другомъ-руководителемъ въ его нравственной жизни.

¹⁾ Соч., т. I, стр. 233, 234.

²⁾ Изъ „Пѣвца въ станѣ русскихъ воиновъ“:

А мы?... Довѣренность къ Творцу!
Чтобъ ни было, Незримый
Ведетъ насъ къ лучшему концу
Стезей непостижимой!

³⁾ Соч., т. II, стр. 189.

„Вѣра и нравственность“, писалъ Батюшковъ все въ той же статьѣ, изъ которой мы извлекли уже много данныхъ для исторіи его духовнаго перерожденія,—„вѣра и нравственность, на ней основанная, всего нужнѣе писателю. Закаленные въ ея свѣтильникѣ, мысли его становятся постояннѣе, важнѣе, сильнѣе, краснорѣчіе убѣдительнѣе; воображеніе при свѣтѣ ея не заблуждается въ лабиринтѣ созданія; любовь и нѣжное благоволеніе къ человѣчеству дадутъ прелесть его малѣйшему выраженію, и писатель поддержитъ достоинство человѣка на высочайшей степени. Какое бы поприще онъ ни протекалъ съ своею музою, онъ не унижитъ ея, не оскорбитъ ея стыдливости и въ памяти людей оставитъ пріятныя воспоминанія, благословенія и слезы благодарности: лучшая награда таланту“¹⁾. Жуковский въ понятіяхъ Батюшкова въ значительной мѣрѣ удовлетворялъ этому идеалу писателя. Въ былое время друзья-поэты рѣзко расходились во взглядѣ на жизнь и поэзію; но когда въ сознаніи Батюшкова совершился внутренній переворотъ, онъ лучше понялъ возвышенный идеализмъ Жуковского. Еще вскорѣ по возвращеніи изъ-за границы, полный самыхъ разнообразныхъ впечатлѣній и охваченный новымъ приливомъ давно таившейся въ немъ любви, Константинъ Николаевичъ просилъ у Жуковского совѣта: чѣмъ ему наполнить пустоту душевную и чѣмъ принести пользу обществу²⁾; послѣ же того, какъ нашъ поэтъ вышелъ побѣдителемъ изъ тяжелой борьбы между слѣпою страстью и нравственнымъ долгомъ, онъ еще сильнѣе почувствовалъ уваженіе къ Жуковскому, какъ поэту и человѣку. „Благодарю тебя, милый другъ“, писалъ ему Константинъ Николаевичъ изъ Каменца,—„за нѣсколько строкъ твоихъ изъ Петербурга и за твои совѣты изъ Москвы и Петербурга. Дружба твоя—для меня сокровище, особливо съ нѣкоторыхъ поръ. Я не сливаю поэта съ другомъ.

¹⁾ Соч., т. II, стр. 138—139.

²⁾ Тамъ же, т. III, стр. 304.

Ты будешь совершенный поэтъ, если твои дарованія возвысятся до степени души твоей, доброй и прекрасной, и которая блистаетъ въ твоихъ стихахъ: вотъ почему я ихъ пересчитываю всегда съ новымъ и живымъ удовольствіемъ, даже и теперь, когда поэзія утратила для меня всю прелесть.... Ты много испыталъ, какъ я слышу и вижу изъ твоихъ писемъ, но все еще любишь славу, и люби ее!¹⁾ Жуковский дѣйствительно много пережилъ и выстрадалъ душою съ тѣхъ поръ, какъ разстался съ Батюшковымъ: и ему любовь, хотя была освѣщена полною взаимностью, принесла больше горя, чѣмъ радости; но въ чистотѣ и возвышенности своего чувства онъ нашелъ такую крѣпость духа, которая не допустила его до отчаянія и сохранила прозрачную ясность его души и благородную энергію для дѣятельности. Отвѣты Жуковского на письма Батюшкова не сохранились, но можно съ увѣренностью сказать, что въ нихъ выражалась вся та дѣятельная и живительная сила дружбы, на которую была способна его прекрасная душа. Въ порывахъ своего унынія Батюшковъ не разъ повторялъ, что горе жизни убило въ немъ талантъ. Василій Андреевичъ постоянно ободрялъ его, настойчиво побуждалъ къ труду, говорилъ о нравственномъ значеніи поэтического творчества, приглашалъ ѣхать вмѣстѣ въ Крымъ, словомъ—истощалъ всѣ усилія, чтобы поднять упавшій духъ своего друга. И все это Жуковский дѣлалъ въ то время, когда и у него было очень тяжело на сердцѣ: съ переселеніемъ въ Петербургъ ему предстояла полная перемѣна жизни, и приходилось разставаться съ дорогими связями молодыхъ лѣтъ; утѣшая Батюшкова, Жуковский въ то же время, въ письмѣ къ роднымъ примѣнялъ къ себѣ его слова, что „воображеніе поблѣднѣло“ въ новой обстановкѣ²⁾. Дружескія увѣщанія оказались не безплодными для нашего поэта: наплывъ новыхъ идей въ его го-

¹⁾ Соч., т. III, стр. 344.

²⁾ Р. Архивъ 1864 г., ст. 459; ср. Соч. Бат., т. III, стр. 345.

ловъ требовалъ исхода, въ декабрѣ 1815 года Батюшковъ уже могъ порадовать Василя Андреевича извѣстіемъ о новыхъ своихъ произведеніяхъ; слова его были прямымъ отвѣтомъ на совѣты друга. „Я готовъ бы отказаться вовсе отъ музъ“, писалъ онъ, — „если бы въ нихъ не находилъ еще нѣкотораго утѣшенія отъ душевной тоски“, и затѣмъ сообщалъ перечень цѣлаго ряда статей въ прозѣ, написанныхъ въ Каменцѣ. „Это все“, объяснялъ Батюшковъ, — „намарано мною здѣсь отъ скуки, безъ книгъ и пособій: но можетъ быть, отъ того и мысли покажутся вамъ (то-есть, друзьямъ) свѣжѣе“¹⁾. Очевидно, Батюшковъ придавалъ особенное значеніе этимъ статьямъ своимъ, и онъ не ошибался въ ихъ оцѣнкѣ: въ числѣ ихъ были тѣ этюды о нравственныхъ вопросахъ, которыми онъ засвидѣтельствовалъ рѣшительную перемѣну въ своемъ міросозерцаніи. Не оказался правъ Константинъ Николаевичъ и въ своихъ жалобахъ на утрату поэтическаго таланта: подъ вліяніемъ горя и послѣдовавшаго за нимъ душевнаго просвѣтлѣнія его даръ въ поэзіи не только не угасъ, а напротивъ, сказался рядомъ глубоко прочувствованныхъ стихотвореній, въ которыхъ сила поэтическаго выраженія и фактура стиха достигаютъ высокаго совершенства²⁾. Всѣ эти элегіи имѣютъ тѣсную связь между собою, такъ какъ возникли изъ одного настроенія и изображаютъ его съ одинаковою искренностью. Когда въ послѣдствіи, по выѣздѣ изъ Каменца, Батюшковъ сообщилъ друзьямъ этотъ циклъ своихъ поэтическихъ произведеній, они встрѣтили ихъ съ восторгомъ. Жуковский написалъ Батюшкову письмо, которое тотъ принялъ „съ неизъяснимою радостью, съ восхищеніемъ“; нашъ поэтъ, какъ

¹⁾ Р. Архивъ 1864 г., ст. 459; ср. Соч. Бат., т. III, стр. 357, 359.

²⁾ Въ Каменцѣ Батюшковымъ написаны между прочимъ слѣдующія піесы: „Таврида“, „Разлука“, „Пробужденіе“, „Воспоминанія“, „Мой геній“ (Соч., т. I, стр. 221—230). Эти именно стихотворенія были сообщены Батюшковымъ, чрезъ князя Вяземскаго, Жуковскому въ особой тетради, которая сохранилась въ бумагахъ послѣдняго. Нынѣ эта рукопись принадлежитъ П. Н. Батюшкову.

ни былъ самолюбивъ, пришелъ даже въ смущеніе отъ похвалъ друга; объясняя свое душевное состояніе, въ которомъ элегіи были написаны, онъ говорилъ: „Съ рожденія я имѣлъ на душѣ черное пятно, которое росло, росло съ лѣтами и чуть было не зачернило всю душу. Богъ и разумъ спасли“¹⁾. Словами этими поэтъ каялся въ суетныхъ увлеченіяхъ своей юности, когда за порывами веселости переживалъ тягостныя минуты отчаянія, и выражалъ неподдѣльную радость, что для него наступило духовное обновленіе, которое давало ему новыя силы для плодотворной дѣятельности.

Пробужденіе этихъ силъ Батюшковъ почувалъ еще въ своемъ одиночествѣ на югѣ Россіи, и съ той минуты пребываніе въ Каменцѣ, вдали отъ дружескаго поощренія, стало ему невыносимо. Въ концѣ 1815 года онъ рѣшился оставить и Подолію, и самую службу, которая не принесла ему выгодъ. Предъ новымъ 1816 годомъ онъ подалъ въ отставку, а въ ожиданіи ея взялъ отпускъ и отправился въ Москву.

¹⁾ Соч., т. III, стр. 403.

Х.

Батюшковъ въ Москвѣ въ 1816 году.—Переѣзъ въ его характеръ.—Пребываніе Батюшкова въ деревнѣ въ 1817 году.—Литературныя занятія.—„Вечеръ у Каптемира“ и „Рѣчь о легкой поэзіи“.—Историческая элегія.—„Умирающій Тассъ“.—Заслуги Батюшкова относительно русскаго стиха.—Настроеніе поэта подъ впечатлѣніемъ творчества.

Москва въ 1816 году еще не совсѣмъ оправилась отъ страшнаго Наполеонова погрома. Среди возобновленныхъ зданій еще возвышались обгорѣлыя развалины и чернѣли пустыри, печальные слѣды великаго пожара. Но общественная жизнь уже вошла въ свою колею, хотя и нѣсколько измѣнилась въ своемъ характерѣ: городское населеніе обѣднѣло, да и самый составъ его былъ уже не совсѣмъ тотъ, чтѣ прежде; иные умерли, другіе покинули столицу. Батюшковъ чувствовалъ потребность освѣжиться въ шумной суетѣ столичной жизни, когда, послѣ полугодоваго пребыванія въ глухомъ Каменцѣ-Подольскомъ и послѣ испытаній „труднѣйшаго“, какъ онъ говорилъ ¹⁾, года своей жизни, пріѣхалъ въ Москву. Онъ остановился у И. М. Муравьева-Апостола и радъ былъ возобновить съ нимъ занимательныя и поучительныя бесѣды. „Хозяинъ мой ласковъ, веселъ“, писалъ онъ Гнѣдичу, — „объ умѣ его ни слова: ты самъ знаешь, какъ онъ любезенъ“ ²⁾. Съ удовольствіемъ возобновилъ Батюшковъ и свои разнообразныя и многочисленныя московскія знакомства—свѣтскія и литературныя. Но теперь разсѣянія свѣта уже не привлекали его, какъ въ былое время. Прежде онъ любилъ говорить, что образованное свѣтское общество есть лучшая школа для писателя, и дѣйствительно, самъ онъ, въ свои молодые годы, умѣлъ прекрасно воспользоваться воспитательнымъ вліяніемъ той просвѣщенной среды, въ которой

¹⁾ Соч., т. III, стр. 351.

²⁾ Тамъ же, стр. 379; ср. стр. 365.

жилъ. Но теперь, когда его поэтическое призваніе вполне опредѣлилось, а опытъ жизни далъ ему тяжелые уроки, отношенія писателя къ обществу представились ему въ иномъ видѣ. Постоянное обращеніе въ людской толпѣ утратило интересъ въ его глазахъ; еще въ Каменцѣ сложилось у него убѣжденіе, что даръ творчества „требуешь всего человѣка“, то-есть, сосредоточенія въ самомъ себѣ, и что писатель крѣпнеть духомъ и силами, если онъ умѣетъ уединиться со своимъ трудомъ отъ вліянія толпы и пренебречь пустыми обязанностями свѣта: „Жить въ обществѣ“, говорилъ онъ теперь, — „носить на себѣ тяжелое ярмо должностей, часто ничтожныхъ и суетныхъ, и хотѣть согласовать выгоды самолюбія съ желаніемъ славы есть требованіе истинно суетное“ ¹⁾. Этого убѣжденія не колебали въ Константинѣ Николаевичѣ и пріятности московской жизни; уже проведя нѣсколько мѣсяцевъ въ столицѣ, онъ, въ дружескомъ письмѣ къ Жуковскому, выражалъ сожалѣніе, что ихъ общій пріятель, даровитый Вяземскій, еще сохранилъ способность увлекаться свѣтскою суетой. Вяземскій, писалъ нашъ поэтъ, — „истинно мужаешь, но всего, что можетъ сдѣлать, не сдѣлаетъ. Жизнь его — проза; онъ весь — разсѣяніе. Такой родъ жизни погубилъ у насъ Нелединскаго. Часто удивляюсь силѣ его головы, которая на канунѣ бала или на другой день находитъ ему счастливыя рѣшмы и счастливейшіе стихи“ ²⁾. „Я желалъ бы его видѣть въ службѣ или за дѣломъ“, говорилъ онъ немного позже въ другомъ письмѣ, тоже къ Жуковскому — „менѣе съ нами праздными, а болѣе въ прихожей у честолюбія“ ³⁾.

Изъ этого охлажденія къ свѣтскимъ развлеченіямъ не слѣдуетъ однако заключать, чтобы нравственное перерожденіе Батюшкова сдѣлало его аскетомъ или мизантропомъ, чтобы онъ

¹⁾ Соч., т. II, стр. 120, 121.

²⁾ Тамъ же, т. III, стр. 404.

³⁾ Тамъ же, стр. 448.

сталъ избѣгать людей; онъ только сталъ строже въ выборѣ тѣхъ, съ которыми сходилъ, но за то еще тѣснѣе сближался съ тѣми, кто былъ ему дорогъ. Къ тому же, вскорѣ по приѣздѣ въ Москву, Батюшкова постигло нездоровье, продолжавшееся, съ кое-какими перерывами, нѣсколько мѣсяцевъ; это обстоятельство, на долго удержавшее его въ столицѣ ¹⁾, заставляло его отказываться отъ частыхъ выѣздовъ и побуждало еще болѣе замкнуться въ тѣсномъ кругу, состоявшемъ по большей части изъ представителей литературнаго міра.

Карамзины, Пушкины, Вяземскіе—вотъ тѣ лица и тѣ семьи, среди которыхъ всего охотнѣе, по прежнему, появлялся Константинъ Николаевичъ. Къ этому избранному кругу прибавимъ еще И. И. Дмитріева, который, оставивъ министерскій постъ, возвратился доживать свой вѣкъ въ Москвѣ и здѣсь на покой собиралъ у себя разныхъ лицъ, преимущественно литературнаго круга. Все болѣе и болѣе проникался Батюшковъ уваженіемъ къ Карамзину при видѣ той энергіи, съ которою Николай Михайловичъ продолжалъ свой великій трудъ среди всеобщаго равнодушія толпы и тайнаго злорадства тѣхъ, кто считалъ себя въ правѣ быть судьей въ литературѣ. Карамзинъ, говорилъ Батюшковъ, — „избралъ себѣ одно занятіе, одно поприще, куда уходитъ отъ страстей и огорченій: тайная земля для профановъ, истинное убожище для души чувствительной“ ²⁾. Въ 1816 году были окончены восемь томовъ „Исторіи государства Россійскаго“, и авторъ собирался везти ихъ въ Петербургъ для представленія государю. „Карамзинъ“, писалъ Батюшковъ Тургеневу по этому случаю, — „скоро будетъ у васъ. Онъ здѣсь ходитъ

Entre l'Olympe et les abîmes,
Entre la satire et l'encens.

¹⁾ Соч., т. III, стр. 388, 389.

²⁾ Тамъ же, стр. 357.

„Что же будетъ у васъ! Исторія его дѣлаетъ честь Россіи. Такъ я думаю въ моемъ невѣжествѣ. Ваши знатоки думаютъ иначе. Богъ съ ними!“¹⁾ Онъ живо интересовался, какъ будетъ принять трудъ Карамзина въ Петербургѣ, и горячо обрадовался, когда узналъ объ его успѣхѣ. Въ это пребываніе въ Москвѣ Батюшковъ ближе познакомился и съ супругою Николая Михайловича. „Я часто ее вижу“, писалъ онъ Жуковскому, — „и всегда съ новымъ удовольствіемъ: умная, добрая, рѣдкая женщина“²⁾. Съ своей стороны, и Екатерина Андреевна оцѣнила нашего поэта; когда, во второй половинѣ 1816 года, Карамзины переселились на житье въ Петербургъ, она вспоминала о его пріятномъ обществѣ въ слѣдующихъ словахъ своего письма къ Жуковскому: „Mes meilleurs Arзамасцы me manquent: le prince Pierre, vous et Batuchkof; quand vous serez réunis, je ne me croirai plus en pays étranger; je tiens à vous par l'amitié et des souvenirs“³⁾.

Отношенія между Батюшковымъ и Вяземскимъ, разумѣется, оставались самыми дружественными. Пріятели не видались съ тяжелой поры Отечественной войны, и Вяземскій уже давно лелѣялъ мысль о дружеской встрѣчѣ: еще въ 1815 году онъ надѣялся привлечь Батюшкова въ свое Остафьево, а затѣмъ, ожидая его пріѣзда изъ Каменца, приготовилъ ему комнаты въ своемъ домѣ⁴⁾; возвращеніе Батюшкова въ Москву князь привѣтствовалъ задушевнымъ посланіемъ⁵⁾. Еще другое обращеніе Вяземскаго къ своему пріятелю-Тибуллу, которое также приурочивается къ описываемому времени, находится въ застольной пѣснѣ, посвященной княземъ Петромъ Андреевичемъ своимъ

¹⁾ Соч., т. III, стр. 367.

²⁾ Тамъ же, стр. 383, 385.

³⁾ Р. Архивъ 1869, ст. 1384, 1385. Жуковскій жилъ тогда въ Дерптѣ; le prince Pierre — кн. П. А. Вяземскій.

⁴⁾ П. собр. соч. вѣн. Вяз., т. III, стр. 99; Соч. Бат., т. III, стр. 352.

⁵⁾ Оно сохранилось только въ записной книжкѣ Батюшкова — Соч., т. III, стр. 290—292.

друзьямъ ¹⁾). Пѣсня эта служить памятникомъ тѣхъ дружескихъ собраній, на которыхъ Вяземскій соединялъ своихъ пріятелей въ 1816 году, какъ и въ болѣе раннія времена. Съ своей стороны, и Батюшковъ сохранялъ прежнія чувства къ Вяземскому: съ нимъ первымъ онъ подѣлился тѣмъ прекраснымъ цикломъ своихъ элегій, въ которыхъ, во время одинокой жизни въ Каменцѣ, излилъ свои сердечныя страданія ²⁾, и ему же посвятилъ онъ одно изъ лучшихъ своихъ стихотвореній того времени, по содержанію составляющее прямое дополненіе къ этимъ элегіямъ. Въ этомъ посланіи поэтъ обращается къ другу съ вопросомъ:

что прочно на земли?

Гдѣ постоянно жизни счастье?

вспоминаетъ веселые дни вмѣстѣ проведенной молодости, перечисляетъ утраты, понесенныя ими съ той поры, и приходитъ къ заключенію, что

все суетно въ обители суетъ.

Онъ не нашелъ отвѣта на свой вопросъ ни въ скрижаляхъ исторіи, ни въ ученіяхъ мудрецовъ, и умъ его терзался сомнѣніями; тогда-то, говоритъ онъ,—

Я съ страхомъ спросилъ гласъ совѣсти моей...

И мракъ исчезъ, прозрѣли вежды,

И вѣра пролила спасительный елей

Въ лампаду чистую надежды.

Ко гробу путь мой весь какъ солнцемъ озаренъ,

Ногой надежною ступаю

И, съ ризы странника свергая прахъ и тлѣнь,

Въ міръ лучшій духомъ возлетаю.

¹⁾ П. собр. соч. кн. Вяз., т. VIII, стр. 509. Пѣсня эта написана во всякомъ случаѣ не ранѣе 1813 года, ибо въ ней упоминается о Бородинѣ, и не позже 1817, когда Вяземскій уѣхалъ изъ Москвы въ Варшаву на службу.

²⁾ Соч., т. III, стр. 404.

Мы уже знаемъ, какая внутренняя борьба подняла духовный взоръ нашего поэта до этихъ высокихъ созерцаній. Другъ его былъ окруженъ счастьемъ отъ колыбели, почти юношей занялъ видное мѣсто въ обществѣ и рано узналъ свѣтлыя радости семейной жизни, словомъ—въ годы своей молодости не извѣдалъ тѣхъ душевныхъ испытаній, которыя выпали на долю нашего поэта; но онъ, конечно, сумѣлъ оцѣнить значеніе того внутренняго перерожденія въ душѣ Батюшкова, о которомъ послѣдній говорилъ ему въ своихъ стихахъ.

Съ переменною душевнаго расположенія сильно измѣнился самый характеръ Батюшкова: прежде въ немъ было много живости и веселой насмѣшливости; теперь, какъ самъ замѣчалъ, онъ сталъ тихъ, задумчивъ и молчаливъ; эпиграммы, на которыя онъ былъ неистощимъ во время оно, уже не лились съ его пера; къ сатирѣ онъ даже чувствовалъ отвращеніе ¹⁾). Прежними насмѣшками онъ нажилъ себѣ враговъ въ Москвѣ между литераторами, не принадлежавшими къ карамзинскому кругу. И теперь онъ сохранялъ о нихъ очень невысокое мнѣніе ²⁾), но по внѣшности готовъ былъ относиться къ нимъ болѣе мирно. Онъ видался съ Каченовскимъ и охотно печаталъ свои произведенія въ его журналѣ; слушалъ публичныя лекціи Мерзлякова и отзывался о нихъ съ одобреніемъ ³⁾); сдѣлался даже членомъ университетскаго Общества любителей словесности. Пять лѣтъ тому назадъ ему отказали въ званіи члена; теперь онъ былъ избранъ вмѣстѣ съ Жуковскимъ—и забавно извѣщалъ своего друга объ оказанной имъ обоимъ чести ⁴⁾). Избраніе свое онъ пожелалъ ознаменовать вступи-

¹⁾ Соч., т. III, стр. 360, 410.

²⁾ Тамъ же, стр. 382, 408.

³⁾ Тамъ же, стр. 383; II. собр. соч. С. Т. Аксакова, т. IV, стр. 24. Аксаковъ невѣрно приурочиваетъ свою встрѣчу съ Батюшковымъ къ 1815 году.

⁴⁾ Соч., т. III, стр. 132, 383. Избраніе обоимъ состоялось въ чрезвычайномъ засѣданіи Общества 26-го февраля (Труды ч. VIII, стр. 33).

тельною рѣчью, которая и была прочитана въ одномъ изъ засѣданій. Почетъ, оказанный Константину Николаевичу, несомнѣнно былъ пріятенъ его самолюбію, и онъ счелъ приличнымъ отплатить за него нѣсколькими любезностями болѣе виднымъ изъ представителей Общества, но вмѣстѣ съ тѣмъ не могъ не заявить независимости своихъ убѣжденій, распространившись въ своей рѣчи о заслугахъ такихъ писателей, на которыхъ смотрѣли косо въ университетскомъ кругу. Рѣчь эта возбудила толки, не имѣвшіе впрочемъ непріятныхъ послѣдствій для нашего поэта ¹⁾.

Такимъ образомъ, жизнь Батюшкова въ Москвѣ текла мирно и покойно. Кромѣ постоянного нездоровья, его тревожила только та медленность, съ которою рѣшался вопросъ о его отставкѣ. Наконецъ, въ апрѣлѣ онъ узналъ, что можетъ снять военный мундиръ ²⁾, и отнесся къ этому извѣстію безъ раздраженія, хотя отставка и не сопровождалась ни давно обѣщаннымъ орденомъ, ни производствомъ въ чинъ. Теперь онъ могъ вздохнуть свободно и съ нескрываемымъ удовольствіемъ писалъ Гнѣдичу: „Я ни за чѣмъ не гоняюсь и если бы расквитался съ долгами, надѣланными въ службѣ, и не имѣлъ бы домашнихъ огорченій, то былъ бы счастливъ и веселъ“ ³⁾. Даже чувство подавленной любви тихо замирало въ его сердцѣ, и когда Александра Николаевна и Е. О. Муравьева затрогивали въ своихъ письмахъ этотъ тяжелый для Батюшкова вопросъ, онъ отвѣчалъ на ихъ намеки почти безъ горечи. „Твои совѣты на счетъ извѣстнаго дѣла напрасны, милый другъ“, писалъ сестрѣ Константинъ Николаевичъ еще въ мартѣ, — „невозможное не возможно. Я зналъ это давно и все предвидѣлъ. Спокойно перенесемъ бремя жизни, не мучась и не страдая: вотъ все,

¹⁾ Соч., т. III, стр. 401.

²⁾ Тамъ же, стр. 387.

³⁾ Тамъ же, стр. 389.

что можемъ, а остальное забудемъ“¹⁾. Еще яснѣе выражался онъ въ письмѣ къ теткѣ отъ 6-го августа: „Все, что вы знаете, что сами открыли, что я вамъ писалъ и что вы писали про нѣкоторую особу, прошу васъ забыть, какъ сонъ. Я три года мучился, долгъ исполнилъ и теперь хочу быть совершенно свободенъ. Письма мои сожгите, чтобы и слѣдовъ не осталось: прошу васъ объ этомъ. Съ вашими то же сдѣлаю, тамъ, гдѣ говорите о ней. Теперь дѣло кончено. Я даю вамъ честное слово, что я вель себя въ этомъ дѣлѣ какъ честный человѣкъ, и совѣсть мнѣ ни въ чемъ не упрекаетъ. Разсудокъ упрекаетъ въ страсти и въ потерянномъ времени. Не себѣ, а Богу обязанъ, что Онъ спасъ меня изъ пропасти“²⁾.

Батюшковъ не спѣшилъ покидать Москву для деревни: сперва онъ не рѣшался ѣхать туда въ ожиданіи отставки, а потомъ возобновившаяся болѣзнь, ревматизмъ, удержала его въ столицѣ вблизи скорой помощи врачей³⁾. Несомнѣнно впрочемъ и то, что онъ по прежнему боялся деревенскаго одиночества и предпочиталъ оставаться въ непосредственномъ общеніи съ людьми, у которыхъ были тѣ же интересы, какіе занимали и его самого. Такъ Константинъ Николаевичъ прожилъ въ Москвѣ до декабря, и только въ самомъ концѣ 1816 года отправился въ Хантоново, чтобы—какъ онъ говорилъ—провести тамъ зиму и весну „во спасеніе души, тѣла и кармана“⁴⁾. Здѣсь встрѣтили его обычныя хозяйственныя заботы и затрудненія; но какъ ни были онѣ противны ему, онъ съ лѣтами научился покоряться необходимости, и потому даже къ деревенскимъ хлопотамъ относился теперь безъ раздраженія. „Недавно пріѣхалъ въ мою деревню“, писалъ онъ Вяземскому въ январѣ 1817 года,—„и

¹⁾ Соч., т. III, стр. 381.

²⁾ Тамъ же, стр. 392.

³⁾ Тамъ же, стр. 388, 397.

⁴⁾ Тамъ же, стр. 386; ср. стр. 413.

не успѣлъ еще оглядѣться. Все разбѣзжалъ сѣмо и овамо. Теперь начинаю отдыхать, раскладываю мои книги и готовлю продолжительное разсѣланіе отъ скуки, то-есть, какое-нибудь занятіе. Если здоровье позволитъ, то примусь за стихи“ ¹⁾. Очевидно, и въ деревенской обстановкѣ онъ сохранялъ мирное расположеніе духа и душевную бодрость. Вмѣстѣ съ тѣмъ потребность творчества росла въ немъ все сильнѣе и сильнѣе. Еще въ мартѣ 1816 года онъ писалъ Жуковскому изъ Москвы: „Здоровье мое часъ отъ часу ниже, ниже, и я къ смерти ближе, ближе, а писать—охота смертная!“ ²⁾ То же могъ бы онъ повторить и теперь: болѣзни не давали ему покоя и въ деревнѣ, но мысль и воображеніе дѣятельно работали.

И въ 1816 году въ Москвѣ, и въ слѣдующемъ, въ теченіе пребыванія въ Хантоновѣ, Батюшковъ много занимался литературными трудами. Внѣшнимъ побужденіемъ къ тому служило его рѣшеніе издать отдѣльною книгой собраніе своихъ произведеній, на что онъ былъ вызванъ старымъ пріятелемъ своимъ Гнѣдичемъ; внутренній двигатель поэтъ нашелъ въ опредѣленномъ сознаніи своихъ творческихъ силъ, встрѣтившихъ полное признаніе со стороны лучшихъ цѣнителей своего времени. Мы уже знаемъ, что похвалы Жуковского піесамъ, написаннымъ въ Каменцѣ, Батюшковъ принялъ „съ радостію неизъяснимою, съ восхищеніемъ“; благодаря за нихъ друга, онъ извѣщалъ его: „Я разгулялся и въ доказательство печатаю томъ прозы, низкой прозы; потомъ—стихи. Все это бремя хочется сбросить съ рукъ и подвигаться впередъ, если здоровье и силы позволяютъ“ ³⁾. Законное чувство увѣренности въ силѣ своего таланта слышится въ этихъ словахъ. Онъ окончательно убѣдился теперь, что вѣрно избралъ путь для его разра-

¹⁾ Соч., т. III, стр. 413.

²⁾ Тамъ же, стр. 383.

³⁾ Тамъ же, т. II, стр. 403, 404.

ботки и не безъ гордости могъ сказать о себѣ: „Я не люблю преклонять головы моеѣ подъ ярмо общественныхъ мнѣній. Все прекрасное мое—мое собственное. Я могу ошибаться, ошибаюсь, но не лгу ни себѣ, ни людямъ. Ни за кѣмъ не брожу: иду своимъ путемъ“¹⁾. Такимъ образомъ, сознание по-этомъ своей полной зрѣлости предшествовало изданію предпринятаго имъ сборника своихъ сочиненій. Оглянемся же на тѣ изъ его произведеній, которыя написаны имъ въ эту зрѣлую пору и послужили лучшимъ украшеніемъ его книги.

Изъ прозаическихъ статей, написанныхъ Батюшковымъ въ позднѣйшій періодъ его дѣятельности, замѣчательнѣйшая, безъ сомнѣнія,—„Вечеръ у Кантемира“. Авторъ возвращается въ ней къ вопросу, уже прежде занимавшему его,—объ отношеніи Россіи къ европейскому просвѣщенію. Онъ изображаетъ Кантемира въ бесѣдѣ съ Монтескье и аббатомъ Вуазенономъ: оба Француза высказываютъ сомнѣніе въ томъ, чтобы европейское просвѣщеніе, начала котораго посѣяны въ Россіи Петромъ Великимъ, могло прочно утвердиться въ странѣ, гдѣ самый климатъ не благопріятствуетъ умственной культурѣ; они еще готовы признать, что Русскіе люди могутъ усвоить себѣ кое-какія техническія знанія, но рѣшительно не допускаютъ предположенія, чтобы въ Русскихъ можно было „вдохнуть вкусъ къ изящному, къ наукамъ отвлеченнымъ, умозрительнымъ“. Очевидно, излагая въ такомъ отрицательномъ смыслѣ взглядъ даже умныхъ иностранцевъ, Батюшковъ имѣлъ въ виду и тѣхъ своихъ соотечественниковъ, которые въ поклоненіи западной образованности доходили до полного отрицанія способности къ самостоятельному развитію въ своемъ народѣ. Отвѣтъ Кантемира своимъ собесѣдникамъ раскрываетъ воззрѣніе самого автора: „Вы знаете“, говоритъ Кантемиръ,—„что Петръ сдѣлалъ для Россіи: онъ создалъ людей... Нѣтъ, онъ развилъ въ нихъ всѣ способно-

¹⁾ Соч., т. III, стр. 416, 417.

сти душевныя, онъ вылѣчилъ ихъ отъ болѣзни невѣжества, и Русскіе, подъ руководствомъ великаго человѣка, доказали въ короткое время, что таланты свойственны человѣчеству. Не прошло пятнадцати лѣтъ, и великій монархъ наслаждался уже плодами знаній своихъ сподвижниковъ: всѣ вспомогательныя науки военнаго дѣла процвѣли внезапно въ государствѣ его. Мы громами побѣдъ возвѣстили Европѣ, что имѣемъ артиллерію, флотъ, инженеровъ, ученыхъ, даже опытныхъ мореходцевъ. Чего же хотите отъ насъ въ столь короткое время? Успѣховъ ума, успѣховъ въ наукахъ отвлеченныхъ, въ изящныхъ искусствахъ, въ краснорѣчіи, въ поэзіи? Дайте намъ время, продлите благопріятныя обстоятельства, и вы не откажете намъ въ лучшихъ способностяхъ ума... Петръ Великій, заключивъ судьбу полуміра въ рукѣ своей, утѣшалъ себя великою мыслию, что на берегахъ Невы древо наукъ будетъ процвѣтать подѣ сѣнію его державы и рано или поздно, но дастъ новые плоды, и человѣчество обогатится ими¹⁾. Такимъ образомъ, и теперь, какъ прежде, Петровская реформа, а не вся прошлая жизнь Россіи, представлялась Батюшкову исходною точкой для ея дальнѣйшаго развитія: иначе онъ и не могъ думать, потому что не зналъ своего роднаго прошлаго. Но за то теперь онъ уже вполне ясно сознавалъ, что Россія можетъ и должна развивать просвѣщеніе самостоятельно, и что только этимъ путемъ она внесетъ свой вкладъ на общее благо человѣчества.

На твердой почвѣ этихъ общихъ принциповъ стоитъ Батюшковъ и въ своей рѣчи о вліяніи легкой поэзіи на языкъ, рѣчи, которая также относится къ 1816 году. Основная мысль ея — указать, что языкъ, какъ выраженіе образованности, и словесность имѣютъ непрерывное развитіе. Батюшковъ проводитъ параллель между Петромъ Великимъ и Ломоносовымъ: что первый совершилъ для русской гражданственности, то же сдѣ-

¹⁾ Соч., т. II, стр. 228—230.

лано вторымъ въ области литературы: „Петръ Великій пробудилъ народъ, усыпленный въ оковахъ невѣжества; онъ создалъ для него законы, силу военную и славу. Ломоносовъ пробудилъ языкъ усыпленного народа; онъ создалъ ему краснорѣчіе и стихотворство, онъ испыталъ его силу во всѣхъ родахъ и приготовилъ для грядущихъ талантовъ вѣрные орудія къ успѣхамъ. Онъ возвелъ въ свое время языкъ русскій до возможной степени совершенства, возможной — говорю — ибо языкъ идетъ всегда наравнѣ съ успѣхами оружія и славы народной, съ просвѣщеніемъ, съ нуждами общества, съ гражданскою образованностію и людскостію“ ¹⁾). Въ новѣйшее время великія побѣды вознесли Россію на верхъ могущества и показали міру ея высокое политическое значеніе; сообразно съ тѣмъ — заключаетъ Батюшковъ—должны развиться и ея духовныя силы; поэтому отъ имени Общества, среди котораго сказана рѣчь, онъ обращается къ писателямъ со слѣдующимъ призывомъ: „Несите, несите свои сокровища въ обитель музъ, отверзтую каждому таланту, каждому успѣху; совершите прекрасное, великое, святое дѣло, обогатите, образуйте языкъ славнѣйшаго народа, населяющаго почти половину міра; поравняйте славу языка его со славою военною, успѣхи ума съ успѣхами оружія!“ ²⁾) Въ исторической части своей рѣчи Батюшковъ сдѣлалъ краткій обзоръ развитія русской литературы отъ Ломоносова до своего времени и отдалъ дань уваженія прежнимъ дѣятелямъ на поприщѣ словесности, но онъ не скрылъ своего убѣжденія, что эти дѣятели уже не могутъ служить образцами, и что въ сущности все развитіе нашей литературы, которое приведетъ ее къ зрѣлости и оригинальности, принадлежитъ еще будущему времени. Къ изложенію историческаго очерка новой русской литературы Батюшковъ намѣревался возвратиться еще

¹⁾ Соч., т. II, стр. 238.

²⁾ Тамъ же, стр. 244.

разъ и предполагалъ дать ему довольно обширное развитіе. Въ іюнѣ 1817 года онъ сообщилъ Вяземскому, что хочетъ „написать въ письмахъ маленькій курсъ для людей свѣтскихъ и познакомить ихъ съ собственнымъ богатствомъ“ ¹⁾. Намѣреніе это однако не было исполнено, и въ записной книжкѣ 1817 года сохранился только планъ очерка, указывающій на общую точку зрѣнія автора и на особыя мнѣнія его по отдѣльнымъ вопросамъ; если первая извѣстна намъ изъ другихъ его сочиненій и писемъ, то о частностяхъ было бы неосторожно судить по слишкомъ короткимъ намекамъ.

Рѣчь о „легкой поэзіи“ составляетъ какъ бы апологію интимной лирики; нашъ поэтъ избралъ этотъ предметъ для публичнаго обсужденія, конечно, потому, что большая часть его стихотвореній, написанныхъ въ молодости, относится къ этому роду. Но мы знаемъ, что еще съ 1813 года онъ началъ искать другихъ, болѣе широкихъ задачъ для своего творчества. Однако, даже патріотическое воодушевленіе того времени не облеклось въ его поэзіи въ классическую форму оды; какъ у Жуковского „Пѣвецъ въ станѣ русскихъ воиновъ“, по своему настроенію, скорѣе примыкаетъ къ балладѣ, чѣмъ къ торжественной лирикѣ, такъ и нашъ поэтъ остается на почвѣ элегій даже въ піесѣ, вызванной такимъ громкимъ событіемъ, какъ переходъ черезъ Рейнъ. Такъ, у обоихъ поэтовъ ясно обнаруживается колебаніе старыхъ поэтическихъ формъ, но за то у обоихъ поэтическое выраженіе выигрываетъ въ искренности. Грустный элегическій оттѣнокъ господствуетъ у Батюшкова въ большей части стихотвореній поздней поры, даже въ піесахъ, заимствованныхъ у другихъ писателей. Это было естественнымъ слѣдствіемъ его душевнаго состоянія и вмѣстѣ съ тѣмъ художественнымъ расчетомъ поэта. Мы уже познакомились съ цикломъ тѣхъ превосходныхъ элегій, которыя были внушены ему второю, несчаст-

¹⁾ Соч., т. III, стр. 453.

ною любовію. Послѣдніе отзвуки этой сердечной боли еще слышны въ двухъ піесахъ 1816 года, хотя и не оригинальныхъ; такъ, взятая у Парни элегія „Мщеніе“ содержитъ въ себѣ скорбное обращеніе къ милой, которая позабыла своего друга, а „Пѣснь Гаральда Смѣлаго“ — сѣтованіе храбраго воина, любовь котораго отвергнута очаровавшею его дѣвой. Эта „Пѣснь“, столь замѣчательная по яркости красокъ, по силѣ и сжатости языка, заслуживаетъ вниманія еще въ одномъ отношеніи: вмѣстѣ съ піесами (оригинальными и переводными): „Переходъ черезъ Рейнъ“, „Плѣнный“, „Тѣнь друга“, „На развалинахъ замка въ Швеціи“, „Гезіодъ и Омиръ соперники“, „Умирающій Тассъ“, она представляетъ образцы особаго рода элегіи, которую принято называть историческою или эпическою. Рядъ названныхъ стихотвореній, написанныхъ Батюшковымъ на пространствѣ трехъ-четырехъ лѣтъ, свидѣтельствуєтъ, что въ данное время этотъ родъ сдѣлался для него любимую поэтическою формою. Указывая Жуковскому на эти свои піесы, Батюшковъ именно говорилъ, что онъ желалъ ими расширить область элегіи ¹⁾.

Если вообще элегія есть жалобная пѣснь, поэтическое выраженіе печали по утраченномъ идеалѣ, то элегіей историческою или эпическою должно назвать такое лирическое стихотвореніе, гдѣ идеалъ воплощается въ какомъ-нибудь достопамятномъ событіи или лицѣ, о которомъ скорбное воспоминаніе возбуждаетъ вдохновеніе поэта. Когда, на исходѣ XVIII вѣка, во всѣхъ европейскихъ литературахъ начало обнаруживаться пресыщеніе отъ псевдоклассицизма съ его парадною торжественностью, поэтическое творчество стало искать новыхъ путей и обратилось за пособіями для своего обновленія между прочимъ къ преданіямъ старины и къ безыскусственной народной поэзіи. Одною изъ первыхъ попытокъ въ этомъ родѣ были

¹⁾ Соч., т. III, стр. 448.

такъ-называемыя пѣсни Оссіана, будто бы собранныя Макферсономъ у шотландскихъ горцевъ. Шиллеръ находилъ въ этихъ пѣсняхъ высокіе образцы именно элегическаго настроенія ¹⁾. Г-жа Сталь, проводя въ своей книгѣ „De la littérature“ параллель между южною и сѣверною поэзіей, отмѣтила это свойство, какъ преобладающее въ сей послѣдней. Идеи высказанныя въ этомъ сочиненіи, имѣли вліяніе на Батюшкова, хотя онъ и былъ воспитанъ на образцахъ древняго классицизма: грустные оссіановскіе мотивы попадаются еще въ раннихъ его произведеніяхъ; еще въ 1809—1810 годахъ онъ переводитъ отрывки изъ поэмы Парни „Isnel et Asléga“, заимствующей содержаніе изъ древне-скандинавскаго міра, который сталъ привлекать къ себѣ вниманіе новыхъ поэтовъ на ряду съ Оссіаномъ. У того же Парни явилась мысль освѣжить элегію новыми красками. Когда молодые поэты обращались за указаніями къ этому любимѣйшему элегисту своего времени, онъ имѣлъ обычай говорить имъ: „Поэзія изнашивается, ее нужно оживлять новыми образами. Изображайте иные нравы, иную природу“. Сохранившій намъ это свидѣтельство, Мильвуа, современникъ Батюшкова, воспользовался совѣтомъ Парни и написалъ нѣсколько элегій съ историческою или эпическою подкладкой. Въ особомъ этюдѣ объ элегій онъ настаиваетъ на томъ, что подобныя стихотворенія принадлежать именно къ элегическому роду. „Если“, говоритъ онъ,—„выводимыя поэтомъ лица замѣняютъ его собственную личность, то это лишь придаетъ стихотворенію болѣе драматическую форму; если изображаемое дѣйствіе совершается далеко отъ насъ, то получаетъ для насъ интересъ новизны, подробности его становятся разнообразнѣе и сохраняютъ въ себѣ нѣчто первобытное, освѣжающее воображеніе и обновляющее творчество. Литераторы, разсматривавшіе эти піесы“, продолжаетъ Мильвуа, обращаясь къ своимъ собственнымъ произ-

¹⁾ Въ статьѣ „О наивной и сентиментальной поэзіи“.

веденіямъ,— „благоклонно признали въ нихъ соблюденіе мѣстныхъ красокъ (couleur locale) и нѣкоторую пріятность; они возражали только противъ отнесенія піесъ къ разряду элегій; но признаюсь, я мало придаю значенія названію. Позволяю себѣ замѣтить, что нововведеніе можетъ быть непривлекательно лишь тогда, когда оно странно, что въ данномъ случаѣ оно заключается только въ рамкѣ стихотворенія, и что наконецъ, нечего выдумывать новое названіе для элегіи новаго рода, если она все-таки остается элегіей“ ¹⁾. Для оправданія своей теоріи Мильвуа ссылаясь впрочемъ на примѣръ древности; поэты новыхъ литературъ подражали обыкновенно любовнымъ элегіямъ Тибулла и Проперція; онъ же задумалъ воспроизвести типъ первоначальной элегіи греческой и относительно характера сей послѣдней ссылаясь на слѣдующія слова аббата Бартеlemi: „Прежде чѣмъ изобрѣтено было драматическое искусство, поэты, которымъ природа дала чувствительную душу, но отказала въ эпическомъ талантѣ, изображали въ своихъ картинахъ то бѣдствія какого-либо народа, то несчастія какого-нибудь лица древности, то оплакивали смерть родственника или друга и въ томъ находили себѣ утѣшеніе“ ²⁾. Примѣняясь къ такому характеру древне-греческой элегіи, Мильвуа написалъ нѣсколько піесъ, которыя называетъ античными элегіями. „Проникая въ сущность произведеній великихъ художниковъ“, говоритъ онъ,— „я пытался воспроизвести наивныя красоты ихъ созданій или, если позволено такъ выразиться, то благоуханіе древности, которое отъ нихъ исходитъ“.

Батюшковъ внимательно слѣдилъ за явленіями французской литературы; ему были извѣстны и стихотворенія Мильвуа, и его теоретическія разсужденія, и безъ сомнѣнія, Констан-

¹⁾ Этюдъ Мильвуа объ элегіи обыкновенно печатается при собраніи его стихотвореній; передаемъ его слова въ нѣсколько вольномъ переводѣ, чтобы сдѣлать смыслъ ихъ болѣе яснымъ.

²⁾ Barthélemy. Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, chap. LXXX.

тинъ Николаевичъ имѣлъ ихъ въ виду, усвоивая задачу исторической элегіи своему творчеству. Онъ позаимствовалъ у Мильвуа одну изъ лучшихъ его піесъ въ этомъ родѣ: „Combat d'Homère et d'Hésiode“, и нужно сказать, что въ превосходной передачѣ русскаго поэта эта „античная элегія“ несравненно выше, чѣмъ въ подлинникѣ. На этотъ разъ Батюшковъ, вопреки своему обычаю, держался оригинала довольно близко, но блѣднымъ образомъ Мильвуа онъ придалъ поразительную яркость и вялый стихъ его замѣнилъ сжатымъ и гармоническимъ стихомъ своимъ. Стихотвореніе „Гезіодъ и Омиръ соперники“ представляетъ собою блестящую картину античной жизни, освѣщенную высокою нравственною мыслью.

Образцовъ исторической элегіи Батюшковъ искалъ впрочемъ не у одного Мильвуа. Занявшись съ 1813 года нѣмецкою словесностью, онъ познакомился между прочимъ съ произведеніями Маттисона. Талантъ этого писателя встрѣтилъ въ свое время сочувственный отзывъ Шиллера, и весьма возможно, что изъ его статьи о Маттисоновыхъ стихотвореніяхъ впервые узналъ о нихъ Батюшковъ. Шиллеръ находилъ въ этомъ поэтѣ умѣнье рисовать сельскія сцены и изображать картины природы, но желалъ, чтобъ онъ вложилъ въ граціозные образы своей фантазіи и въ музыку своихъ стиховъ болѣе глубокой смыслъ, чтобы нашелъ для своихъ пейзажей фигуры и вывелъ бы на сцену человѣка. Батюшковъ остановился на томъ изъ стихотвореній Маттисона, гдѣ отчасти сдѣлана подобная попытка. Его „Элегія, написанная на развалинахъ древняго замка“, пользовалась въ свое время большою извѣстностью; но позднѣйшая критика справедливо признала въ этомъ стихотвореніи слишкомъ много аффектаціи въ оплакиваніи преходимости всего земнаго ¹⁾. Подражая піесѣ Маттисона, Батюшковъ отнесся къ ней очень свободно; онъ почти совсѣмъ устранилъ изліянія

¹⁾ W. Menzel. Geschichte d. Deutschen Dichtung, 9-s B., § 4; W. Scherer. Geschichte d. Deutsch. Litteratur, 13-s Kap.

нѣмецкаго поэта на отвлеченную тему, но, какъ бы осуществляя указаніе Шиллера, чрезвычайно счастливо воспользовался тѣми намеками Маттисона, которые давали поводъ къ созданію живыхъ образовъ. Между тѣмъ какъ нѣмецкій поэтъ переноситъ свои мечтанія въ рыцарскіе вѣка Германіи, Батюшковъ обращается со своими воспоминаніями къ далекимъ временамъ скандинавскаго сѣвера, которыя уже давно занимали его воображеніе, и въ мотивахъ „сѣверной поэзіи“ находитъ матеріалы для созданія цѣлаго ряда живыхъ сценъ изъ быта отважныхъ пѣвнителей моря.

Черты той же сѣверной поэзіи воспроизведены Батюшковымъ въ „Пѣснѣ Гаральда Смѣлаго“, но на этотъ разъ въ краскахъ еще болѣе яркихъ и болѣе вѣрныхъ исторической дѣйствительности, потому что почерпнуты въ непосредственномъ источникѣ. Здѣсь не мѣсто разбирать, кто настоящій авторъ Гаральдовой пѣсни; во всякомъ случаѣ, не подлежитъ сомнѣнію, что это—памятникъ древности, восходящій по крайней мѣрѣ къ XIII вѣку. Замѣчательно то сильное выраженіе нѣжной страсти, которымъ отличается эта пѣснь; въ этомъ отношеніи она напоминаетъ лирику уже позднихъ рыцарскихъ временъ, и именно по такому своему характеру она въ особенности могла быть доступна пониманію Батюшкова. Онъ зналъ ее по французскому переводу въ „Датской исторіи“ Малле или, всего вѣроятнѣе, по русскому переложенію Н. А. Львова, сдѣланному на основаніи того же Малле. Нашъ поэтъ не заботился о близкой передачѣ подлинника, но всѣ характерныя черты его (напримѣръ, въ 4-й строфѣ) сохранилъ по крайней мѣрѣ по существу, если не въ точныхъ выраженіяхъ. Уже эта попытка приблизиться къ простотѣ древней пѣсни свидѣтельствуетъ о новыхъ живыхъ стремленіяхъ въ творчествѣ нашего поэта.

На мысль переложить въ стихи пѣснь Гаральда навело Батюшкова чтеніе книги Маршанжи „La Gaule poétique“ ¹⁾.

¹⁾ Соч., т. III, стр. 371.

Сочиненіе это составляет одно изъ характерныхъ явленій своего времени. Въ періодъ имперіи во французскомъ обществѣ, уже утомленномъ Наполеоновымъ деспотизмомъ, начало пробуждаться сочувствіе къ стариннымъ рыцарскимъ временамъ, которыя рисовались воображенію только своею поэтической и живописною стороною, какъ пора благородныхъ стремленій, самоотверженныхъ подвиговъ и возвышенной, мечтательной любви. Выразителемъ этихъ стремленій былъ не одинъ Шатобріанъ; вслѣдъ за нимъ пошли другіе писатели, и въ числѣ ихъ Маршанжи, который, въ своей „Gaule poétique“, сдѣлалъ попытку пересказать поэтическія преданія старинной французской жизни. Батюшковъ, еще будучи во Франціи, подмѣтилъ эти признаки возраждающихся симпатій къ среднимъ вѣкамъ, которыя впоследствии послужили однимъ изъ главныхъ элементовъ для образованія французскаго романтизма ¹⁾; поэтому понятно, что при чтеніи книги Маршанжи въ 1816 году онъ могъ вспомнить о скрашенной рыцарскимъ характеромъ пѣснѣ скандинавскаго вителя, любовь котораго была отвергнута русскою княжной.

Съ возникновеніемъ интереса ко временамъ рыцарства и къ поэзіи трубадуровъ стали входить въ моду романсы, въ которыхъ обыкновенно воспѣвалась любовь къ какому-нибудь храброму воину, отправившемуся въ далекія страны искать себѣ чести и славы; довольно много романсовъ встрѣчается между стихотвореніями Мильвуа, и также съ грустнымъ элегическимъ оттѣнкомъ. Батюшковъ отозвался и на этотъ новый поэтический призывъ: еще въ 1812 году, подъ впечатлѣніями начинающейся войны, онъ написалъ романсъ „Разлука“; относящаяся къ 1814 году піеса „Плѣнный“, содержаніе которой также находится въ связи съ военными обстоятельствами того времени, составляетъ нѣчто среднее между романсомъ и эпическою элегіей. Для насъ утраченъ внутренній смыслъ того на-

¹⁾ Соч., т. II, стр. 72; ср. стр. 407 и 408.

строения, которое могло вызывать подобныя піесы; сентиментальный ихъ характеръ, вообще не свойственный нашему поэту, кажется намъ даже приторнымъ; но очевидно, стихотворенія эти отвѣчали идеальнымъ стремленіямъ нѣкоторой части тогдашняго общества, и выраженное въ нихъ чувство находило себѣ откликъ въ молодыхъ сердцахъ: романсъ Константина Николаевича пользовался большимъ успѣхомъ въ свое время.

Къ числу историческихъ элегій нашего поэта слѣдуетъ отнести еще двѣ піесы: „Переходъ черезъ Рейнъ“ и „Тѣнь друга“. Обѣ находятся въ связи съ событіями послѣднихъ войнъ Наполеоновской эпохи. Первая, написанная подъ впечатлѣніемъ одного изъ главныхъ моментовъ гигантской борьбы, соединяетъ въ себѣ воспоминанія о героическихъ временахъ германской древности съ выраженіями патріотическаго чувства и благодарности Провидѣнію, которое привело русскія войска для побѣды на берега великой германской рѣки. Вторая элегія изображаетъ то грустное раздумье, которое наступило для Батюшкова по окончаніи войны, когда, послѣ радостныхъ ощущеній побѣды, онъ яснѣе и глубже почувствовалъ тяжесть утраты, понесенной имъ въ лицѣ друга его Петина. Элегіей „Тѣнь друга“ начинается рядъ тѣхъ скорбныхъ піесей, въ которыхъ поэтъ раскрылъ намъ свое душевное состояніе послѣ военнаго времени и по возвращеніи въ отечество. Послѣднимъ звеномъ въ этой цѣпи поэтическихъ произведеній служить знаменитая элегія „Умирающій Тассъ“. Хотя содержаніе ея взято не изъ сферы личной жизни поэта, но въ изображеніи смерти Тасса онъ вложилъ столько имъ самимъ пережитаго и выстрадавнаго, что по внутреннему смыслу піеса эта является вполне выраженіемъ личности самого автора въ позднюю эпоху его поэтическаго творчества.

Мы знаемъ уже, что Константинъ Николаевичъ отъ самыхъ молодыхъ лѣтъ питалъ глубокое, почти благоговѣйное чувство и къ поэзіи Тасса, и къ личности самого поэта. Тассъ хотя и

прославился эпическою поэмой, но по свойству своего дарования онъ въ сущности лирикъ, и притомъ съ элегическимъ оттенкомъ; нота нѣжнаго чувства преобладаетъ въ его поэмѣ; разнообразныя, мастерски рассказанныя любовныя эпизоды совершенно заслоняютъ собою основную тему ея—освобожденіе Святаго Града изъ-подъ власти невѣрныхъ. Эти-то эпизоды, составляющіе лучшія части Тассовой поэмы и дающіе автору поводъ изобразить цѣлый рядъ женскихъ характеровъ, безъ сомнѣнія, и привлекли къ ней первоначально особыя симпатіи Батюшкова; но когда, въ послѣдствіи, мысль его сдѣлалась строже и серьезнѣе, онъ сталъ искать въ „Освобожденномъ Іерусалимѣ“ красоты другаго рода: въ своей прозаической статьѣ о Тассѣ, написанной уже въ 1815 году, онъ не безъ натяжки настаиваетъ на томъ, что описанія битвъ въ знаменитой поэмѣ не уступаютъ подобнымъ же картинамъ, встрѣчающимся у Виргилія и Гомера ¹⁾). Въ этотъ же позднѣйшій періодъ изученія „Освобожденнаго Іерусалима“ Батюшковъ обратилъ вниманіе на религіозное настроеніе его автора. Набожность воспитаннаго іезуитами Тасса, конечно, не была похожа на наивное христіанское воодушевленіе, отличающее настоящій средневѣковый эпосъ; но это различіе совершенно ускользало отъ пониманія Батюшкова, и Тассъ являлся въ его глазахъ великимъ художникомъ, который умѣлъ сочетать въ своемъ творествѣ классическое пониманіе красоты съ міросозерцаніемъ искренно вѣрующаго христіанина. Съ этимъ идеальнымъ представленіемъ о Тассѣ, какъ поэтѣ, соединялось высокое понятіе о немъ, какъ о человѣкѣ. Въ біографію Тасса очень рано вплетены были разныя преданія романическаго характера; его мечтательная любовь къ Элеонорѣ д'Эсте, претерпѣнныя имъ гоненія, его помѣшательство, какъ печальное слѣдствіе несчастій, наконецъ — приготовленное ему вѣнчаніе въ Капитоліѣ и смерть, постигшая его почти на канунѣ этого

¹⁾ Соч., т. II, стр. 152.

торжества, всѣ эти исключительныя обстоятельства его жизни, такъ охотно и безъ критической провѣрки подхваченныя его старинными біографами, сдѣлали Тасса въ общемъ мнѣніи типическимъ представителемъ тѣхъ великихъ своими дарованіями несчастливцевъ, которые погибаютъ прежде времени въ борьбѣ съ несправедливостью безпощадной судьбы. Въ воображеніи Батюшкова Тассъ всегда рисовался въ этомъ поэтическомъ образѣ. „Торквато былъ жертвою любви и зависти“, говорилъ онъ еще въ то время своей молодости, когда, по совѣту Капниста, предпринялъ было переводъ „Освобожденнаго Іерусалима“¹⁾. Еще тогда Константинъ Николаевичъ написалъ восторженное посланіе къ Тассу, піесу дѣтски слабую въ литературномъ отношеніи, но уже выражающую сейчасъ указанный взглядъ на италіянскаго поэта. Піесу эту Батюшковъ не рѣшился перепечатать въ 1817 году, когда предпринялъ изданіе своихъ сочиненій; но вмѣсто нея этотъ сборникъ украсился новою элегіей — „Умирающій Тассъ“. Тѣсная внутренняя связь между двумя стихотвореніями не подлежитъ сомнѣнію и дѣлаетъ весьма вѣроятнымъ предположеніе, что позднѣйшая элегія вызвана была болѣе раннимъ посланіемъ: собирая свои произведенія разныхъ лѣтъ, Батюшковъ подвергалъ ихъ исправленіямъ; при этомъ юношеское посланіе не удовлетворило его своею слишкомъ несовершенною формою, но его содержаніе возбудило вдохновеніе поэта къ созданію новой прекрасной піесы.

Въ концѣ февраля и въ началѣ марта 1817 года Батюшковъ сообщалъ Гнѣдичу и Вяземскому, что началъ писать большую элегію на тему о смерти Тасса, а въ апрѣлѣ она была уже окончена и отправлена въ Петербургъ для печати²⁾. „Перечиталъ все, что писано о несчастномъ Тассѣ, напился „Іерусалимомъ“, прибавлялъ онъ въ письмѣ къ Вяземскому, и

¹⁾ Соч., т. I, стр. 50, прим. 8-е.

²⁾ Тамъ же, т. III, стр. 419, 428, 439.

затѣмъ, немного времени спустя, обращался къ Жуковскому съ такими словами: „Понравился ли мой „Тассъ“? Я желалъ бы этого. Я писалъ его сгоряча, исполненный всѣмъ, что прочиталъ объ этомъ великомъ человѣкѣ... Воскреси или убей меня. Незвѣстность хуже всего. Скажи мнѣ, чистосердечно скажи: доволенъ ли ты мною?“ ¹⁾

Мы только отчасти знаемъ, что именно было прочитано Батюшковымъ касательно жизни Тасса: это—главы, посвященные ему въ „Histoire littéraire d'Italie“ Женгене и въ сочиненіи Сисмонди о литературахъ южной Европы. Но разумѣется, еще раньше знакомства съ этими учеными трудами, Батюшковъ читывалъ старинныя біографіи италіянскаго поэта, и собственно по нимъ составилось у него представленіе о „пѣвцѣ Іерусалима“. Онъ зналъ также, что „живопись и поэзія неоднократно изображали бѣдствія Тасса“ ²⁾; но читалъ ли онъ, на примѣръ, извѣстную трагедію Гёте, это мы не можемъ утверждать положительно. Наконецъ, изъ сочиненій самого Тасса Константинъ Николаевичъ былъ знакомъ преимущественно съ „Освобожденнымъ Іерусалимомъ“; изъ другихъ его произведеній зналъ онъ лишь нѣсколько канцонъ, и то едва ли не по отрывкамъ, приведеннымъ у Женгене и Сисмонди. Вотъ весь тотъ внѣшній матеріалъ, изъ котораго возникъ „Умирающій Тассъ“, и конечно, только собственное творчество нашего поэта могло создать на основаніи такихъ бѣдныхъ пособій тотъ цѣльный образъ, который мы находимъ въ его произведеніи; поэтому-то Батюшковъ и могъ, извѣщая Гнѣдича о начатой элегіи, сказать ему: „И сюжетъ, и все—мое. Собственная простота“ ³⁾. Образъ страдальца Тасса сложился въ душѣ нашего поэта по его собственному подобию.

Въ жизни своей, исполненной тревоженій, Батюшковъ охотно находилъ черты сходства съ обстоятельствами несчаст-

¹⁾ Соч., т. III, стр. 446, 447.

²⁾ Тамъ же, т. I, стр. 258.

³⁾ Тамъ же, т. III, стр. 419.

ной судьбы своего героя. Еще въ молодые годы, когда Гнѣдичъ совѣтовалъ Константину Николаевичу не бросать начатаго перевода „Освобожденнаго Іерусалима“, послѣдній однажды, въ минуту хандры среди деревенскаго одиночества, писалъ своему петербургскому другу: „Ты мнѣ совѣтуешь переводить Тасса—въ этомъ состояніи? Я не знаю, но и этотъ Тассъ меня огорчаетъ. Послушаемъ Лагарпа въ похвальномъ его словѣ Колардо: „Son ame (l'ame de Colardeau) semblait se ranimer un moment pour la gloire et la reconnaissance, mais ce dernier rayon allait bientôt s'éteindre dans la tombe... Il avait traduit quelques chants du Tasse. У avait-il une fatalité attachée à ce nom?“ ¹⁾ Ранняя утрата матери, ограниченность состоянія, столкновенія съ литературными непріятелями, служебныя неудачи, оскорбившія честолюбіе нашего поэта, наконецъ—любовь, которой онъ не нашелъ отвѣта и удовлетворенія, все это дѣйствительно такія обстоятельства его жизни, которымъ не трудно указать аналогіи въ біографіи Тасса. Но сближеніе можно вести и далѣе: въ личномъ характерѣ обоихъ поэтовъ, русскаго и итальянскаго, несомнѣнно было много общаго: оба они были люди съ страстною и нѣжною душой, склонные къ горячимъ увлеченіямъ и порою легкомысленные; оба—по выраженію Батюшкова—„любили славу“, болѣзненно раздражались при порицаніяхъ и жадно упивались похвалами; оба, наконецъ, не обладали выдержкой и твердостью воли. Въ этомъ-то недостаткѣ энергіи характера и заключалась коренная причина тѣхъ неудачъ и горькихъ разочарованій, которыя оба поэта испытали въ своей жизни; но разумѣется, имъ трудно было сознаться въ своей слабости, и въ несчастіяхъ своихъ они видѣли только гоненіе судьбы ²⁾.

¹⁾ Соч., т. III, стр. 64.

²⁾ Впрочемъ Батюшковъ вообще хорошо понималъ свой характеръ: онъ не пощадилъ себя въ томъ замѣчательномъ очеркѣ своей личности, который набросалъ въ своей записной книжкѣ 1817 года (Соч., т. II, стр. 347—350). Тутъ онъ

Прибавимъ еще одну важную черту, которою характеризуется ихъ жизнь. Несчастія, испытанныя Тассомъ, довели его до состоянія мрачной меланхоліи, граничившей почти съ помѣшательствомъ; у Батюшкова также бывали тяжелые періоды хандры, которая—казалось ему—должна разрѣшиться потерей сознанія ¹⁾; воспоминаніе о горестной участи матери, быть можетъ, подсказывало ему это предчувствіе.

Таковы были внутреннія основы тѣхъ глубокихъ симпатій, которыя привязывали нашего поэта къ Тассу, и въ силу которыхъ идеальный образъ „пѣвца Іерусалима“ съ раннихъ лѣтъ сталъ избранникомъ его сердца и излюбленнымъ предметомъ его вдохновеній. Его юношеское посланіе къ Тассу было написано въ ту пору его жизни, когда житейскія невзгоды впервые проникли въ радостный міръ его надеждъ и поколебали его вѣру въ свѣтлое будущее; неопытный поэтъ не нашелъ въ себѣ тогда достаточно творческихъ силъ, чтобъ изобразить страданія своего любимого героя. Съ тѣхъ поръ онъ не только испыталъ глубокое разочарованіе въ своихъ личныхъ привязанностяхъ, но и утратилъ вѣру въ ту философію наслажденія, усумнился въ томъ міросозерцаніи, которыми думалъ нѣкогда опредѣлить свой жизненный путь. Влагая теперь въ уста умирающаго Тасса горькія воспоминанія о прошломъ, въ которомъ онъ былъ

Отъ самой юности игралище людей,
и съ тѣхъ поръ,
добыча злой судьбины,
Всѣ горести узналъ, всю бѣдность бытія,—

Батюшковъ дѣйствительно высказывалъ свои собственныя сѣтованія, тѣ самыя, которыя мы такъ часто встрѣчали въ его

указываетъ на двойственность своего характера, на отсутствіе въ немъ цѣльности, а эта особенность не есть ли прямое слѣдствіе слабаго развитія воли.

¹⁾ Соч., т. III, стр. 51.

письмахъ къ друзьямъ; но что въ перепискѣ лишь случайно срывается съ его пера, то въ элегіи облекается въ цѣльный поэтический образъ; что юноша-поэтъ не сумѣлъ выразить въ своихъ еще нескладныхъ стихахъ, то теперь, въ произведеніи зрѣлаго художника, само собою сказывается высокимъ лирическимъ порывомъ, и личность несчастнаго Тасса, безвременно погибающаго съ надеждой найти успокоеніе лишь въ иномъ, лучшемъ мірѣ, является какъ бы воплощеніемъ усталой, измученной жизненною борьбой души нашего поэта, обращающей къ Провидѣнію свои послѣднія упованія.

„Кажется мнѣ, лучшее мое произведеніе“, говорилъ Батюшковъ въ письмѣ къ Вяземскому, извѣщая его, что пишетъ элегію на тему о смерти Тасса ¹⁾. Нѣсколько мѣсяцевъ спустя, когда піеса уже была отослана въ печать, онъ опять повторялъ, что доволенъ своею элегіей, но притомъ прибавлялъ: „Мнѣ нравится болѣе ходъ и планъ, нежели стихи“. Смыслъ этой послѣдней оговорки можетъ быть объясненъ изъ слѣдующихъ словъ поэта въ одномъ изъ его тогдашнихъ писемъ къ Гнѣдичу: „Я смѣшенъ, по совѣсти. Не похожъ ли я на слѣпаго нищаго, который, услышавъ прекраснаго виртуоза на арфѣ, вдругъ вздумалъ воспѣвать ему хвалу на волынкѣ или балалайкѣ? Виртуозъ—Тассъ, арфа—языкъ Италіи его, нищій—я, а балалайка—языкъ нашъ, жестокій языкъ, что ни говори“ ²⁾. Такъ сильно чувствовалъ Батюшковъ трудность освободиться отъ тѣхъ сухихъ, условныхъ и нескладныхъ формъ, которыми еще опутывалась русская поэтическая рѣчь въ его время. Въ другомъ письмѣ его, отъ 1816 года, находимъ еще одно важное признаніе въ томъ же смыслѣ: „Чѣмъ болѣе вникаю въ языкъ нашъ, чѣмъ болѣе пишу и размышляю, тѣмъ болѣе удостовѣряюсь, что языкъ нашъ не терпитъ славянизмовъ, что верхъ искусства—похищать древнія слова и

¹⁾ Соч., т. III, стр. 428.

²⁾ Тамъ же, стр. 457.

давать имъ мѣсто въ нашемъ языкѣ“¹⁾. Карамзину удалось привести въ равновѣсіе главныя стихіи нашего литературнаго языка—народную и церковно-славянскую—только въ заключительномъ произведеніи своей литературной дѣятельности, въ „Исторіи государства Россійскаго“; изъ вышеуказанныхъ словъ Батюшкова видно, что онъ ставилъ себѣ ту же задачу, и въ позднѣйшихъ созданіяхъ своего творчества онъ также достигаетъ успѣшнаго ея рѣшенія: слова свободно льются съ его пера; каждая мысль, каждый образъ находятъ себѣ соотвѣтствующее живое, мѣткое и сильное выраженіе. Въ этомъ смыслѣ есть правда въ цвѣтистыхъ словахъ Блудова: „Слогъ Батюшкова можно сравнить съ внутренностію жертвы въ рукахъ жреца: она еще вся трепещетъ жизнію и теплится ея жаромъ“²⁾. Желаніе выработать себѣ свободный гармоническій стихъ издавна составляло страстную мечту нашего поэта: къ этому вопросу, въ связи съ языкомъ, онъ постоянно возвращается въ своихъ письмахъ. „Отгадайте, на что я начинаю сердиться?“ писалъ онъ однажды Гнѣдичу еще въ 1811 году. — „На что? На русскій языкъ и на нашихъ писателей, которые съ нимъ немилосердно поступаютъ. И языкъ-то по себѣ плоховать, грубенекъ, пахнетъ татарщиной. Что за *ы*? Что за *ш*, что за *ш*, *шій*, *шій*, *при*, *тры*? О варвары! А писатели? Но Богъ съ ними! Извини, что я сержусь на русскій народъ и на его нарѣчіе. Я сію минуту читалъ Аріоста, дышалъ чистымъ воздухомъ Флоренціи, наслаждался музыкальными звуками авзонійскаго языка и говорилъ съ тѣнями Данта, Тасса и сладостнаго Петрарка, изъ устъ котораго что слово, то блаженство“³⁾. Слова эти очень замѣчательны, какъ указаніе, гдѣ, въ какой словесности Батюшковъ искалъ образцовъ для гармоніи стиха. Написанныя почти въ то же время подражанія Петраркѣ и

¹⁾ Соч., т. III, стр. 409, 410; ср. тамъ же стр. 70.

²⁾ Мысли и замѣчанія—въ приложеніи къ сочиненію Е. П. Ковалевскаго Графъ Блудовъ и его время. Изд. 2-е, стр. 267.

³⁾ Соч., т. III, стр. 164, 165.

Касты представляют между прочимъ образцы того, какъ Батюшковъ старался передать по русски звучные стихи италіанскихъ поэтовъ: еще тогда опыты его выходили очень удачны, по крайней мѣрѣ въ отношеніи техники. Въ 1815 году, въ статьѣ объ Аріостѣ и Тассѣ, онъ снова возвращается къ мысли о музыкальности италіанскаго языка: „Языкъ гибкій, звучный, сладостный, языкъ, воспитанный подъ счастливымъ небомъ Рима, Неаполя и Сициліи, среди бурь политическихъ и потомъ при блестящемъ дворѣ Медисовъ, языкъ, образованный великими писателями, лучшими поэтами, мужами учеными, политиками глубокомысленными,—этотъ языкъ сдѣлался способнымъ принимать всѣ виды и всѣ формы. Онъ имѣетъ характеръ, отличный отъ другихъ новѣйшихъ нарѣчій и коренныхъ языковъ, въ которыхъ менѣе или болѣе примѣтна суровость, глухіе или дикіе звуки, медленность въ выговорѣ и нѣчто принадлежащее Сѣверу“¹⁾. Впрочемъ, это преклоненіе предъ италіанскимъ языкомъ не доходило у Батюшкова до крайности: въ 1817 году, вскорѣ по окончаніи „Умирающаго Тасса“, онъ заноситъ въ свою записную книжку такое замѣчаніе: „Каждый языкъ имѣетъ свое словотеченіе, свою гармонію, и странно было бы Русскому или Италіянцу, или Англичанину писать для французскаго уха, и на оборотъ. Гармонія, мужественная гармонія не всегда прибѣгаетъ къ плавности. Я не знаю плавнѣе этихъ стиховъ:

На свѣтлоглубомъ эфирѣ
Златая плавала луна, и пр.

и оды „Соловей“ Державина. Но какая гармонія въ „Водопадѣ“ и въ одѣ на смерть Мещерскаго:

Глаголь временъ, металла звонъ!“²⁾

Очевидно, счастливые опыты послѣднихъ лѣтъ раскрыли нашему поэту въ русскомъ языкѣ такія свойства и силы, такой благо-

¹⁾ Соч., т. II, стр. 149.

²⁾ Тамъ же, стр. 340.

дарный матеріалъ для созданія гармоническаго стиха, какихъ онъ и не подозрѣвалъ прежде. Дѣйствительно, въ своихъ историческихъ элегіяхъ и вообще въ поэтическихъ произведеніяхъ своей позднѣйшей поры Батюшковъ успѣлъ почти вполне преодолѣть тѣ трудности, которыя такъ долго смущали его. Въ этихъ піесахъ поэтическая рѣчь (въ смыслѣ подбора словъ) и въ особенности гибкость, упругость и гармонія стиха достигаютъ такого совершенства, какого еще не знала до тѣхъ поръ русская поэзія ¹⁾).

По своей художнической натурѣ Батюшковъ не могъ не чувствовать, что для своего времени онъ былъ первымъ мастеромъ русскаго стиха, мастеромъ, которому уступалъ мѣсто и даровитѣйшій изъ его сверстниковъ—Жуковскій. Въ 1814 году, разбирая, въ письмѣ къ Тургеневу, еще не напечатанное посланіе Жуковскаго къ императору Александру, Батюшковъ за-

¹⁾ Относительно выработки русскаго стиха важныя заслуги Батюшкова, вмѣстѣ съ Жуковскимъ, были вѣрно оцѣнены П. А. Плетневымъ еще въ 1822 году. Приводимъ его слова:

„Чистота, свобода и гармонія составляютъ главнѣйшія совершенства новаго стихотворнаго языка нашего. Объяснимъ каждое изъ нихъ порознь. Употребленіе собственно русскихъ словъ и оборотовъ не даетъ еще полнаго понятія о чистотѣ нашего языка. Ему вредятъ, его обезображиваютъ, неправильныя усѣченія словъ, невѣрныя въ нихъ ударенія и неумѣстная смѣсь славянскихъ словъ съ чистымъ русскимъ нарѣчіемъ. До времени Жуковскаго и Батюшкова всѣ наши стихотворцы, болѣе или менѣе, подвержены были сему пороку: языкъ упрямился; мѣра и рѣма часто смѣялись надъ стихотворцемъ — и побѣждали его. Подъ именемъ свободы языка здѣсь разумѣется правильный ходъ всѣхъ словъ періода, смотря по смыслу рѣчи. Русскій языкъ менѣе всѣхъ новѣйшихъ языковъ стѣсняется разстановкою словъ; однакожь, по свойству понятій, выражаемыхъ словами, и въ немъ надобно держаться естественнаго словотеченія.

Живи—и тучи пробѣжали

Чтобъ рѣдко по водамъ твоимъ.

(„Водопадъ“, строфа 71).

Или:

Сія гробница скрыла

Затмившаго мать лунный свѣтъ.

(„На смерть графини Румянцевой“, строфа 6).

„Всякій согласится, что подобная разстановка словъ, при всѣхъ совершенствахъ поэзіи, стихи дѣластъ запутанными. Жуковскій и Батюшковъ показали

мѣчалъ: „Я стану только выписывать дурные стихи; моя критика не нужна, онъ самъ почувствуетъ ошибки: у него чутье поэтическое“ ¹⁾. Этимъ-то чутьемъ самъ Константинъ Николаевичъ обладалъ въ высшей степени и берегъ его, какъ Божій даръ, какъ послѣднее сокровище своей оскудѣлой радостями жизни. Жалуясь, въ одномъ изъ писемъ къ Вяземскому изъ деревни въ 1817 году, на свои болѣзни, на утомленіе и на горе, „отъ котораго нигдѣ не уйдешь“, онъ говорилъ: „Все вредитъ стихамъ и груди моей“, и прибавлялъ: „Богъ съ нею, только бы хорошо писалось!“ ²⁾ Чувствуя въ Жуковскомъ и въ самомъ себѣ дѣйствительное призваніе поэта, онъ строго отличалъ себя и своего друга отъ остальныхъ дѣятелей словесности. „Во всемъ согласенъ съ тобою на счетъ поэзіи“, писалъ онъ ему однажды.—

прекрасные образцы, какъ надобно побѣждать сіи трудности и очищать дорогу теченію мыслей. Это имѣло удивительныя послѣдствія. Въ нынѣшнее время произведенія второклассныхъ и, если угодно, третьеклассныхъ поэтовъ носятъ на себѣ отпечатокъ легкости и пріятности выраженій. Ихъ можно читать съ удовольствіемъ. Кругъ литературной дѣятельности распространился, и богатства вкуса умножились.—Наконецъ, нѣсколько словъ о гармоніи. Прежде всего надобно отличать гармонію отъ мелодіи. Послѣдняя легче достигается первой: она основывается на созвучіи словъ. Гдѣ подборъ ихъ удаченъ, слухъ не оскорбляется, нѣтъ для произношенія трудности,—тамъ мелодія. Она еще имѣетъ высшую степень, когда сліяніемъ звуковъ опредѣлительно выражаетъ какое-нибудь явленіе въ природѣ и, подобно музыкѣ, подражаетъ ей. Гармонія требуетъ полноты звуковъ, смотря по объятности мысли, точно такъ, какъ статуя—опредѣленныхъ округлостей, соотвѣтственно величинѣ своей. Маленькое сухощавое лицо, сколько бы черты его пріятны ни были, всегда кажется не хорошимъ при большомъ туловищѣ. Каждое чувство, каждая мысль поэта имѣютъ свою объятность. Вкусъ не можетъ математически опредѣлить ее, но чувствуетъ, когда находитъ ее въ стихахъ или уменьшенною, или преувеличенною — и говоритъ: здѣсь не полно, а здѣсь растянута. Сія стихотворческія тонкости могутъ быть наблюдаемы только поэтами. Въ числѣ первыхъ надобно поставить Жуковского и Батюшкова“ (Сочиненія и переписка П. А. Плетнева. С.-Пб. 1885, т. I, стр. 24—25).

Тѣ же мысли неоднократно высказывалъ впослѣдствіи Бѣлинскій, замѣчая притомъ, и совершенно справедливо, что стихъ именно Батюшкова, а не Жуковского, былъ ближайшимъ предшественникомъ и подготовителемъ пушкинскаго стиха (см., напримѣръ, Соч. Бѣл., т. VI, стр. 49, и т. VIII, стр. 256).

¹⁾ Соч., т. III, стр. 300.

²⁾ Тамъ же, стр. 429.

„Мы смотримъ на нее съ надлежащей точки, о которой толпа и понятія не имѣетъ. Большая часть людей принимаютъ за поэзію риѣмы, а не чувство, слова, а не образы“¹⁾. Поэтому-то, даже къ сужденіямъ Гнѣдича Батюшковъ относился нѣсколько критически, хотя и признавалъ за нимъ способность понимать прекрасное. Еще изъ раннихъ писемъ Константина Николаевича къ другу его молодости видно, какъ горячо онъ спорилъ съ нимъ о способахъ поэтического выраженія. Когда Гнѣдичъ сообщилъ Батюшкову свои замѣчанія на „Умирающаго Тасса“, Константинъ Николаевичъ съ жаромъ отстаивалъ тѣ стихи, которые подсказало ему вдохновеніе. „Подъ небомъ Италіи моей, именно моей“, писалъ онъ. — „У Монти, у Петрарка я это живьемъ взялъ, quel benedetto моей! Вообще Италіянцы, говоря объ Италіи, прибавляютъ моя. Они любятъ ее, какъ любовницу. Если это ошибка противъ языка, то беру на совѣсть“. Или еще: „Изрытыя пучины и громъ не умолкалъ—оставь. Это слова самого Тасса въ одной его канцонѣ; онъ зналъ что говорилъ о себѣ“²⁾. Твердая увѣренность самосознающаго таланта слышна въ этихъ словахъ: также, какъ „пѣвецъ Іерусалима“, Батюшковъ зналъ, что писалъ, когда создавалъ своего „Умирающаго Тасса“; онъ чувствовалъ теперь всю полноту своихъ творческихъ силъ и понималъ, что его созрѣвшій талантъ идетъ по вѣрному пути и имѣетъ право на общественное признаніе.

Того удовольствованія, какое испытываетъ художникъ въ моментъ творчества, Батюшковъ, быть можетъ, никогда не переживалъ сильнѣе, чѣмъ въ то время, когда въ деревенскомъ уединеніи оканчивалъ „Гезіода и Омѣра“, писалъ „Тасса“ и исправлялъ свои прежнія піесы для приготавлиаемаго изданія. Къ этому непродолжительному, но плодотворному періоду его

¹⁾ Соч., т. III, стр. 356.

²⁾ Тамъ же, стр. 455, 456.

творческой дѣятельности вполне примѣняется то, что въ своей статьѣ о поэтѣ и поэзіи онъ говоритъ вообще о „сладостныхъ минутахъ вдохновенія и очарованія поэтическаго“ ¹⁾. Забывая домашнія безпокойства, пренебрегая своими болѣзнями, онъ всецѣло и съ горячимъ увлеченіемъ отдавался художественному труду. Онъ не только оканчивалъ и отдѣлывалъ задуманное и написанное прежде,—темы и планы новыхъ произведеній безпрестанно рождались въ его головѣ: то собирался онъ написать сказку „Бальядера“, то желалъ изобразить Овидія въ Скиѣи—„предметъ для элегіи счастливѣе самого Тасса“, то составлялъ планы для поэмъ: „Рюрикъ“, „Русалка“ ²⁾. Въ бумагахъ князя П. А. Вяземскаго сохранился набросокъ плана для „Русалки“, а въ одномъ изъ тогдашнихъ писемъ Батюшкова къ Гнѣдичу встрѣчается просьба прислать сборники русскихъ сказокъ и былинъ, которые понадобились нашему поэту, безъ сомнѣнія, какъ матеріалъ для задуманнаго произведенія. Судя по этимъ указаніямъ, можно догадываться, что Константинъ Николаевичъ имѣлъ въ виду написать поэму изъ русскаго сказочнаго міра въ родѣ той, какую вскорѣ далъ русской литературѣ великій преемникъ нашего поэта въ своемъ „Русланѣ“. Но все это осталось въ однихъ предположеніяхъ. Печатаніе сборника сочиненій Батюшкова уже было начато въ Петербургѣ въ началѣ 1817 года ³⁾, и даже піесы, оконченные имъ въ мартѣ и апрѣлѣ („Переходъ черезъ Рейнъ“, „Умиращій Тассъ“), могли быть включены въ него только какъ дополненіе. Поэтому, прежде даже, чѣмъ печатаемый сборникъ вышелъ въ свѣтъ, Константинъ Николаевичъ сталъ думать о томъ, что со временемъ предприметъ новое изданіе

¹⁾ Соч., т. II, стр. 118, 119.

²⁾ Тамъ же, т. III, стр. 417, 439, 453, 454, 456.

³⁾ Въ письмѣ къ Гнѣдичу, отъ 27-го февраля 1817 г., изъ деревни, Батюшковъ говоритъ о рукописи своихъ стихотвореній, какъ объ отосланной уже въ Петербургъ (Соч., т. III, стр. 419).

своихъ стиховъ, сдѣлаеть въ нихъ новыя исправленія и къ прежнимъ піесамъ присоединить то, что будетъ имъ вновь написано ¹⁾).

Какъ бы то ни было, но поэтический трудъ среди деревенскаго уединенія доставилъ Батюшкову высокое наслажденіе и, казалось, снова мирилъ его съ жизнью. Ему стала мила даже та простая сельская обстановка, въ которой совершался этотъ трудъ, и въ маѣ 1817 года онъ писалъ Гнѣдичу: „Я убралъ въ саду бесѣдку по моему вкусу, въ первый разъ въ жизни. Это меня такъ веселить, что я не отхожу отъ письменнаго столика, и вѣришь ли?—цѣлые часы, цѣлыя сутки просиживаю, руки сложа на крестъ“ ²⁾). Это тихое и мирное настроеніе, возвратившееся въ душу поэта подъ вліяніемъ вдохновенія, ясно выразилось въ небольшой изящной піесѣ „Бесѣдка музъ“ ³⁾), которую онъ написалъ тогда и еще успѣлъ отправить въ Петербургъ для включенія въ печатаемый сборникъ. Поэтъ умолялъ музъ

душѣ усталой отъ суетъ
Отдать любовь утраченну къ искусствамъ,
Веселость ясную первоначальныхъ лѣтъ
И свѣжесть—вынувшимъ безперестанно чувствамъ.
Пускай заботъ свинцовый грузъ
Въ рѣкѣ забвенія потонетъ,
И время жадное въ сей тайной сѣни музъ
Любимца ихъ не тронетъ.
Пускай и въ сѣдинахъ, но съ бодрою душой,
Безпеченъ, какъ дитя всегда безпечныхъ грацій,
Онъ нѣкогда придетъ вздохнуть въ сѣни густой
Своихъ черемухъ и акацій.

¹⁾ Соч., т. III, стр. 448.

²⁾ Тамъ же, стр. 441.

³⁾ Тамъ же, т. I, стр. 273, 274.

XI.

Батюшковъ въ Петербургѣ осенью 1817 года.—Арзамасъ.—Появленіе „Опытовъ“.—Отношенія Батюшкова къ А. С. Пушкину.—Смерть отца.—Хлопоты о поступленіи на дипломатическую службу.—Поѣздка Батюшкова на югъ Россіи; впечатлѣнія Одессы и Ольвіи.—Назначеніе въ Неаполь.—Настроеніе поэта.—Батюшковъ въ Москвѣ.—Возвращеніе его въ Петербургъ.—Отъѣздъ Батюшкова за границу.

„Опыты въ стихахъ и прозѣ“, то-есть, предпринятое Гнѣдичемъ изданіе сочиненій Батюшкова, должны были окончиться печатаніемъ къ осени 1817 года. Къ этому времени и самъ авторъ положилъ пріѣхать въ сѣверную столицу. Петербургъ сталъ непріятенъ Константину Николаевичу съ тѣхъ поръ, какъ онъ испыталъ тамъ цѣлый рядъ самыхъ ѣдкихъ огорченій; онъ могъ заглушить въ себѣ страсть по самому лучшему побужденію, но въ Петербургѣ могли быть люди, которые иначе смотрѣли на его поступокъ; въ особенности тревожило Батюшкова охлажденіе со стороны Олениныхъ, предъ которыми онъ не признавалъ себя виноватымъ, и потому онъ съ недоумѣніемъ спрашивалъ Гнѣдича: за чтѣ они на него въ гнѣвъ?¹⁾ Лѣтомъ 1817 года Константинъ Николаевичъ задумалъ было совершить поѣздку на югъ Россіи, чтобы полѣниться; онъ уже пріѣхалъ съ этою цѣлью изъ деревни въ Москву, но здѣсь его задержали хлопоты по закладу имѣнья, и давно желанное путешествіе было снова отложено. За то въ Москвѣ получилъ онъ наконецъ любезное письмо отъ старика Оленина, который звалъ его въ Петербургъ²⁾. Обрадованный и успокоенный этою вѣстью, Константинъ Николаевичъ рѣшился воспользоваться приглашеніемъ при первой возможности: она представилась въ ближайшемъ августѣ.

Батюшковъ нашелъ въ Петербургѣ большую часть близкихъ

¹⁾ Соч., т. III, стр. 393, 417.

²⁾ Тамъ же, стр. 444, 445.

ему людей: Е. О. Муравьева пожелала, чтобъ онъ поселился у нея¹⁾; Карамзины, переѣхавшіе за годъ передъ тѣмъ въ Петербургъ и жившіе въ ея домѣ, и Оленины встрѣтили Константина Николаевича съ прежнею лаской и вниманіемъ; Алексѣй Николаевичъ даже зачислилъ его снова на службу при Библіотекѣ, съ званіемъ почетнаго библіотекаря²⁾. Болѣе молодые пріятели—Жуковский, Тургеневы, Блудовъ, Уваровъ, Дашковъ — съ радостью ввели его въ свой кружокъ, который еще въ 1815 году организовался подъ именемъ Арзамаса. Еще при самомъ основаніи этого дружескаго литературнаго общества Батюшковъ былъ включенъ въ его составъ подъ именемъ Ахилла, но только 27-го августа 1817 года онъ въ первый разъ присутствовалъ въ засѣданіи Арзамаса, происходившемъ у А. И. Тургенева³⁾.

Арзамасъ пользуется почетною извѣстностью въ преданіяхъ нашего общества и литературы; было даже высказано мнѣніе, что подъ его вліяніемъ писались въ то время стихи лучшихъ нашихъ поэтовъ, что его вліяніе отразилось, можетъ быть, на иныхъ страницахъ „Исторіи“ Карамзина⁴⁾. Но чѣмъ болѣе накопляется свѣдѣній объ этомъ пріятельскомъ литературномъ кружкѣ, тѣмъ очевиднѣе выясняется слабое дѣйствіе его на умственное движеніе своего времени. Не подлежитъ, конечно, сомнѣнію, что члены Арзамаса, и въ особенности главные его дѣятели, были люди очень умные, очень даровитые, прекрасно образованные, съ развитымъ вкусомъ, съ искреннею любовью къ словесности и просвѣщенію, съ желаніемъ общей пользы; но случайное происхожденіе этого литературнаго братства и

¹⁾ Соч., т. III, стр. 464.

²⁾ Архивъ Императорской Публичной Библіотеки: дѣло о службѣ въ ней Батюшкова; назначеніе его почетнымъ библіотекаремъ состоялось въ ноябрѣ 1817 года.

³⁾ Соч., т. III, стр. 465.

⁴⁾ Литературныя воспоминанія, А. В. (гр. С. С. Уварова)—Современникъ 1851 г., т. XXVII, стр. 38. Ср. характеристику Арзамаса въ сочиненіи Е. П. Ковалевскаго: Графъ Блудовъ и его время. Изд. 2-е, стр. 110—116.

отсутствіе всякой опредѣленной цѣли при его основаніи, а затѣмъ еще болѣе случайное и безцѣльное расширеніе его состава, были коренными причинами незначительной дѣятельности кружка и его скорого распада. Говорятъ, что направленіе Арзамаса было преимущественно критическое, что „лица, составлявшія его, занимались строгимъ разборомъ литературныхъ произведеній, примѣненіемъ къ языку и словесности отечественной всѣхъ источниковъ древней и иностранныхъ литературъ, изысканіемъ началъ, служащихъ основаніемъ твердой, самостоятельной теоріи языка и проч.“ Быть можетъ,—но къ сожалѣнію, въ нашей литературѣ не осталось слѣдовъ совокупной дѣятельности Арзамасцевъ въ этомъ направленіи; они собирались что-то дѣлать, но ничего не сдѣлали сообща; а что сдѣлано нѣкоторыми изъ нихъ порознь, того нельзя ставить въ общую заслугу всему кружку. Попытка предпринять періодическое изданіе отъ имени Арзамаса не состоялась, и совѣщанія объ этомъ предпріятіи всего яснѣе обнаружили, что во взглядахъ членовъ кружка далеко не было единства.

Отношенія Батюшкова къ Арзамасу очень характерны для нашего поэта. Еще въ концѣ 1815 года, въ бытность свою въ Каменцѣ, онъ узналъ объ основаніи Арзамасскаго общества и тогда же выразилъ готовность прислать „свои марамя въ прозѣ“ для изданія въ сборникѣ, который, какъ надѣлся Батюшковъ, будетъ предпринятъ Арзамасцами. Онъ вполне сочувствовалъ литературному направленію ихъ, какъ послѣдователей Карамзина, и ожидалъ отъ нихъ дѣятельнаго участія въ литературномъ движеніи: когда, въ началѣ 1816 года, Вяземскій поѣхалъ въ Петербургъ, Батюшковъ поручилъ ему уговаривать Жуковского взяться за изданіе журнала, а нѣсколько мѣсяцевъ спустя, самъ писалъ о томъ же Василю Андреевичу и предлагалъ свое сотрудничество ¹⁾. Еще позже, уже въ срединѣ 1817 года,

¹⁾ Соч., т. III, стр. 358, 359, 382, 404.

послѣ того, какъ Вяземскій сообщилъ ему свои впечатлѣнія изъ вторичной поѣздки въ сѣверную столицу, Константинъ Николаевичъ отвѣчалъ ему слѣдующими строками, изъ которыхъ видно, какъ цѣнилъ онъ людей, принадлежащихъ къ составу Арзамаса: „Благодарю за извѣстія твои о Петербургѣ и радуюсь, что ты укралъ у Фортуны нѣсколько пріятныхъ минутъ и отдохнулъ съ людьми, ибо это, право,—люди: Блудовъ, столь острый и образованный; Тургеневъ, у котораго доброты достаточно на двухъ и какого-то аттицизма, весьма пріятнаго и оригинальнаго, человекъ на десять; Сѣверинъ, дѣятельный и дѣльный въ такія нѣжныя лѣта; Орловъ, у котораго — рѣдкій случай!—умъ забрался въ тѣло, достойное Фидіаса, и Жуковский, исполненный счастливейшихъ качествъ ума и сердца, ходячій талантъ“¹⁾. Но время шло, а Арзамасцы все только собирались приняться за дѣло. Сборникъ, задуманный ими въ началѣ 1816 года подъ заглавіемъ: „Отрывки, найденные въ Арзамасѣ“, не состоялся²⁾. Печатаніе „Опытовъ“ Батюшкова уже было начато въ Петербургѣ, когда онъ, живя въ деревнѣ, получилъ наконецъ отъ Жуковскаго приглашеніе принять участіе въ изданіи, затѣянномъ имъ и другими Арзамасцами. Не имѣя у себя въ запасѣ ничего готоваго, Константинъ Николаевичъ принужденъ былъ отвѣчать, что въ настоящую минуту „ничего не можетъ удѣлить изъ своего сокровища“, но разумѣется,

¹⁾ Соч., т. III, стр. 451; о поѣздкѣ кн. П. А. Вяземскаго въ Петербургъ въ маѣ 1817 г. см. въ Письмахъ Карамзина къ Дмитріеву, стр. 214.

²⁾ Въ бумагахъ Жуковскаго, хранящихся въ Имп. Публ. Библіотекѣ, находится написанный Д. Н. Блудовымъ перечень произведеній въ стихахъ и прозѣ, предназначенныхъ для помѣщенія въ этомъ сборникѣ; подъ перечнемъ находятся подписи слѣдующихъ членовъ Арзамаса: Громобоя (С. П. Жихарева), Армянина (Д. В. Давыдова), Вотъ я васъ! опять! (В. Л. Пушкина), Свѣтланы (В. А. Жуковскаго), Статнаго Лебеда (?), Асмодея (кн. П. А. Вяземскаго) и Кассандры (Д. Н. Блудова). Присутствіе В. Л. Пушкина и кн. Вяземскаго въ засѣданіи Арзамаса, гдѣ составленъ этотъ перечень, указываетъ на время его составленія: оба они пріѣзжали въ Петербургъ въ началѣ 1816 года (Соч. Батюшкова, т. II, стр. 518).

обѣщалъ прислать стиховъ, если „что впредь будетъ“¹⁾. Въ первой половинѣ 1817 года Жуковскій вновь составилъ планъ арзамасскаго сборника или альманаха; онъ долженъ былъ выйти въ видѣ двухъ книжекъ: въ одной предполагалось помѣстить оригинальныя статьи въ прозѣ и стихи, написанныя нѣкоторыми изъ Арзамасцевъ; другая должна была заключать въ себѣ переводы изъ нѣмецкихъ писателей. Въ числѣ сотрудниковъ имѣлся въ виду и Константинъ Николаевичъ²⁾. Планъ этого изданія, о которомъ онъ узналъ изъ письма Вяземскаго, не понравился ему, какъ не полюбился и его корреспонденту. Увлеченный въ то время итальянскими поэтами и ихъ красотою „истинно классическими“, Батюшковъ остался недоволенъ тѣмъ предпочтеніемъ, которое въ предполагаемомъ сборникѣ было дано германской литературѣ. „Я согласенъ съ тобою на счетъ Жуковскаго“, писалъ онъ Вяземскому.— „Къ чему переводы нѣмецкіе? Добро—философовъ. Но ихъ-то у насъ читать и не будутъ. Что касается до литературы ихъ, собственно литературы, то я начинаю презирать ее. (Не сказывай этого!) У нихъ все каряченье и судороги! Право, хорошаго не много!“³⁾ О нѣмецкихъ симпатіяхъ Жуковскаго и объ его исключительныхъ почитателяхъ между Арзамасцами еще рѣзче высказывался Батюшковъ въ письмѣ къ Гнѣдичу по поводу выраженного послѣднимъ въ печати строгаго осужденія балладамъ: „Твое замѣчаніе справедливо: баллады (Жуковскаго) прелестны, но балладами не долженъ себя ограничивать талантъ рѣдкій въ Европѣ. Хвалы и друзья неумѣренные заводятъ въ лѣсъ, во тьму. Каждаго Арзамасца порознь люблю, но всѣ они вкупѣ, какъ и всѣ общества, бредятъ, карячатся и вредятъ“⁴⁾. Такимъ

¹⁾ Соч., т. III, стр. 427.

²⁾ Соч. Жуковскаго, изд. 7-е., т. VI, стр. 439—443.

³⁾ Соч., т. III, стр. 427.

⁴⁾ Тамъ же, стр. 416; относительно мнѣнія Гнѣдича о балладахъ см. въ примѣчаніяхъ т. III Соч. Бат., стр. 728, 729.

образомъ, сохраняя самое дружеское расположеніе и уваженіе къ членамъ Арзамасскаго кружка, Батюшковъ не поступался предъ ними независимостью своихъ литературныхъ мнѣній и не скрывалъ, что ожидаетъ отъ нихъ болѣе широкой и серьезной дѣятельности, чѣмъ сколько они обнаружили до сихъ поръ. Осуждая планъ альманаха, задуманнаго Жуковскимъ, онъ говорилъ Вяземскому еще слѣдующее: „Не лучше ли посвятить лучшіе годы жизни чему-нибудь полезному, то-есть, таланту, чудесному таланту, или, какъ ты говоришь, писать журналъ полезный, пріятный, философскій? Правда, для этого надобно ему (Жуковскому) переродиться. У него голова вовсе не дѣятельная. Онъ все въ воображеніи. А для журнала такого, какъ ты предполагаешь, нуженъ спокойный духъ Аддисона, его взоръ, его опытность, и скажу болѣе, нужна вся Англія, то-есть, земля философіи практической, а въ нашей благословенной Россіи можно только упиваться виномъ и воображеніемъ: по крайней мѣрѣ до сихъ поръ такъ“¹⁾).

Таковы были отношенія Батюшкова къ Арзамасу до его пріѣзда въ Петербургъ въ августъ 1817 года. Хотя и не все въ жизни этого кружка вполне удовлетворяло нашего поэта, тѣмъ не менѣе встрѣча съ Арзамасцами доставила ему большое удовольствіе. Особенно радъ онъ былъ видѣть Жуковскаго, стараго друга, который сталъ ему еще дороже съ тѣхъ поръ, какъ проявилъ свое горячее и безкорыстное участіе въ дни упадка духа въ нашемъ поэтѣ. Еще изъ деревни, лѣтомъ 1817 года, Константинъ Николаевичъ писалъ ему: „Мы съ тобою такъ давно не видались. Съ тѣхъ поръ мы такъ состарѣлись, что наше свиданіе—въ сторону радость!—право, интересно. И на автора Жуковскаго хотѣлось бы взглянуть, и на этого добраго пріятеля, которому я обязанъ лучшими вечерами въ жизни моей! Автора я тотчасъ въ сторону, а выложи мнѣ

¹⁾ Соч., т. III, стр. 428.

Василья, котораго я всегда любилъ. Я все тотъ же: меня ничто не баловало. Посмотрю на тебя! Во всѣхъ отношеніяхъ свиданіе съ тобою—для меня урокъ и радость“¹⁾. И эту радость Батюшковъ испыталъ тотчасъ по пріѣздѣ; письма его къ Вяземскому изъ Петербурга заключаютъ нѣсколько сочувственныхъ отзывовъ объ общемъ другѣ: „Онъ очень милъ... Онъ пишетъ и, кажется, писать будетъ: я его электризую какъ можно болѣе и разъярю на поэму. Онъ мнѣ читалъ много поваго — для меня, по крайней мѣрѣ. Я наслаждаюсь имъ. Крайне сожалею, что тебя нѣтъ съ нами“.

Самыя собранія Арзамаса произвели на Батюшкова очень пріятное впечатлѣніе. Онъ не могъ не видѣть, что при всей несерьезности этихъ сходокъ, онѣ содѣйствовали скрѣпленію дружескихъ и литературныхъ связей между людьми, несомнѣнно даровитыми и истинно просвѣщенными. „Въ Арзамасѣ весело“, писалъ онъ Вяземскому. Но въ то же время Константина Николаевича не покидала мысль, что Арзамасцамъ грѣшно ограничиваться однимъ веселымъ препровожденіемъ времени, а слѣдуетъ непремѣнно приняться за общепольное дѣло; оттого-то онъ и жаловался въ письмѣ къ своему московскому корреспонденту: „Говорятъ: станемъ трудиться, и никто ничего не дѣлаетъ“²⁾. Въ числѣ арзамасскихъ документовъ, сохранившихся въ бумагахъ Жуковскаго³⁾, есть одинъ, указывающій, что Батюшковъ внесъ на обсужденіе Арзамаса какое-то свое „предложеніе“; содержаніе этого предложенія остается не извѣстнымъ; но, судя потому, что въ исходѣ 1817 года въ Арзамасскомъ кружкѣ пошли усиленные толки объ основаніи журнала, можно догадываться, что предложеніе Батюшкова относилось къ этому предпріятію или по крайней мѣрѣ стояло въ связи съ нимъ. Изъ тѣхъ же документовъ можно заключить, что жур-

¹⁾ Соч., т. III, стр. 448.

²⁾ Тамъ же, стр. 466.

³⁾ Въ Имп. Публ. Библіотекѣ.

налъ предполагался съ широкою программой: имѣлось въ виду помѣщать въ немъ не только произведенія чисто литературныя, но и статьи касательно современной политики; сотрудничать по этому отдѣлу вызывались Н. И. Тургеневъ и М. Ѳ. Орловъ, особенно сильно убѣждавшій другихъ Арзамасцевъ „оставить свои ребяческія забавы и обратиться къ предметамъ серьезнымъ и высокимъ“ ¹⁾. Мы уже видѣли, что такого журнала требовалъ отъ Арзамаса и князь Вяземскій, и что Батюшковъ сочувствовалъ этой мысли. Нашъ поэтъ обѣщалъ, съ своей стороны, доставить для арзамасскаго журнала очерки изъ области италіанской литературы, которою много занимался въ послѣднее время, именно этюды о Дантѣ и Альфіери. Для того же журнала была предназначена статья „О греческой Антологіи“, написанная однимъ изъ самыхъ образованныхъ Арзамасцевъ, С. С. Уваровымъ, и украшенная превосходными переводами Батюшкова. Но періодическое изданіе отъ лица Арзамаса не состоялось, и только статья объ Антологіи была напечатана отдѣльною брошюрой, и то три года спустя.

Въ октябрѣ 1817 года наконецъ вышли въ свѣтъ „Опыты въ стихахъ и прозѣ“ Батюшкова. Печатаніе „Опытовъ“ продолжалось цѣлый годъ, и если среди приготовленія ихъ къ изданію поэтъ переживалъ счастливые часы творческаго вдохновенія, то вмѣстѣ съ тѣмъ испытывалъ тревожныя сомнѣнія въ успѣхѣ. „Чувствую, вижу, но не смѣю сказать, какъ страшно печатать!“ писалъ Батюшковъ Гнѣдичу въ мартѣ 1817 года.— „Это или воскресить меня, или убьетъ вовсе мою охоту писать. Я не боюсь критики, но боюсь несправедливости, признаюсь тебѣ, даже боюсь холоднаго презрѣнія. Ты знаешь меня, бѣгалъ ли я за похвалами? Но знаешь меня: люблю славу. И теперь, полуразрушенный, далъ бы всю жизнь мою съ тѣмъ, чтобы написать что-нибудь путное! Впрочемъ, неужели

¹⁾ N. Tourguenef. La Russie et les Russes. Bruxelles. 1847, t. I, p. 126.

мнѣ суждено быть неудачливымъ во всемъ?“ ¹⁾ Мучительная пытка для самолюбія Батюшкова росла все сильнѣе по мѣрѣ того, какъ печатаніе „Опытовъ“ близилось къ концу. Въ іюнѣ 1817 года Константинъ Николаевичъ съ непритворнымъ смущеніемъ писалъ Жуковскому: „Что скажешь о моей прозѣ? Съ ужасомъ дѣлаю этотъ вопросъ. Зачѣмъ я вздумалъ это печатать? Чувствую, знаю, что много дряни; самые стихи, которые мнѣ стоили столько, меня мучать. Но могло ли быть лучше? Какую жизнь я велъ для стиховъ? Три войны, все на конѣ и въ мирѣ на большой дорогѣ. Спрашиваю себя: въ такой бурной, непостоянной жизни можно ли написать что-нибудь совершенное? Совѣсть отвѣчаетъ: нѣтъ! Такъ зачѣмъ же печатать? Бѣда, конечно, не велика: побранять и забудутъ. Но эта мысль для меня убійственна, убійственна, ибо я люблю славу и желалъ бы заслужить ее, вырвать изъ рукъ Фортуны не великую славу, нѣтъ, а ту маленькую, которую доставляютъ намъ и бездѣлки, когда онѣ совершенны. Если Богъ позволить предпринять другое изданіе, то я все переправлю; можетъ быть, напишу что-нибудь новое...“ ²⁾ Эти сомнѣнія и колебанія, эти мучительные переходы отъ гордаго признанія своихъ творческихъ силъ къ самобичеванію и къ наивному оправданію своихъ ошибокъ свойственны вообще художественнымъ натурамъ; но тягость ихъ для Батюшкова особенно усиливалась тѣмъ, съ одной стороны, что онъ вообще не обладалъ спокойною энергіей характера, а съ другой—трудностью самой задачи, которую онъ преслѣдовалъ въ искусствѣ: не должно забывать, что онъ былъ однимъ изъ начинателей въ области русской художественной поэзіи, что для интимной лирики онъ почти не имѣлъ русскихъ образцовъ, и что вкусъ русскихъ читателей еще не былъ воспитанъ для пониманія созданій свободнаго творчества. Опасенія

¹⁾ Соч., т. III, стр. 424, 425.

²⁾ Тамъ же, стр. 447, 448.

Батюшкова пройти не замѣченнымъ и не оцѣненнымъ, очевидно, имѣли свои основанія и до нѣкоторой степени оправдывались тѣмъ приѣмомъ, который встрѣчали до сихъ поръ его произведенія, по крайней мѣрѣ среди литераторовъ старой школы. Передъ самымъ выходомъ „Опытовъ“ въ нѣкоторыхъ петербургскихъ журналахъ появились о нихъ хвалебныя извѣщенія; эти „необычайныя“ и дѣйствительно безсодержательныя похвалы также въ свою очередь смутили Батюшкова ¹⁾. Но когда сочиненія его уже поступили въ общее обращеніе, въ издававшейся въ Петербургѣ французской газетѣ *Le Conservateur Impartial* ²⁾, была напечатана статья объ „Опытахъ“, которая могла болѣе удовлетворить нашего поэта. Она дѣйствительно довольно мѣтко опредѣляетъ характеръ и направленіе его творчества и, проводя параллель между нимъ и Жуковскимъ, ставитъ ихъ наравнѣ, хотя указываетъ на полное различіе ихъ дарованій ³⁾. Батюшковъ, конечно, зналъ, что авторъ этой не подписанной статьи — Уваровъ, и тѣмъ болѣе долженъ былъ придавать цѣны его сужденію, что еще въ началѣ 1817 года, посылая Гнѣдичу рукопись своего „Умирающаго Тасса“, просилъ его прочесть эту элегію именно Уварову и желалъ знать впечатлѣніе этой піесы „на умъ столь образованный“ ⁴⁾. Уваровъ нашелъ, что это — лучшее произведеніе нашего поэта. Какъ бы въ предчувствіи этихъ заслуженныхъ похвалъ, Батюшковъ украсилъ экземпляръ „Опытовъ“, подаренный имъ Сергѣю Семеновичу, своимъ извѣстнымъ посланіемъ къ нему ⁵⁾. Съ своей стороны, Уваровъ, вызывая потомъ Батюшкова на переводы изъ греческой Анто-

¹⁾ Соч., т. III, стр. 459. Статья, вызвавшая смущеніе Батюшкова, была написана В. И. Козловымъ и помѣщена въ Русскомъ Инвалидѣ 1817 г., № 156. См. о ней въ примѣчаніяхъ къ т. III Соч. Бат., стр. 746 и 747.

²⁾ 1817 г., № 83.

³⁾ Соч., т. III, стр. 748, 749.

⁴⁾ Тамъ же, стр. 439.

⁵⁾ Тамъ же, т. I, стр. 277, 278.

логія, тѣмъ самымъ подтвердилъ еще разъ, что вѣрно понялъ его творческую способность постигать и художественно воспроизводить черты античнаго міросозерцанія. Статья Уварова была однако единственнымъ печатнымъ отзывомъ о сочиненіяхъ Константина Николаевича, гдѣ критикъ оказался на высотѣ пониманія своего предмета. Предчувствіе Батюшкова какъ бы оправдывалось: его произведенія нашли себѣ отдѣльныхъ цѣнителей, но не произвели сильнаго впечатлѣнія на большинство читателей; они имѣли успѣхъ почетный, но не увлекли толпы ¹⁾).

Въ числѣ немногихъ горячихъ поклонниковъ Батюшкова оказался однако тотъ гениальный юноша, чье имя вскорѣ дол-

¹⁾ Общественное вниманіе къ Батюшкову, какъ писателю, выразилось только избраніемъ его, въ апрѣлѣ 1818 г., въ почетные члены Вольнаго Общества любителей россійской словесности (см. Соревнователь просвѣщенія и благотворенія 1819 г., № VII, стр. 120, и 1823 г., № XII, стр. 306). Съ весны 1817 г. онъ уже состоялъ членомъ Казанскаго Общества любителей словесности (Соч., т. II, стр. 367, и т. III, стр. 461). Небольшіе отзывы объ „Опытахъ“ Батюшкова, хвалебные, но безсодержательные, появились въ Сынѣ Отечества 1817 г., ч. 39, № 27, и ч. 41, № 41 (статья А. Е. Измайлова) и 1818 г., ч. 43, № 1, стр. 11—12 (статья Н. И. Греча); въ Русскомъ Вѣстникѣ 1817 г., № 15 и 16, стр. 97—100 (статья С. Н. Глинки). Въ Вѣстникѣ Европы 1817 г., ч. 96, № 23 и 24, стр. 204—208, представленъ былъ сокращенный переводъ статьи Уварова изъ *Conservateur Impartial*. Въ доказательство тому, что произведенія Батюшкова были оцѣнены по достоинству далеко не всѣми даже въ литературныхъ кругахъ его времени, можно указать на сужденія А. А. Бестужева и А. Θ. Воейкова. О мнѣніи перваго, выраженномъ въ частномъ письмѣ, мы знаемъ впрочемъ только по возраженію на него А. С. Пушкина (Соч., изд. 8-е, т. VII, стр. 169). Что же касается А. Θ. Воейкова, то въ печати, въ отрывкахъ изъ дидактической поэмы „Искусства и науки“ (Сынъ Отечества 1820 г., ч. 64, № 37, стр. 191), онъ превозносилъ Батюшкова напыщенными восхваленіями, а въ частныхъ отзывахъ значительно умѣрялъ эти панегирики; вотъ напримѣръ, какъ онъ проводитъ паралель между нашимъ поэтомъ и Жуковскимъ въ письмѣ къ Н. А. Маркевичу: „Неужели вы не для шутки сравниваете Жуковского съ Батюшковымъ? Послѣдній—очень пріятный писатель, исправнѣ въ слогѣ, осторожнѣ, ровнѣ, но далеко отъ Жуковского—сильнаго, смѣлаго, огненнаго, котораго стихи сладки какъ музыка и исполнены чувствъ небесныхъ“ (Москвитинъ 1853 г., № 12, стр. 13). Мысль, что поэзія Батюшкова гораздо бѣднѣе содержаніемъ, чѣмъ поэзія Жуковского, была впоследствии высказываема не только Н. А. Полевымъ, но и Бѣлинскимъ (Соч., т. VI, стр. 49). Мы уже привели выше вѣрныя замѣчанія П. А. Плетнева о заслугахъ Батюшкова въ обработкѣ русскаго стиха.

жно было стать дорогимъ всякому грамотному русскому чело-
вѣку. Еще съ 1814 года, на страницахъ сперва московскихъ,
а потомъ и петербургскихъ журналовъ, стали появляться, подъ
сокращенною или цифрою подписью, первые юношескіе опыты
лицейста Александра Пушкина. Въ этихъ стихотвореніяхъ Ба-
тюшковъ могъ нерѣдко узнавать подражанія себѣ; одна же изъ
піесъ, напечатанная въ Россійскомъ Музеумѣ 1815 года, а
написанная несомнѣнно въ предшествующемъ¹⁾, когда ея автору
было всего пятнадцать лѣтъ, представляла собою посланіе къ
Константину Николаевичу. Авторъ посланія обращается къ на-
шему поэту съ вопросомъ: почему умолкъ „философъ рѣзвый“,
„радости пѣвецъ“, и вызываетъ его обратиться къ прежнимъ
предметамъ его вдохновенія — веселой любви и наслажденію,
или воспѣвать, вмѣстѣ съ Жуковскимъ, „кровавую брань“, или
наконецъ, вооружиться „сатиры жаломъ“ противъ „безсмыслен-
ныхъ поэтовъ“. Весьма возможно, что это стихотвореніе по-
служило поводомъ къ личному знакомству Батюшкова съ мо-
лодымъ авторомъ; сыномъ и племянникомъ лицъ, давно ему из-
вѣстныхъ. Во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что встрѣча эта со-
стоялась не позже, какъ въ началѣ 1815 года²⁾. Батюшковъ,
который въ то время уже рѣшился измѣнить эпикурейское на-
правленіе своей поэзіи и настаивалъ на томъ, чтобы Жуков-
скій занялся поэмою о Владимірѣ Святѣ, подалъ и юношѣ
Пушкину совѣтъ посвятить свой талантъ важной эпопее. Сви-
дѣтельство о томъ сохранилъ намъ самъ Пушкинъ во второмъ
своемъ посланіи къ Батюшкову, относящемся къ 1815 году:

¹⁾ Посланіе это появилось въ январской книжкѣ Росс. Музеума за 1815 г.,
подъ заглавіемъ: „Къ Б—ву“ и съ подписью: 1... 14—16.

²⁾ 27-го марта 1816 года А. С. Пушкинъ писалъ кн. Вяземскому: „Обня-
мите Батюшкова за того больнаго, у котораго, годъ тому назадъ, завоевалъ онъ
Бову-королевича“ (Соч. А. С. Пушкина, изд. 8-е, т. VII, стр. 3-я). Годъ тому
назадъ — значитъ, въ началѣ 1815 года: Батюшковъ оставилъ Петербургъ въ
февралѣ этого года (Соч., т. III, стр. 309, 310).

А ты, пѣвецъ забавы
И другъ пермесскихъ дѣвъ,
Ты хочешь, чтобы славы
Стезю полетѣвъ,
Простясь съ Анакреономъ,
Спѣшилъ я за Марономъ
И пѣлъ при звукахъ лиръ
Войны кровавый пиръ.

Но молодой поэтъ, съ тою искренностью, которая всегда отличала его чудное дарованіе, отклонилъ данный совѣтъ и отвѣчалъ:

Дано мнѣ мало Фебомъ:
Охота—скудный даръ;
Пою подъ чуждымъ небомъ,
Вдали домашнихъ ларъ,
И съ дерзостнымъ Икаромъ
Страшась летать, не даромъ
Бреду своимъ путемъ:
„Будь всякій при своемъ“ ¹⁾.

Послѣднимъ стихомъ этого посланія, взятымъ у Жуковского ²⁾, Пушкинъ указалъ, что всякой надуманной задачѣ онъ предпочитаетъ свободное право сохранить за собою лишь ту поэтическую область, которая одна привлекала въ то время его воображеніе. Батюшковъ, конечно, оцѣнилъ по справедливости это стремленіе молодаго поэта дать своему дарованію самобытное развитіе; онъ и самъ заботился о томъ съ первыхъ лѣтъ своей поэтической дѣятельности, а теперь, когда талантъ его достигъ зрѣлости, онъ прямо говорилъ, какъ бы повторяя слова Пушкина: „Ни за кѣмъ не брожу; иду своимъ

¹⁾ Соч. Пушкина, изд. 8-е, т. I, стр. 84, 85.

²⁾ Изъ посланія его къ Батюшкову, 1812 г. (Соч. Жук., т. I, изд. 7-е, стр. 229):

Будь каждый при своемъ!

Слова Зевса въ разсказѣ, который поэтъ вводитъ въ свое посланіе, о раздѣлѣ земли между людьми, при чемъ въ удѣлъ поэту досталась только область фантазіи.

путем" ¹⁾. Тѣмъ съ большимъ чувствомъ удовольствіенія Константинъ Николаевичъ долженъ былъ находить частныя слѣды своего вліянія и въ дальнѣйшихъ поэтическихъ опытахъ Пушкина. Если эпикурейскимъ міросозерцаніемъ своихъ молодыхъ лѣтъ послѣдній могъ позанимствоваться не отъ одного Батюшкова, то на его изящныхъ образцахъ гениальный юноша учился заострять свою эпиграмму и—что еще важнѣе—вырабатывалъ художественный стихъ своихъ автологическихъ піесъ ²⁾. За эти уроки Пушкинъ навсегда сохранилъ глубокое уваженіе къ поэтическому таланту Батюшкова ³⁾ и даже въ періодъ полного развитія своего собственнаго дарованія признавалъ Константина Николаевича своимъ учителемъ: въ 1828 году одинъ московскій литераторъ, желая имѣть стихи Пушкина въ своемъ альбомѣ, просилъ его объ этомъ; Александръ Сергѣевичъ вписалъ свою піесу „Муза“ (1818 г.) ⁴⁾ и на вопросъ: отчего именно эти стихи пришли ему на память прежде всякихъ другихъ, отвѣчалъ: „Я ихъ люблю: они отзываются стихами Батюшкова“ ⁵⁾.

По пріѣздѣ въ Петербургъ въ 1817 году Константинъ Николаевичъ увидѣлъ Пушкина уже восемнадцатилѣтнимъ молодымъ человѣкомъ, окончившимъ курсъ лицея и принятымъ въ составъ Арзамаса на ряду со своимъ дядей, арзамасскимъ старостой ⁶⁾. „Маленькій Пушкинъ“ становился уже замѣтною величиной среди наиболѣе просвѣщенныхъ дѣятелей словесно-

¹⁾ Соч., т. III, стр. 417 (письмо къ Гнѣдичу отъ февраля 1817 года).

²⁾ Ср. Соч. Бѣлинскаго, т. VIII, стр. 252—255.

³⁾ Соч. Пушкина, изд. 8-е, т. VII, стр. 6 и 169; Девятнадцатый вѣкъ, сборникъ П. И. Бартенева, кн. I, стр. 378.

⁴⁾ „Въ младенчествѣ моемъ она меня любила“ и т. д.

⁵⁾ Альбомныя памяти, Н. Д. Иванчина-Писарева—въ Москвитянинѣ 1842 г., ч. II, стр. 147.

⁶⁾ Батюшковъ и А. Пушкинъ встрѣтились чрезъ нѣсколько дней по прибытіи перваго въ столицу и день 4-го сентября провели вмѣстѣ и въ сообществѣ съ Жуковскимъ и А. А. Плещеевымъ въ Царскомъ Селѣ. Во время этой загородной прогулки всѣ четверо, между прочимъ, сочинили два экспромпта, въ томъ числѣ одинъ, посвященный кн. Вяземскому, который въ то время собирался изъ

сти и цѣнителей искусства. Въ лицѣ его новое литературное поколѣніе, возросшее подъ впечатлѣніями великой борьбы съ Наполеономъ, среди могучаго пробужденія народнаго духа, блестящимъ образомъ выступало на общественное поприще, и выступало прежде, чѣмъ его ближайшіе предшественники успѣли занять безспорно первенствующее положеніе въ современной литературѣ. Самолюбивый Батюшковъ долженъ былъ почувствовать, что на его глазахъ нарождаются новыя художественныя силы, призванныя смѣнить безъ труда или увлечь въ свое теченіе тѣ дарованія, которыя считали себя непосредственными учениками Карамзина и продолжателями его труднаго дѣла въ созданіи русскаго литературнаго языка и художественной словесности. Понятно поэтому, что нѣкоторый оттѣнокъ сопернованія обнаружился въ отношеніяхъ нашего поэта къ тому свѣтлому генію, который появился на горизонтѣ русской словесности и, въ сознаніи своихъ творческихъ силъ, бодро пролагалъ себѣ

Москвы въ Варшаву на службу. Вотъ эти стихотворенія, сохраненныя на одномъ листкѣ, уцѣлѣвшемъ въ бумагахъ Жуковскаго въ Имп. П. Библіотекѣ:

- | | | |
|-----|---|-----------------------------|
| Пл. | { | Писать я не умѣю |
| | { | (Я много уписалъ). |
| П. | { | Я дружбой пламенѣю |
| | { | Я дружбѣ вѣренъ сталъ. |
| Б. | { | Мнѣ дружба замѣняетъ |
| | { | Умершую любовь! |
| Ж. | { | Пусть жизнь намъ измѣняетъ; |
| | { | Что было — будетъ вновь. |

Вяземскому.

- | | | |
|--------|---|-----------------------------|
| Пл. | { | Зачѣмъ, забывши славу, |
| | { | Пускаешься въ Варшаву? |
| П. | { | Уже ль ты измѣнилъ |
| | { | Любви дружбѣ нѣжной |
| | { | И рѣзвости небрежной? |
| Б. . . | { | Но ты все также милъ, |
| | { | Все милъ — и несомнѣнно |
| Ж. | { | Въ душѣ твоей живетъ |
| | { | Все то, что въ цвѣтѣхъ лѣтъ |
| | { | Столь было намъ безцѣнно. |

новый путь, хотя и признавалъ еще себя ученикомъ Батюшкова. На такой характеръ отношеній послѣдняго къ Пушкину намекають нѣкоторыя уцѣлѣвшія о нихъ преданія. Таковъ, напримѣръ, слѣдующій случай, сохраненный воспоминаніями Н. А. Полеваго: „Пушкинъ рассказывалъ о себѣ, что онъ разъ какъ-то, въ началѣ своего поэтического поприща, представилъ Батюшкову стихи одного молодого человѣка, который, по его тогдашнему мнѣнію, оказывалъ удивительное дарованіе. Батюшковъ прочиталъ піесу и, равнодушно возвращая ее Пушкину, сказалъ, что не находитъ въ ней ничего особеннаго. Это изумило Пушкина: онъ старался защитить своего молодого пріятеля и сталъ превозносить необычайную гладкость стиха его. „Да кто теперь не пишетъ гладкихъ стиховъ!“ возразилъ Батюшковъ“ ¹⁾. Еще характернѣе другое преданіе: „Рассказываютъ, что Батюшковъ судорожно сжалъ въ рукахъ листокъ бумаги, на которомъ читалъ (пушкинское) „Посланіе къ Юрьеву“ (1818 года) ²⁾ и проговорилъ: „О, какъ сталъ писать этотъ злодѣй!“ Какъ справедливо замѣчаетъ П. В. Анненковъ, сообщая этотъ рассказъ, „во многихъ стихотвореніяхъ этой эпохи врожденная сила таланта проявлялась у Пушкина сама собою, замѣняя при случаѣ геніальной отгадкой то, чего не могъ еще дать жизненный опытъ начинающему поэту“ ³⁾. Съ своей стороны прибавимъ, что эта отгадка, открывавшая Пушкину путь къ совершенству, была немало облегчена ему упорнымъ трудомъ его ближайшихъ предшественниковъ, и особенно Батюшкова, въ выработкѣ поэтического языка и стиха. Соревнуя молодому поэту, Константинъ Николаевичъ однако тѣмъ самымъ призналъ одинъ изъ первыхъ его великое дарованіе; онъ уже тогда ссылался на „чуткое ухо“ Пушкина, не одобряя, подобно ему,

¹⁾ Библіотека для чтенія 1838 г., т. XXVI, стр. 93 (статья Н. А. Полеваго: „О духовной поэзіи“).

²⁾ „Поклонникъ вѣтренныхъ Лажъ“ и пр.

³⁾ Матеріалы для біографіи А. С. Пушкина, С.-Пб. 1873, стр. 50.

бѣлаго пятистопнаго стиха, выбраннаго Жуковскимъ для перевода „Орлеанской дѣвы“ ¹⁾). Батюшковъ боялся только, чтобъ это богатое дарованіе не было растрчено въ разсѣянной жизни, и восклицалъ: „Да спасутъ его музы и молитвы наши!“ ²⁾ Вскорѣ Константину Николаевичу пришлось познакомиться съ отрывками изъ „Руслана и Людмилы“; молодой Пушкинъ „пишетъ прелестную поэму и зрѣетъ“, отозвался онъ по этому случаю Вяземскому ³⁾. А между тѣмъ поэма Пушкина упразднила собою всѣ давно лелѣянные Батюшковымъ замыслы о подобномъ же произведеніи съ содержаніемъ, взятымъ изъ народныхъ преданій русской старины.

Отправляясь въ Петербургъ, Батюшковъ имѣлъ въ виду разные цѣли: онъ желалъ не только возобновить свои связи съ петербургскими друзьями, но и нѣсколько устроить свое матеріальное положеніе; намѣревался продать свою долю въ материнскомъ наслѣдствѣ и уѣхать либо за границу, либо въ Крымъ, чтобы предпринять тамъ серьезный курсъ лѣченія; поѣздка за границу, именно въ Италію, обусловливалась поступленіемъ въ дипломатическую службу, о чемъ онъ снова сталъ теперь мечтать. Какъ ни странно, но въ одномъ изъ писемъ къ сестрѣ онъ говоритъ даже о возможности женитьбы, только не на той особѣ, которою онъ былъ увлеченъ четыре года тому назадъ. Вѣроятно, дѣло шло о какомъ-нибудь бракѣ по разсудку; но такое предположеніе вскорѣ было оставлено, какъ совершенно несвойственное натурѣ нашего поэта ⁴⁾. Дѣло о продажѣ имѣнія сперва

¹⁾ Соч., т. III, стр. 534, 510; ср. стр. 532. Г. Анненковъ (Матеріалы, стр. 42) приводит отрывокъ изъ пародіи лицейста Пушкина на піесу Жуковского „Тѣньность“, также написанную бѣлыми стихами.

²⁾ Соч., т. III, стр. 534.

³⁾ Тамъ же, стр. 494.

⁴⁾ Соч., т. III, стр. 474. Предполагаемъ, что особа, на возможность брака съ которою намекаетъ тутъ Батюшковъ, есть Олимпіада Петровна Шишкина, родственница графа Д. Н. Блудова. По свѣдѣніямъ, сообщеннымъ Е. П. Ковалевскимъ (Графъ Блудовъ и его время. Изд. 2-е, стр. 135, 136), О. П. Шишкина

пошло было въ Петербургъ на ладъ, но и оно вскорѣ разстроилось, и въ ноябрѣ Константинъ Николаевичъ уже просилъ своихъ родныхъ пріискать ему покупателей въ Вологдѣ ¹⁾. Самъ онъ не предполагалъ пока покидать столицу; но въ концѣ ноября получилъ печальное извѣстіе о кончинѣ отца и поспѣшилъ отправиться на родину. Все его пребываніе тамъ было занято хозяйственными хлопотами и сопряженными съ ними разъѣздами; требовалось спасти имѣніе отца отъ продажи съ публичнаго торга: сверхъ чаянія это удалось Константину Николаевичу, и Даниловское осталось за его малолѣтнимъ братомъ.

Въ январѣ 1818 года Батюшковъ возвратился въ Петербургъ и принялся усиленно хлопотать о поступленіи въ дипломатическій корпусъ. Еще въ сентябрѣ 1817 года, вѣроятно, при содѣйствіи Сѣверина, какъ человека близкаго къ графу И. А. Капо д'Истріа, управлявшему въ то время министерствомъ иностранныхъ дѣлъ, была составлена и подана графу докладная записка о Батюшковѣ. Кромѣ того, Константинъ Николаевичъ уже имѣлъ случай лично познакомиться съ Капо д'Истріа:

„воспитывавшаяся въ Смольномъ монастырѣ, вышла первою съ шифромъ, и потому назначена была фрейлиной къ великой княгинѣ Екатеринѣ Павловнѣ и жила до смерти принца Ольденбургскаго въ Твери съ ея дюрою. Екатерина Павловна въ то время, сдружившись съ Карамзиннымъ, стала заниматься русскою литературой, съ которою была мало знакома; двѣ фрейлины ея, Шипова и Шишкина, помогали ей въ занятіяхъ. Послѣ смерти принца Ольденбургскаго и отъѣзда Екатерины Павловны изъ Россіи, Шишкина перешла къ большому двору и проводила все время у своего троюроднаго брата Дмитрія Николаевича Блудова, гдѣ, въ кругу литераторовъ, развилась въ ней еще болѣе страсть къ литературѣ. Батюшковъ былъ къ ней равнодушенъ, хотя она была нехороша собою. Она напечатала два романа „Скопинъ-Шуйскій“ (С.-Пб. 1835) и „Прокопій Ляпуновъ“ (С.-Пб. 1845) и путешествіе изъ Петербурга въ Крымъ (Замѣтки и воспоминанія русской путешественницы по Россіи въ 1825 году. С.-Пб. 1848), которые въ свое время читались. Олимпиада Петровна Шишкина умерла отъ холеры въ 1854 году, оставивъ по себѣ добрую память. Блудовы любили ее какъ родную сестру. Это была пламенная, чистая, исполненная добра и привязанности къ друзьямъ душа“. Нѣсколько извѣстій объ Ол. П. Шишкиной находится также въ воспоминаніяхъ И. П. Сахарова—Русск. Архивъ 1874 г., кн. I, ст. 964.

¹⁾ Соч., т. III, стр. 478.

этотъ замѣчательный человѣкъ, съ именемъ котораго связаны лучшія страницы нашей дипломатической исторіи Александрова времени, былъ близокъ съ Карамзинымъ; въ домѣ Николая Михайловича и встрѣчался съ нимъ Батюшковъ. Ходатайство за нашего поэта предъ графомъ Капо д'Истріа могъ поддержать и одинъ изъ довѣренныхъ людей послѣдняго, молодой даровитый Румынъ, Ал. Ск. Стурдза: Батюшковъ около этого времени познакомился съ нимъ чрезъ посредство Сѣверина, женившагося на сестрѣ Стурдзы; поводомъ къ знакомству послужила статья Александра Скарлатовича „О любви къ отечеству“, напечатанная въ Журналѣ Человѣколюбиваго общества (1818 г., ч. IV) и понравившаяся Константину Николаевичу. „Кроткая, миловидная наружность Батюшкова“, говоритъ Стурдза въ своихъ воспоминаніяхъ о томъ времени, — „согласовалась съ неподражаемымъ благозвучіемъ его стиховъ, съ пріятностію его плавной и умной прозы. Онъ былъ моложавъ, часто застѣнчивъ, сладкорѣчивъ; въ мягкомъ голосѣ и въ живой, но кроткой бесѣдѣ его слышался какъ бы тихій отголосокъ внутренняго пѣнія. Однако подъ пріятною оболочкою таилась ретивая, пылкая душа, снѣдаемая честолюбіемъ“¹⁾. Дѣйствительно, возможность поступить въ дипломатическую службу пробудила въ Константиנѣ Николаевичѣ честолюбивыя мечты, которыя всегда были ему нечужды, хотя онъ и не любилъ въ томъ сознаваться. Дѣло, однако, тянулось и не приходило къ концу. Въ январѣ 1818 года Батюшковъ писалъ Жуковскому, находившемуся въ Москвѣ съ Царскимъ дворомъ, и просилъ друга добиться отъ Сѣверина хотя бы отказа²⁾. Въ ожиданіи замедлившагося рѣшенія, Батюшковъ положилъ осуществить, наконецъ, поѣздку на югъ Россіи, давно задуманную. Въ половинѣ мая онъ двинулся въ путь, съ

¹⁾ Бесѣда любителей русскаго слова и Арзамасъ въ царствованіе Александра I воспоминанія А. С. Стурдзы въ Москвитинѣ 1851 г., № 21, кн. 1, стр. 15.

²⁾ Соч., т. III, стр. 487, 488.

тѣмъ чтобъ остановиться на нѣкоторое время въ Москвѣ, гдѣ онъ имѣлъ намѣреніе помѣстить брата въ пансіонъ ¹⁾). Задержанный здѣсь этими заботами, Константинъ Николаевичъ получилъ письмо А. И. Тургенева съ совѣтомъ подать прошеніе прямо на Высочайшее имя объ опредѣленіи его на службу въ одно изъ нашихъ посольствъ въ Италіи. Такой совѣтъ показался Батюшкову слишкомъ смѣлымъ, но настоятельныя убѣжденія Жуковского, внезапно явившагося въ Москву изъ Бѣлева, куда онъ уѣзжалъ для свиданія съ родными, поддержали рѣшимость Константина Николаевича; прошеніе, составленное Жуковскимъ, было написано въ слѣдующихъ словахъ ²⁾):

Всемиловѣйшій Государь!

Осмѣливаюсь просить Ваше Императорское Величество обратить милостивое вниманіе на просьбу, которую повергаю къ священнымъ стопамъ Вашимъ.

Употребивъ себя съ молодыхъ моихъ лѣтъ на службу Вамъ и Отечеству, желаю посвятить и остатокъ жизни дѣятельности, достойной гражданина. Въ 1805 году я вступилъ въ штатскую службу секретаремъ при попечителѣ Московскаго учебнаго округа, тайномъ совѣтникѣ Муравьевѣ. Въ 1806 году, въ чинѣ губернскаго секретаря, перешелъ я въ баталіонъ санктпетербургскихъ стрѣлковъ, подъ начальствомъ полковника Верекина находился въ двухъ частныхъ сраженіяхъ подъ Гутштатомъ и въ генеральномъ подъ Гейльсбергомъ, гдѣ раненъ тяжело въ ногу пулею на вылетъ. Въ томъ же году всемиловѣйше переведенъ въ лейбъ-гвардіи егерскій полкъ и съ баталіономъ онаго, въ 1808 и 1809 годахъ, былъ въ Финляндіи въ двухъ сраженіяхъ при Иденсальми и въ Аландской экспедиціи. По окончаніи кампаніи болѣзнь заставила меня взять отставку; но въ 1812 году я снова вошелъ въ службу и принятъ въ Рыльскій пѣхотный полкъ, съ опредѣленіемъ адъютантомъ къ генералъ-лейтенанту Бахмистеву, который, потерявъ ногу при Бородинѣ, откомандировалъ меня къ генералу Раевскому, при которомъ я находился адъютантомъ до самаго вступленія въ Парижъ. За послѣднія дѣла Всемиловѣйше награжденъ переводомъ лейбъ-гвардіи въ Измайловскій полкъ штабсъ-капита-

¹⁾ Тамъ же, стр. 495, 497.

²⁾ Прошеніе это сохранилось въ архивѣ министерства иностранныхъ дѣлъ, въ дѣлѣ о службѣ Батюшкова.

номъ, съ оставленіемъ при прежней должности, и 1815 года находился въ Каменецъ-Подольскѣ при военномъ губернаторѣ Бахметевѣ. Между тѣмъ болѣзнь моя усилилась: безпрестанная боль въ ногѣ и груди наконецъ принудила меня вторично отказаться отъ военной службы, которой я посвятилъ лучшіе годы жизни, въ которой если не талантами, то по крайней мѣрѣ усердіемъ простаго воина надѣялся со временемъ заслужить лестное одобреніе Монарха, подъ знаменами котораго имѣлъ счастье пролить кровь мою. По прошенію моему былъ я переведенъ чиномъ коллежскаго ассессора къ статскимъ дѣламъ и теперь, лишенный печальною необходимостью счастья продолжать такую службу, къ которой доселѣ привязывала меня склонность, желаю по крайней мѣрѣ посвятить себя такому званію, въ которомъ бы я могъ съ нѣкоторою пользою для Отечества употребить не многія мои свѣдѣнія и способности, желаю быть причисленъ къ министерству иностранныхъ дѣлъ и назначенъ къ одной изъ миссій въ Италію, которой климатъ необходимъ для возстановленія моего здоровья, разстроеннаго раною и труднымъ Финляндскимъ походомъ. Смѣло приношу просьбу мою къ престолу Монарха, всегда благосклоннымъ участіемъ одобряющаго въ своихъ подданныхъ стремленіе къ пользѣ Отечества.

Всемилоствѣйшій Государь!
Вашего Императорскаго Величества
вѣрнопопдаанный Константинъ Батюшковъ.

Іюня „ “ дня
1818 года.

Это прошеніе было отправлено къ Тургеневу, а самъ Константинъ Николаевичъ поѣхалъ, въ половинѣ іюня, въ Одессу, съ тѣмъ чтобы возвратиться въ Петербургъ по первому вызову Александра Ивановича ¹⁾).

Пребываніе Батюшкова на югѣ Россіи произвело на него самое свѣтлое впечатлѣніе. Онъ поселился въ Одессѣ у своего каменецкаго знакомаго, графа К. Фр. Сень-При, который занималъ теперь должность Херсонскаго губернатора. „Онъ ко мнѣ ласковъ по старому“, писалъ Константинъ Николаевичъ своей теткѣ, — „и все дѣлаетъ, чтобы развеселить меня: возить по городу, въ италіянскій театръ, который мнѣ очень нравится, къ иностранцамъ, за городъ на дачи. Одесса — чудесный городъ, состав-

¹⁾ Соч., т. III, стр. 500—503.

ленный изъ всѣхъ націй въ мірѣ, и наводненъ Италіянцами. Италіянцы пилятъ камни и мостятъ улицы: такъ ихъ много! Коммерція его создала и питаетъ“¹⁾). Батюшковъ восхищался обычаями южной жизни, моремъ, природой и солнцемъ юга. „Жара здѣсь, говорятъ, несносная отъ полудня до самаго вечера“, писалъ онъ.— „Я не могу пожаловаться, и часто, какъ Гораций, гуляю по солнцу; особенно люблю *sulla placida marina la fresca'aura respirar*, и Сень-При, у котораго живу, не можетъ надивиться способности моей гулять во всякое время— и утромъ, и въ зной, и ночью“²⁾). Съ обществомъ одесскимъ Батюшковъ могъ познакомиться только вскользь; однако бывалъ у извѣстной своимъ умомъ, талантами и красотой княгини З. А. Волконской и посѣщалъ аббата Николѣя, который въ то время завѣдывалъ Ришельевскимъ лицеемъ. Эффектная обстановка этого заведенія, данная ему умнымъ Никодемъ, соблазнила нашего поэта, и въ одномъ изъ писемъ своихъ къ Тургеневу онъ съ большою похвалою отзывался о лицѣ, не задаваясь мыслію о послѣдствіяхъ введенной тамъ іезуитской системы образованія³⁾). Изъ Одессы Батюшковъ ѣздилъ въ извѣстное мѣстечко Порутино, гдѣ находятся развалены древней Ольвіи. Его издавна занимала мысль о тѣхъ связяхъ, которыя могутъ непосредственно соединять древнія судьбы Русской земли съ классическимъ міромъ. Къ рѣшенію этого вопроса онъ, конечно, не пытался подойти съ научной стороны; но еще въ 1810 году, когда вздумалъ написать повѣсть на сюжетъ изъ періода древней русской исторіи „Предслава и Добрыня“, онъ не затруднился отождествить сказочный образъ Царь-дѣвицы съ скиѣскими амазонками, о которыхъ повѣствуетъ Геродотъ⁴⁾). Те-

¹⁾ Соч., т. III, стр. 512, 513.

²⁾ Тамъ же, стр. 517.

³⁾ Тамъ же, стр. 515, 517, 520, 527—529.

⁴⁾ Тамъ же, т. II, стр. 51; ср. стр. 398.

перъ видъ развалинъ Ольвіи пробудилъ въ Константинѣ Николаевичѣ воспоминанія о тѣхъ древнихъ временахъ, когда на берегахъ Чернаго моря процвѣтали греческія колоніи, и о послѣдующихъ, когда Святославъ ходилъ на Византію, и онъ сожалѣлъ, что Карамзинъ и Ермолаевъ—историкъ и археологъ—не побывали въ этихъ достопамятныхъ мѣстностяхъ. То же повторилъ онъ и въ письмѣ къ Оленину: „Будучи въ Ольвіи, я сожалѣлъ, что вы, милостивый государь, не посѣтили сего края: берега Чернаго моря—берега, исполненные воспоминаній, и каждый шагъ важенъ для любителя исторіи и отечества. Здѣсь жили Греки, здѣсь бились Суворовъ и Святославъ.... Греки умѣли выбирать мѣста для колоній своихъ, и роскошные соотечественники Аспазіи могли не жалѣть здѣсь о берегахъ своего Милета“ ¹⁾. Встрѣча въ Одессѣ съ И. М. Муравьевымъ-Апостоломъ, который, какъ самъ говорилъ, „страстно“ любилъ этотъ городъ и въ то время уже подготовлялся чтеніемъ классиковъ и ученыхъ изслѣдованій къ своему знаменитому путешествію въ Тавриду ²⁾, укрѣпила въ Батюшковѣ интересъ къ древней исторіи Новороссійскаго края; быть можетъ, изъ бесѣдъ съ Муравьевымъ впервые познакомился онъ съ судьбами древней Ольвіи, которымъ Муравьевъ вскорѣ посвятилъ такія занимательныя страницы въ описаніи своего путешествія. На югѣ Геродотъ и Карамзинъ не выходили изъ рукъ Константина Николаевича; онъ пріобрѣлъ кое-какія древности для Оленина, набросалъ замѣтки объ Ольвіи, снялъ планъ съ урочища и срисовалъ нѣкоторые виды: „принялся усердно“, писалъ онъ Гнѣдичу, — „и доволенъ собою: не ожидалъ въ себѣ такой рыси; всѣмъ надоѣлъ здѣсь медалями и вопросами объ Ольвіи“ ³⁾. Всѣ эти занятія не могли не оставить слѣда

¹⁾ Соч., т. III, стр. 520.

²⁾ Муравьевъ-Апостолъ. Путешествіе въ Тавриду. С.-Пб. 1823, стр. 2, и предисловіе, стр. VIII.

³⁾ Соч., т. III, стр. 522; ср. также стр. 515, 517 и 518.

въ воображеніи поэта: еще передъ отъѣздомъ изъ Одессы онъ просилъ Гнѣдича письмомъ приготовить ему точный переводъ одного изъ хоровъ Эврипидовой „Ифигеніи въ Тавридѣ“, который намѣревался переложить въ русскіе стихи ¹⁾).

Купанье въ морѣ мало поправило здоровье Константина Николаевича; одесскіе врачи совѣтовали ему отправиться въ Евпаторію, безъ сомнѣнія, для лѣченія сакскими грязями; но письмо отъ Тургенева, полученное 29-го іюля, удержало Батюшкова отъ поѣздки въ Крымъ. Письмо извѣщало о назначеніи его на службу въ Неаполь: надобно было, слѣдовательно, спѣшить на сѣверъ, покончить съ домашними дѣлами и готовиться къ отъѣзду за границу. Счастье наконецъ улыбнулось нашему поэту: послѣ многихъ и долгихъ усилій онъ достигалъ того, что въ теченіе многихъ лѣтъ составляло предметъ его горячихъ стремленій. Но не такова была неустойчивая, вѣчно тревожная натура Батюшкова, всегда чего-то ищущая и ни въ чемъ не находящая себѣ удовлетворенія. Въ то самое время, когда удача увѣнчивала его надежды, чувство разочарованія жизнью снова проснулось въ его душѣ; оно уже сквозитъ между строкъ того письма, которымъ онъ выражалъ признательность Тургеневу за радостное извѣстіе и за его безкорыстную дружескую помощь: „Итакъ, судьба моя рѣшена, благодаря вамъ! Я увѣренъ, что вы счастливые меня, сдѣлавъ доброе дѣло. Для васъ это праздникъ, подарокъ Провидѣнія. Я благодарю его не за Италію, но за дружбу вашу: быть вамъ обязаннымъ пріятно и сладостно. И это подарокъ Провидѣнія, которое начинается быть ко мнѣ благосклоннѣе“ ²⁾. Еще рѣзче то же чувство разочарованія сказывается въ другомъ письмѣ къ Тургеневу, которое Батюшковъ написалъ по возвращеніи въ Москву: „Я знаю Италію, не побывавъ въ ней. Тамъ не найду счастья:

¹⁾ Соч., т. III, стр. 521, 522.

²⁾ Тамъ же, стр. 523.

его нигдѣ нѣтъ; увѣренъ даже, что буду грустить о снѣгахъ родины и о людяхъ мнѣ драгоцѣнныхъ. Ни зрѣлища чудесной природы, ни чудеса искусства, ни величественныя воспоминанія не замѣняютъ для меня васъ и тѣхъ, кого привыкъ любить“¹⁾). Слова эти не были только любезностью въ отношеніи къ человѣку, которому Батюшковъ чувствовалъ себя обязаннымъ; напротивъ того, быть можетъ, вопреки волѣ писавшаго, они обнаруживали его тайную мысль, его безсиліе примириться съ простыми условіями обыденной жизни и не требовать отъ нея того, чего она не могла дать ему. Что не договорено въ письмѣ Батюшкова, то яснѣе услышимъ мы въ слѣдующихъ жалобахъ изъ печальной исповѣди малодушнаго Рене: „Меня обвиняютъ въ томъ, что влеченія мои непостоянны, что я не могу долго наслаждаться одною и тою же химерой, что я—добыча воображенія, которое спѣшитъ проникнуть въ глубь моихъ наслажденій, словно оно утомлено ихъ продолжительностью; меня обвиняютъ въ томъ, что я всегда переступаю ту цѣль, которой могу достигнуть. Увы, я ищу лишь того невѣдомаго блага, чаяніе котораго меня преслѣдуетъ! Моя ли вина, что я всюду нахожу преграды, что все конечное не имѣетъ для меня никакой цѣны? Но я чувствую, что люблю однообразіе въ ощущеніяхъ жизни, и что еслибъ я еще имѣлъ безуміе вѣрить въ счастье, то сталъ бы искать его въ привычкѣ“. Сходство въ словахъ нашего поэта и въ жалобахъ, которыя влагаетъ въ уста своего героя Шатобріанъ, не подлежитъ сомнѣнію: оно бросаетъ яркій свѣтъ на свойство того нравственнаго недуга, которымъ была неизлѣчимо больна душа Батюшкова.

Константинъ Николаевичъ, пріѣхалъ въ Москву 25-го августа. Онъ еще полонъ былъ впечатлѣніями своей поѣздки на югъ Россіи и желалъ продолжать изученіе его исторіи. Но уже въ Москвѣ его охватили другіе интересы: въ Вѣстникѣ

¹⁾ Соч., т. III, стр. 531.

Европы онъ прочелъ „вылазку или набѣгъ Каченовскаго“ на Карамзина и, не смотря на пріязнь къ старѣющему журналисту, горячо поспорилъ съ нимъ по этому случаю ¹⁾. „Каченовскому“, писалъ онъ Тургеневу изъ Москвы, — „я отпѣлъ, что думалъ: Того ли мы ожидали отъ васъ? Критики, благоразумной критики, не пищи для Англійскаго клуба и московскихъ кружковъ. Укажите на ошибки Карамзина, уличите его, укажите на мѣста сомнительныя, взвѣсьте все сочиненіе на вѣсахъ разсудка. Хвалите отъ души все прекрасное, все величественное, безъ восклицаній, но какъ человѣкъ глубоко тронутый. А вы что дѣлаете? Нѣтъ, вы не любите ни его славы, ни своей собственной, ни славы отечества“ ²⁾. Тѣмъ горячѣе были въ устахъ Батюшкова эти упреки, что чтеніе „Исторіи“ Карамзина произвело на него сильнѣйшее впечатлѣніе. Нѣкоторое понятіе о ней онъ имѣлъ издавна: еще въ 1811 году онъ былъ въ числѣ тѣхъ немногихъ лицъ, которымъ Карамзинъ читалъ отрывки изъ своего труда, и Константинъ Николаевичъ тогда же писалъ нѣсколько предубѣжденному Гнѣдичу, что „такой чистой, плавной, сильной прозы (онъ) никогда и нигдѣ не слыхалъ“ ³⁾. Впослѣдствіи, какъ мы уже знаемъ, онъ ожидалъ появленія „Исторіи“ въ свѣтъ съ величайшимъ нетерпѣніемъ и еще лѣтомъ 1817 года наводилъ о ней справки у Жуковскаго ⁴⁾. Конечно, онъ могъ судить о ней только какъ о произведеніи литературномъ и о памятникѣ національнаго бытописанія; но въ этихъ отношеніяхъ трудъ Карамзина удовлетворялъ его совершенно. Съ береговъ

¹⁾ Нападеніе Каченовскаго на Карамзина (Вѣстникъ Европы 1818 г., ч. С, № 13) было сдѣлано по случаю появленія въ издававшемся въ Харьковѣ Украинскомъ Вѣстникѣ (1818 г., № 5) „Записки о достопамятностяхъ московскихъ“, которую написалъ Карамзинъ по желанію императрицы Маріи Феодоровны.

²⁾ Соч., т. III, стр. 532—533.

³⁾ Тамъ же, стр. 116.

⁴⁾ Тамъ же, стр. 449.

Чернаго моря, гдѣ Батюшковъ напился классическими воспоминаніями, онъ привезъ Карамзину прекрасное поэтическое привѣтствіе, въ которомъ сравнивалъ свое восхищеніе при изученіи его труда съ тѣмъ восторгомъ, съ какимъ юноша Оукидидъ слушалъ чтеніе Геродота на Олимпійскихъ играхъ ¹⁾).

Въ Петербургѣ, куда Константинъ Николаевичъ явился въ половинѣ или въ исходѣ сентября, все его время было поглощено сборами къ отъѣзду, которые прерывались только приступами болѣзни и свиданіями съ добрыми пріятелями. Чаще всего появлялся онъ въ домахъ Карамзина и Оленина; кажется, что къ этому времени относится, между прочимъ, поѣздка его, вмѣстѣ съ Тургеневымъ, въ Пріютино, подгородное имѣнье Олениныхъ, воспѣтое друзьями этой семьи, нашимъ поэтомъ и Гнѣдичемъ ²⁾). У Карамзина видѣлъ Батюшкова въ ту пору К. С. Сербиновичъ: „Онъ собирался въ Италію для поправленія здоровья. Я тотчасъ узналъ его по сходству съ недавно видѣннымъ портретомъ его. Онъ былъ небольшого роста, имѣлъ выразительную фізіономію и пріятный голосъ. Говорили о Жуковскомъ и жалѣли, что онъ не пріѣхалъ за болѣзнию“ ³⁾). Это было послѣднее свиданіе нашего поэта съ Николаемъ Михайловичемъ и его семействомъ. Батюшковъ оставилъ этотъ домъ со свѣтлымъ воспоминаніемъ о томъ искреннемъ, горячемъ чувствѣ, съ которымъ Карамзинъ пожелалъ ему счастливаго пути и благословилъ на добро и благополучіе ⁴⁾). 16-го ноября Константинъ Николаевичъ написалъ прощальное письмо, съ послѣдними распоряженіями, къ сестрѣ Александрѣ Николаевнѣ, прося ее особенно пецись о малолѣтнихъ братѣ и сестрѣ и не оставить безъ заботъ тѣхъ людей, которые служили ему ⁵⁾), затѣмъ напи-

¹⁾ Соч., т. I, стр. 278, 279.

²⁾ Тамъ же, стр. 288—282; Стихотворенія Гнѣдича. С.-Пб. 1832, стр. 91—103.

³⁾ Р. Старина 1871 г., т. XI, стр. 49.

⁴⁾ Соч., т. III, стр. 536—538.

⁵⁾ Тамъ же, стр. 536—538.

салъ нѣсколько строкъ Вяземскому съ предупрежденіемъ, что надѣется встрѣтиться съ нимъ въ Варшавѣ, и наконецъ, тронулся въ путь. 22-го ноября 1818 года Жуковскій писалъ И. И. Дмитріеву изъ Петербурга: „Я былъ боленъ: три недѣли вылежалъ и высидѣлъ дома. Теперь поправляюсь, и первый мой выходъ на свѣтъ Божій была поѣздка въ Царское село, гдѣ мы простились всѣмъ Арзамасомъ съ нашимъ Ахилломъ-Батюшковымъ, который теперь бѣжитъ отъ зимы не оглядываясь и, вѣроятно, недѣли черезъ три опять въ какомъ-нибудь уголку сѣверной Италіи увидится съ весною“¹⁾. Другое письмо къ Дмитріеву, отъ того же числа, передавало извѣстіе объ отъѣздѣ Батюшкова въ слѣдующихъ выраженіяхъ: „На сихъ дняхъ почтенный нашъ Константинъ Николаевичъ отправился въ Неаполь. Онъ увезъ съ собою любовь и преданность всѣхъ его знающихъ, оставя намъ искреннее о себѣ сожалѣніе. Голубое италіянское небо, классическая земля и доброе его сердце доставятъ ему утѣшеніе и счастье, котораго онъ достоинъ!“²⁾

¹⁾ Соч. Жук., изд. 7-е, т. VI, стр. 429.

²⁾ Р. Архивъ 1867 г., ст. 1536, гдѣ не означено, кому принадлежать вышеприведенныя строки.

ХІІ.

Впечатлѣнія Італіи на Батюшкова.—Жизнь его въ Неполѣ и душевное его настроеніе.—Служебныя непріятности.—Развитіе ипохондріи.—Отъѣздъ Батюшкова изъ Італіи.—Пребываніе въ Теплицѣ.—Непріятныя новости изъ Петербурга.—Начало душевной болѣзни.—Батюшковъ въ Дрезденѣ.—Возвращеніе въ Россію.—Поѣздка на Кавказъ и въ Крымъ.—Развитіе болѣзни.—Пребываніе въ Петербургѣ въ 1823 и 1824 годахъ.—Отправленіе Батюшкова за границу.—Пребываніе его въ Зонненштейнѣ.—Возвращеніе изъ-за границы.—Жизнь въ Москвѣ съ 1828 по 1833 годъ.—Воспоминаніе князя Вяземскаго о больномъ другѣ.—Батюшковъ въ Вологдѣ.—Послѣдніе годы жизни и кончина.—Заключеніе.

Путь Батюшкова лежалъ на Варшаву и Вѣну: въ первомъ изъ этихъ городовъ онъ предполагалъ встрѣтиться съ княземъ Вяземскимъ, а во второмъ видѣлся съ братьями Княжевичами: онъ имѣлъ порученіе передать имъ вновь написанное посланіе пріятеля ихъ М. В. Милонова ¹⁾. Только въ началѣ 1819 года Константинъ Николаевичъ достигъ Венеціи, а въ Римъ онъ пріѣхалъ лишь къ самому карнавалу, впрочемъ довольно бодрый, не смотря на утомительность зимняго путешествія. Послѣдній перѣздъ до Рима нашъ поэтъ совершилъ съ извѣстнымъ археологомъ, графомъ С. Ос. Потоцкимъ, и молодымъ архитекторомъ Эльсономъ ²⁾.

Впечатлѣнія Італіи нахлынули на Батюшкова со всею своею силой. Подавленный ими, онъ долго не могъ собраться дать о себѣ вѣсть друзьямъ. „Сперва бродилъ какъ угорѣлый“, говорилъ Батюшковъ въ первомъ письмѣ, которое рѣшился наконецъ написать Оленину изъ Рима;—„спѣшилъ все увидѣть, все проглотить, ибо полагалъ, что пробуду немного дней. Но лихорадка угодно было остановить меня“. Такимъ образомъ, онъ прожилъ въ Римѣ около мѣсяца, но это первое знакомство свое съ вѣчнымъ городомъ считалъ совершенно поверх-

¹⁾ Р. Старина 1874 г., т. IX, стр. 584.

²⁾ Соч. т. III, стр. 556; Скульпторъ Самуилъ Ивановичъ Гальбергъ въ его заграничныхъ письмахъ и запискахъ. Собралъ В. О. Эвальдъ. С.-Пб. 1884, стр. 60.

ностнымъ и только намѣчалъ мѣста и предметы для дальнѣйшихъ изученій. „Хвалить древность“, писалъ онъ Оленину, — восхищаться св. Петромъ, ругать и злословить Италіянцевъ такъ легко, что даже и совѣстно. Скажу только, что одна прогулка въ Римѣ, одинъ взглядъ на Форумъ, въ который я по уши влюбился, заплатятъ съ избыткомъ за всѣ безпокойства долгаго пути. Я всегда чувствовалъ мое невѣжество, всегда имѣлъ внутреннее сознаніе моихъ малыхъ способностей, дурнаго воспитанія, слабыхъ познаній, но здѣсь ужаснулся. Одинъ Римъ можетъ вылѣчить на вѣки отъ суетности самолюбія. Римъ — книга: кто прочтаетъ ее? Римъ похожъ на сіи гіероглифы, которыми исписаны его обелиски: можно угадать нѣчто, всего не прочитаешь“¹⁾. Впечатлѣнія, испытанныя Батюшковымъ въ Римѣ, были сильны, но трезвы и свѣтлы: къ нимъ не примѣшивалось то чувство смутной грусти, которое не покидаетъ, наприимѣръ, любимца нашего поэта, Шатобріана, даже въ его римскихъ очеркахъ и воспоминаніяхъ.

Константинъ Николаевичъ не имѣлъ возможности заняться пристальнымъ изученіемъ Рима, потому что долженъ былъ спѣшить въ Неаполь; но онъ не могъ оставить безъ исполненія порученіе, данное ему Оленинымъ. Президентъ Академіи Художествъ желалъ, чтобы Батюшковъ сблизился съ академическими пенсіонерами, посланными въ Италію для усовершенствованія въ искусствѣ, и сообщилъ ему о ходѣ ихъ занятій и объ ихъ нуждахъ. „Батюшковъ привезъ намъ выговоръ отъ г. президента, который желаетъ, чтобы мы чаще писали въ Академію“. Такъ выразился, въ письмѣ къ роднымъ, одинъ изъ пенсіонеровъ, молодой скульпторъ С. Ив. Гальбергъ, послѣ перваго свиданія съ Константиномъ Николаевичемъ²⁾; требованіе Оленина, очевидно, не понравилось молодымъ людямъ; но самого

¹⁾ Соч., т. III, стр. 539.

²⁾ Въ вышеупомянутомъ собраніи писемъ Гальберга стр. 60.

Батюшкова они полюбили и относились къ нему съ уваженіемъ. Онъ же, съ своей стороны, особенно отличалъ между ними даровитаго пейзажиста С. Ѳ. Щедрина и заказалъ ему написать одинъ изъ римскихъ видовъ. „Если ему удастся что-нибудь сдѣлать хорошее“, разсуждалъ Батюшковъ, — „то это дастъ ему нѣкоторую извѣстность въ Римѣ, особенно между Русскими, а меня нѣсколько червонцевъ не разорять“ ¹⁾. Алексѣю Николаевичу Батюшковъ далъ о русскихъ художникахъ самый лучшій отзывъ и откровенно изложилъ свое мнѣніе о ничтожествѣ назначеннаго имъ казеннаго пособия. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ подалъ Оленину мысль основать въ Римѣ особое учрежденіе для молодыхъ русскихъ художниковъ на подобіе существующей тамъ французской Римской академіи на виллѣ Медичи, или по крайней мѣрѣ назначить въ Римъ особое лицо, которому было бы поручено наблюдать за римскими пенсіонерами и пещись о ихъ нуждахъ; какъ извѣстно, Оленинъ воспользовался этою послѣднею мыслью и привелъ ее въ исполненіе.

Наконецъ, въ исходѣ февраля мѣсяца Батюшковъ пріѣхалъ къ мѣсту своего назначенія. Неаполь и его окрестности также привели его въ восхищеніе. „Неаполь“, писалъ онъ отсюда Гнѣдичу, — „истинно очаровательный по мѣстоположенію своему и совершенно отличный отъ городовъ верхней Италіи. Весь городъ на улицѣ, шумъ ужасный, волны народа. Не буду описывать тебѣ, гдѣ я былъ... Много и не видалъ, но за то два раза лазилъ на Везувій и всѣ камни знаю наизусть въ Помпеи. Чудесное, неизъяснимое зрѣлище, краснорѣчивый прахъ!“ ²⁾

¹⁾ Соч., т. III, стр. 540. Въ Художественномъ Сборникѣ, изданномъ Московскимъ Обществомъ любителей художествъ подъ редакціей гр. А. С. Уварова (М. 1866), помѣщено нѣсколько писемъ С. Ѳ. Щедрина изъ-за границы, сообщенныхъ Н. А. Рамазановымъ. Полное собраніе заграничныхъ писемъ Щедрина находится въ копіи у А. И. Сомова, который сообщалъ ихъ намъ на просмотръ. Изъ этихъ источниковъ мы имѣли возможность извлечь нѣкоторыя свѣдѣнія о пребываніи Батюшкова въ Италіи, предлагаемыя ниже.

²⁾ Соч., т. III, стр. 553.

Эти слова подъ перомъ Батюшкова не были ни самонадѣянною похвалой, ни громкою фразой. Онъ, конечно, не изучалъ Помпею какъ археологъ, какъ глубокий изслѣдователь; но его живое воображеніе возсоздавало ему среди этихъ развалинъ цѣлую картину древней жизни. „Это—живой комментарий на исторію и на поэтовъ римскихъ“, писалъ онъ Карамзину. — „Каждый шагъ открываетъ вамъ что-нибудь новое или повѣряетъ старое: я, какъ невѣжда, но полный чувствъ, наслаждаюсь зрѣлищемъ сего кладбища цѣлаго города. Помпеи не можно назвать развалинами, какъ обыкновенно называютъ остатки древности: здѣсь не видите слѣдовъ времени или разрушенія; основанія домовъ совершенно цѣлы, не достаетъ кровель. Вы ходите по улицамъ изъ одной въ другую, мимо рядовъ колоннъ, красивыхъ гробницъ и стѣнъ, на коихъ живопись не утратила ни красоты, ни свѣжести. Форумъ, гдѣ множество храмовъ, два театра, огромный циркъ уцѣлѣли почти совершенно. Везувій еще дымится надъ городомъ и, кажется, грозитъ новою золою. Кругомъ виды живописные, море и повсюду воспоминанія; здѣсь можно читать Плинія, Тацита и Виргилія и оцѣню повѣрять музу исторіи и поэзіи“¹⁾.

Въ бытность Батюшкова въ Римѣ и затѣмъ въ первые дни его пребыванія въ Неаполѣ города эти посѣтилъ великій князь Михаилъ Павловичъ, совершавшій путешествіе по Италіи въ сопровожденіи извѣстнаго воспитателя императора Александра, Ф.-Ц. Лагарпа. Константинъ Николаевичъ пользовался милостивымъ вниманіемъ великаго князя и въ Римѣ служилъ посредникомъ въ его сношеніяхъ съ русскими художниками. Когда великій князь возвратился изъ Неаполя въ папскую столицу, онъ призвалъ къ себѣ Щедрина и сказалъ ему: „Поѣзжайте въ Неаполь и сдѣлайте два вида водяными красками; Батюшкову поручено показать вамъ мѣста“. „Черезъ

¹⁾ Соч., т. III, стр. 556.

нѣсколько дней“, сообщаетъ Щедринъ, рассказавъ въ письмѣ къ отцу объ этомъ обстоятельстве, — „объявили мнѣ цѣну, выполнѣ царскую, то-есть, 2,500 рублей. Безъ этого неожиданнаго порученія мнѣ трудно бы было на одинъ пенсіонъ прожить въ Тиволи или во Фраскати, а ужъ тѣмъ болѣе ѣхать въ Неаполь. Батюшковъ же прислалъ мнѣ сказать, что онъ у себя приготовилъ мнѣ комнату и съ прислугой,—и мнѣ очень пріятно находится съ человѣкомъ столь почтеннымъ“¹⁾. Одновременно съ великимъ княземъ въ Неаполѣ собралось довольно много Русскихъ и иностранцевъ, бывавшихъ въ Россіи. Константинъ Николаевичъ очень дорожилъ ихъ обществомъ, напомиравшимъ ему отечество. Потомъ пріѣздъ императора Австрійскаго и празднества по этому случаю придали новое оживленіе и безъ того шумному городу. Но съ приближеніемъ жаркой погоды путешественники стали разъѣзжаться, и вскорѣ Константинъ Николаевичъ остался въ Неаполѣ лишь съ немногими соотечественниками, въ числѣ которыхъ мы можемъ назвать князя А. С. Меншикова, знакомаго Батюшкову еще съ военной поры 1813—1814 годовъ. Пріѣхавшій изъ Рима Щедринъ поселился съ Константиномъ Николаевичемъ въ *chambres garnies*, которыя содержала Француженка г-жа Сень-Анжъ. „Я живу“, писалъ Щедринъ отцу 28-го іюня,—„на морскомъ берегу, въ самомъ прекрасномъ и многолюдномъ мѣстѣ; тутъ проѣздъ въ королевскій садъ; подъ моими окнами стоятъ стулья для гуляющихъ и зрителей; по берегу множество устричниковъ (*ostricatori*) съ устрицами и разною рыбой; много бабъ, продающихъ вонючую минеральную воду, тутъ же распиваемую проходящими и проѣзжающими; крикъ страшный; онъ продолжается и всю ночь; все кажется, что плачутъ или дразнятся; надо очень привыкнуть ко всему этому, чтобы спать спокойно“. Батюш-

¹⁾ Письмомъ отцу отъ 3-го марта 1819 г.—Художественный Сборникъ, стр. 178, 179.

ковъ, со своей стороны, былъ доволенъ обстановкою своей жизни. „Прелестная земля!“ писалъ онъ Тургеневу.—„Здѣсь бывають землетрясенія, наводненія, изверженіе Везувія, съ горящей лавой и съ пепломъ; здѣсь бывають притомъ пожары, повальныя болѣзни, горячка. Цѣлыя горы скрываются и горы выходятъ изъ моря; другія вдругъ превращаются въ огнедышщиці. Здѣсь отъ болотъ или испареній земли вулканической воздухъ заражается и рождаетъ заразу; люди умирають, какъ мухи. Но за то здѣсь солнце вѣчное, пламенное, луна тихая и кроткая, и самый воздухъ, въ которомъ таятся смерть, благовоненъ и сладокъ! Все имѣетъ свою выгодную сторону; Плиній погибаетъ подъ пепломъ, племянникъ описываетъ смерть дядюшки. На пеплѣ вырастаетъ славный виноградъ и сочные овощи“¹⁾. Неаполитанская жизнь удовлетворяла Батюшкова даже въ экономическомъ отношеніи. „Жизнь дешева“, писалъ онъ сестрѣ,—„нельзя жаловаться. Прекрасный обѣдъ въ трактирѣ, лучшемъ, мы платимъ отъ двухъ до трехъ рублей; но издержки невидимыя и экипажъ очень дорого обходятся. Здѣсь иностранцевъ каждый долгомъ поставяетъ обчитать, особенно на большой дорогѣ“. Тѣмъ не менѣе, Константинъ Николаевичъ надѣялся прожить безъ долговъ и нужды на свое жалованье и тѣ доходы, какіе могъ получать изъ деревни²⁾. Состояніе здоровья Батюшкова также было довольно удовлетворительно. По крайней мѣрѣ въ этомъ успокоительномъ смыслѣ писалъ онъ къ сестрѣ, но немного спустя, сознавался, въ письмѣ къ Жуковскому, что „здоровье ветшаетъ безпрестанно: ни солнце, ни воды минеральныя, ни самая строгая діета, ничто его не можетъ исправить; оно, кажется, для меня погибло невооротно“³⁾. Въ концѣ іюля онъ счелъ по-

¹⁾ Соч., т. III, стр. 548—550.

²⁾ Тамъ же, стр. 546.

³⁾ Тамъ же, стр. 560.

лезнымъ переселиться на Искію, чтобы пользоваться тамошними теплыми водами. „Я не въ Неаполѣ“, сообщалъ онъ оттуда Жуковскому,— „а на островѣ Искія, въ виду Неаполя; купаюсь въ минеральныхъ водахъ, которыя сильнѣе Липецкихъ; пью минеральныя воды, дышу вулканическимъ воздухомъ, питаюсь смоквами, пекусь на солнцѣ, прогуливаюсь подъ виноградными аллеями при вѣянїи африканскаго вѣтра и, что всего лучше, наслаждаюсь великолѣпнѣйшимъ зрѣлищемъ въ мірѣ“. Предъ нимъ открывался видъ на Везувій, Неаполь, его приморскія окрестности, и между ними на Сорренто — „колыбель того человѣка, которому“, прибавлялъ нашъ поэтъ, — „я обязанъ лучшими наслажденіями въ жизни“¹⁾.

Съ Искіи Батюшковъ возвратился въ началѣ сентября и поселился въ Неаполѣ на новой квартирѣ уже безъ Щедрина: послѣднему пришлось жить отдѣльно, потому что въ квартирѣ Батюшкова не оказалось удобной комнаты для его работъ. Въ концѣ декабря Щедринъ писалъ Гальбергу въ Римъ: „Иногда здѣсь такая скука обуреваетъ, что нѣтъ силъ переносить, на которую даже Константинъ Николаевичъ жалуется“. Молодой художникъ, быть можетъ, только въ это время услышалъ впервые жалобы поэта на скуку, но изъ писемъ Батюшкова видно, что, не смотря на всѣ прелести окружавшей и восхищавшей его южной природы, онъ уже давно чувствовалъ признаки унынія и хандры. Не прошло мѣсяца съ прїѣзда его въ столицу южной Италїи, какъ въ письмѣ къ Тургеневу онъ уже говорилъ о грустномъ расположеніи своего духа: „О Неаполѣ говоритъ Тассъ въ письмѣ къ какому-то кардиналу, что Неаполь, ничего, кромѣ любезнаго и веселаго, не производитъ. Не всегда весело! Не могу привыкнуть къ шуму на улицѣ, къ уединенію въ комнатѣ. Днемъ весело бродить по набережной, освѣщенной померанцами въ цвѣту, но въ вечеру не худо по-

¹⁾ Соч., т. III, стр. 559.

сидѣть съ друзьями у добраго огня и говорить все, что на сердцѣ. Въ нѣкоторыя лѣта это можетъ быть нужною для образованнаго мыслящаго существа“¹⁾). Но въ ту пору Батюшковъ еще только собирался привыкать къ уединенію и надѣялся перенести его съ твердостью. Съ отъѣздомъ русскихъ путешественниковъ тягость одиночества стала для него чувствительнѣе. Письма изъ Россіи приходили рѣдко и еще рѣже удовлетворяли Константина Николаевича своимъ содержаніемъ; онъ желалъ слѣдить за литературнымъ движеніемъ въ отечествѣ и особенно нетѣрпѣливо желалъ прочесть поэмѣ молодого Пушкина, „исполненную красоту и надежды“, и отрывки изъ которой онъ слышалъ еще до своего отъѣзда изъ Петербурга; но пересылка литературныхъ новостей была въ то время затруднительна, и едва ли хотя бы одна русская книга была доставлена Батюшкову въ Неаполь²⁾). Чтобы не поддаваться унынію, Константинъ Николаевичъ и здѣсь прибѣгъ къ тому же средству, которое не разъ выручало его прежде: онъ сталъ усиленно работать; совершенствовалъ свои познанія въ италіянскомъ языкѣ, который хотѣлъ изучить на столько, чтобы писать на немъ складно; говорить по италіянски „съ нѣкоторою пріятностію и правильностію“ казалось ему трудностію почти неодолимою. Прошлыя судьбы страны, въ которой онъ жилъ, возбуждали его вниманіе въ высшей степени; онъ сталъ составлять записки о древностяхъ Неаполя и занимался этимъ трудомъ очень усердно. Съ характеромъ этихъ занятій Батюшкова насъ знакомятъ слѣдующія слова его въ письмѣ къ Жуковскому: „Я ограничилъ себя, сколько могъ, одними древностями и первыми впечатлѣніями предметовъ; все, что—критика, изысканіе, оставляю, но не безъ чтенія. Иногда для одной строки надобно пробѣжать книгу, часто скучную и пустую.

¹⁾ Соч., т. III, стр. 550.

²⁾ Тамъ же, стр. 544, 550, 558.

Впрочемъ, это все—маранье; когда-нибудь послужить этотъ трудъ, ибо трудъ, я увѣренъ въ этомъ, никогда не потерянь“¹⁾. Но этимъ трудомъ Батюшковъ занимался съ увлеченіемъ только въ первое время своего пребыванія въ Неаполѣ.

Съ мѣстнымъ обществомъ Константинъ Николаевичъ сближался мало; онъ находилъ, что въ Неаполѣ „общество безплодно, пусто. Найдете дома такіе, какъ въ Парижѣ, у иностранцевъ, но живости, любезности французской не требуйте. Едва, едва найдешь человѣка, съ которымъ обмѣняешься мыслями. Отъ Европы мы отдѣлены морями и стѣною Китайскою. M-me Stael сказала справедливо, что въ Террачинѣ кончится Европа. Въ среднемъ классѣ есть много умныхъ людей, особенно между адвокатами, ученыхъ, но они безъ каедръ нѣмы“. Реакціонное направленіе тогдашняго неаполитанскаго правительства стѣсняло умственное движеніе въ обществѣ, и тѣмъ затруднительнѣе было сближаться съ представителями послѣдняго человѣку заѣзжему, да еще притомъ принадлежавшему къ одной изъ иностранныхъ дипломатическихъ миссій: туземцы могли относиться къ нему съ недоувѣріемъ и подозрительностью. Такимъ образомъ, въ Батюшковѣ скоро сложилось убѣжденіе, что „умъ, требующій пищи въ настоящемъ, здѣсь скоро завянетъ и погибнетъ; сердце, живущее дружбой, замретъ“²⁾. Поэтому, едва проживъ въ Неаполѣ три-четыре мѣсяца, онъ сталъ уже мечтать о возвращеніи въ отечество, въ дружескій кругъ, ибо тамъ скорѣе надѣялся „быть полезнымъ гражданиномъ“. „Это“, писалъ онъ Жуковскому, — „меня поддерживаетъ въ часы унынія. Здѣсь, на чужбинѣ, надобно имѣть нѣкоторую силу душевную, чтобы не унывать въ совершенномъ одиночествѣ. Друзей даетъ случай, ихъ даетъ время. Такихъ, какіе у меня на сѣверѣ, не найду, не наживу здѣсь“³⁾. Но бросить

¹⁾ Соч., т. III, стр. 561.

²⁾ Тамъ же, стр. 781.

³⁾ Тамъ же, стр. 561.

службу, едва начатую и не легко приобретенную, службу, которая имѣла по крайней мѣрѣ ту выгоду, что доставляла возможность жить въ тепломъ климатѣ,—Батюшковъ понималъ, что это было немислимо или, по крайней мѣрѣ, въ высшей степени неблагоприятно. И вотъ—онъ старается найти исходъ своему унынію въ равнодушіи, насильно подавляя въ себѣ тѣ чувства, которыя наполняли его сердце; глубокою горечью отзываются тѣ слова, которыми, въ письмѣ къ Жуковскому, заключаетъ онъ свои жалобы на одиночество: „Какое удовольствіе, вставая по утру, сказать въ сердцѣ своемъ: я здѣсь всѣхъ люблю равно, то-есть, ни къ кому не привязанъ и ни за кого не страдаю“. И опять въ этихъ безотрадныхъ словахъ нашего поэта мы слышимъ старые отголоски шатобріановскаго разочарованія, опять возстаетъ предъ нами образъ Рене, всегда и вездѣ чуждаго той средѣ, куда заноситъ его судьба. Послѣ того, какъ Рене не нашелъ удовлетворенія своей жаждѣ счастья ни въ странствованіяхъ по бѣлу свѣту, ни среди блестящаго общества родной земли, онъ удаляется въ глухое предмѣстье столицы, чтобы жить тамъ въ полной неизвѣстности. „Я почувствовалъ“, говоритъ капризный мечтатель — „нѣкоторое удовольствіе въ этой жизни темной и независимой. Никому невѣдомый, я смѣшивался съ толпой, съ этою пустынею людскою“. Но какъ для гордаго Рене эта попытка скрыться среди мелкаго простаго люда была лишь переходнымъ моментомъ, лишь тщетнымъ усиліемъ затушить въ себѣ неудержимые порывы слишкомъ прихотливой и требовательной натуры, такъ точно и Батюшковъ не могъ примириться со своимъ одиночествомъ среди толпы чужестранцевъ. „Ты правду говоришь, что меня надобно немного полелѣять“, писалъ онъ Вяземскому однажды въ 1817 году ¹⁾, и эти слова очень вѣрно выражаютъ всегдашнюю господствующую потребность его нравственнаго существованія. Въ Неаполѣ

¹⁾ Соч., т. III, стр. 453.

болѣе, чѣмъ гдѣ-нибудь, онъ сознавалъ себя лишеннымъ этого дружескаго сочувствія и поощренія, и потому теперь еще съ большимъ правомъ, могъ сказать то, что уже давно говорилъ о себѣ въ посланіи къ Никитѣ Муравьеву:

Забытый шумною молвой,
Сердце мучительницей милой,
И сплю, какъ труженикъ унылой,
Не оживляемый хвалою.

Хандра, которая съ каждымъ днемъ овладѣвала нашимъ поэтомъ, отразилась прежде всего на его творческихъ способностяхъ. Еще въ августѣ 1819 года, описавъ Жуковскому красоты Неаполитанскаго залива, онъ принужденъ былъ сказать: „Посреди сихъ чудесъ, удивись переменѣ, которая во мнѣ сдѣлалась: я вовсе не могу писать стиховъ“. Конечно, слова эти не слѣдуетъ понимать въ безусловномъ смыслѣ: сохранилось все-таки два-три прекрасныхъ поэтическихъ отрывка, написанныхъ Батюшковымъ въ Неаполѣ; есть указаніе, что въ Италіи же былъ предпринятъ имъ переводъ Данта ¹⁾; но во всякомъ случаѣ признаніе поэта остается печальнымъ свидѣтельствомъ того тяжелаго душевнаго состоянія, въ какомъ онъ находился, оторванный отъ родной и дорогой ему среды. Мы можемъ догадываться, что для него опять наступалъ такой упадокъ духа, какой онъ испыталъ за нѣсколько лѣтъ предъ тѣмъ въ Каменцѣ, когда ему казалось, что „подъ бременемъ печали“ безвозвратно угасло его поэтическое дарованіе. Въ ту пору дружеское участіе Жуковскаго послужило Константину Николаевичу ободреніемъ. И теперь петербургскіе друзья, когда до нихъ дошло грустное письмо Батюшкова съ острова Искія, догадались, что ему нужно подать ободряющій откликъ. Въ

¹⁾ Стурдза. Бесѣда любителей русскаго слова и Арзамасъ въ царствованіе императора Александра I—Москвитянинъ 1851 г., № 21, стр. 16.

исходѣ 1819 года Карамзинъ написалъ ему слѣдующія дружескія строки: „Зрѣйте, укрѣпляйтесь чувствомъ, которое выше разума, хотя любезнаго въ любезныхъ: оно есть душа души—свѣтитъ и грѣетъ въ самую глубокую осень жизни. Пишите, стихами ли, прозою ль, только съ чувствомъ: все будетъ ново и сильно. Надѣюсь, что теперь уже замолкли ваши жалобы на здоровье, что оно уже цвѣтетъ, и плодомъ будетъ милое дитя съ вѣнкомъ лавровымъ для родителя: поэма, какой не бывало на святой Руси! Такъ ли, мой добрый поэтъ? говорю съ улыбкой, но безъ шутки. Сохрани васъ Богъ еще хвалить лѣнь, хотя бы и прекрасными стихами! Напишите мнѣ Батюшкова, чтобъ я видѣлъ его, какъ въ зеркалѣ, со всѣми природными красотами души его, въ цѣломъ, не въ отрывкахъ, чтобъ потомство узнало васъ, какъ я васъ знаю, и полюбило васъ, какъ я васъ люблю. Въ такомъ случаѣ соглашаюсь долго, долго ждать отвѣта на это письмо. Спрошу: что дѣлаетъ Батюшковъ? Зачѣмъ не пишетъ ко мнѣ изъ Неаполя? и если невидимый геній шепнетъ мнѣ на ухо: Батюшковъ трудится надъ чѣмъ-то бессмертнымъ, то скажу: пусть его молчитъ съ друзьями, лишь бы говорилъ съ вѣками!“¹⁾).

„День, въ который получу письмо изъ Россіи, есть лучший изъ моихъ дней“, говорилъ Батюшковъ, живя въ Неаполѣ. Дружеское письмо отъ Карамзина, „необыкновеннаго человѣка, который“, по выраженію нашего поэта, — „явился къ намъ изъ лучшаго вѣка, изъ лучшей земли“²⁾, должно было подѣйствовать на него живительно; но это былъ лишь одинокій лучъ свѣта въ томъ мрачномъ уныніи, въ которомъ уже находилась его душа: по крайней мѣрѣ мы не знаемъ, чтобъ горячія убѣжденія Карамзина пробудили въ Батюшковѣ охоту къ дѣятельному поэтическому труду.

¹⁾ Погодинъ. Николай Михайловичъ Карамзинъ. М. 1866, ч. II, стр. 243, 244.

²⁾ Соч., т. III, стр. 451.

Между тѣмъ здоровье Константина Николаевича не улучшалось и въ теплоѣ климатѣ. Успокоивая сестру въ этомъ отношеніи, онъ долженъ былъ однако оговориться, что „климатъ Неаполя не очень благосклоненъ тѣмъ, которые страдаютъ нервами“ ¹⁾. Къ болѣзнямъ, къ горькому чувству одиночества присоединились еще и служебныя непріятности. Батюшковъ былъ причисленъ къ нашей Неаполитанской миссіи въ качествѣ сверхштатнаго секретаря, но въ исходѣ 1819 года обстоятельства такъ сложились, что онъ оказался почти единственнымъ чиновникомъ при русскомъ посланникѣ графѣ Штакельбергѣ, и канцелярскія его обязанности очень увеличились и стали тяготить его ²⁾. Между нимъ и посланникомъ произошли непріятныя столкновенія. Однажды графъ Штакельбергъ поручилъ ему составить бумагу, содержаніе которой не согласовалось съ убѣжденіями Батюшкова; на сдѣланныя имъ возраженія ему было замѣчено, что онъ не имѣетъ права разсуждать. Въ другой разъ Константинъ Николаевичъ заслужилъ замѣчаніе посланника за ошибку, допущенную имъ въ переводѣ латинской фразы въ какомъ-то дипломатическомъ документѣ ³⁾. Такимъ образомъ отношенія Батюшкова къ графу Штакельбергу сдѣлались крайне натянутыми, самолюбіе его страдало, и онъ рѣшилъ оставить Неаполь. Константинъ Николаевичъ просилъ посланника разрѣшить ему поѣздки на воды въ Германію; но Штакельбергъ не соглашался, ссылаясь на то, что у него нѣтъ другаго чиновника, который могъ бы замѣнить Батюшкова въ отправленіи его служебныхъ обязанностей. Между тѣмъ во второй половинѣ 1820 года въ королевствѣ обѣихъ Сицилій вспыхнула революція, и русскій посланникъ рѣшилъ выѣхать изъ Неаполя. Въ

¹⁾ Соч., т. III, стр. 564.

²⁾ Это видно изъ письма Щедрина къ Гальбергу отъ 18-го октября 1819 года; ср. также извѣстія А. С. Стурдзы—Москвитянина 1851 г., № 21, стр. 16.

³⁾ Разсказъ графа Д. Н. Блудова, записанный и сообщенный намъ Я. К. Гротомъ; Галаховъ. Исторія русск. словесности. Изд. 2-е, т. II, стр. 263.

это время составъ его миссиі уже увеличился новыми лицами, и потому въ концѣ 1820 года графъ Штакельбергъ дозволилъ Батюшкову отправиться въ Римъ ¹⁾. Русскій посланникъ при папскомъ дворѣ, просвѣщенный и добрый старикъ А. Я. Италінскій, встрѣтилъ Батюшкова благосклонно и согласился представить въ министерство о причисленіи его къ нашей Римской миссиі ²⁾.

Такимъ образомъ, весь 1820 годъ прошелъ для Батюшкова въ самыхъ непріятныхъ тревоженіяхъ, которыя должны были дѣйствовать разрушительно на его хилое здоровье, увеличивать его раздражительность и усиливать его ипохондрію. Въ такомъ состояніи духа и тѣла онъ почти совершенно прекратилъ переписку съ своими родными и друзьями. Только въ исходѣ 1819 года и въ январѣ 1820 написалъ онъ два письма къ Тургеневу, а затѣмъ замолкъ совершенно; первое изъ упомянутыхъ писемъ еще отличалось живостью и содержало въ себѣ описаніе его образа жизни и занятій: Батюшковъ отвѣчалъ пріятелю на нѣкоторые вопросы по части наукъ политическихъ и юридическихъ и излагалъ свой взглядъ на современное состояніе литературы въ Италіи; вниманіе его останавливалось на томъ увлеченіи Байрономъ, которое обнаруживалось тогда на Аппенинскомъ полуостровѣ также, какъ и въ другихъ странахъ; но, прибавлялъ Константинъ Николаевичъ, — „Италіянцы имѣютъ болѣе права восхищаться имъ: Байронъ говоритъ имъ о ихъ славѣ языкомъ страсти и поэзіи“ ³⁾. Въ письмѣ отъ 10-го января 1820 года Батюшковъ пенялъ Тургеневу за молчаніе, спрашивалъ о разсѣянныхъ по міру пріятеляхъ и прибавлялъ: „Одни письма друзей могутъ оживать мое существованіе въ Неаполѣ: съ пріѣзда я почти без-

¹⁾ Соч., т. III, стр. 573, 574.

²⁾ Тамъ же, стр. 565.

³⁾ Р. Архивъ 1867 г., ст. 652—653; ср. Соч. Бат., т. III, стр. 771.

престанно былъ боленъ и еще недавно просидѣлъ въ комнатѣ два мѣсяца“. Все это письмо было невеселое, и добрякъ Тургеневъ, перечитавъ его даже много лѣтъ спустя, упрекалъ себя, что не умѣлъ во время удовлетворить „потребность сердца больного друга на чужбинѣ“¹⁾).

Въ Римѣ Батюшковъ могъ отчасти отдохнуть отъ непріятностей, испытанныхъ имъ въ Неаполѣ²⁾; онъ даже собрался написать кое-кому изъ друзей: одно изъ писемъ, полученное въ Петербургѣ въ началѣ марта, было обращено къ Карамзину; Батюшковъ говорилъ въ немъ между прочимъ о томъ, какъ ему надоѣли происходившія въ Италіи революціонныя движенія³⁾; другое письмо отъ Константина Николаевича получилъ Дашковъ въ апрѣлѣ, будучи въ Константинополѣ; Батюшковъ предполагалъ, что Дашковъ находится въ Москвѣ, и поручалъ пріятелю быть его Провидѣніемъ при И. И. Дмитріевѣ, котораго оба они очень уважали⁴⁾. Однако и въ Римѣ ни расположение духа, ни состояніе здоровья Константина Николаевича нисколько не улучшились, и вскорѣ по пріѣздѣ туда онъ принужденъ былъ обратиться къ Италинскому съ тою же просьбой, въ удовлетвореніи которой отказывалъ ему графъ Штапельбергъ. Италинскій отнесся къ больному поэту съ большимъ участіемъ и написалъ графу Нессельроду, уже смѣнившему Капо д'Истріа въ управленіи министерствомъ иностранныхъ дѣлъ, письмо, въ которомъ въ самыхъ теплыхъ выраженіяхъ

¹⁾ Современникъ 1841 г., т. XXV, стр. 5, 6; ср. Соч. Бат., т. III, стр. 771, 772.

²⁾ Къ этому пребыванію Константина Николаевича въ Римѣ, вѣроятно, относится извѣстіе С. П. Шевырева (Поѣздка въ Кирилло-Бѣлозерскій монастырь. М. 1850, т. I, стр. 109), что Батюшковъ жилъ на piazza Poli—мѣсто, гдѣ сосредотчивается въ Римѣ русская колонія; въ бытность тамъ Шевырева въ 1829—1832 гг., ему указывали домъ, гдѣ жилъ Батюшковъ, и окна его квартиры.

³⁾ Эти слова Батюшкова Карамзинъ передалъ Дмитріеву въ письмѣ отъ 10-го марта 1821 г. (Письма Карамзина къ Дмитріеву, стр. 304).

⁴⁾ Р. Архивъ 1868 г., ст. 596: письмо Дашкова къ Дмитріеву отъ 16-го апрѣля 1821 года.

говорилъ о тяжелой болѣзни Батюшкова и его необыкновенныхъ дарованіяхъ и просилъ разрѣшить ему безсрочный отпускъ для излѣченія и увеличить получаемое имъ содержаніе. Письмомъ отъ 28-го апрѣля 1821 года графъ Нессельроде увѣдомилъ Италинскаго, что на его ходатайство о Батюшковѣ послѣдовало, въ Лайбахѣ, милостивое согласіе Государя ¹⁾. Въ маѣ мѣсяцѣ Батюшковъ покинулъ Италію; страна, гдѣ онъ надѣялся найти исцѣленіе отъ своихъ недуговъ, не дала ему здоровья; напротивъ того, огорченія, испытанныя имъ въ Неаполѣ, усилили его болѣзнь и къ физическому разстройству присоединили глубокое нравственное потрясеніе.

Съ выѣздомъ изъ Италіи Батюшковъ вздохнулъ свободнѣе. Онъ освобождался отъ зависимости, которая тяготила его, и приближался къ отечеству, гдѣ его ожидали дружескія встрѣчи. Онъ, по видимому, еще не совсѣмъ отказывался отъ мысли продолжать свою литературную дѣятельность. Еще разъ возвратилось къ нему вдохновеніе: іюнемъ 1821 года помѣчено нѣсколько небольшихъ стихотвореній, которыя онъ внесъ тогда же въ экземпляръ своихъ „Опытовъ“, находившійся при немъ; на этомъ экземплярѣ онъ дѣлалъ исправленія своихъ прежнихъ стиховъ на случай новаго ихъ изданія. Въ числѣ упомянутыхъ піесъ есть одна, особенно ярко изображающая его тогдашнее настроеніе:

Взгляни: сей кипарисъ, какъ наша степь, бесплоденъ,

Но свѣжъ и зеленъ онъ всегда.

Не можешь, гражданинъ, какъ пальма, дать плода?

Такъ буди съ кипарисомъ сходенъ;

Какъ онъ, уединенъ, осанистъ и свободенъ! ²⁾

Менѣе, чѣмъ за два года предъ тѣмъ, поэтъ еще выражалъ надежду, что можетъ быть полезнымъ гражданиномъ въ своемъ

¹⁾ Дѣло архива министерства иностранныхъ дѣлъ о службѣ Батюшкова.

²⁾ Соч., т. I, стр. 296, 297.

отечествѣ; теперь и эта надежда была для него утрачена; онъ сторонился отъ общества и желалъ лишь одного—охранить себя отъ посягательствъ на его нравственную личность.

Батюшковъ поѣхалъ въ Теплицъ, чтобы лѣчиться тамошними минеральными водами. Не знаемъ, былъ ли сдѣланъ этотъ выборъ по указанію врачей, или быть можетъ, больного поэта влекли въ тѣ мѣста воспоминанія о славныхъ военныхъ событіяхъ, которыхъ онъ былъ, въ 1813 году, скромнымъ, но пламеннымъ участникомъ, вмѣстѣ съ другомъ своимъ Петинымъ; несомнѣнно, что память объ этомъ рано погибшемъ товарищѣ молодости должна была живо пробуждаться теперь въ душѣ Батюшкова, какъ отблескъ свѣтлыхъ дней невозвратнаго прошлаго. Константинъ Николаевичъ принялся за лѣченіе съ какимъ-то, можно сказать, ожесточеніемъ, какъ будто возвратъ здоровья сулилъ обновить все его существованіе: онъ бралъ ежедневно по двѣ ванны въ теченіе семидесяти дней сряду, между тѣмъ какъ нѣкоторые другіе больные опасались удара послѣ первой же ванны¹⁾. Въ поступкахъ его уже начинало проявляться упрямство, свойственное людямъ, которые невольнѣ владѣютъ своимъ разсудкомъ.

Въ Теплицѣ Батюшковъ встрѣтился съ нѣсколькими Русскими, между прочимъ съ Д. Н. Блудовымъ. Ему сообщены были разныя литературныя новости, и въ числѣ ихъ двѣ, имѣвшія къ нему непосредственное отношеніе. Одна изъ нихъ состояла въ томъ, что небольшое стихотвореніе, написанное имъ въ Неаполѣ на смерть малолѣтней дочери одной русской дамы, появилось въ печати безъ его вѣдома; напечаталъ его Воейковъ въ Сынѣ Отечества²⁾ со словъ Блудова и притомъ нѣкоторые стихи передалъ въ искаженномъ видѣ; искаженіе это повело къ непріятной печатной полемикѣ между лицомъ, которое впер-

¹⁾ Изъ разсказовъ графа Д. Н. Блудова, записанныхъ Я. К. Гротомъ.

²⁾ 1820 г., ч. 64, № 35, стр. 83; ср. Соч., т. I, стр. 440.

вые дало огласку стихотворенію Батюшкова, и журналистомъ. Другая новость, касавшаяся нашего поэта, заключалась въ появленіи, на страницахъ того же Сына Отечества, стихотворенія П. А. Плетнева, подъ заглавіемъ „Б.....въ изъ Рима (элегія)“ ¹⁾. Піеса эта, напечатанная безъ имени автора, была слѣдующаго содержанія:

Напрасно—вѣтрѣнный поэтъ—
Я васъ покинулъ, други,
Забывъ утѣхи юныхъ лѣтъ
И милыя заслуги!
Напрасно изъ страны отцовъ
Летѣлъ мечтой крылатой
Въ отчизну пламенныхъ пѣвцовъ
Петрарки и Торквато!
Напрасно по лугамъ брожу
Авзоніи прелестной
И въ сердцѣ радости бужу,
Смотря на сводъ небесный!
Ахъ, неба чуждаго красы
Для странника не милы;
Не веселы забавъ часы
И радости унылы!
Я слышу нѣжный звукъ рѣчей
И милые привѣты;
Я вижу голубыхъ очей
Знакомые обѣты:
Напрасно нѣга и любовь
Сулятъ мнѣ упоенья—
Хладѣетъ пламенная кровь
И винутъ наслажденья.
Веселья и любви пѣвецъ,
Я позабылъ забавы;
Я снялъ свой миртовый вѣнецъ
И дни влачу безъ славы.

¹⁾ Сынъ Отечества 1821 г., ч. 68, № 8, стр. 35 — 36; Сочиненія и переписка Плетнева, т. III, стр. 250, 251.

Порой, на Тибръ склонивши взоръ,
Иль встрѣтивъ Капитолій,
Я слышу дружескій укоръ,
Стыжусь забвенной доли...
Забьется сердце для войны,
Для прежней славной жизни,
И я изъ дальней стороны
Лечу въ края отчины!
Когда я возвращуся къ вамъ,
Отечески Пенаты,
И снова жрецъ вашъ, оиміамъ
Зажгу средь низкой хаты?
Храните мечъ забвенный мой
Съ цѣвницей одинокой!
Я весь дышу еще войной
И жизнію высокой.
А вы, о милые друзья,
Простите ли поэта?
Онъ видитъ чуждые поля
И бродитъ безъ привѣта.
Какъ пѣтъ ему въ странѣ чужой?
Узрѣть поля родныя—
И тронетъ въ радости нѣмой
Онъ струны золотыя.

И напечатаніе эпитафій, и еще болѣе появленіе анонимнаго стихотворенія, въ которомъ отъ имени Батюшкова дѣлались признанія предъ публикой, что онъ скучаетъ за границей, забылъ забавы прежнихъ лѣтъ и влачить дни безъ славы, не могли не раздражить больного поэта. Батюшковъ взглянулъ на поступокъ Плетнева (имя автора элегіи не осталось ему неизвѣстнымъ), какъ на оскорбленіе своей чести. Въ двухъ грозныхъ письмахъ къ Гнѣдичу онъ излилъ свой гнѣвъ на издателей Сына Отечества и на сочинителя элегіи, котораго называлъ не иначе, какъ Плетаевымъ. Вмѣстѣ съ первымъ изъ этихъ писемъ онъ послалъ Гнѣдичу протестъ противъ издателей журнала и требовалъ его напечатанія; въ протестѣ онъ

объявлялъ, что оставляет совершенно литературное поприще, а во второмъ письмѣ высказывалъ прямо, что въ поступекѣ Плетнева видитъ „злость, недоброжелательство, одно лукавое недоброжелательство“, тѣмъ болѣе не заслуженное, что Плетневъ не знаетъ его лично. „Нѣтъ“, говорилъ Батюшковъ,— „не нахожу выраженій для моего негодованія: оно умереть въ сердцѣ, когда я умру. Но ударъ нанесенъ. Вотъ слѣдствіе: я отнынѣ писать ничего не буду и сдержу слово. Можетъ быть, во мнѣ была искра таланта; можетъ быть, я могъ бы со временемъ написать что-нибудь достойное публики, скажу съ позволительною гордостію, достойное и меня, ибо мнѣ 33 года, и шесть лѣтъ молчанія меня сдѣлали не бессмысленнѣе, но зрѣлѣе. Сдѣлалось иначе. Буду безчестнымъ человѣкомъ, если когда что-нибудь напечатаю съ моимъ именемъ. Этого мало: обруганный хвалами, рѣшился не возвращаться въ Россію, ибо страшусь людей, которые, не взирая на то, что я проливалъ мою кровь на полѣ чести, что и теперь служу мною обожаемому монарху, вредятъ мнѣ заочно столь недостойнымъ и низкимъ средствомъ“¹⁾).

Въ столь горячо выраженномъ негодованіи нашего поэта, безъ сомнѣнія, сказывалось уже начинавшееся поврежденіе его умственныхъ способностей; его предположеніе, что Плетневъ служилъ орудіемъ чьихъ-то козней, противъ него направленнхъ, не имѣло никакихъ основаній и могло зародиться только въ умѣ человѣка, котораго раздраженное самолюбіе уже перерождалось въ видъ помѣшательства, называемый „маніей величія“. Но въ то же время эти болѣзненные строки не могутъ не пробудить сочувствія къ страдальцу-поэту. Творческое дарованіе давно уже стало въ его глазахъ лучшимъ богатствомъ его нравственной личности, отличавшимъ его отъ другихъ людей. Шатобріанъ устами того изъ своихъ геро-

¹⁾ Соч., т. III, стр. 571.

евъ, который привлекалъ къ себѣ самыя страстныя сочувствія Батюшкова, говоритъ, что поэты обладаютъ единственнымъ неоспоримымъ сокровищемъ, которымъ Небо одарило землю. Это убѣжденіе давно стало роднымъ для Батюшкова и укрѣплялось въ немъ все сильнѣе по мѣрѣ того, какъ онъ разочаровывался въ другихъ благахъ жизни. Правда, и въ прошломъ его бывали тяжелые періоды упадка духа, когда онъ терялъ вѣру въ свое дарованіе. Но тогда онъ самъ являлся своимъ судьей, подъ часъ даже не въ мѣру строгимъ; однако и въ эти трудныя минуты онъ не дѣлился своими сомнѣніями съ толпою, приговору которой не давалъ цѣны, а предоставлялъ себя на судъ только избранныхъ друзей, отъ которыхъ могъ ожидать сознательной и безпристрастной оцѣнки; ихъ ободреніе воспитало его талантъ и дало ему созрѣть; онъ понималъ слабость своихъ раннихъ попытокъ, но въ то же время почувствовалъ, что позднѣйшими своими произведеніями занялъ почетное мѣсто на скользкомъ, но столь любимомъ имъ поприщѣ. И вотъ—послѣ этихъ одобреній и успѣховъ, заставившихъ его забыть раннія неудачи, опять раздался чей-то неизвѣстный голосъ, который предрекалъ конецъ развитію его таланта: такъ по крайней мѣрѣ истолковывалъ себѣ Батюшковъ слова Плетнева. Могъ ли бы остаться совершенно равнодушнымъ къ этому непрошенному и незаслуженному пророчеству человѣкъ даже менѣе впечатлительный, болѣе спокойный и ровный характеромъ, чѣмъ нашъ больной, раздражительный поэтъ, дѣйствительно вынесшій не мало горькихъ разочарованій изъ своего жизненнаго опыта? Роковая случайность подвела его подъ ударъ, который, конечно, былъ нечаяннымъ.... Да, мы не можемъ строго осуждать того, кто былъ виновникомъ этого удара. Онъ, безъ сомнѣнія, не имѣлъ намѣренія оскорбить больного поэта, дарованіе котораго умѣлъ цѣнить, и дѣйствовалъ только по легкомыслію молодости. Стихотвореніе явилось въ печати безъ подписи Плетнева противъ

его желанія, по уловкѣ Воейкова, который не прочь былъ ввести читателей въ заблужденіе и дать имъ поводъ думать, что піеса дѣйствительно написана Батюшковымъ, общавшимъ Сыну Отечества свое сотрудничество¹⁾). Самое сильное осужденіе поступка Плетнева заключается въ поэтическомъ ничтожествѣ несчастной элегіи, очевидномъ для всякаго не предубѣжденного читателя. Пушкинъ, прочитавъ элегію и узнавъ о негодованіи Константина Николаевича, писалъ своему брату изъ Кишенева: „Батюшковъ правъ, что сердится на Плетнева; на его мѣстѣ я бы съ ума сошелъ со злости. „Батюшковъ въ Римѣ“ не имѣетъ человеческого смысла, даромъ, что новость на Олимпѣ мила. Вообще мнѣніе мое, что Плетневу приличнѣе проза, нежели стихи — онъ не имѣетъ никакого чувства, никакой живости — слогъ его блѣденъ, какъ мертвецъ. Кланяйся ему отъ меня (то-есть, Плетневу, а не его слогу) и увѣрь его, что онъ нашъ Гѣте“²⁾).

О причинахъ психической болѣзни Батюшкова судили розно: одни ее приписывали его неудовлетворенному честолюбію, другіе — эпикурейству, разстроившему его организмъ. И. И. Дми-

¹⁾ Тихановъ. Николай Ивановичъ Гнѣдичъ, стр. 92.

²⁾ Соч. Пушкин., изд. 8-е, т. VII, стр. 88, 89. Приведенныя слова Пушкина были показаны его братомъ Плетневу, который отвѣчалъ поэту извѣстнымъ посланіемъ: „Я не сержусь на ѣдкій твой упрекъ...“ (Соч. и переп. Плетнева, т. III, стр. 276—279). По полученіи этого посланія Пушкинъ намѣревался отвѣчать ему письмомъ, которое извѣстно только въ черновомъ наброскѣ; въ немъ Пушкинъ между прочимъ писалъ: „Признаюсь, это стихотвореніе (то-есть, элегія Плетнева) недостойно ни тебя, ни Батюшкова. Многіе приняли его за сочиненіе послѣдняго. Знаю, что съ посредственнымъ писателемъ этого не случится. Но Батюшковъ, не будучи доволенъ твоей элегіей, разсердился на тебя за ошибку другихъ — я разсердился послѣ Батюшкова. Извини мое чистосердечіе, но оно залогъ моего къ тебѣ уваженія“ (Р. Старица 1884 г., т. XLII, стр. 338). Двама критическими статьями о Батюшковѣ, напечатанными въ 1822 и 1823 гг. (Соч. и переп. Плетнева, т. I, стр. 23—28 и 96—112), и стихотвореніемъ „Къ портрету Батюшкова“ (Сынъ Отеч. 1821 г., ч. 70, № XXIV, стр. 177; въ изданіи сочиненій Плетнева не включено) Плетневъ снялъ съ себя подозрѣніе въ несочувствіи таланту Батюшкова.

тріевъ полагалъ, что воспитанный въ домѣ М. Н. Муравьева и связанный дружбой съ его сыновьями, Константинъ Николаевичъ будто бы еще до отъѣзда въ Неаполь зналъ о заговорѣ, въ которомъ они были участниками. „Батюшковъ, съ одной стороны, не хотѣлъ измѣнить своему долгу, съ другой — боялся обнаружить сыновей своего благодѣтеля. Эта борьба мучила его совѣсть, гнала его чистую поэтическую душу. Съ намѣреніемъ убѣжать отъ этой тайны и отъ самаго мѣста, гдѣ готовилось преступное предпріятіе, убѣжать отъ самого себя, съ этимъ намѣреніемъ отпросился онъ и въ Италію, къ тамошней миссіи, и вездѣ носилъ съ собою грызущаго его червя“. Наконецъ, разсудокъ его не выдержалъ, и тогда наступило помраченіе ¹⁾. Догадка Дмитріева опровергается хронологическими соображеніями; догадки другихъ лицъ также не выдерживаютъ критики; такъ, въ дѣйствительности, Батюшковъ вовсе не былъ такимъ пылкимъ любителемъ чувственныхъ наслажденій, какимъ представляли его себѣ иные на основаніи произведеній его молодости. Съ своей стороны мы думаемъ, что въ вопросѣ о помѣшательствѣ Батюшкова первый голосъ долженъ быть предоставленъ врачамъ. Докторъ Антонъ Дитрихъ, находившійся нѣкоторое время при больномъ по возвращеніи его въ Россію, видѣлъ причины его недуга частію въ томъ, что Константинъ Николаевичъ унаслѣдовалъ отъ своихъ родителей и предковъ нѣкоторыя болѣзни, предрасполагающія къ умопомѣшательству, а частію—въ его собственномъ душевномъ складѣ, въ которомъ воображеніе брало рѣшительный перевѣсъ надъ разсудкомъ. Удачно сравнивая Батюшкова съ Тассомъ, Дитрихъ примѣнялъ къ первому слова, сказанныя о послѣднемъ Фридрихомъ Шлегелемъ, а именно, что онъ принадлежалъ „къ числу поэтовъ, способныхъ изображать только

¹⁾ М. А. Дмитріевъ. Мелочи изъ запаса моей памяти, стр. 197; ср. также мнѣніе Греча въ его Запискахъ. С.-Пб. 1886, стр. 406.

самого себя и свои прекрасныя чувства, а не къ числу такихъ, которые въ состояніи свѣтлымъ духомъ своимъ обнять цѣлый міръ и въ этомъ мірѣ, такъ-сказать, затерять, забыть самихъ себя“ ¹⁾). Страстность натуры Батюшкова была хорошимъ матеріаломъ для развитія въ немъ психической болѣзни, а обстоятельства и случайности жизни, отчасти въ самомъ дѣлѣ бѣдственные, отчасти представлявшіяся ему таковыми, содѣйствовали развитію недуга. Болѣзнь однако имѣла нѣкоторый скрытый періодъ, и таково именно было состояніе Батюшкова въ 1821 году и еще нѣсколько времени далѣе: болѣзнь еще не приняла рѣзкихъ формъ, но сказывалась постоянною ипохондріей, удаленіемъ отъ людей, необычайною раздражительностью и иногда сильными порывами страстей.

Изъ Теплица Константинъ Николаевичъ собирался ѣхать въ Швейцарію, а зиму намѣревался провести въ Парижѣ или въ южной Франціи. Прощаясь съ Д. Н. Блудовымъ, онъ поручилъ ему кланяться петербургскимъ друзьямъ и роднымъ, но сказалъ, что писать не будетъ, потому что Дмитрій Николаевичъ—живая грамота ²⁾). Въ это же время находился за границей и Жуковский и на осень также собирался на Альпы; но Батюшковъ не поѣхалъ въ Швейцарію; друзья свидѣлись только въ ноябрѣ мѣсяцѣ въ Дрезденѣ, куда Константинъ Николаевичъ отправился прямо изъ Теплица, и куда заѣхалъ Жуковский на пути въ отечество. Свиданіе друзей было непродолжительно, такъ какъ Василій Андреевичъ не могъ остаться въ столицѣ Саксоніи болѣе четырехъ дней. Вотъ что записалъ онъ въ своемъ дорожномъ дневникѣ, подъ 4-мъ ноября 1821 года, объ этой печальной встрѣчѣ: „Съ Батюшковымъ въ Плаунѣ. Хочу заниматься.“

¹⁾ Friedr. Schlegel, Geschichte der alten und neuen Literatur, 11-tes Kapitel. Подробное изложеніе мнѣнія д-ра Дитриха см. въ запискѣ его о болѣзни Батюшкова, напечатанной въ приложеніяхъ къ настоящему труду.

²⁾ Изъ письма Е. О. Муравьевой къ А. Н. Батюшковой, отъ 27-го сентября 1821 года; ср. также Соч., т. III, стр. 572.

Раздраніе писаннаго. Надобно, чтобы что-нибудь со мною случилось. Тассъ; Брутъ; Вѣчный Жидъ; описаніе Неаполя“¹⁾. Изъ этихъ отрывочныхъ намековъ можно однако заключить, что Батюшковъ раскрылъ передъ другомъ мрачное состояніе своей души и, вѣроятно, высказалъ ему то же свое рѣшеніе, о которомъ не задолго писалъ Гнѣдичу, то-есть, что намѣренъ совершенно оставить литературное поприще. Послѣднія слова краткой замѣтки Жуковскаго, вѣроятно, содержатъ въ себѣ перечень произведеній Батюшкова, уничтоженныхъ имъ въ порывѣ отчаянія; какъ мы уже знаемъ, въ бытность свою въ Неаполѣ онъ дѣйствительно составлялъ записки объ его окрестностяхъ. Можно себѣ представить, какое тяжелое впечатлѣніе должны были произвести на Жуковскаго признанія друга; но его увѣщанія, прежде столь живительныя для Батюшкова, оказывались теперь безсильными предъ недугомъ, который овладѣлъ Константиномъ Николаевичемъ. Точно также мало по-дѣйствовало на него дружеское письмо Гнѣдича, посланное въ Дрезденъ и содержавшее въ себѣ объясненіе и оправданіе поступка Плетнева²⁾: мысль о преслѣдованіи со стороны какихъ-то тайныхъ враговъ уже вполне господствовала надъ поврежденнымъ умомъ несчастнаго поэта.

Зиму съ 1821 на 1822 годъ Константинъ Николаевичъ провелъ въ Дрезденѣ. Расположеніе его духа было чрезвычайно перемѣнчивое: иногда онъ восхищалъ своихъ собесѣдниковъ живымъ, одушевленнымъ описаніемъ красотъ Италіи, этого рая, этой страны блаженства земнаго, а на завтра тотъ же край превращался, въ его разсказахъ, въ разбой-

¹⁾ Плаунъ—красивое мѣстечко въ окрестностяхъ Дрездена. Дорожные дневники Жуковскаго хранятся въ Имп. П. Библіотекѣ въ двухъ редакціяхъ, черновой и бѣловой: выписка приведена изъ первой, такъ какъ вторая редакція изложена короче.

²⁾ Письмо Гнѣдича напечатано въ брошюрѣ П. Н. Тиханова: Николай Ивановичъ Гнѣдичъ, стр. 90—94.

ничье гнѣздо, въ кладбище древнихъ, великихъ и героическихъ вѣковъ. Мрачное уныніе становилось все болѣе и болѣе преобладающимъ настроеніемъ Константина Николаевича; онъ впалъ въ мистицизмъ, сталъ заниматься астрономіей и измѣнилъ своимъ прежнимъ любимцамъ, италіянскимъ поэтамъ. Говорятъ, что въ это время онъ перевелъ отрывокъ изъ Шиллеровой трагедіи „Мессинская невѣста“¹⁾. Если такое извѣстіе справедливо, то этотъ трудъ и небольшое стихотвореніе „Изреченіе Мелхиседека“ должны быть признаны послѣдними произведеніями Батюшкова. Глубоко безотраднымъ чувствомъ вѣетъ отъ послѣднихъ поэтическихъ строкъ его:

Ты помнишь, что изрекъ,
Прощаясь съ жизнію сѣдой Мелхиседекъ?
Рабомъ родится человѣкъ,
Рабомъ въ могилу ляжетъ,
И смерть ему едва ли скажетъ,
Зачѣмъ онъ шелъ долиной чудной слезъ,
Страдалъ, рыдалъ, терпѣлъ, исчезъ²⁾.

Еще осенью 1821 года Батюшковъ рѣшился совсѣмъ оставить службу и писалъ о томъ Италинскому, какъ непосредственному своему начальнику. Италинскій, въ свою очередь, ходатайствовалъ предъ графомъ Нессельродомъ объ увольненіи Батюшкова, съ сохраненіемъ ему, въ видѣ пенсіи, всего получаемаго имъ содержанія. Удовлетвореніе этой просьбы было отклонено; но графъ Нессельроде, письмомъ отъ 20-го февраля 1822 года, лично увѣдомилъ Батюшкова, о выраженномъ императоромъ Александромъ милостивомъ желаніи, чтобы поэтъ, оставаясь на службѣ, пользовался отпускомъ и содержаніемъ и посвящалъ бы себя литературнымъ трудамъ впредь до того времени, когда возстановленное здоровье позволить ему снова возвратиться къ

¹⁾ Н. Koenig. Literarische Bilder aus Russland. Stuttgart. 1837, стр. 125, 126.

²⁾ Соч., т. I, стр. 298.

служебнымъ занятіямъ ¹⁾). Столь высокое вниманіе къ дарованіямъ Батюшкова и къ его разрушенному здоровью заставляетъ предполагать, что его петербургскіе друзья дѣятельно представляли за несчастнаго поэта предъ графомъ Нессельродомъ, который исходатайствовалъ ему Царскую милость. Глубоко тронутый ею, Константинъ Николаевичъ, по полученіи письма графа, поспѣшилъ выразить ему то чувство признательности къ Государю, которое внушило ему это извѣстіе ²⁾). Затѣмъ онъ оставилъ Дрезденъ и отправился въ отечество.

Константинъ Николаевичъ пріѣхалъ въ Петербургъ весною 1822 года и вскорѣ по прибытіи обратился къ графу Нессельроду съ просьбой разрѣшить ему поѣздку въ Крымъ и на Кавказъ ³⁾); какъ и прежде, онъ еще питалъ убѣжденіе, что климатъ юга необходимъ, чтобы сохранить его все болѣе и болѣе слабѣющія силы. Просимое разрѣшеніе было немедленно дано, и Батюшковъ уѣхалъ на Кавказскія минеральныя воды. О пребываніи его тамъ не сохранилось никакихъ извѣстій; но въ теченіе всего 1822 года онъ не возвращался на сѣверъ. Между тѣмъ стали распространяться слухи о томъ, что его ипохондрія превращается въ совершенное разстройство ума: Пушкинъ съ ужасомъ узналъ о томъ въ Кишеневѣ въ іюлѣ 1822 года и не хотѣлъ вѣрить полученному извѣстію ⁴⁾).

Въ августѣ 1822 года Константинъ Николаевичъ переселился въ Крымъ и на всю слѣдующую зиму остался въ Симферополѣ. М. Ѳ. Орловъ, часто издававшій здѣсь нашего поэта, убѣдился въ свойствѣ его недуга еще въ концѣ 1822 года и подтвердилъ Пушкину печальное извѣстіе ⁵⁾). Въ началѣ слѣ-

¹⁾ Дѣло о службѣ Батюшкова въ архивѣ министерства иностранныхъ дѣлъ ср. Соч., т. III, стр. 572.

²⁾ Соч., т. III, стр. 575.

³⁾ Тамъ же, стр. 576.

⁴⁾ Соч. Пушкин., изд. 8-е, т. VII, стр. 84.

⁵⁾ Тамъ же, стр. 91.

дующаго года обнаружились такія проявленія душевной болѣзни Батюшкова, послѣ которыхъ потребовался усиленный надзоръ за страдальцемъ. Вотъ что рассказываетъ о пребываніи Батюшкова въ Симферополѣ находившійся тамъ на службѣ и давно знавшій его Н. В. Сушковъ: „Константинъ Николаевичъ нѣсколько мѣсяцевъ гостилъ въ Крыму. Въ началѣ не видно было въ немъ большой переменны. Только пуще, нежели прежде, онъ дичился незнакомыхъ людей и убѣгалъ всякаго общества. Мы видались почти каждый день. Онъ охотно бесѣдовалъ о быломъ, любилъ говорить о Жуковскомъ, объ А. И. Тургеневѣ, о Карамзинѣ, Муравьевыхъ, Крыловѣ, вспоминалъ разныхъ своего времени стихотворенія, всего чаще читалъ на распѣвъ:

О, вѣтеръ, вѣтеръ, что ты въешься?
Ты не отъ милаго ль несешься?

„Однажды застаю я его играющимъ съ кошкой. „Знаете ли, какова эта кошка“, сказалъ онъ мнѣ,—„препонятливая! Я учу ее писать стихи — декламируетъ ужъ презрѣдно“. Ласковая кошка между тѣмъ мурлычитъ свою пѣсню, то зорко взглядывая и поталкиваясь головою, то скрывая и выпуская когти, то извиваясь съ боку на бокъ и помавая пушистымъ хвостомъ. Нѣсколько дней позже сталъ онъ жаловаться на хозяина единственной тогда въ городѣ гостиницы, что будто бы тотъ наполняетъ горницу и постель его тарантулами, сороконожками и сколопандрами. Недѣли черезъ полторы вздумалось ему сжечь дорожную библіотеку—полный колясочный сундукъ прекраснѣйшихъ изданій на французскомъ и итальянскомъ языкахъ. Оставилъ изъ нихъ только двѣ книги, вѣроятно—по какимъ-нибудь воспоминаніямъ, и какія же? „Павелъ и Виргинія“ да „Атала“ и „Рене“. Онъ подарилъ ихъ мнѣ. Вскорѣ послѣ этого болѣзнь его развилась, и въ припадкахъ унынія онъ три раза посягалъ на свою жизнь: въ первый пытался перерѣзать себѣ горло бритвою, но рана была неглубока, и ее скоро заживили;

во второй пробовалъ застрѣлиться, зарядилъ ружье, взвелъ курокъ, подвязалъ къ замку платокъ и стоя потянулъ петлю колѣнкой, — зарядъ ударился въ стѣну; наконецъ, онъ отказался отъ пищи: недѣли двѣ, если не больше, оставался твердъ въ своей печальной рѣшимости. Природа однако же взяла свое: голодъ побѣдилъ упорство“¹⁾).

Въ Петербургъ, гдѣ въ то время А. Н. Батюшкова гостила у Е. О. Муравьевой, сперва достигали только смутныя вѣсти о Константинѣ Николаевичѣ. Роднымъ и друзьямъ его было извѣстно, что Батюшковъ въ Крыму, что состояніе его здоровья не поправилось, но отсутствіе болѣе обстоятельныхъ свѣдѣній повергало всѣхъ близкихъ въ тревогу. Первымъ встрепенулся князь Вяземскій: самому Константину Николаевичу онъ отправилъ изъ Москвы письмо самаго невиннаго содержанія, въ тонѣ ихъ прежней пріятельской переписки, а Жуковскому предложилъ ѣхать на югъ за ихъ общимъ другомъ. „Если есть еще прежняя дружба“, говорилъ князь Василю Андреевичу, — „то поѣдемъ за нимъ. Ты можешь отпроситься легко въ отпускъ, а я отпрошусь у обстоятельствъ, и совершимъ доброе дѣло“²⁾). Прежняя дружба была, конечно, свѣжа въ сердцѣ Жуковского, но удрученный своими семейными дѣлами, онъ не могъ послѣдовать призыву Вяземскаго. Въмѣсто двухъ пріятелей поѣхалъ въ Крымъ шуринъ Батюшкова П. А. Шипиловъ, женатый на его сестрѣ Елизаветѣ Николаевнѣ. Кромѣ того, отправлявшійся туда же старый пріятель Жуковского Д. А. Кавелинъ взялся навѣдаться къ Батюшкову въ Симферополѣ. Письма ихъ подтвердили тѣ прискорбныя извѣстія, которыя прежде того доходили въ Петербургъ: умомъ Батюшкова неотступно владѣла мысль, что онъ окруженъ врагами, которые ищутъ его гибели,

¹⁾ Обозъ къ потомству съ книгами и рукописями, статья Н. В. Сушкова въ 3-й книгѣ изданнаго имъ сборника Раутъ. М. 1854, стр. 278, 279.

²⁾ См. письмо кн. Вяземскаго къ Жуковскому, отъ 4-го января 1823 г., въ приложеніяхъ къ настоящему труду.

и заставляла его избѣгать всякаго общества; на предложеніе Шипилова ѣхать съ нимъ вмѣстѣ въ Петербургъ онъ отвѣчалъ рѣшительнымъ отказомъ ¹⁾. Точно также мало оказало дѣйствія письмо къ Константину Николаевичу отъ графа Нессельроде съ вызовомъ въ столицу. Послѣ того, какъ въ припадкахъ душевнаго разстройства больной сталъ покушаться на свою жизнь, Таврическій губернаторъ Н. И. Перовскій извѣстилъ графа Нессельроде объ отчаянномъ состояніи Константина Николаевича и вслѣдъ затѣмъ, при помощи пользовавшаго его врача, почтеннаго О. К. Мюльгаузена, рѣшился отправить Батюшкова въ Петербургъ. Только послѣ большихъ усилій удалось посадить его въ дорожный экипажъ. Для сопровожденія больного назначенъ былъ инспекторъ Таврической врачебной управы, докторъ П. И. Лангъ ²⁾.

Въ Петербургѣ больной былъ сданъ на руки Е. О. Муравьевой. На лѣто она переселилась на дачу на Карповкѣ, а такъ какъ Константинъ Николаевичъ дичился людей и избѣгалъ встрѣчаться съ кѣмъ-либо, то ему наняли особое помѣщеніе на другомъ берегу рѣчки въ домѣ г-жи Аллеръ. У него былъ тамъ небольшой садикъ, въ которомъ онъ любилъ гулять, по всегда одинъ. Онъ не желалъ видѣть ни Екатерины Ѳедоровны, ни сестры, и Александра Николаевна рѣшалась посмотрѣть на брата только съ балкона въ квартирѣ самой хозяйки ³⁾. Иногда онъ занимался рисованіемъ, а на стѣнахъ и окнахъ чертилъ надписи, и въ числѣ ихъ двѣ были слѣдующія: „omnibus adorata!“ и „Есть жизнь и за могилой!“ ⁴⁾. Изрѣдка друзья — Жуковский, Блудовъ, Гнѣдичъ — пытались навѣщать больного.

¹⁾ Письма Д. А. Кавелина и П. А. Шипилова см. въ приложеніяхъ къ настоящему труду.

²⁾ Подробности объ отправленіи Батюшкова въ Петербургъ см. въ письмахъ Н. И. Перовскаго къ гр. Нессельроде въ приложеніяхъ къ настоящему труду.

³⁾ Изъ письма О. А. Бородиной къ П. Н. Батюшкову. Г-жа Бородина жила въ то время у Е. О. Муравьевой.

⁴⁾ Р. Архивъ 1879 г., кн. II, стр. 478.

Перваго изъ нихъ Константинъ Николаевичъ даже самъ выражалъ желаніе видѣть ¹⁾). Князь Вяземскій, прїѣзжавшій въ Петербургъ въ іюнѣ 1823 года, также посѣтилъ Батюшкова въ его уединеніи. „Онъ ему обрадовался и оказалъ ему ласковый и нѣжный пріемъ. Но вскорѣ болѣзненное и мрачное настроеніе пересилило минутное свѣтлое впечатлѣніе. Желая отвлечь его и пробудить, пріятель обратилъ разговоръ на поэзію и спросилъ его: не написалъ ли онъ чего новаго? „Что писать мнѣ и что говорить о стихахъ моихъ!“ отвѣчалъ онъ;— „я похожъ на человѣка, который не дошелъ до цѣли своей, а несъ онъ на головѣ красивый сосудъ, чѣмъ-то наполненный. Сосудъ сорвался съ головы, упалъ и разбился въ дребезги. Поди, узнай теперь, что въ немъ было!“ ²⁾

По свидѣтельству друзей, Батюшковъ и въ состояніи душевнаго разстройства поражалъ иногда умными замѣчаніями и разговорами, и быть можетъ, это обстоятельство было причиною, что родные долго не рѣшались подвергнуть его систематическому лѣченію. Въ Петербургѣ его пользовалъ докторъ Мюллеръ; наконецъ, въ первой половинѣ 1824 года, по совѣту этого врача, положено было отправить Константина Николаевича въ заведеніе для душевнобольныхъ, находящееся въ Зоннштейнѣ, близъ города Пирны въ Саксоніи. Государь Александръ Павловичъ пожаловалъ пятьсотъ червонцевъ на препровожденіе больного, которому притомъ было сохранено прежнее его содержаніе. Батюшковъ выразилъ около этого времени желаніе постричься въ монашество; этимъ обстоятельствомъ воспользовались, чтобы сообщить ему волю Государя о томъ, чтобы прежде постриженія онъ ѣхалъ лѣчиться въ Дерптъ, а можетъ быть, и далѣе. Для сопровожденія Батюшкова приглашенъ былъ докторъ Бау-

¹⁾ Соч. Жук., изд. 7-е., т. VI, стр. 448.; ср. письмо Блудова къ Жуковскому въ приложенияхъ къ настоящему труду.

²⁾ П. собр. соч. кн. Вяз., т. VIII, стр. 481.

манъ, которому Жуковскій далъ рекомендательное письмо къ извѣстному врачу І.-Фр. Эрдману, сперва бывшему профессо-ромъ въ Казани и въ Дерптѣ, а потомъ перешедшему въ саксонскую службу. Александра Николаевна Батюшкова поѣхала за границу вслѣдъ за братомъ.

Въ Зонненштейнѣ Константинъ Николаевичъ былъ помѣщенъ не въ казенной больницѣ, а въ частномъ психіатрическомъ заведеніи доктора Пиница, директора Зонненштейнскаго дома умалишенныхъ. Лѣченіе Батюшкова въ этомъ заведеніи продолжалось четыре года. Онъ пользовался внимательнымъ уходомъ врачей. Порою проявлялась въ немъ сильное возбужденіе, порою упадокъ силъ; любимое его занятіе въ спокойныя минуты составляли рисованіе и лѣпка изъ воска; книгъ онъ не читалъ и рвалъ ихъ въ клочья; иногда однако вспоминалъ онъ о своемъ поэтическомъ талантѣ, который признавалъ теперь утраченнымъ, и говорилъ о Тассѣ, Шатобріанѣ и Байронѣ. Александра Николаевна почти все время пребыванія брата у доктора Пиница не покидала Пирны и часто ѣздила въ Зонненштейнъ, но рѣдко была допускаема къ брату. Кромѣ того, почти все время пребыванія Батюшкова въ Саксоніи жила въ Дрезденѣ Е. Г. Пушкина, и теперь сохранившая къ больному поэту дружбу, которая нѣкогда связывала ихъ; она иногда навѣщала его и своимъ мирнымъ вліяніемъ умѣла успокаивать его болѣзненные порывы. Наконецъ, въ теченіе тѣхъ же четырехъ лѣтъ были въ Дрезденѣ проѣздомъ А. И. и С. И. Тургеневы и Жуковскій. Послѣдній также ѣздилъ въ Зонненштейнъ и навѣщалъ тамъ Батюшкова. Маленькое письмо больного, написанное имъ къ Жуковскому изъ больницы доктора Пиница, доказываетъ, что и въ состояніи полного душевнаго расстройства, когда онъ высказывалъ ненависть ко всѣмъ окружающимъ и къ большей части прежде близкихъ ему людей, онъ! сохранялъ доброе чувство къ

¹⁾ Соч., т. III, стр. 586.

старому другу; однако впоследствии и къ Василию Андреевичу онъ сталъ относиться враждебно; тѣ же чувства выражалъ онъ теперь и къ графу Капо д'Истріа, и къ Карамзину, о смерти котораго не зналъ¹⁾. Въ отношеніи къ Александрѣ Николаевнѣ, какъ Жуковский, такъ и Е. Г. Пушкина, были лучшими утѣшителями и своимъ искреннимъ участіемъ облегчали ея безсходное горе²⁾.

Четырехлѣтнее пребываніе Батюшкова на попеченіи доктора Пиница не принесло облегченія больному. Напротивъ того, выяснилось, что недугъ его неизлѣчимъ. Поэтому, въ половинѣ 1828 года рѣшено было перевезти его обратно въ Россію. Онъ былъ порученъ попеченіямъ доктора Антона Дитриха, который еще съ марта 1828 года наблюдалъ за нимъ въ Зонненштейнѣ, затѣмъ доставилъ его въ Россію и прожилъ при немъ въ Москвѣ болѣе полутора года. Возвращеніе въ отечество было пріятно больному, но не подѣйствовало на него успокоительно³⁾. Въ это время Е. Θ. Муравьева жила въ Москвѣ, и у нея въ домѣ опять поселилась А. Н. Батюшкова. Константину Николаевичу наняли особый домикъ въ Грузинахъ, въ переулкѣ Тишинѣ, гдѣ жилъ при немъ для надзора докторъ Дитрихъ. На излѣченіе больного была утрачена всякая надежда, и главною задачей врачебнаго надзора стало успокоеніе его бурныхъ порывовъ. Благодаря попеченіямъ умнаго,

¹⁾ Съ своей стороны, Карамзинъ сохранилъ до самой смерти теплое воспоминаніе о Батюшковѣ. Вотъ что рассказываетъ К. С. Сербиновичъ: „Однажды Николай Михайловичъ взялъ стихотворенія Батюшкова послѣ извѣстія о безвозвратной потерѣ его для литературы и общества. Онъ раскрылъ книгу и читалъ вслухъ что первое попало на глаза, читалъ тихимъ и ровнымъ голосомъ; лицо не мѣнялось, но глаза постепенно дѣлались влажны, и наконецъ, слеза, скатившаяся по лицу, остановила чтеніе. Живое и глубоко чувствовалъ онъ несчастье своихъ друзей“ (Погодинъ. Ник. М. Карамзинъ, ч. II, стр. 327).

²⁾ Два письма Е. Г. Пушкиной къ Жуковскому см. въ приложеніяхъ къ настоящему труду; письма къ ней Жуковскаго въ его Сочиненіяхъ, изд. 7-е, т. VI.

³⁾ Любопытныя подробности о путешествіи Батюшкова съ докторомъ Дитрихомъ см. въ письмѣ Д. В. Дашкова, въ приложеніяхъ къ настоящему труду.

внимательнаго и обходительнаго Дитриха цѣль эта была достигнута, но и то въ очень малой степени: больнаго по прежнему приходилось держать въ отлученіи отъ всего живаго міра. Появленіе Е. О. Муравьевой приводило его большею частью въ раздраженіе, но иногда онъ узнавалъ ее и обходился съ нею ласково. Попытка князя Вяземскаго завести съ нимъ переписку также была встрѣчена имъ недружелюбно ¹⁾. Однажды Вяземскій привезъ въ домъ, гдѣ жилъ Батюшковъ, А. Н. Верстовскаго, который, оставаясь въ комнатѣ доктора Дитриха, сталъ играть на фортепіано; это также не понравилось Константину Николаевичу. Но другой подобный опытъ оказался удачнѣе: въ одной изъ комнатъ былъ помѣщенъ небольшой хоръ, исполнившій нѣсколько пѣсенъ; Батюшковъ выслушалъ его не безъ удовольствія. Всенощная, отслуженная въ его домѣ по желанію Е. О. Муравьевой, произвела на него сильное впечатлѣніе; но когда, послѣ службы, присутствовавшій при ней А. С. Пушкинъ вошелъ въ комнату больнаго, послѣдній не узналъ его, какъ впрочемъ не узнавалъ обыкновенно и другихъ лицъ, хорошо ему знакомыхъ въ прежнее время ²⁾. А. Н. Батюшкова уже не могла видѣть брата: въ 1829 году ее постигъ тотъ же недугъ, которымъ онъ страдалъ.

Весною 1829 года докторъ Дитрихъ уѣхалъ изъ Россіи, оставивъ для свѣдѣнія другихъ врачей замѣчательную записку о болѣзни Константина Николаевича; она служитъ доказательствомъ не только его попеченій о больномъ, но и того, что онъ вдумался въ характеръ его личности и оцѣнилъ его преждевременно погибшее дарованіе. Дитрихъ самъ былъ немножко поэтомъ; онъ научился по русски, и въ числѣ его литератур-

¹⁾ Письмо кн. Вяземскаго къ Батюшкову, отъ октября 1828 г., см. въ приложеніяхъ къ настоящему труду.

²⁾ Всѣ эти подробности извлечены изъ дневника, веденнаго докторомъ Дитрихомъ во время путешествія его съ Батюшковымъ изъ-за границы и въ бытность его въ Москвѣ при больномъ.

ныхъ трудовъ есть переводы русскихъ стихотвореній; изъ произведеній Батюшкова онъ перевелъ посланіе къ Пенатамъ.

Константинъ Николаевичъ, не смотря на свою неизлѣчимую болѣзнь, числился на службѣ по министерству иностранныхъ дѣлъ до самаго 1833 года и получалъ прежнее свое жалованье. Въ 1833 году онъ былъ совершенно уволенъ отъ службы, и волею императора Николая Павловича ему была назначена пенсія въ двѣ тысячи рублей. Жуковскій принималъ немалое участіе въ исходатайствованіи этой Царской милости своему старому другу. Въ томъ же году Константинъ Николаевичъ былъ перевезенъ въ Вологду и помѣщенъ въ семьѣ своего племянника Гр. А. Гревенса. Съ тѣхъ поръ старые друзья Батюшкова совсѣмъ потеряли его изъ виду. А между тѣмъ, малу по малу рѣдѣлъ и ихъ кругъ: въ 1833 году умерли Н. И. Гнѣдичъ и Е. Г. Пушкина, въ 1839—Д. В. Дашковъ, въ 1845 — А. И. Тургеневъ, въ 1848—Е. О. Муравьева, въ 1851—Е. А. Карамзина. Жуковскій съ 1841 года поселился за границей и не возвращался въ отечество. Еще въ 1834 году издано было собраніе сочиненій Батюшкова, которое осталось не извѣстно ихъ еще живому автору; самъ онъ сталъ уже совершенно чуждымъ дѣйствующему литературному поколѣнію. Всѣхъ живѣе хранилъ память о Батюшковѣ тотъ изъ его друзей, съ которыми, по сознанію самого поэта, онъ былъ всѣхъ чистосердечнѣе ¹⁾: въ 1850 году князь Вяземскій, во время своей поѣздки къ Святымъ Мѣстамъ, помолился о больномъ другѣ въ іерусалимскомъ греческомъ монастырѣ св. Георгія, а въ слѣдующемъ напечаталъ воспоминаніе о немъ по случаю изданія, въ Москвитинѣ, двухъ автобіографическихъ отрывковъ Батюшкова ²⁾; въ 1853 году князь Вяземскій посѣтилъ Зонненштейнъ, и эта поѣздка внушила ему слѣдующія грустныя строки:

¹⁾ Соч., т. III, стр. 414.

²⁾ П. собр. соч., кн. Вяз., т. IX, стр. 273, и т. II, стр. 413—417.

Прекрасенъ здѣсь видъ Эльбы величавой,
Роскошной жизнью берега цвѣтутъ;
По ребрамъ горъ дубрава за дубравой,
За вилою вила, лѣтнихъ нѣгъ пріютъ.

Вездѣ кругомъ изъ каменистыхъ рамокъ
Картины блещутъ свѣжей красотой;
Вотъ на утесъ перешагнувшій замокъ
Къ главѣ его приросъ своей пятой.

Волшебный край, то свѣтлый, то угрюмый,
Живой кипсекъ всѣхъ прелестей земли!
Но облакомъ въ душѣ засѣвшей думы
Развлечь, согнать съ души вы не могли.

Я преданъ былъ другому впечатлѣнью:
Любезный образъ въ душу налеталъ,
Страдальца образъ — и печальной тѣнью
Онъ красоту природы омрачалъ.

Здѣсь онъ страдалъ, томился здѣсь когда-то,
Жуковского и мой душевный братъ,
Онъ, пѣснями и скорбью нашъ Торквато,
Онъ, заживо познавшій свой закатъ.

Не для его очей цвѣла природа,
Святой глаголь ея предъ нимъ нѣмѣлъ;
Здѣсь для него съ лазореваго свода
Веселый день не радостью горѣлъ.

Онъ въ мірѣ внутреннемъ ночныхъ видѣній
Жилъ взаперти, какъ узникъ средь тюрьмы,
И былъ онъ мертвъ для виѣшнихъ впечатлѣній,
И Божій міръ ему былъ царствомъ тьмы.

Но видѣлъ онъ, но умъ его тревожилъ —
Что созидалъ ума его недугъ, —
Такъ бѣднѣй здѣсь лѣта страданья прожилъ,
Такъ и теперь живетъ несчастный другъ ¹⁾.

¹⁾ Въ дорогѣ и дома. Собраніе стихотвореній кн. П. А. Вяземскаго.
М. 1862, стр. 116, 117.

О годах жизни Батюшкова въ Вологдѣ предоставимъ разсказать очевидцу, одному изъ внуковъ покойнаго, П. Гр. Гревенсу ¹⁾:

„Въ послѣдніе двадцать-два года жизни, нравственное состояніе Константина Николаевича значительно измѣнилось къ лучшему: бывали дни, въ которые, казалось, воскресалъ прежній Батюшковъ; но какъ скоро рождались эти надежды, также скоро онѣ и улетали, оставляя по себѣ одно сладостное, неизгладимое воспоминаніе во всѣхъ окружавшихъ. По пріѣздѣ его въ 1833 году Константинъ Николаевичъ былъ почти неукротимъ и сильно страдалъ нервнымъ раздраженіемъ; малѣйшая бездѣлица приводила его въ изступленіе; но постоянное, кроткое, предупредительное обхожденіе постепенно смягчало старца. Душевное его разстройство было такъ велико, что онъ боялся зеркалъ, свѣта свѣчи, а о томъ, чтобъ увидѣть кого-нибудь, не хотѣлъ и думать, и въ эти печальные дни бывали съ незабвеннымъ Константиномъ Николаевичемъ ужасные пароксизмы: онъ рвалъ на себѣ платье, не принималъ никакой пищи, и только спасительный сонъ укрощалъ его возмущенный организмъ. Но лѣтъ десять тому назадъ начала въ немъ обнаруживаться значительная перемѣна къ лучшему: онъ сталъ гораздо кротче, общительнѣе, началъ заниматься чтеніемъ, и страсть его къ чтенію постоянно усиливалась до самой кончины. Любимыми авторами его были М. Н. Муравьевъ, Карамзинъ, Измайловъ, Крыловъ, Капнистъ и Кантемиръ. Очень часто случалось, что онъ цитировалъ цѣлыя страницы Державина на память, которая ему не измѣняла до послѣднихъ дней. Говоря о своихъ походахъ, онъ всегда вспоминалъ о Денисѣ

¹⁾ Статья П. Гр. Гревенса напечатана въ Вологодскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ 1855 г., №№ 42 и 43; часть этой статьи перепечатана въ Р. Старицѣ 1833 г., т. XXXIX, стр. 544—550. На основаніи статьи П. Гр. Гревенса и другихъ печатныхъ матеріаловъ составлена статья Н. Боева (О. Н. Берга): „Батюшковъ въ Вологдѣ“, напечатанная въ Р. Вѣстникѣ, 1874 г., № 8.

Васильевичъ Давыдовъ, превозносилъ похвалами его историческую отвагу, съ грустью говорилъ о бывшихъ своихъ начальникахъ, генералахъ Бахметевъ и Раевскомъ, и въ особенности о послѣднемъ. Изъ друзей своихъ чаще всего упоминалъ о Жуковскомъ, Тургеневъ и князь Вяземскомъ и всегда съ особенною любовію отзывался о Карамзинъ и обо всемъ его семействѣ, которое называлъ роднымъ себѣ. Неизмѣнный въ любви своей къ природѣ, онъ не переставалъ жить ею: собираніе цвѣтовъ и рисованіе ихъ съ натуры составляло любимѣйшее его занятіе. Иногда выходили изъ-подъ его кисти и пейзажи; но что-то печальное отражалось на его рисункѣ и характеризовало его моральное состояніе. Луна, крестъ и лошадь — вотъ непремѣнныя принадлежности его ландшафтовъ. Глубокое знаніе языковъ французскаго и италіянскаго не оставляло его никогда, и весьма часто, сидя одинъ, цитировалъ онъ цѣлыя тирады изъ Тасса.

„День его обыкновенно начинался очень рано. Вставалъ онъ часовъ въ 5 лѣтомъ, зимою же часовъ въ семь, затѣмъ кушалъ чай и садился читать или рисовать; въ 10 часовъ подавали ему кофе, а въ 12 онъ ложился отдыхать и спалъ до обѣда, то-есть, часовъ до 4-хъ; опять рисовалъ или приказывалъ приводить къ себѣ маленькихъ своихъ внуковъ, изъ которыхъ одного чрезвычайно любилъ, и когда тотъ умеръ, то горевалъ очень долго о потерѣ, какъ онъ самъ говорилъ, „своего маленькаго друга“. Требовалъ, чтобъ ему поставили памятникъ съ слѣдующею надписью:

Il était de ce monde où les plus belles choses
Ont le pire destin,
Et rose, il a vécu ce que vivent les roses,
L'espace d'un matin.

„Малютка этотъ похороненъ въ Прилуцкомъ монастырѣ, куда Константинъ Николаевичъ часто ѣздилъ гулять и дышать

чистымъ воздухомъ. Живя лѣтомъ въ деревнѣ, онъ одну ночь проводилъ дома, все прочее время постоянно гулялъ, и это движеніе много способствовало тому прекрасному состоянію его физическаго здоровья, которымъ онъ пользовался до послѣднихъ дней своей жизни“.

Въ 1841 году ѣздилъ въ Вологду М. П. Погодинъ. Онъ посѣтилъ Батюшкова и въ своемъ дорожномъ дневникѣ, подъ 23-мъ августа, записалъ о немъ слѣдующее: „Отправился къ Батюшкову, по вызову священника, въ чьемъ домѣ онъ живетъ. Прекрасныя комнаты... Константинъ Николаевичъ провелъ ночь не хорошо. Священникъ и г. П. совѣтывали мнѣ встрѣтиться съ нимъ на прогулкѣ, въ саду надъ рѣкою, куда онъ сейчасъ долженъ идти. Получивъ свѣдѣнія отъ нихъ объ его состояніи и нѣсколько рисунковъ его работы, я отправился въ садъ. Чрезъ часъ я вижу и Батюшкова. Онъ совершенно здоровъ физически, но посѣдѣлъ, ходитъ быстро и безпрестанно дѣлаетъ жесты твердые и рѣшительные; встрѣтился съ нимъ два раза, а болѣе боялся, чтобъ не возбудить въ немъ подозрѣнія“¹⁾.

Болѣе счастливо было свиданіе съ Константиномъ Николаевичемъ С. П. Шевырева, посѣтившаго Вологду въ 1847 году. Директоръ мѣстной гимназіи, „А. В. Башинскій“, рассказываетъ Шевыревъ, — „повезъ меня къ начальнику удѣльной конторы Г. А. Гревенсу, въ домѣ котораго живетъ Константинъ Николаевичъ Батюшковъ, окруженный нѣжными заботами своихъ родныхъ. Болѣзненное состояніе его перешло въ болѣе спокойное и неопасное ни для кого. Небольшаго росту человекъ, сухой комплекціи, съ головкой почти совсѣмъ сѣдою, съ глазами, ни на чемъ не остановленными, но непрерывно разбѣгающимися, съ странными движеніями, особенно въ плечахъ, съ голосомъ раздраженнымъ и хрипливо-тонкимъ, предсталъ передо мною. Подвижное лицо его свидѣтельствовало о нервической его раз-

¹⁾ Москвитянинъ 1842 г., кн. 8, стр. 281, 282.

дражительности. На видъ ему лѣтъ 50 или болѣе. Такъ какъ мнѣ сказали, что онъ любитъ италіянскій языкъ и читаетъ иногда на немъ книги, то я началъ съ нимъ говорить по италіянски, но проба моя была неудачна. Онъ ни слова не отвѣчалъ мнѣ, разсердился и быстрыми шагами вышелъ изъ комнаты. Черезъ полчаса однако успокоился, и мы вмѣстѣ съ нимъ обѣдали. Но кажется, всѣ связи его съ прошедшимъ уже разорваны. Друзей своихъ онъ не признаетъ. За обѣдомъ, въ разговорѣ, онъ сослался на свои „Опыты въ прозѣ“, но въ такой мысли, которой тамъ вовсе нѣтъ. Говорятъ, что попытка читать передъ нимъ стихи изъ „Умирающаго Тасса“ была также неудачна, какъ и моя проба говорить съ нимъ по италіянски. Я упомянулъ, что въ Римѣ, на piazza Poli, Русскіе помнятъ домъ, въ которомъ онъ жилъ, и указываютъ на его окна. Казалось, это было для него не совсѣмъ непріятно. Также прочли ему когда-то статью объ немъ, напечатанную въ „Энциклопедическомъ Лексиконѣ“¹⁾: она доставила ему удовольствіе. Какъ будто любовь къ славѣ не совсѣмъ чужда еще чувствамъ поэта, при его умственномъ разстройствѣ!

„Батюшковъ очень набоженъ. Въ день своихъ именинъ и рожденія онъ всегда проситъ отслужить молебенъ, но никогда не дастъ попу за то денегъ, а подаритъ ему розу или апельсинъ. Вкусъ его къ прекрасному сохранился въ любви къ цвѣтамъ. Нерѣдко смотритъ онъ на нихъ и улыбается. Любитъ дѣтей, играетъ съ ними, никогда ни въ чемъ не откажетъ ребенку, и дѣти его любятъ. Къ женщинамъ питаетъ особенное уваженіе: не сумѣетъ отказать женской просьбѣ. Полное вліяніе имѣетъ на него родственница его Елизавета Петровна Гревенсъ: для нея нѣтъ отказа ни въ чѣмъ. Нерѣдко гуляетъ. Охотно слушаетъ чтеніе и стихи. Дома любимое его занятіе— живопись. Онъ пишетъ ландшафты. Содержаніе ландшафта почти

¹⁾ Т. V, стр. 96, 97, статья В. Т. Плаксына.

всегда одно и то же. Это элегія или баллада въ краскахъ: конь, привязанный къ колодцу, луна, дерево, болѣе ель, иногда могильный крестъ, иногда церковь. Ландшафты писаны очень грубо и нескладно. Ихъ даритъ Батюшковъ тѣмъ, кого особенно любить, всего болѣе дѣтямъ. Дурная погода раздражаетъ его. Бываютъ иногда капризы и внезапныя желанія. Въ числѣ несвязныхъ мыслей, которыя выражалъ Батюшковъ въ разговорѣ съ директоромъ гимназіи, была одна, достойная человѣка вполнѣ разумнаго, что свобода наша должна быть основана на евангельскомъ законѣ¹⁾.

Одновременно съ С. П. Шевыревымъ посѣтилъ Вологду Н. В. Бергъ и также оставилъ свои воспоминанія о встрѣчѣ съ Батюшковымъ. При первомъ своемъ появленіи въ домѣ Г. А. Гревенса Бергъ произвелъ непріятное впечатлѣніе на нечаянно увидѣвшаго его Константина Николаевича: больной не любилъ и сердился, когда приходили на него смотрѣть. Но потомъ это впечатлѣніе сгладилось, и онъ пилъ утренній чай и кофе вмѣстѣ съ гостемъ. „Тутъ“, рассказываетъ Н. В. Бергъ, — „я старался рассмотреть, какъ можно лучше, черты его лица. Оно тогда было совершенно спокойно. Темносѣрые глаза его, быстрые и выразительные, смотрѣли тихо и кротко. Густыя, черныя съ просѣдью брови не опускались и не сдвигались. Лобъ разгладился отъ морщинъ. Въ это время онъ нисколько не походилъ на сумасшедшаго. Какъ ни вглядывался я, никакого слѣда безумія не находилъ на его смирномъ, благородномъ лицѣ. Напротивъ, оно было въ ту минуту очень умно. Скажу здѣсь и обо всей его головѣ: она не такъ велика; лобъ у него открытый, большой; носъ маленькій, съ горбомъ; губы тонкія и сухія; все лицо худощаво, нѣсколько морщиновато; особенно замѣчательно своею необыкновенною подвижностію; это совер-

¹⁾ Шевыревъ. Поѣздка въ Кирилло-Бѣлозерскій монастырь. М. 1850, ч. I, стр. 109, 110.

шенная молнія; переходы отъ спокойствія къ безпокойству, отъ улыбки къ суровому выраженію чрезвычайно быстры. И весь вообще онъ очень живъ и даже вертлявъ. Все, что ни дѣлаетъ, дѣлаетъ скоро. Ходитъ также скоро и широкими шагами. Глядя на него, я вспомнилъ извѣстный его портретъ; но онъ теперь почти не похожъ, и тотъ полный лицомъ, кудрявый юноша ничуть не напоминаетъ гладенькаго, худенькаго старичка... Допивъ кофе, (онъ) всталъ и началъ опять ходить по залѣ; опять останавливался у окна и смотрѣлъ на улицу; иногда поднималъ плечи вверхъ, что-то шепталъ и говорилъ; его неопредѣленный, странный шопотъ былъ нѣсколько похожъ на скорую, отрывистую молитву, и можетъ быть, онъ въ самомъ дѣлѣ молился, потому что иногда закидывалъ назадъ голову и, какъ мнѣ показалось, смотрѣлъ на небо; даже мнѣ однажды послышалось, что онъ сказалъ шопотомъ: „Господи!..“ Въ одну изъ такихъ минутъ, когда онъ стоялъ такимъ образомъ у окна, мнѣ пришло въ голову срисовать его сзади. Я подумалъ: это будетъ Батюшковъ безъ лица, обращенный къ намъ спиной,— и я, вынувъ карандашъ и бумагу, принялся какъ можно скорѣе чертить его фигуру; но онъ скоро замѣтилъ это и началъ меня ловить, кидая изъ-за плеча безпокойные и сердитые взгляды. Безуміе опять заиграло въ его глазахъ, и я долженъ былъ бросить работу“ ¹⁾.

Событія Восточной войны 1853—1855 годовъ чрезвычайно занимали Константина Николаевича. Онъ слѣдилъ за ними по русскимъ и иностраннымъ газетамъ (изъ послѣднихъ особенно любилъ *L'Indépendance belge*) и по картѣ военныхъ дѣйствій; осуждалъ политику Наполеона III и бранилъ Турокъ. Военныя событія этихъ годовъ напоминали ему тѣ войны, въ которыхъ

¹⁾ Поѣздка въ Кирило-Бѣлозерскій монастырь, т. I, стр. 112—114. Тамъ же помѣщенъ набросокъ Н. В. Берга, изображающій Батюшкова, какъ онъ имъ описанъ передъ окномъ.

онъ самъ участвовалъ, и это давало ему поводъ говорить о сраженіяхъ подъ Гейльсбергомъ, гдѣ онъ былъ раненъ, и подъ Лейпцигомъ, гдѣ убитъ былъ другъ его Петинъ; церковь и могильный крестъ, которые онъ любилъ рисовать, также были воспоминаніемъ о товарищѣ его молодости.

О послѣднихъ дняхъ Батюшкова передадимъ словами П. Гр. Гревенса: „Тифозная горячка, которая унесла въ могилу Константина Николаевича, началась 27-го іюня; но никто изъ окружающихъ его не могъ думать, чтобъ она приняла такой печальный исходъ. Въ періодъ времени отъ начала болѣзни до дня кончины, Константинъ Николаевичъ чувствовалъ облегченіе, за два дня до смерти даже читалъ самъ газеты, приказалъ подать себѣ бриться и былъ довольно веселъ; но на другой день страданія его усилились, пульсъ сдѣлался чрезвычайно слабъ, и 7-го іюля 1855 года онъ умеръ въ 5 часовъ по полудни. Конецъ его былъ тихъ и спокоенъ. Въ послѣдніе часы его жизни, племянникъ Г. А. Гревеницъ сталъ убѣждать его прибѣгнуть къ утѣшеніямъ вѣры; выслушавъ его слова, Константинъ Николаевичъ крѣпко пожалъ ему руку и благоговѣйно перекрестился три раза. Вскорѣ послѣ этого Константинъ Николаевичъ уснулъ сномъ праведника“¹⁾.

Константинъ Николаевичъ погребенъ въ Спасо-Прилудкомъ монастырѣ, въ 5 верстахъ отъ Вологды. Погребеніе происходило 10-го іюля; гробъ поэта провожали до могилы епископъ Вологодскій и Устюгскій Ѳеогностъ съ городскимъ духовенствомъ и многіе Вологжане. Литургія и отпѣваніе были совершены самимъ преосвященнымъ, а надъ могилой протоіерей Прокошевъ произнесъ надгробное слово.

¹⁾ Вологодскія губ. вѣдомости 1855 г., № 43.

Батюшковъ пережилъ большую часть своихъ сверстниковъ на поприщѣ словесности; но остановленный въ своемъ развитіи тяжкимъ недугомъ, онъ прекратилъ литературную дѣятельность раньше всѣхъ тѣхъ, съ кѣмъ вмѣстѣ началъ ее. Въ тридцатичетырехлѣтній періодъ его душевной болѣзни русская литература совершенно преобразилась; первые дѣйствительные успѣхи того славнаго генія, которому она обязана этимъ переломомъ, совпадаютъ съ концомъ творческой жизни Батюшкова. Въ этомъ случайномъ совпаденіи есть однако тѣсная внутренняя связь: Батюшковъ былъ ближайшимъ предшественникомъ Пушкина въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ. Совершенство Пушкинскаго стиха было подготовлено мастерскимъ стихомъ Батюшкова. Скажемъ болѣе: не равняя дарованія обоихъ поэтовъ, нельзя не признать нѣкоторыхъ общихъ чертъ въ характерѣ ихъ творчества. „Пушкинъ“ — говорятъ намъ — „внесъ въ наше образованіе начало художественное, начало чистой поэзіи... Пушкинъ... впервые въ исторіи нашего умственного образованія коснулся того, что составляетъ основу жизни, коснулся индивидуальнаго, личнаго существованія. Русское слово, въ лицѣ Пушкина, нашло путь къ жизни и приобрѣло способность выражать дѣйствительность въ ея внутреннихъ источникахъ. До него поэзія была дѣломъ школы; послѣ него она стала дѣломъ жизни, ея общественнымъ сознаніемъ“¹⁾. Но еще до Пушкина Жуковский и Батюшковъ выходили уже на тотъ путь, по которому такъ побѣдоносно прошелъ онъ. Оба они также стремились освободить нашу поэзію отъ вліянія школы, и оба не безъ успѣха. Вспомнимъ, что нѣкоторые мотивы поэзіи Жуковского, его романтической идеализмъ увлекали читателей довольно долго даже и въ Пушкинскій періодъ. Но Жуковский въ своемъ творествѣ былъ менѣе самостоятеленъ, чѣмъ Батюшковъ: міросозерцаніе

¹⁾ М. Н. Катковъ. Пушкинъ — въ Русскомъ Вѣстникѣ 1856 г., т. II, стр. 284.

Жуковского, очень рано сложившееся, очень определенное въ своемъ содержаніи, слишкомъ отзывалось своимъ происхожденіемъ съ чужой почвы. У Батюшкова нѣтъ такой цѣльности міросозерцанія; въ немъ, въ извѣстную пору, видѣнь крутой поворотъ поэтической мысли; но самое это развитіе свидѣтельству о большей самобытности и большей силѣ его таланта. Батюшковъ, какъ позже Пушкинъ, стремился найти основу для своего творчества въ дѣйствительности, въ непосредственномъ кругѣ своихъ впечатлѣній. Свойство его таланта было исключительно лирическое, и въ этомъ заключается и слабость его, и сила: слабость—потому, что лирическимъ отношеніемъ къ дѣйствительности не исчерпывается воссозданіе жизни въ поэзіи; сила—потому что въ сферѣ лирики онъ сумѣлъ коснуться самыхъ глубокихъ, самыхъ чувствительныхъ струнъ сердца; сила его таланта сказала и въ его объективности: поэтъ, раскрывшій намъ тайну своего разочарованія въ элегіяхъ 1815 года и въ „Умирающемъ Тассѣ“, могъ въ то же время проникнуться свѣтлымъ міросозерцаніемъ древности и написать „Вакханку“ и подражанія греческой Антологіи.

Говорятъ, что поэзія Батюшкова „почти лишена содержанія¹⁾“, и что она „безлична въ смыслѣ народности“²⁾. Поэтъ нашъ, конечно, не задавался намѣреніемъ развивать въ своихъ стихахъ какіе-нибудь философскіе тезисы; но отрицать присутствіе живой мысли въ его произведеніяхъ не справедливо: если въ піесахъ молодой поры онъ не идетъ далѣе выраженія ходячихъ въ его время понятій гораціанскаго эпикуреизма, то въ стихотвореніяхъ своего зрѣлаго періода изображаетъ страданія своей надломленной жизнью души: обманувшія его мечты о счастьи вызвали его горькое разочарованіе, и это тяжелое

¹⁾ Сочиненія Бѣлинскаго, т. VI, стр. 49.

²⁾ Рѣчь И. С. Аксакова на юбилейномъ Пушкинскомъ праздникѣ въ Москвѣ 7-го іюня 1880 года—Русскій Архивъ 1880 г., кн. II, стр. 471.

душевное состояніе, это сознаніе разлада между идеаломъ и дѣйствительностью, впервые сказалось въ русской поэзіи—въ стихахъ Батюшкова. Въ молодости онъ обнаруживалъ нѣкую склонность къ сатирѣ; но онъ отказался отъ нея, когда талантъ его освободился отъ подражательности и, конечно, былъ правъ: сознательно ограничивъ предѣлы своего творчества, онъ создалъ лучшія свои произведенія. Горе художнику, который ищетъ мотивовъ для своихъ произведеній внѣ своей души и своего внутренняго настроенія!

Упрекъ въ недостатокѣ народности можетъ быть обращенъ къ Батюшкову не въ большей мѣрѣ, чѣмъ къ другимъ современнымъ ему поэтамъ: попытки Жуковского затронуть народные мотивы имѣютъ чисто внѣшній характеръ, и можетъ быть, Батюшковъ сознательно воздерживался отъ соблазна ступить на этотъ скользкій путь; русскія бытовые черты чрезвычайно рѣдки въ его поэзіи; напомнимъ однако очень удачный — и смѣлый для своего времени — образъ „калѣки-воина“ въ посланіи Пенатамъ“. За то непосредственное хранилище народности, русскій языкъ, является въ его рукахъ послушнымъ уже орудіемъ: искусство владѣть имъ никому изъ современниковъ, кромѣ Крылова, не было доступно въ такой мѣрѣ, какъ Батюшкову, и только послѣ него доведено было до высшей степени совершенства Пушкинымъ и Грибоѣдовымъ. Упоминаемъ имя автора „Горя отъ ума“ потому, что до него только сказка Батюшкова „Странствователь и домосѣдъ“, вмѣстѣ съ баснями Крылова, можетъ быть приведена въ образецъ простой поэтической рѣчи. Другаго характера поэтической слогъ и языкъ — въ элегіяхъ, посланіяхъ и антологическихъ піесахъ Батюшкова—подготовилъ способъ выраженія въ подобныхъ стихотвореніяхъ Пушкина.

Какъ въ дѣйствительной жизни Батюшковъ обнаружилъ способность только къ поэтическому творчеству, такъ и въ искусствѣ онъ былъ чистымъ художникомъ. Онъ не хотѣлъ знать за собою никакого другаго призванія, а за искусствомъ

не признавалъ практическихъ цѣлей, но ясно понималъ его высокое, облагораживающее, и потому полезное значеніе. Сознательность поэтическаго творчества составляетъ его отличительную черту. И въ этомъ отношеніи Батюшковъ стоялъ впереди большинства литературныхъ дѣятелей своего времени и былъ ближе, чѣмъ къ нимъ, къ слѣдующему поколѣнію писателей.

Такимъ образомъ, и въ разработкѣ внѣшней поэтической формы, и въ дѣлѣ внутренняго развитія поэтическаго творчества, и наконецъ, въ отношеніяхъ поэзіи къ обществу художественная дѣятельность Батюшкова представляетъ счастливые начатки того, что получило полное осуществленіе въ дѣятельности гениальнаго Пушкина; потому-то Пушкинъ и признавалъ такъ открыто свое духовное родство съ Батюшковымъ. Великій преемникъ заслонилъ собою даровитаго предшественника; но Батюшковъ не можетъ быть забытъ въ исторіи русской художественной словесности. При блескѣ солнца меркнетъ блѣдная луна; но въ Божьемъ мірѣ всему есть свой часъ и свое мѣсто.

ПРИЛОЖЕНІЯ.

I.

Докладная записка о К. Н. Батюшковѣ, представленная графу И. А. Капо д'Истрія въ 1817 году ¹⁾.

Il n'est point de devoir plus agréable à remplir, que celui de signaler le mérite modeste aux yeux du digne dépositaire de la confiance de l'Empereur.

Mr. de Batuchkof est entré au service en 1805. Il n'a fait que suivre sa vocation la plus chère en embrassant à cette époque la carrière de l'instruction publique; il justifia bientôt par ses talents la bienveillance particulière que lui témoigna mr. de Mouravief, curateur de l'université de Moscou, auprès duquel il remplit les fonctions de secrétaire. En 1807 la voix de la patrie lui fit prendre les armes. Il participa aux affaires de Guttstadt, de la Passarge et de Heilsberg, où il reçut une blessure grave à la jointure de la cuisse; une balle la traversa. Pour récompense il fut placé au régiment des chasseurs de la garde comme enseigne. Il fit postérieurement les campagnes de Finlande: il se trouva aux deux affaires d'Idensalmi et fit partie de l'expédition d'Aland. En 1809, il obtint, avec le rang de sous-lieutenant et l'uniforme, une démission que ses blessures réclamaient impérieusement. Vers la fin de 1812, il suivit de nouveau les drapeaux de l'armée et entra au régiment de Rylsk avec le rang de capitaine en second. D'abord aide de camp du lieutenant-général Bakhmef, il remplit ensuite les mêmes fonctions près de mr. le général Raiewsky. Il s'est trouvé constamment sous ses ordres durant les campagnes de 1813 et 1814, aux batailles de Leipzig, de Brienne, de Troyes, aux combats de Villenoxe, d'Arcis, de la Fère-Champenoise, du Chateau-Reveillon, de Bondy et de Paris, s'y conduisant, d'après les expressions de son chef, avec un courage distingué. En 1816 il fut transféré au régiment d'Izmailovsky. Quelque fut son désir de poursuivre le service militaire, l'extrême affaiblissement de sa santé ne lui permit pas de songer à en affronter les difficultés; et sa délicatesse naturelle, peut être exagérée, s'opposa d'un autre côté à ce qu'il voulut profiter d'un congé limité au moyen du quel il aurait continué à jouir des agréments du service

¹⁾ Печатаемая записка извлечена изъ дѣла о службѣ Батюшкова по министерству иностранныхъ дѣлъ, хранящагося въ Московскомъ архивѣ означеннаго министерства; составлена она, вѣроятно, Д. П. Сѣвернымъ.

sans en remplir les pénibles devoirs. Il ne sut concilier la nécessité avec ses scrupules qu'en donnant sa démission. On le congédia comme assesseur de collègue.

Telle est la carrière active que mr. de Batuchkof a parcourue au service; mais les fruits de ses veilles littéraires doivent lui acquérir autant de titres à l'estime et à l'intérêt que la distinction avec laquelle il a manié l'épée. Ses deux volumes d'«Essais en prose et en vers» lui ont valu les suffrages de tous les vrais amis de la littérature russe. Doué d'une âme intimement religieuse, d'un cœur aimant et sensible, d'une imagination qui se complait également aux ardeurs du midi et aux mélancoliques reflets du septentrion, ses écrits portent la touchante empreinte de ces différentes qualités. Leur développement progressif se trouve paralysé par la situation fâcheuse où le place l'extrême médiocrité de sa fortune et ses souffrances physiques. L'influence réparatrice du climat d'Italie pourrait seule en arrêter le cours. Agrégé surnuméairement à l'une de nos missions dans ce pays avec un traitement annuel de mille roubles bonifiés et la permission de vaquer d'abord exclusivement à la restauration de sa santé, mr. de Batuchkof ferait par la suite honneur au département des affaires étrangères; tous ses vœux seraient accomplis, et nos muses reconnaissantes célébreraient à l'envi la main généreuse qui aurait retiré de l'abîme leur nourrisson favori.

St.-Petersbourg.

Ce 16 septembre 1817.

II.

Письма двадцатых годовъ, относящіяся до К. Н. Батюшкова ¹⁾).

1.

А. Я. Италинскій графу К. В. Нессельроду.

Rome. Le $\frac{14}{26}$ avril 1821.

Monsieur le comte! C'est avec une bien vive affliction que je dois informer votre excellence, que la santé de monsieur le conseiller de cour de Batuchkof n'a point gagné depuis son séjour à Rome. Les medecins disent qu'il lui faut absolument respirer l'air du midi de la France. Cet employé, aussi

¹⁾ Изъ числа помѣщаемыхъ здѣсь писемъ №№ 1, 2, 6, 8, 9 и 12 извлечены изъ дѣла о службѣ Батюшкова, хранящагося въ Московскомъ архивѣ министерства иностранныхъ дѣлъ; №№ 3, 4, 11, 13 и 14—изъ бумагъ Жуковскаго; №№ 5 и 7—изъ семейныхъ бумагъ, сообщенныхъ Г. А. Гревенсомъ; № 15—изъ собранія автографовъ А. Ѳ. Бычкова; № 16 доставленъ вдовою доктора Дитриха.

recommandable par le zèle avec lequel il a servi pendant deux années à Naples, malgré toutes ses souffrances physiques, suites des dangereuses blessures qu'il a remportées dans les glorieuses campagnes de la délivrance européenne, que par son beau talent pour la poésie, qui fait de lui un ornement de sa patrie, cet employé, dis-je, n'a presque pas de fortune. Ces considérations, autant que la circonstance qui fait qu'il n'a point encore été assez heureux pour obtenir quelque témoignage de la satisfaction souveraine depuis qu'il sert dans la diplomatie, m'engagent à supplier votre excellence de vouloir bien obtenir, pour monsieur de Batuchkof, la munificence de Sa Majesté l'Empereur, un congé illimité, afin de soigner sa santé, avec une augmentation d'appointements de 500 roubles bonifiés, ce qui avec les mille roubles argent qu'il a à cette heure, lui ferait un total de 1,500 roubles bonifiés.

Les productions littéraires de cet employé qui lui ont valu tant en Russie qu'à l'étranger une réputation justement méritée, sont de sûrs garants, qu'avec le rétablissement de sa santé il pourra reprendre ses fonctions et enrichir encore notre littérature nationale de nouvelles productions, où l'on retrouvera, je n'en doute pas, toute la beauté de son caractère, toute la richesse de son imagination au milieu d'une diction toujours aussi pure qu'élégante.

J'ai l'honneur d'être avec la plus haute considération, monsieur le comte, de votre excellence le très humble et très obéissant serviteur d'Italinsky.

2.

A. Я. Италинский графу Н. В. Нессельроду.

Rome. Le ^{29 octobre}_{11 novembre} 1821.

Monsieur le comte! Monsieur le conseiller de cour Batuchkof a profité depuis plusieurs mois avec la plus profonde reconnaissance du sésame illimité, que Sa Majesté l'Empereur a daigné lui accorder, pour se rendre aux bains de Töplitz afin d'y soigner une santé délabrée. Je vois par des lettres consécutives que cet employé m'a écrites, qu'il n'a pas éprouvé l'amélioration de santé, qu'il s'était promise, de l'usage des eaux et d'un changement d'air.

Les souffrances physiques auxquelles il est en proie paraissent avoir été accrues par le scrupule de rester au service et de jouir de tous les avantages qu'il accorde, tandis que son état de santé recule de plus en plus l'instant, où il avait espéré pouvoir entrer en activité. Toutes mes représentations, tout ce que l'estime et l'intérêt pouvaient m'inspirer de propre à calmer des inquiétudes dictées par une belle âme, mais toujours gratuites, parceque ses souffrances sont les suites de blessures reçues et de fatigues souffertes sur le champ d'honneur, rien n'avait pu porter le calme dans l'esprit de cet infortuné jeune homme. Riche de connaissances, doué d'un très haut talent, honoré des bienfaits de son Maître, entouré de l'estime et de l'amitié de tous ceux qui l'ont connu au milieu des rangs des défenseurs de la patrie et dans la

solitude du cabinet, enrichissant la littérature nationale de belles productions, cependant il ne se croit plus digne de l'honneur de servir Sa Majesté l'Empereur. Accablé de maux et ne pouvant donner des soins à ses souffrances, qu'autant que notre Auguste Maître a daigné lui accorder ses généreux bienfaits, monsieur de Batuchkof m'a conjuré à diverses reprises de solliciter son congé définitif, sans vouloir considérer qu'un semestre illimité ne lui impose aucune obligation de service et que des appointements fournissent à ses besoins.

Plus votre excellence appréciera l'extrême délicatesse qui préside à la demande de monsieur de Batuchkof, plus j'aime à espérer, qu'elle voudra bien être près Sa Majesté l'Empereur l'interprète de ce que je viens d'exposer sur la position vraiment pénible de monsieur de Batuchkof, qui sans la conservation de ses appointements à titre de pension resterait dans une terre étrangère exposé à tous les besoins.

J'ai l'honneur d'être avec la plus haute considération, monsieur le comte, de votre excellence le très humble et obéissant serviteur d'Italinsky.

3.

Князь П. А. Вяземскій В. А. Жуковскому.

Москва. 4-го января 1823 г.

Я писалъ къ Батюшкову: чтобы дать своему письму возможную невинность посылаю сочиненія Василя Львовича. Жена также приписала нѣсколько строкъ. Въ письмѣ всего пробую: стараюсь задирать старыя воспоминанія, расшевелить старину сердца, говорю ему о занятіяхъ, пользѣ ихъ; шучу надъ Васильемъ Львовичемъ. Пишу также къ Мюльгаузену, прошу его осторожно понавѣдаться отъ Батюшкова, какъ расположенъ онъ ко мнѣ. Если есть еще прежняя дружба, то поѣдемъ за нимъ. Ты можешь отпроситься легко въ отпускъ, а я отпрошусь у обстоятельствъ, и совершимъ это доброе дѣло. Не имѣю времени долѣе распространяться съ тобою; вотъ мое письмо къ Шипилову, прочти его и отошли къ нему; изъ него узнаешь ты мои мысли. Изъ Остафьева буду писать болѣе.

„Дмитріева“ моего переписываютъ. Доставлю вамъ списокъ и соглашаюсь на большую часть требованій издателей; винюсь предъ ими и тобою въ несправедливости моихъ догадокъ. Быть по твоему. Обнимаю тебя отъ души. Тургеневу буду писать изъ деревни.

Спроси у Тургенева, далъ ли онъ тогда письмо мое Батюшкову, и какъ было оно принято? Я никакъ не могъ отъ Тургенева добиться отвѣта на этотъ вопросъ.

Приписка Тургенева. О письмѣ не помню. Къ Вяземскому послалъ уже копію съ письма Перовскаго.

4.

Д. А. Кавелинъ В. А. Жуковскому.

Симферополь. 13-го февраля (1823 г.).

Пріѣхавши сюда, любезный Жуковскій, первый мой визитъ былъ Батюшкову. Случайно остановился я въ одномъ съ нимъ трактирѣ. Меня предупредили, что онъ никого не принимаетъ, кромѣ доктора Мюльгаузена, и даже на своего челоуѣка онъ разсердился и не велѣлъ ему ходить за собою (за то, что онъ впустилъ къ нему полицеймейстера, которому приказано было отъ губернатора, во время его отсутствія, навѣдываться къ больному). Прежде нежели идти къ нему, я написалъ ему, что я пріѣхалъ сюда по службѣ и имѣю письмо отъ Жуковского, то велитъ ли прислать его, или захочетъ видѣться со мною. Онъ прислалъ меня звать. Я нашелъ его лежащаго въ халатѣ на постелѣ, въ чрезвычайно холодной комнатѣ. Принялъ онъ меня ласково, спрашивалъ о тебѣ, о Катеринѣ Федоровнѣ Муравьевой, о Никитѣ Муравьевѣ и объ Олениныхъ; говорилъ очень хорошо, пока не коснулся гоненій, *son idée fixe*: будто бы онъ кѣмъ-то гонимъ тайно, будто всѣ окружающіе его на Кавказѣ и здѣсь суть орудія, употребленныя его врагами, чтобъ довести его до отчаянія, будто даже челоуѣкъ его подкупленъ ими и дѣлалъ разныя грубости и непослушанія. Онъ не велѣлъ ему показываться къ себѣ, а обѣдъ и что нужно приносить ему служанка, съ которою впрочемъ онъ никакихъ другихъ сообщеній не имѣетъ.

Лицомъ онъ не худъ и мнѣ кажется даже полнѣе, нежели я видѣлъ его года четыре тому назадъ, но блѣденъ, и видно, что онъ разстроенъ. Говоритъ очень дѣльно, пока не дойдетъ до гоненій; тогда слезы навертываются на глазахъ, и уже замѣтно разстройство; выраженія его на этотъ счетъ, сколько я могъ запомнить: „Я перенесъ то, что не многіе перенести могутъ; меня захаркали, заплевали; я весь разбитъ; я былъ въ сильной горячкѣ, былъ почти полуумный, изъ меня дѣлалъ сумасшедшаго; я нѣсколько разъ хотѣлъ зарѣзаться“. Я перервалъ его: „Вы никогда не были безбожникомъ; очень увѣренъ, что вы страдаете невинно, но Богъ милостивъ!“ „Я это очень знаю, иѣра меня и удержала отъ преступленія“ (а въ другое свиданіе сказалъ онъ мнѣ: „Я не зарѣзался отъ того, что врагамъ моимъ этого хотѣлось“). Я сказалъ ему: „Отъ чего вы думаете имѣть много враговъ? Я увѣряю васъ, что всѣ васъ уважаютъ; вы имѣете такихъ друзей, которые для васъ всѣмъ пожертвуютъ, и я бы совѣтовалъ вамъ, когда почувствуете себя лучше, ѣхать въ Москву или въ Петербургъ, чтобы быть ближе къ друзьямъ вашимъ и роднымъ, чѣмъ жить въ такомъ мѣстѣ, гдѣ вы никого не знаете“. „Я не сойду съ постели, изъ Симферополя не выѣду; если выгонятъ изъ дому, я буду бивуакировать на площади; письма друзей вы видите передо мной (и точно, они лежали распечатанныя передъ нимъ); я всѣмъ имъ буду отвѣчать; теперь еще не могу; для меня все кончено; я убить, но не желаю лучшаго состоянія; Богъ видитъ мою душу, въ ней нѣтъ надежды, въ этомъ свѣтѣ я

не хочу ее пить; я въ немъ былъ слишкомъ наказанъ, гонимъ; на тотъ свѣтъ предстану очищеннымъ; впрочемъ, совѣсть не упрекаетъ меня ни въ какихъ важныхъ преступленіяхъ. Si on m'avait enfermé, enchainé, je serais peut-être plus utile, je me serais occupé de quelque science, de l'Évangile, et je pourrais être un homme comme il faut; mais on m'interrompt, on me persécute, en affectant de me traiter avec un certain respect*. Наконѣдъ помолчавши, прощаясь съ нимъ, сказалъ я: „Надѣюсь, что вы не будете церемониться со мною; когда вы захотите меня видѣть, пришлите за мной, а когда нѣтъ—то не принуждайте себя, я бы не хотѣлъ быть вамъ въ тягость“. Онъ поблагодарилъ. „Что велите вы сказать Жуковскому? Лучше ли вы себя чувствуете?“ „Что вы хотите, кланяйтесь отъ меня, я буду писать къ нему, но не знаю что; скажите ему о мнѣ, что вы хотите, mais en tout cas ne me compromettez pas“. На другой день докторъ Мюльгаузенъ былъ у него; я запросилъ его къ себѣ и спрашивалъ о болѣзни. Онъ подтвердилъ, что постоянная мысль его—гоненіе, что теперь онъ гораздо лучше, но что мѣсяцъ тому назадъ былъ онъ очень худъ, и къ несчастію, во время болѣзни его самого, то-есть, доктора; что онъ требовалъ духовника и объявилъ ему, что хочетъ зарѣзаться; по выздоровленіи доктора послалъ за нимъ и объявилъ ему то же; бросилъ всѣ книги въ огонь, кромѣ Евангелія, и сказалъ ему, что „прошу васъ быть свидѣтелемъ, что я, кромѣ по сію пору напечатанныхъ моихъ сочиненій, ничего не писалъ, что если что-нибудь послѣ смерти моей и окажется, то это навѣрно фальшивое“. Мюльгаузенъ сталъ его уговаривать, и какъ онъ къ нему имѣетъ большую довѣренность, то наконецъ....

(Конецъ не сохранился).

5.

П. А. Шипиловъ А. Н. Батюшковой ¹⁾).

19-го февраля 1823 года. Симферополь.

Любезная сестра Александра Николаевна! Ты, думаю, уже знаешь причину, которая заставила меня отложить отъѣздъ мой изъ Вологды на нѣсколько дней: Сашинька и Ленка занемогли; у первой сдѣлалась жаба, а другой чрезвычайно кашлялъ, да и Лиза сама была не такъ-то здорова. Такогообразомъ, пробывъ съ ними до 29-го генваря, а тутъ положась на милость Господа и надѣясь, что и Иванъ Петровичъ по дружбѣ своей не оставитъ своимъ попеченіемъ, отправился въ дорогу и 14-го сего мѣсяца пріѣхалъ въ Симферополь.... Состояніе, въ какомъ увидѣлъ я милаго нашего

¹⁾ Это письмо печатается съ пропускомъ мѣстъ, не относящихся до К. Н. Батюшкова.

брата, гораздо лучше, нежели какъ можно воображать себѣ въ отсутствіи. Съ удовольствіемъ встрѣтилъ онъ меня, съ свойственнымъ участіемъ разспрашивалъ о всѣхъ не только о родныхъ или друзьяхъ его, но даже о людяхъ, почти совсѣмъ постороннихъ, какъ напримѣръ, о братѣ Петрѣ Алексѣевичѣ, объ Александрѣ Семеновичѣ, о Межаковѣ и прочихъ, и желалъ знать, какъ они проводятъ время. Однимъ словомъ, любезный другъ, я нашелъ гораздо, гораздо лучше, нежели какъ можно представить. Узнавъ отъ меня, что ты хотѣла сюда пріѣхать, онъ весьма одобрилъ непозволеніе тетушки на отъѣздъ твой изъ Петербурга, говоря, что прибытіе твое сюда только бы опечалило его. Докторъ Мюльгаузенъ, котораго по пріѣздѣ моемъ я тотчасъ отыскалъ, надѣется благотельнаго вліянія къ улучшенію и укрѣпленію здоровья брата отъ наступающей хорошей погоды; но еще лучше бы было, чтобъ впослѣдствіи согласился онъ возвратиться въ Россію. Къ сожалѣнію моему, братъ не хочетъ слышать объ отъѣздѣ изъ Симферополя и рѣшимость его (довольно тебѣ извѣстная) столько непоколебима кажется, что не знаю, и вызовъ министра едва ли заставитъ перемѣнить ее. Сюда приходятъ въ недѣлю двѣ почты: я дожусь ихъ въ надеждѣ присылки общае-мой бумаги отъ Нессельрода; но если не будетъ ея или въ случаѣ и тогда несогласія брата ѣхать со мною, долѣе остаться не могу.... Сперва остано-вился я здѣсь въ татарской гостинницѣ, но впослѣдствіи, увидясь съ братомъ и найдя свободную комнату въ томъ же домѣ, гдѣ онъ живетъ, перебрался сюда. Кромѣ обѣденнаго времени (ибо онъ непремѣнно хочетъ одинъ быть), бываю у него остатокъ дня. Обыкновенно ложится онъ спать рано, однако вчера самъ удержалъ меня часу до 11 ночи и сегодня всталъ, какъ сказывали мнѣ, очень веселъ.... Будь здорова, милый другъ сестра, вотъ искреннее желаніе преданнаго тебѣ душою Павла.

6.

Н. И. Перовскій графу Н. В. Нессельроду.

Simferopol. Le 15 mars 1823.

Monsieur le comte! Vous êtes sans doute déjà informé du malheureux état de M-r Batuchkof. Depuis le mois d'août qu'il est arrivé ici, malgré les soucis de m-r Mulhausen, malgré tout ce que j'ai pu faire, son état n'a fait qu'empirer parcequ'il a persisté à tout faire en conséquence. Enfin aujourd'hui c'est au delà de tout ce qu'on peut dire, et je crains bien que quand cette lettre vous parviendra, il n'existera plus, non de sa belle mort, mais de quelque coup violent sans qu'il y aie moyen de le prévenir. Il y a une quinzaine de jours qu'il s'est coupé la gorge avec un rasoir, mais les plaies n'étaient pas mortelles, et il en est guéri; mais son parti est pris irrévocablement. J'ai employé de concert avec m-r Mulhausen tous les moyens possibles pour le remédier, mais tout a été inutile. On le surveille autant que possible, mais cela devient extrêmement hasardeux dans un pays dénué de moyens et de gens

propres à la chose et dans une auberge dont je n'ai jamais pu parvenir à le faire sortir malgré tous mes efforts, d'autant plus qu'il est toujours enfermé et ne laisse entrer qu'une fille qui le sert depuis plusieurs mois; il a renvoyé son domestique, persuadé qu'il est de connivence avec ceux qui le persécutent. Enfin, monsieur le comte, vous ne sauriez vous faire l'idée combien ce malheureux jeune homme est à plaindre. Je ne conçois pas quelle cause a pu le plonger dans cet état. Je suis bien fâché qu'il aie choisi ce pays pour venir finir aussi tristement, car il m'a fait un mal inoui; je vous assure, monsieur le comte, que je ne puis y penser de sang froid; comment voir mourir aussi tristement un jeune homme à la fleur de l'âge et si intéressant sous tous les rapports sans pouvoir l'en empêcher ni lui donner aucun secours? C'est un vrai malheur qu'on l'aie laissé venir ici et qu'on ne l'aie pas gardé à Pétersbourg, où on aurait pu le traiter. Maintenant je désire me tromper, mais je crois que tout est trop tard.

Oserais-je vous prier, monsieur le comte, de présenter mes respects à madame la comtesse?

J'ai l'honneur d'être avec le plus profond respect, monsieur le comte, de votre excellence le très humble et très obéissant serviteur N. Peroffsky.

7.

П. А. Шипиловъ А. Н. Батюшковой ¹⁾.

28-го марта 1823. Вологда.

Любезный другъ сестра Александра Николаевна! По прїѣздѣ сюда я хотѣлъ съ прошедшею еще почтою писать къ тебѣ; но право, силъ не имѣлъ. Дорога измучила меня, а къ тому жъ и занемогъ, хотя совсѣмъ неопасно, но мучительно. Брата Константина Николаевича, не взирая на всѣ мои просьбы и убѣжденія возвратиться со мною, долженъ былъ я оставить, отнюдь не исполнивъ возложеннаго тетусшкою порученія. Не знаю, какъ станутъ (судить) меня люди: но въ совѣсти я правъ, скажу рѣшительно, и еслибъ я издержалъ собственныя мои деньги, то нисколько не жалѣлъ бы о поѣздѣ, ибо имѣлъ по крайней мѣрѣ удовольствіе пробыть нѣсколько дней съ братомъ. Общаннаго вызова Константина въ Петербургъ при мнѣ получено не было, хотя болѣе мѣсяца протекло съ того времени, какъ ты писала объ этомъ,—потому что письмо твое, чрезъ Таврическаго губернатора мною полученное, было отъ 23-го января, а я выѣхалъ изъ Симферополя 26-го февраля. Впрочемъ, болѣе ожидать было не возможно по причинѣ наступившей распутицы: Днѣпръ и теперь былъ очень худъ въ Екатеринославѣ, а черезъ недѣлю послѣ того и совсѣмъ проѣзду бы не было, да и прочія рѣки сдѣлались бы затруднительны.

¹⁾ Печатается съ пропускомъ мѣстъ, не относящихся до К. Н. Батюшкова.

8.

Н. И. Перовский графу Н. В. Нессельроду.

Simferopol. Le 19 avril 1823.

Monsieur le comte! Je m'empresse de vous informer de la réception de votre lettre en date du 4 avril, par laquelle vous me faites savoir les ordres de l'Empereur au sujet de M-r Batuchkof, et sans perdre un instant j'ai fait les dispositions nécessaires pour les exécuter. Son état n'a fait qu'empirer, et j'ai eu bien de la peine à le conserver jusqu'à présent. Il a fait plusieurs tentatives, mais qui heureusement ont été détournées par les mesures que j'ai prises. Il a voulu se jeter par la fenêtre, il a cherché à s'évader, il a demandé à différentes reprises que je lui fasse rendre son épée, que je lui donne des rasoirs pour se faire la barbe, mais voyant que tout cela ne réussissait pas, il a cherché à ravoïr sa liberté en me rendant responsable des souffrances par les quelles il terminerait ses jours, puisque je ne voulais pas lui laisser la liberté de le faire de la manière la moins douloureuse, car sur cet article il est demeuré imperturbable, et je lui ai déclaré que tant qu'il persisterait dans ce projet, je devais absolument employer tous les moyens qui étaient en mon pouvoir pour l'en empêcher. En attendant, m-r Mulhausen n'a cessé de le voir, et il a toujours insisté auprès de lui pour qu'on le laisse entièrement libre, mais toujours dans la ferme résolution de se détruire; je lui ai proposé de le faire raser, mais il a refusé disant qu'il voulait qu'on lui donne des rasoirs, ainsi il est resté avec sa barbe. Je vous avoue, monsieur le comte, que n'ayant aucun moyen de le soulager, ni même de prévenir complètement un malheur, j'ai cherché autant que possible à gagner du temps par des voies de persuasion inutiles avec un homme dans son état et par une surveillance d'autant plus difficile, qu'il ne devait point s'en apercevoir, pour ne pas l'irriter d'avantage. Enfin, grâce à Dieu, jusqu'à présent je l'ai conservé! Ce qui vous prouve à quel point il est dérangé, c'est que non seulement il n'a pas songé à se rendre à l'ordre qu'il a reçu de vous, mais qu'il a fait sentir, que personne ne pouvait le faire changer de résolution. Après avoir songé aux moyens de remplir les intentions de Sa Majesté, je me suis trouvé bien embarrassé, car c'est une chose si difficile et si délicate à exécuter, que je n'ai pu trouver personne qui puisse s'en charger. Je me suis donc décidé à engager le docteur Lang, inspecteur de la faculté de médecine du gouvernement. Quoique cet homme laisse ici une nombreuse famille et que cela pourra le déranger dans ses affaires, cependant tant par humanité que par son dévouement pour tout ce qui peut être agréable à notre Souverain, il s'est laissé persuader, et certainement il n'y a que lui ici qui puisse remplir cette tâche, et je vous avoue, monsieur le comte, que c'est avec une grande impatience, que j'apprendrai son arrivée, car il aura bien des difficultés à vaincre. Dieu veuille que cela finisse heureusement! Dans tous les cas je suis certain que rien de son côté ne sera négligé. Comme il n'est que trop juste, qu'il ne souffre en au-

cune manière de ce dévouement, je lui ai avancé pour ses propres dépenses 1,000 r. et je lui ai donné en outre 3,000 r. pour le voyage dont il rendra compte, je lui ai donné deux hommes pour l'aider, qui ont aussi du droit à la reconnaissance des parents et amis de m-r Batiouchkoff. J'ai emprunté cette somme de 4,000 r. des sommes que j'ai à ma disposition, et j'espère que vous voudrez bien me la faire rembourser immédiatement pour que ce déficit ne puisse pas me mettre dans quelque embarras. Je saisis cette occasion, monsieur le comte, pour recommander à votre bienveillance particulière le docteur Lang qui l'a mérité à tout égard, il est connu de Rehmann, avec lequel il a étudié. Après avoir fait ces dispositions il ne me reste plus qu'à faire des vœux pour l'heureuse arrivée de m-r Batuchkof et sa guérison, heureux d'avoir pu contribuer de tous mes moyens à sa conservation. J'ai la consolation d'avoir fait ce qui dépendait de moi, le reste est réservé à la Providence.

J'ai l'honneur d'être avec un profond respect, monsieur le comte, de votre excellence le très humble et très obéissant serviteur N. Peroffsky.

9.

Н. И. Перовскій графу Н. В. Нессельроду.

Simferopol. Le 21 avril 1821.

Monsieur le comte! Je m'empresse de vous informer que conformément au contenu de votre lettre du 4 avril, qui m'a été adressée par estafette, j'ai sur le champ pris les mesures nécessaires pour faire partir m-r Batuchkof, dont l'état devenait de jour en jour plus alarmant. Après être convenu avec m-r Mulhausen de tout ce qu'il y avait à faire pour remplir les intentions bienfaisantes de Sa Majesté à son égard, nous nous sommes arrêtés au parti de préparer d'abord tout ce qu'il fallait pour son départ soit de bon gré par les moyens de persuasion, soit enfin d'autorité. D'après le caractère de sa maladie qui ne nous laissait aucun espoir d'effectuer son départ par les voies de conciliation, nous sommes convenus de ne lui rien dire jusqu'au moment où tout serait prêt, parcequ'il fallait prévoir, que dès-lors il aurait employé tous les moyens possibles de destruction sans qu'aucune surveillance puisse y remédier à moins de le garotter, chose à laquelle je n'ai pas eu recours jusqu'à présent à son égard, réservant cette ressource pour la dernière extrémité. Enfin, avant-hier que tout était préparé et même la camisole à longues manches, j'ai préalablement envoyé chez lui le docteur Mulhausen, qui devait lui dire, que j'avais reçu de votre excellence une lettre à son sujet pleine des preuves les plus flatteuses de l'intérêt que l'Empereur prenait à lui, dont la preuve était que j'avais ordre, vu l'état de sa faible santé, de songer aux moyens de le faire arriver à Pétersbourg en le confiant pendant ce voyage aux soins d'un homme aussi éclairé qu'humain (et cet homme lui était désigné dans la personne du docteur Lang qui l'accompagne); enfin j'avais recommandé à m-r Mulhausen de flatter autant que possible sons amour-propre et de ne faire voir dans tout ce qu'il dirait qu'une preuve insigne et peu commune de l'intérêt de Sa Majesté. Malgré toutes ces précautions nous avons trouvé dans lui l'opiniâ-

treté à laquelle nous nous étions attendus. Je suis arrivé au moment où il était à rail-
ler contre le docteur Mulhausen tout ce qu'un homme dans son état peut ima-
giner pour rejeter une idée si opposée à celles que lui inspire son état; en en-
trant je lui ai confirmé ce qu'il avait déjà appris de m-r Mulhausen et toujours
dans le même sens, c'est-à-dire, comme une preuve extrêmement flatteuse de l'at-
tention que Sa Majesté lui accordait; il m'a répondu, comme à m-r Mulhausen,
dans des termes assez peu délicats; enfin je lui ai lu quelques phrases de la lettre
de votre excellence qui ne pouvaient que le flatter; je lui ai montré la signa-
ture; mais tout en vain, j'ai passé plus d'une heure à épuiser tout ce que l'elo-
quence persuasive peut imaginer, secondé par m-r Mulhausen; tout a été épuisé,
et il me répétait sans cesse: „Je puis vous assurer en homme d'honneur qu'il
n'y a pas de puissance au monde qui puisse me faire partir et changer de dessein“.
Alors je lui dis d'un ton ferme: „Eh bien, monsieur, puisque vous résistez au désir
de l'Empereur, à tout ce que la raison peut vous présenter, je vous laisse pen-
dant une demie-heure avec m-r Mulhausen, persuadé qu'il parviendra à vous
convaincre; mais si je vous trouve la même résistance, je vous fais partir pour
obéir aux ordres de Sa Majesté“. „Je vous répète encore une fois“, ajouta-t-il,
—„que je ne puis pas et qu'aucune autorité ne me fera partir“. Je suis sorti. Au
bout d'une demie-heure j'ai fait appeler m-r Mulhausen pour lui demander s'il
y avait espoir de le persuader. „Aucune au monde“, me dit-il;—„il ne reste que
la force“. Alors je le renvoyai auprès de lui et je fis mes dispositions en consé-
quence. J'entre accompagné de 5 ou 6 personnes et lui dis encore, que je le prie
de ne pas me forcer à user d'autorité; il me dit qu'à moins qu'on lui lie les pieds
et les mains il ne partira pas; je lui répondis que je serai fâché d'en venir là,
mais que je le ferai lier. „Alors je deviendrai furieux, enragé; vous ne savez pas ce
que je ferai“. Sans attendre plus longtemps j'ordonnai qu'on l'habille, car il était
en robe de chambre et en chemise; on trouva des bottes et je dis qu'on commence
à lui mettre ses bottes; jusque là il ne bougeait pas, mais quand on commença à
lui mettre une botte, alors il arrêta l'homme et lui dit avec impatience, mais
sans courroux: „Attendez, ce n'est pas comme cela“. Il se lève et va dans une
autre chambre, comme de raison accompagné; là il change de linge et s'habille
lui-même, toujours en pestant contre moi. En attendant j'étais occupé à emballer
les effets car la voiture était avancée, et il était important de ne pas perdre un
moment. Une fois habillé, il est venu à moi me dire, qu'il était fâché de devoir
changer d'opinion à mon égard, que jusque là il m'avait toujours estimé, mais que
maintenant il ne voyait en moi qu'un ennemi et qu'il me souhaitait tout plein de
malheurs. En réponse je l'ai pris par la main et l'ai assuré que jamais il n'avait
eu autant de raison de m'être reconnaissant, mais je lui dis que la voiture était
prête et qu'il fallait descendre; comme il voyait qu'il n'y avait plus à discuter,
ni à raisonner, il m'engagea à me retirer disant que je le gênais et qu'il descen-
derait lui-même puisqu'il voyait que tout était prêt; je le pris par la main ami-
calement (car je craignais la descente de l'escalier) et assurant que je voulais le
conduire jusqu'à la voiture et lui souhaiter un bon voyage, je le conduisis en
effet jusque dans la voiture, et enfin elle partit. Vous dire, monsieur le comte,
ce que cette expédition m'a coûté et le mal qu'elle m'a fait serait impossible, mais
certainement vous le sentirez. En descendant l'escalier, il m'a régalé encore de

quelques malédictions aux quelles je n'ai répondu que par l'expression de l'intérêt le plus tendre; mais il était temps que cela finisse, car je sentais mes forces s'épuiser, et je ne sais pas où j'ai pris cette résolution et cette fermeté. Vous verrez par la manière dont j'ai disposé son voyage que rien n'a été oublié; je n'ai pas été forcé de recourir à la camisole, mais elle était préparée et je l'ai remise au docteur Lang. Je l'ai adressé à m-r Olenin ne connaissant pas ses parents et sachant combien m-r Olenin lui est attaché. J'espère qu'il arrivera heureusement, et certainement s'il se rétablit jamais, j'aurai la satisfaction d'y avoir grandement contribué. J'attends avec bien de l'impatience de ses nouvelles.

J'ai l'honneur d'être avec un profond respect, monsieur le comte, de votre excellence le très humble et très obéissant serviteur N. Peroffsky.

Je relie ma lettre et je vois qu'elle se ressent encore du désordre que le malheureux Batuckhof a produit dans mes idées. Veuillez me le pardonner.

10.

Д. Н. Блудовъ В. А. Жуковскому.

Петербургъ. 21-го іюля (1823 года).

Иду къ тебѣ два слова, другъ любезный, только чтобы сказать, что по твоему приглашенію и моему давнишнему желанію я буду въ Царское Село, и какъ ты самъ назначилъ—въ субботу, послѣ завтра. Явлюсь и въ Павловскъ, если ты не въ Царскомъ Селѣ. Потомъ, взглянувъ на нашего милаго больного (надѣюсь, что его уже можно видѣть) и отобѣдавъ въ трактирѣ, отправимся вмѣстѣ въ Петербургъ: можетъ быть, еще успѣемъ попасть и къ Батюшкову, который мнѣ уже много разъ говорилъ, что ждетъ тебя нетерпѣливо. Онъ, кажется, сталъ еще упрямѣе съ тѣхъ поръ, какъ на дачѣ, и въ большемъ противъ прежняго уединеніи: не хочетъ видѣть ни Муравьевыхъ, ни сестры, ни брата, хотя на сестру не сердится. Вчера мнѣ открылось, что у него въ головѣ, такъ-сказать, полная система баснословія о судьбѣ его и гонителяхъ; и кто же глава этихъ гонителей? Ты засмѣешься, когда узнаешь: но какой печальный смѣхъ! Ахъ, другъ милый, какъ часто бываетъ грустно жить въ здѣшнемъ, хотя, безъ сомнѣнія, прекрасномъ свѣтѣ! Ты лязываешь свои стихи развалинами; могъ бы также назвать и друзей своихъ, почти всѣхъ: взгляни на это помраченное свѣтло Батюшкова и на меня, обломокъ не достроеннаго зданія, и на безтолковую нашу Арфу. Однако же объ Арфѣ не очень тужи: повѣрь моему пророчеству. Болѣзни ума, какъ и болѣзни тѣла, не всегда бываютъ неизлѣчимы: сумашествіе или, другимъ учтивѣйшимъ словомъ, затмѣніе разума, полное или частное, въ людяхъ, которыхъ душитъ флегма, бываетъ досаднѣе, чѣмъ въ другихъ, потому что не имѣетъ въ себѣ ничего дѣйствительнаго и почти безпрестанно твердитъ одно и то же; но всему есть вознагражденіе: за то оно и не продолжительно. Потерпимъ не много и, вѣроятно, опять найдемъ прежняго Тургенева, и онъ же, если на той порѣ Богъ возвратитъ мнѣ веселость и живость ума, будетъ вмѣстѣ съ нами смѣяться надъ Тургеневымъ 1823 года. Прощай: до субботы.

11.

В. А. Жуковский къ Эрдманну.

(Черновой проектъ).

(Весна 1824 г.).

Cher et respectable ami! Je m'adresse à votre humanité; j'ose demander votre assistance dans une affaire qui m'intéresse infiniment. Cette lettre vous sera remise par le docteur Baumann, de Dorpat, que peut être vous connaissez déjà personnellement. Il a conduit jusqu'à Drèdse un jeune homme m-r Batuchkof; c'est un de mes meilleurs amis: il a eu le malheur d'avoir l'esprit aliéné. D'après le conseil des docteurs de Pétersbourg, on s'est décidé de le placer à Sonnenstein sous la garde du docteur Pinitz, auquel on a déjà écrit sur ce sujet, et qui dans sa réponse (qu'il a fait au docteur Hufeland) a déclaré qu'il consentait de recevoir Batuchkof chez lui pour la somme de 800 à 1.200 thalers (pour traitement, logement et nourriture). D'après cela la soeur de Batuchkof l'a conduit à Drèdse. Permettez moi de confier et le frère et la soeur à vos soins bienfaisants, donnez vous la peine de recommander mon malheureux ami au soins de monsieur Pinitz, et une fois qu'il sera placé, ne lui refusez pas votre protection. On est persuadé qu'il sera parfaitement bien à Sonnenstein, où l'on traite avec humanité et douceur les malades, où l'on possède tous les moyens nécessaires pour la guérison de cette sorte de maladies: mais en recommandant mon malheureux ami particulièrement à vous, cher et respectable m-r Erdmann, je serai pour ma propre personne plus tranquille sur son compte. Veuillez donc bien lui donner votre protection; en même temps ne refusez pas votre assistance à sa pauvre soeur, qui a tout abandonné pour le suivre; cette personne, vraiment respectable par son dévouement, est tout-à-fait étrangère à Dresde: veuillez bien lui donner de bons conseils quant au genre de vie, qu'elle pourra y mener, et soutenez son courage par vos consolantes attentions. Je vous fais hardiment toutes ces demandes, car je connais votre coeur et d'ailleurs je compte sur votre ancienne bienveillance pour moi. Veuillez bien m'honorer d'une réponse; je l'attendrai avec impatience.

Je suis avec le plus sincère respect et attachement, digne ami, votre dévoué et très obéissant serviteur Joukoffsky.

Mon adresse: въ С.-Петербургѣ Василью Андреевичу Жуковскому. Въ Анничковскомъ дворцѣ; отдать швейцару для доставленія.

Moyer ajoute une petite description de la maladie de Batuchkof, que vous aurez la bonté de remettre au docteur Pinitz à Sonnenstein.

12.

В. В. Ханыковъ графу К. В. Нессельроду.

Drèdse. Le ^{26 juin}_{8 juillet} 1821.

Monsieur le comte! J'étais à Weimar lorsque je reçus la dépêche que votre excellence m'a fait l'honneur de m'adresser en date du 31 mai concernant le conseiller de cour Batuchkof. J'ai appris en même temps qu'il venait d'arriver

à Drèdse avec le docteur Baumann qui l'avait accompagné de Dorpat et qu'il était dans un état d'aliénation et d'irritation continuel. Le jour même de son arrivée il en a montré de violents accès, ayant cherché à se soustraire à ses surveillances et à s'évader. Néanmoins il fut conduit au Sonnenstein et remis entre les mains du docteur Pinitz, médecin de l'établissement, et qui a sous sa direction particulière le pensionnat des étrangers. Il y est depuis ce moment, et l'on m'assure qu'il commence à paraître un peu plus calme; mais le médecin ne permet à personne des ses connaissances de le voir, ayant soin de lui faire éviter tout ce qui pourrait lui causer des émotions ou ramener ses idées sur des objets qui l'agitent.

A mon arrivée ici j'y ai trouvé mademoiselle de Batuckhof qui bientôt après est allée s'établir à Pirna pour y être plus à portée de vouer ses soins à son malheureux frère. Elle avait vu le docteur Pinitz qui trouve, m'a-t-elle dit, l'état de la maladie très grave, mais qui ne renonce pas entièrement à l'espoir de le guérir. Frappée de l'extrême dérangement mental de son frère, elle craint de s'abandonner trop facilement à l'attente de son rétablissement, toute fois elle regarde comme consolation d'en supposer la possibilité.

Pour ce qui me concerne, monsieur le comte, je partage bien sincèrement l'intérêt que votre excellence me témoigne en faveur de m-r Batuckhof, vivement peiné de voir dans ce triste état un jeune homme, qui s'était acquis des titres si honorables à l'intérêt de ses compatriotes, et je crois n'avoir pas besoin de vous assurer de mon empressement à remplir, autant qu'il peut être en moi, les intentions généreuses de Sa Majesté l'Empereur, et à seconder les soins bienveillants de votre excellence à son égard pour tâcher de lui en faire éprouver les effets et lui vouer les services que son état pourra réclamer de mon zèle.

J'ai l'honneur d'être avec les sentiments d'une haute considération, monsieur le comte, de votre excellence le très humble et très obéissant serviteur B. Canicof.

13.

Е. Г. Пушкина къ В. А. Жуковскому.

Dresde. Le 23 mars 1825.

Monsieur! Avec quel sentiment de joie je prends la plume en main, pour vous annoncer l'heureuse nouvelle, que notre infortuné ami vient de se soumettre enfin à un traitement suivi! Votre coeur bon et sensible comprendra à merveille tout ce qu'éprouve le mien aujourd'hui, en vous transmettant la lettre ci-jointe. J'ai eu deux fois la triste douceur de voir le cher et malheureux Batuckhof: j'avais employé auprès de lui l'éloquence d'une amitié profondément sentie, et le tout en vain; son obstination à repousser les remèdes faisait mon désespoir. Lors de ma dernière visite, je renouvellai mes instances, il me dit: „Si vous voulez que je me fasse traiter, emmenez moi à Dresde, laissez moi loger sous le même toit que vous, et je vous promets de tout prendre de votre main, même du poison“. Ma réponse fut, que je ne refuserai pas de le loger chez moi, après qu'il aura pris des remèdes l'espace de trois semaines; je le menaçai même de ne plus

revenir le voir à Sonnenstein. Il demeurait inflexible, et je le quittai la mort dans l'âme. Au bout de quinze jours j'en reçus une lettre, dans laquelle il me renouvelait ses prières. Je me hâtai de lui répondre, que tant qu'il s'obstinerait à me refuser ma demande de se soumettre aux avis de m-r Pinitz, je me croyais en droit d'être aussi inflexible que lui. Il m'écrivit une réponse fulminante, me disant qu'il ne me reconnaissait plus que j'étais de moitié avec ses bourreaux, il se radoucît cependant vers la fin de sa triste missive, et la termina en me disant qu'il resterait toujours mon ami fidèle. Le même jour il consentit à prendre médecine, et en voici quinze qu'il continue un traitement journalier. Aussi ses nuits sont-elles devenues calmes. Espérons, monsieur, que la continuité des remèdes nous rendra la précieuse santé de ce cher malade. A présent que je me suis acquittée d'un devoir bien sacré près de vous, en vous donnant des nouvelles certaines de votre ami, permettez moi de vous faire agréer l'assurance de mon estime distingué Hélène de Pouchkine.

Ayez la bonté, monsieur, de répondre à la lettre du docteur; les Allemands sont si susceptibles! Vous pouvez adresser votre lettre à Sonnenstein près de Pirna, dans la maison du docteur Pinitz.

Адресъ: Россіе. Милостивому государю Василью Андреевичу Жуковскому. На Невскомъ проспектѣ, въ домѣ Меншикова. А monsieur de Joukofsky, à Pétersbourg.

14.

Е. Г. Пушкина В. А. Жуковскому.

Dresde. Le 30 juin 1828.

Enfin, mon cher ami, je pars dans deux jours, pour revenir dans mes foyers. Le coeur me bat de joie! L'idée de revoir mon fils après une absence de quatre ans, est une idée bien consolante. Mais hélas, je le reverrai veuf et affligé. Puisse ma tendresse maternelle adoucir l'amertume de ses regrets! J'y emploierai tous mes efforts. J'ai quitté Moscou portant le deuil d'une bienfaitrice, d'une seconde mère, j'y reviens en deuil pour une belle-fille, que je n'ai point connu, mais dont les lettres étaient pleines de candeur et me promettaient un avenir selon mes vœux. Qui sait ce qui m'attend encore et si la santé de mon angélique Pauline se soutiendra dans un climat aussi rigoureux que le nôtre! Cette incertitude accablante pour mon coeur empoisonne d'avance le plaisir que j'aurai à me retrouver dans mon pays. Priez pour moi, mon digne ami. La prière d'un être bon comme vous tient lieu de bénédictions.

Cette lettre vous parviendra par m-r Freihard, qui se rend à Pétersbourg pour y placer son fils; protégez le jeune homme, mon cher Joukovsky, aidez-le de vos conseils, de vos avis, et tachez de lui applanir les difficultés inséparables d'une carrière qui commence. Je sais que c'est vous rendre service, que de vous procurer les moyens d'être utile, aussi n'ai-je pas balancé un moment à recommander le jeune homme à votre bienveillante amitié.

Mademoiselle Batuchkof part avec moi; son frère nous suivra dans quinze jours. On lui a dit je ne sais trop pourquoi, qu'il devait quitter Sonnenstein, et depuis ce moment là il ne quitte plus sa cellule, ne parle avec personne, reste dans une inaction parfaite et attend avec impatience le moment de se mettre en route. Que Dieu veille sur lui! M-r Barclay a rendu à m-lle Batuchkof les services d'un frère, il est entré dans les moindres détails de son voyage avec une bonté vraiment touchante, aussi les amis d'Alex. Nicol. ne sauraient trop apprécier sa conduite envers elle.

Adieu, mon cher, mon bon Joukovsky! Qui sait si nous ne nous reverrons pas encore une fois dans ce bas monde. Une fois à Moscou, je me trouverai plus rapprochée, et qui sait aussi si l'envie ne me prend pas d'aller vous voir à Pétersbourg. Enfin espérons toujours. C'est une si douce chose. Adieu, tous les miens vous disent mille choses tendres. Olga continue à être parfaitement heureuse, et moi je m'attache tous les jours d'avantage à son mari. C'est une âme si noble, si tendre, si dévouée. Un caractère si franc, si loyal et si facile à vivre. Enfin je ne puis plus douter, que Serge n'ait béni du haut des cieux cette union fortunée. Il y a longtemps que je n'ai eu des nouvelles d'Alexandre, sa dernière lettre était d'une tristesse et d'un découragement qui me pèse sur le cœur. Adieu encore une fois.

Адресъ: А monsieur Joukovsky, à Pétersbourg.

15.

Д. В. Дашковъ къ неизвѣстному лицу.

(Осень 1828 г.).

Вчера я видѣлъ Батюшкова. Не могу описать тебѣ того ужаснаго впечатлѣнія, которое произвелъ во мнѣ искаженный болѣзнію видъ его. Съ полчаса смотрѣлъ я на него сквозь воротную щель: онъ сидѣлъ посреди маленькаго своего дворника неподвижно, временемъ улыбаясь, но такъ странно, что сердце содрогалось. Лѣкарь его Дидрихъ, предобродушный Нѣмецъ, не рѣшился пустить меня повидаться съ нимъ; говоритъ, что теперь находится онъ въ раздраженномъ состояніи. Съ начала путешествія былъ очень покоенъ, часто смотрѣлъ на солнце и досадовалъ, когда облака закрывали его. Съ снѣга, безоблачнаго неба не сводилъ глазъ и повторялъ ежеминутно: „Patria di Dante, patria d'Ariosto, patria del Tasso, o cara patria mia, son pittore anche io!“ Когда проѣзжали мимо какого-нибудь развѣсистаго дерева, онъ просилъ чтобы пустили его отдохнуть подъ тѣнію его: „Hier will ich schlafen, ewig schlafen“. При перемѣнѣ лошадей онъ безпрестанно понуждалъ, чтобы скорѣе запрягали, и не иначе называлъ коляску, какъ колесницею, воображая, что поднимается на небо, говоря: „Dahin, dahin, dort ist mein Vaterland!“ Едва только вѣхали въ пограничную заставу, онъ тотчасъ попросилъ чернаго хлѣба у казаковъ. тутъ стоявшихъ, взялъ лопоть, отломилъ два куска, одинъ далъ Дидриху, другой взялъ себѣ, перекрестилъ оба, съѣлъ свой и

заставилъ съѣсть гѣваря, остальное бросилъ. Но съ этой поры очень былъ безпокоенъ, бранился и дрался, такъ что нѣсколько станцій принуждены были везти его въ рубашкѣ съ длинными рукавами. Возненавидѣлъ Дидриха, который долженъ былъ уже ѣхать въ особой повозкѣ. Дотащилъ его сюда кой-какъ, съ большимъ трудомъ. Онъ знаетъ, что находится въ Москвѣ, но безпрестанно велитъ запрягать, ибо все хочетъ ѣхать. Лучше нельзя было сыскать человѣка, какъ этотъ Дидрихъ: предобрѣйшій человѣкъ, ангельское терпѣніе и знаетъ свое дѣло. Онъ былъ у меня раза два и многое рассказывалъ о Батюшковѣ: онъ любитъ его, а за это не заплатишь деньгами. Между прочимъ сказывалъ онъ, что въ Sonnenstein Батюшковъ любилъ рисовать: нарисовалъ нѣсколько собственныхъ своихъ портретовъ въ зеркало и одинъ весьма похожій, который теперь у сестры его; рисовалъ Тасса въ разныхъ видахъ, а по большей части въ темницѣ за рѣшеткой съ вѣнкомъ на головѣ. Нарисовалъ на стѣнѣ голову Христа углемъ и часто оной молился. Вылѣпилъ также изъ воску Христа, Тасса и отца своего, и Дидрихъ говоритъ, что очень не дурно. Выѣхавши изъ Sonnenstein, вспомнилъ мать: вышелъ изъ коляски, бросился на траву и горько рыдать крича: „Маминька, маминька!“ Потомъ, указавъ на сердце, сказалъ: „Тутъ болитъ“. Дидрихъ, не зная по русски, запомнилъ всѣ русскія слова его.

Къ этому несчастному Батюшкову столько приковано воспоминаній, что я не могъ довольно наглядѣться на него, не могъ довольно наплакаться объ немъ. Если бѣдный Сережа нашъ долженъ былъ въ такомъ же быть положеніи, то нельзя не благодарить Бога, что Онъ взялъ его къ Себѣ, туда, гдѣ нѣтъ печаль, ни воздыханіе. Страшно желать кому-нибудь смерти, а тѣмъ болѣе человѣку, котораго душою любишь, съ которымъ вмѣстѣ проводилъ лучшіе дни своей жизни, а между тѣмъ—лучше смерть, нежели то состояніе, въ которомъ находится Батюшковъ; но что всего ужаснѣе: Дидрихъ говорить (и это между нами), что сестра его также склонна къ сему состоянію, и что онъ замѣтилъ нѣкоторые признаки. Сохрани ее, Боже!

И все еще не уѣхалъ, любезнѣйшій другъ.хлопотъ полонъ ротъ. Надѣюсь однакоже скоро отправиться. Прилагаю письмо къ Александру. Отъ него давно ничего нѣтъ, и мы начинаемъ безпокоиться. Вотъ письмо къ нему и отъ Пушкиной.

Добрый Журавль-Вигель, узнавъ, что мнѣ не житье съ Долгоруковымъ, и что я желалъ бы перемѣнить мѣсто, далъ знать графу Воронцову, что есть Арзамасецъ свободный, котораго бы завербовать не худо было. А тотъ и пришилъ представленіе къ Закревскому объ опредѣленіи меня Бессарабскимъ губернаторомъ: мѣсто равное моему настоящему, и командиръ, какого лучше желать не возможно; но обстоятельства мои таковы, что теперь не могу воспользоваться этимъ лестнымъ, и черезъ-чуръ лестнымъ, предложеніемъ. По нездоровью жены и моей малютки, также по нѣкоторымъ другимъ дѣламъ, я обязанъ жить въ Москвѣ или Петербургѣ и отнюдь не забиваться въ даль. Богъ милостивъ! Надѣюсь, что Онъ не выдастъ, а не выдастъ, такъ и свинья не съѣстъ. Покажѣть въ отставку, а тамъ увидимъ. Пиши ко мнѣ; если письма твои и не застанутъ меня, то жена тотчасъ доставитъ: да нѣтъ ли писемъ отъ Александра?

Князь П. А. Вяземскій К. Н. Батюшкову.

Москва. (Октябрь 1828 г.).

Пріѣхавъ изъ деревни въ Москву, узналъ я, любезный другъ, что ты здѣсь и очень желаю тебя видѣть. Надѣюсь, что разлука и отдаленіе не измѣнили нашей дружбы и что Вяземскій для Батюшкова все тотъ же, что и прежде былъ. По крайней мѣрѣ ты, любезный другъ, не переставалъ быть памятенъ моему сердцу. Обнимаю тебя нѣжно и дружески. Вяземскій.

Адресъ: Любезному другу Константину Николаевичу Батюшкову отъ Вяземскаго.

III.

Записка доктора Антона Дитриха о душевной болѣзни К. Н. Батюшкова¹⁾.

Über die Krankheit des Russisch-Kaiserlichen Hofrathes
und Ritters Herrn Konstantin Batuschkoff.

Da die Krankheit des Herrn Hofrathes in Hinsicht der äusseren Formen, unter welchen sie sich ausspricht, bei verschiedenen äusseren Verhältnissen auf die verschiedenste Weise wechselt, obschon sie sich in ihrem Grundwesen, so lange ich sie zu beobachten Gelegenheit hatte, das heisst seit mehr als Jahresfrist, unverändert gleich blieb, da ferner eine genaue Kenntniss der Grundkrankheit nur durch genaue Kenntniss der ganzen Symptomenreihe möglich wird, so scheint es mir nicht ausreichend, gegenwärtige Darstellung, wenn sie deutlich und befriedigend sein soll, blos auf Angabe der allgemeinsten Krankheitserscheinungen zu beschränken, sondern ich halte es für durchaus nothwendig, den Einfluss, welchen der Wechsel der Umgebungen und jedes Einschreiten in den gewöhnlichen Kreis seines Lebens auf das Gemüth des Leidenden ausübt, genauer zu bezeichnen. In einer solchen Entwicklung werden die Heilversuche, die man etwa in Vorschlag bringen könnte, von selbst ihre Würdigung finden und die einzig anwendbare Behandlung wird sich daraus von selbst ergeben. Man darf übrigens nicht vergessen, dass hier nicht mehr die Rede ist von einer erst jüngst entstandenen Krankheit, von einer gewöhnlichen Form des Wahnsinns, welche jedes Irrenhaus Beispiele in Menge bietet; es handelt sich hier um ein verjährtes, tief eingewurzelt, höchst

¹⁾ Записка эта сообщена вдовою доктора Дитриха.

verwickeltes, durch die hervorstehenden Eigenthümlichkeiten des Kranken selbst vielfach modificirtes Uebel; es betrifft ferner einen Mann, der zu den Gebildeten seines Vaterlandes gehörte und der sich auch unter diesen noch durch seine geistigen Anlagen und schriftstellerischen Leistungen auszeichnete, in welchem also um so mehr zu retten und wiederherzustellen ist, je mehr in ihm unterdrückt worden und zu Grunde gehen musste, ehe die Krankheit den Sieg gewinnen und den Grad von Heftigkeit erreichen konnte, welchen sie noch gegenwärtig behauptet. Da ich den Kranken auf einer Reise von mehr als 300 Meilen ununterbrochen zur Seite gewesen bin und auf derselben hinlänglich Gelegenheit gehabt habe, ihn in den verschiedensten Seelenstimmungen zu beobachten, welche tiefe Blicke in das Wesen seiner Krankheit thun lassen, so sei es mir vergönnt, das Allgemeinste davon in geschichtlicher Folge hier auszuführen.

Reise vom Sonnenstein nach Moskau.

Der Kranke wurde mir am 4-ten Juli 1828 auf dem Sonnenstein in dem Zustande der äussersten Aufregtheit übergeben. Schon seit einigen Tagen hatte er in seiner Stube entsetzlich geschrien und getobt, dass ich die Abreise gerne noch verschoben hätte, wenn ich mich nicht den Umständen hätte fügen müssen. Absichtlich hatte man es unterlassen, ihn auf die nahe bevorstehende Rückkehr in sein Vaterland vorzubereiten, aus Furcht dass er Misstrauen fassen und sich ihr ernstlich widersetzen möchte. Mit stürmischer Heftigkeit empfing er nun die Nachricht, dass der Wagen reisefertig vor der Thüre stehe. Mit den Worten. „Warum so spät? Vier Jahr bin ich schon hier!“ sprang er hastig auf von seinem Sitz, warf sich krampfhaft vor dem Christusbilde nieder, das er mit Holzkohle an die Wand seines Zimmer gezeichnet hatte, blieb mit völlig ausgestrecktem Körper bewegungslos einige Zeit liegen, erhob sich dann schnell, bestieg schnell den Wagen und verliess unter lauten Verwünschungen den Sonnenstein, ohne eine Empfindung der Freude zu äussern, obschon ihm nun ein längst gehegter Wunsch erfüllt wurde. Den ersten Tag der Reise verhielt er sich sehr ruhig, er sprach fast gar nicht, war ernst, aber nicht unfreundlich. Er schien indessen wenig mit dem Wechsel der Gegenwart beschäftigt; Mienen und Bewegungen verriethen mehr Gedankenlosigkeit. In Teplitz, wo wir übernachteten, beklagte er sich über Kopfschmerz und mochte keine Nahrung zu sich nehmen; das Frühstück dagegen genoss er den folgenden Morgen gemeinschaftlich mit mir. Als wir ohngefähr eine Stunde von Teplitz entfernt waren, verzog er plötzlich das Gesicht schmerzhaft, wand und drehte sich im Wagen, ächzte und wimmerte. Meine Frage, was ihm fehle, blieb unbeantwortet. Er verlangte aus dem Wagen gelassen zu werden, ging einige Schritte und streckte sich dann auf den Rasen hin. Das Bewusstsein schwand allmählig ganz; schmerzlich warf er sich hin und her, die Hände zitterten, das Blut war in der heftigsten Wallung. Hastig und gewaltsam fasste er mit beiden Händen die Gegend des Herzens, das von einem heftigen Krampfe ergriffen schien. Dabei sprach er russisch und höchst verworren. Bald weinte und jammerte er, bald nahm seine Stimme einen leisen und

geheimnisvollen, bald einen heftigen und drohenden Klang an. Bilder und Scenen im buntesten Wechsel schienen bei seiner Seele vorüberzugehen. Alles deutete an, dass ein Anfall von Tobsucht auf dem Wege sei. Ich gab mir deshalb alle Mühe ihn in den Wagen zurückzubringen, um noch vor dem völligen Ausbruche des bevorstehenden Sturmes die nächste Poststation zu erreichen; ich bat, ich drohte — umsonst. Die ausserordentliche Reizbarkeit des Kranken und die Furcht, mir gleich anfangs alle Wege, auf ihn einzuwirken, für die Zukunft abzuschneiden, hielt mich ab, sogleich Gewaltmittel anzuwenden, deren Gebrauch indess bald durch seinen stufenweis zur Heftigkeit sich steigernden extatischen Zustand nothwendig gemacht wurde. Bald ging er langsam, bald blieb er stehen, bald lief er, als wolle er entfliehen. Dabei schrie er laut, redete die Vorübergehenden an, nannte sich bald einen Heiligen, bald einen Bruder des Kaisers Franz und machte wiederholte Versuche, sich mit der ganzen Länge des Körpers auf den feuchten Boden auszustrecken. Es wurde nun die Zwangsjacke gebracht; anfangs sträubte er sich gegen den Gebrauch derselben und schlug mich und meine beiden Begleiter mit geballter Faust in's Gesicht. Sobald er aber fühlte, dass wir ihm an Kraft überlegen seien, ergab er sich und liess sich geduldig in den Wagen heben, in welchem er unaufhörlich sprach und schrie, indem er sich für einen Märtyrer ausgab, den man gefesselt habe. Er rief den Vorübergehenden zu: „*Déliez mes bras! mes souffrances sont terribles!*“ Er redete die Heiligen an und sagte, sie seien fromm gewesen, wie er, aber keiner habe gelitten wie er. So kamen wir unter dem Zulauf einer neugierigen Menge nach Bilin, wo der Kranke in den Gasthof geführt wurde. Auch hier tobte er eine Zeit lang entsetzlich, stampfte mit dem Fusse, sprach schreiend einzelne Worte aus, die er immer wiederholte, bewegte die Zunge murmelnd und plärrend im Munde hin und her und wollte beständig niederknien und betend den Boden mit der Stirne berühren.

Endlich legte er sich auf's Kanapee, wo ihm unterdessen ein bequemes Lager bereitet worden war, und schlummerte allmählig ein. Nach einem mehrstündigen oft unterbrochenen Schlafe erwachte er in einem gelinden Schweisse ächzend und seufzend und klagte über Schmerzen in allen Gliedern. Er war ruhig, aber sehr erschöpft, und sein Gang so unsicher, dass er geführt werden musste. Die Zwangsjacke wurde ihm wieder ausgezogen und die Reise weiter fortgesetzt. Die Krankheit hatte nun äusserlich eine durchaus religiöse Wendung genommen. Bei jedem Heiligenbilde, bei jedem Kreuze, das er am Wege sah, wollte er den Wagen verlassen und betend niederfallen. Auch im Wagen warf er sich beständig auf die Kniee und suchte den Kopf tief unter das Schurzleder zu pressen. Des Bekreuzigens und Segnens war kein Ende. Keinen Bissen genoss er, über den er nicht das Zeichen des Kreuzes gemacht hatte. Eine Zeitlang spielte er die Rolle eines büssenden Sünders und mehrmals bat er mich, ihm zur Ehre der Mutter Gottes einen Zahn auszureissen. Personen, welche er nie gesehen hatte, bat er um Verzeihung, wenn er sie etwa beleidigt habe. Seine Gebete bestanden nur aus einzelnen unzusammenhängenden Worten, die er schnell wiederholte und ohne allen Ausdruck wahrer innerer Empfindung aussprach, z. B. „Halleluja! Non sum dignus! Kyrie eleison! Ave Maria! Христосъ воскресъ! Исусъ Христосъ, Божъ!“ Mitten in der Nacht stand

er von seinem Lager auf, schritt tobend und mit den Füßen stampfend im Zimmer auf und ab und brüllte diese Worte hervor: und Gebet bedeutete dies Geschrei, das sich nur selten durch begütigende Zureden beschwichtigen liess und sich gewöhnlich in einer Nacht mehrmals wiederholte. Bisweilen befand er sich im Zustande vollkommener Verzückerung, besonders in den Morgenstunden. Er deklamirte dann lebhaft mit den Händen zum Wagen hinaus, machte dazu die wunderlichsten Gebärden und schien Gestalten zu sehen, deren Anblick ihn bezauberte. Er warf ihnen Küsse zu, streckte die Arme nach ihnen aus und redete sie in russischen, italienischen oder französischen Reimversen an und schleuderte ihnen Brod und andere Dinge, die er vorher mit dem Zeichen des Kreuzes geweiht hatte, aus dem Wagen. Bisweilen gestikulierte er auch, ohne dazu zu sprechen. Ausserordentlich reich war er in Erfindung immer neuer Unarten, welche fortwährend die strengste Aufmerksamkeit nothwendig machten. Bald schoss er plötzlich im Wagen in die Höhe und legte sich mit halbem Körper hinaus, bald warf er die Füße blitzschnell auf das Schurzleder, bald legte er knieend den Kopf auf den Sitz, kurz bald unternahm er dies, bald jenes. Doch war er im Allgemeinen ziemlich fügsam und widersetzte sich nicht, wenn seinen vorschnellen Bewegungen gewehrt wurde. Obschon er die liebevollste Behandlung erfuhr und jeden billigen Wunsch sogleich erfüllt sah, so fühlte er doch recht gut, dass man ihn gleichzeitig in einem gewissen Zwange hielt. In Bezug darauf sang er immer die Worte: *Son infelice, à cui non lice!* die er auch einige Mal, indem er mich anblickte, änderte: *È un felice, à cui tutto lice!* So oft er aufgeregt war, zeigte er viel Kraft, aber unmittelbar auf solche Anstrengungen folgte immer äusserste Schwäche, so dass er unterstützt werden musste, wenn er aus dem Wagen stieg und in die Wirthsstube ging. Dann suchte er immer sogleich das Kanapee auf und streckte sich auf demselben aus. Bei jeder Veränderung der angenommenen Lage verriethen seine Gesichtszüge und Bewegungen heftigen Schmerz in den Gesässtheilen. Mit Worten sprach er sich nie darüber aus. Auf dem ersten Theile der Reise trugen überhaupt die Mienen und die ganze Gestalt des Kranken das Gepräge eines von schwerem Leiden Niedergedrückten, so dass er Allen Mitleid einflösste, die ihn sahen. Heitere Stimmungen hatte er sehr selten und immer folgten heftige Stürme darauf. Das Wetter begünstigte anfangs unsere Reise ungemein. Der Weg führte durch die reizenden Landschaften Böhmens und Mährens. Der Anblick des reinen tiefblauen Himmels und des mannigfachsten Wechsels von Thälern und Hügeln im herrlichsten Grün war von sichtbarem Einfluss auf das Gemüth des Kranken und weckte poetische Stimmungen in ihm, welche sich einige Mal auf die überraschendste Weise äusserten. Eines Tages sprach er italienisch mit sich, zum Theil in kurzen Reimversen, zum Theil in Prosa, aber ohne allen Zusammenhang, und sagte unter Anderem mit sanfter ergreifender Stimme und mit dem Ausdruck der glühendsten Sehnsucht in den Mienen, indem er unverwandt den Himmel anblickte: *O patria di Dante, patria d'Ariosto, patria del Tasso! O cara patria mia! Son pittore anch'io!* Die letzten Worte sprach er mit einem solchen Ausdruck des edelsten Selbstgefühles, dass ich in tiefster Seele erschüttert wurde. Sehnsucht und Lebensüberdruß war der gewöhnliche Charakter solcher Stim-

mungen; es schien als fühle er, dass hienieden nichts mehr für ihn zu hoffen sei. Einmal sagte er zu mir, als er eine schöne hochbelaubte Linde am Wege sah: „Lassen Sie mich unter diesen Baum in den Schatten“. Ich fragte ihn, was er dort wolle. „Ein wenig schlafen auf der Erde“, gab er mit sanfter Stimme zur Antwort, „ewig schlafen“ fügte er dann mit wehmüthiger Stimme hinzu. Ein ander Mal bat er mich, ihn aus dem Wagen zu lassen, er wolle im Walde spazieren gehen. Wir hatten zur linken Seite ein schönes Birkenwäldchen. Ich bedeutete ihm, dass wir Eile hätten, unsere Reise sei weit und Zögerung könne ihm selbst ja nicht angenehm sein, denn sein Vaterland sei unser Ziel. „Mein Vaterland!“ wiederholte er langsam und zeigte mit der Hand gen Himmel. Sein lebendiger Sinn für die Schönheiten der Natur gab sich auch bei anderen Gelegenheiten vielfältig kund. So lagerte er sich gewöhnlich, während etwa auf einem Dorfe die Pferde gewechselt wurden, an einem Orte, von dem aus er einer freien Aussicht genoss; und so kehrte er fast immer mit einer Hand voll Blumen zurück, wenn er einmal den Wagen verlassen und deren am Wege gefunden hatte. Er hatte Stunden, wo er ganz aus dem Kreise endlicher Dinge hinausgetreten zu sein schien; es waren aber nur kurze Unterbrechungen seiner gewöhnlichen Zustände und man könnte sie eigentlich wol nicht hellere Augenblicke nennen, sondern mehr alte Erinnerungen, Wiederholungen und Nachklänge einmal empfundener Gefühle, durch die Aehnlichkeit der äusseren Umgebungen hervorgerufen um durch die Krankheit modificirt. Er sprach italienisch und vergegenwärtigte sich einige schöne Episoden aus Tassos befreitem Jerusalem, über welche er sich selbst mit lauter Stimme unterhielt, gewiss nur darum, weil ihn das reine dunkle Himmelsblau und die reizenden Umgebungen der Gegenwart in die Zeit seines Aufenthaltes in Italien und seine damaligen Beschäftigungen und Genüsse zurückversetzten. Darum sprach er vom heiligen Vater, von der Engelsburg und anderen Dingen, welche der Gegenwart an und für sich ganz fern lagen. Es lässt sich aber auch meines Erachtens aus diesen Stimmungen wieder auf die Stimmungen zurückschliessen, in denen sein geistiges Leben in Italien, wo die Krankheit sich ernstlich zu entwickeln anfang, sich bewegt haben mag. Seinen eigentlichen Zustand wusste er nie mit einiger Klarheit zu beurtheilen, nur so viel schien er zu fühlen, dass der Gang seines Lebens von dem gewöhnlichen, naturgemässen abweiche, darum sagte er auch einmal von seinem Leben: *C'est la fable de la fable d'une fable*. Zu einer Unterhaltung, zu einem eigentlichen Gespräche konnte man nie mit ihm kommen. Unterbrach man ihn vielleicht, wenn er grade laut mit sich sprach und lebhaft in seiner Bilderwelt beschäftigt war, mit einer Frage, die irgend einen Gegenstand des gemeinen Lebens betraf, so gab er eine kurze und ganz verständige Antwort, wie sie etwa einer giebt, der durch den Zauber musikalischer Harmonien der Aussenwelt entrückt ist und durch einen zudringlichen Frager in seinen Genüssen gestört und belästigt wird. So wenig aber auch die Gedankenflucht und Bilderjagd, die seine Seele in einem beständigen Wirbel erhielt, Klarheit und logischen Zusammenhang gestattete, die Einzelheiten, die er vorbrachte, hatten oft einen recht guten Sinn, und selbst Witzspiele, wie man sie in solchen Zuständen fast gänzlicher Bewusstlosigkeit nicht erwarten sollte, überraschten mich einige

Mal. So sagte er von Chateaubriand, den er einen Heiligen nannte und dessen Namen er häufig und zwar mit grosser Verehrung—sonderbarer Weise aber gewöhnlich in Verbindung mit Lord Byron — erwähnte: nicht Chateaubriand sollte er heissen, sonder Chateau-brillant, und dabei blickte er hinaus in den klaren Himmel, als sähe er dieses glänzende Schloss. Mein Benehmen gegen den Kranken war so einfach und ungezwungen, als möglich. Wo sich irgend Gelegenheit darbot, erwies ich ihm Gefälligkeiten, suchte sie aber nie geflissentlich auf und hielt überhaupt in allen meinen Dienstleistungen klüglich Maass um nicht sein ausserordentliches Misstrauen, das ihn überall nur Gegner und Verfolger sehen liess, gegen mich rege zu machen. Obschon ich ihm beim Beginn der Reise als Arzt vorgestellt worden war und obschon er öfterer den entschiedensten Widerwillen gegen Alles, was Arzt heisst, ausgesprochen hatte, gelang es mir dennoch dadurch vollkommen, mir sein ganzes Vertrauen zu erwerben. Er versicherte mich mit klaren Worten seiner Liebe und es verging fast kein Tag, wo er mich nicht umarmt und auf Hand und Mund geküsst hätte. Er war höflich und gefällig gegen mich, ass und trank mit mir und fügte sich fast immer ohne Widerspruch in meinen Willen. Ebenso wenig hegte er gegen meine beiden Begleiter Groll. Als wir in Lemberg zum zweiten Male durch sein entsetzliches Toben mitten in der Nacht genöthigt wurden ihm die Zwangsjacke anzulegen, liess er nicht ab uns mit dem Ellenbogen einzusegnen, da er die Hände nicht mehr frei hatte. Demohngeachtet war ich im Wagen nie vor Schlägen, Stössen und anderen kleinen Mishandlungen gesichert, denn er war, oft so in sich versunken, dass er durchaus nicht wusste, was er that. Einmal fragte ich ihn, als er mich mit der Faust vor die Stirne geschlagen hatte, mit sanfter verweisender Stimme, warum er dies gethan habe. Er schwieg; ich wiederholte die Frage zum zweiten Male vergebens und bot ihm darauf die Hand zur Versöhnung: er bekreuzigte sich schnell und reichte mir sogleich die seine. Ohne Zweifel wusste er wol selbst nicht mehr Rechenschaft zu geben, als ihn meine Frage seinem Traumleben entriss.

Ich hätte indess die Natur seiner Krankheit ganz und gar verkennen müssen, wenn ich hätte glauben wollen, dass diese milde Gesinnung gegen seine Reisegefährten lange Bestand haben würde. Der Uebergang aber in den heftigsten Hass erfolgte noch früher und schneller, als ich erwartet hatte. Wir waren nun auf russischem Boden, die heiteren Tage hatten sich in trübe regnerische umgewandelt und nirgends fand das Auge einen Punkt, auf dem es mit Wohlgefallen hätte verweilen mögen. Der Kranke hatte allmählig seine vollen Kräfte wieder erlangt und näherte sich stufenweise seinem alten Zustand. Die Nächte verhielt er sich ruhig, das beständige Beten liess etwas nach und der alte, mir schon bekannte unbeugsame Eigensinn fing an, sich von neuem in seiner ganzen Stärke geltend zu machen. So wie er vorher ein Gegenstand des Mitleids für Alle gewesen war, die ihn sahen, so wurde er nun ein Gegenstand der Furcht und des Abscheus für Alle. Ohne dass irgend etwas vorausgegangen war, das ihm den mindesten Anlass hätte geben können, seine Gesinnung gegen mich zu ändern, sah er mich plötzlich einmal im Wagen mit der Miene der heftigsten Wuth und wildblitzenden Augen an und spie mir, ohne ein Wort dazu zu sagen, in's Gesicht. Im nächsten Wirthshause

(ohngefähr noch 20 Werst vor Kiew), verliess er plötzlich lachend den Wagen mit den Worten: *Mi fate riderel* ging mit starken Schritten auf und nieder, verfluchte mich und meine beiden Begleiter, nannte uns Teufel und Leichen und alle seine Handlungen begleitete ein solches Ungestüm, dass ich mich entschliessen musste, ihm Hände und Füsse fesseln zu lassen. Er vertheidigte sich hartnäckig, schlug um sich, zertrümmerte die Morgenlaterne, schimpfte, spuckte aus und den umstehenden Neugierigen in's Gesicht und ergab sich erst dann, als seine Kräfte erschöpft waren. Dabei sprach er sehr viel, einige Mal sogar in russischen Reimversen. Es war dunkel geworden, als wir weiter fuhren, er glaubte alle Engel in dichten Chören zu sehen, indem er gen Himmel blickte. Unaufhörlich sprach er mir leise in's Ohr, unaufhörlich spie er nach meinem Gesicht. Sein Speichel war, wie bei allen solchen Kranken, wenn sie in Aufregung sind, von höchst übler Beschaffenheit und verursachte dem einen Auge, das ich nicht genug geschützt hatte, einige Tage heftige Schmerzen, obschon es nur leicht davon berührt worden war. Erst nachdem ich dem Bedienten den Auftrag gegeben hatte, ihm ein Tuch über den Kopf zu binden, gab er das Versprechen, mich in Ruhe zu lassen, und er hielt Wort.

Seit dieser Zeit äusserte er nie wieder ein Gefühl der Liebe und Theilnahme gegen irgend Jemanden; nur Verwünschungen, Drohungen und Worte des Hasses kamen aus seinem Munde. Selbst nach den arglos Vorübergehenden und freundlich Grüssenden warf er seinen Speichel. Mit Ungestüm verlangte er unaufhörlich weiter zu reisen; vergebens war alle Gegenrede, vergebens zeigte man ihm die schadhafte gewordenen Stellen und die Nothwendigkeit der Verbesserungen an unserem sehr gebrechlichen Reisewagen; die einfachsten Gründe und sichtliche Beweise verstand er nicht. Gänzliche Verkennung aller weltlichen Verhältnisse und stete Beschäftigung mit Gott hatte allmählig den Wahn in ihm entstehen lassen, dass er selbst ein göttliches Wesen sei und dass ihm kein Unglück widerfahren könne; ja selbst der Umstand, dass der Wagen einmal auf dem schlüpfrigen Boden abglitschte und—zum Glück ohne Jemanden von der Reisegesellschaft bedeutend zu beschädigen—umfiel, hatte weiter keine Folge, als dass er ängstlich war, so oft sich dieselbe Gefahr wiederholte, und dass er nun alle seine Wuth brüllend gegen mich, als die Ursache, wendete, indem mich Gott für meine Vergehungen züchtigen wolle. Einmal sagte er zu mir und dem Wärter in einer etwas milderer Stimmung, es sei unangenehm mit Menschen zu reisen, die keine Christen seien und nicht zu Gott beteten. Wir hatten als Lutheraner unterlassen die äusseren symbolischen Gebräuche der griechischen Kirche zu beobachten; und hierin lag vielleicht die Ursache seines Mistrauens und seines Hasses gegen uns. Er verwechselte Kultus mit Religion, die Formen mit dem Wesen, ganz nach der Natur seiner schrecklichen Krankheit, in welcher sich das innere, noch rege, moralische und religiöse Gefühl auf solche und ähnliche Weise zu äussern pflegt. Den 4-ten August, also nach Verlauf eines vollen Monats, erreichten wir endlich Moskau, unser mit stündlich steigender Sehnsucht herbeigewünschtes Ziel und brachten den Kranken in die für uns bestimmte, in einem ziemlich einsamen Theile der Stadt gelegene Behausung. In der ersten Zeit unsers Hierseins war er noch ausserordentlich heftig. Unausstillbar wird mir der erschüt-

ternde Eindruck bleiben, den er eines Abends auf mich machte, als er mit gellendem, in weiter Ferne vernehmbaren Gelächter in grässliche Verwünschungen gegen Vater, Mutter und Geschwister ausbrach. Er fühlte einige Mal peinigende Langeweile, wollte sich aber nicht beschäftigen, sondern verlangte beständig, dass angespannt und weiter gefahren werde. Ein bestimmtes Ziel hatte er nicht, wenn er gefragt wurde, wohin er wolle, gab er zur Antwort: „In den Himmel; zu meinem Vater“. Damit meinte er Gott.

Nachträglich bemerke ich noch, dass er auf der Reise, ganz nach eigener Wahl, das strengste Fasten beobachtet hatte; nur ein einziges Mal genoss er Fleisch und etwa 4 Mal Fisch. Seine gewöhnliche Kost bestand lediglich aus Obst, Brod, Semmel, Zwieback, Thee, Wasser und Wein, und nur im Weintrinken würde er das Maas oft überschritten haben, wenn ihm sein Wille gelassen worden wäre. In Brody enthielt er sich einen Tag aller Nahrung und betete beständig; das heisst, er lag auf den Knien, verneigte und bekreuzigte sich.

Gegenwärtiger Zustand.

Die schonende Behandlung, welche der Kranke erfuhr, und die Ruhe in unserer Wohnung und um dieselbe, wirkte offenbar sehr wohlthätig auf seinen Zustand. Er wurde allmählig ruhiger und gewöhnte sich in seine neue Lage vollkommen ein. Man kann zwar noch nicht sagen, dass Aufwallungen des Zornes bei ihm eine grosse Seltenheit seien, allein sie verlieren sich immer schnell und es vergehen nicht blos Tage, sondern ganze Wochen, wo er wenig spricht und sich durchaus ruhig verhält. Indess, auch das vorsichtigste Einschreiten in den gewöhnlichen engen Kreis, in welchen sich sein überaus einfaches Leben bewegt, ist ihm zuwider und beunruhigt ihn. Seine Ruhe ist im Grunde nur eine Seelenruhe und lediglich Folge der Schonung, mit der man ihn behandelt, und der beständigen äusseren Ruhe, in der er lebt. Er will Niemanden sehen, Niemanden sprechen und verflucht Jeden, der sich ihm naht, die etwa ausgenommen, die er zu seiner Bedienung braucht, aber auch mit diesen hält er nur nothdürftig Ruhe. Mich nennt er schlechthin Beelzebub, Satan oder Lucifer. (Könnte ich ihm doch Letzterer sein in der eigentlichen Bedeutung des Wortes). Nur mit dem Himmel lebt der unglückliche Mann in beständiger Eintracht, und das ist eine für den Menschenfreund tröstliche und erfreuliche Erscheinung, die man fast bei allen Kranken dieser Art beobachtet. Er erklärt sich für einen Sohn Gottes und nennt sich „Konstantin Gott“. Diese stolze Verirrung der eigenen Persönlichkeit, die eine neue Erscheinung an ihm ist, könnte man allerdings für ein Zeichen von bedeutender Verschlimmerung seines geistigen Zustandes halten, sie ist es aber nicht.

In dieser Krankheitsform, die ursprünglich schon zu den schlimmsten gehört, die es gibt, ist der Uebergang zu den ungeheuersten Verirrungen nur ein kleiner Schritt; mehr als in einer anderen Form des Wahnsinns sind in dieser reinsten Wahrheit und grobe Lüge auf's Engste zusammengepaart, wie dies noch später aus gegenwärtiger Entwicklung hervorgehen wird. Von allen Beziehungen zum Staate, als solchen, hat sich der Kranke abgelöst, er ist von

der Welt, insofern sie einen geselligen Verein bildet, ausgeschieden und erkennt keine Art von Verhältnis und Verpflichtung mehr zu ihr. Er gehört einzig der grossen allgemeinen Natur noch an. Darum ist ihm fast Alles verhasst, was an bürgerliche Regel und Ordnung erinnert. Darum fragte er sich einige Mal auf der Reise, indem er mich mit spöttischem Lächeln anblickte und eine Bewegung mit der Hand machte, als zöge er eine Uhr aus der Tasche: „Was ist die Uhr?“ und gab sich selbst die Antwort: „Die Ewigkeit!“ Darum sah er es sogar auf der Reise ungern, wenn die Wagenlaternen angebrannt wurden, der Mond und die Sterne sollten uns den Weg beleuchten. Darum erwies er der Sonne und dem Mond fast göttliche Ehre. Darum behauptete er mit Heiligen und Engeln Umgang zu haben, unter denen er besonders zwei nennt: Eternità und Невинность. Ausser der Welt trifft sein kranker Geist überall nur friedliche und erheiternde Bilder; in ihr nichts als Widersprüche und feindliche Gegensätze, die ihn erbittern.

Er beklagt sich oft, dass man ihn in der Nacht höhne, necke, schlagei stosse, elektrisire und dass man ihn absichtlich zum Zeugen der abscheulichsten Unanständigkeiten mache, ja ihn zu den grobsinnlichsten Genüssen auffordere und reize. Meistens sind es seine nächsten Verwandten und seine besten Freunde, die er dieser Vergehungen beschuldigt. Er behauptet, dass sie in der Nacht über ihm an der Decke seines Zimmers sassen und von oben herab feindlich auf ihn einwirkten, und verlangte unter Androhung ewiger Strafen, dass man sie entferne. Nur selten sieht er solche Erscheinungen auch am Tage. Bisweilen spricht er zu seinen vermeintlichen Quälern in der Stube laut, indem er die Worte in die Ecke derselben hinspricht, wo er sie gegenwärtig glaubt. Er behandelt die Schändlichkeiten, die sie sich, wie er sagt, gegen ihn erlauben, mit der Erbitterung eines schwer gekränkten sittlichen Zartgefühles oder auch mit grossmüthiger Verachtung, und ohne Zweifel würden seine Freunde in der Art und Weise, wie er dieses thut, ganz seinen früheren Charakter wiedererkennen. Bisweilen aber setzt er ihnen auch die ganze Wuth seiner Krankheit entgegen; nicht selten steigert sich, wenn er davon erzählt, seine Heftigkeit so, dass er mehr schreit, als spricht. Die Mienen nehmen dann einen fürchterlichen Ausdruck an, die Augen blitzen, die Blutgefässe im ganzen Gesicht schwellen auf und treten dick hervor und der Speichel fliesst und spritzt in Schaumblasen über die Lippen. So wie er sich nun aber in seiner Liebe und Verehrung gegen die Gottheit unverändert gleich bleibt, so sind seine Ansichten und demnach auch seine Gesinnungen in Bezug auf sein Verhältnis zur sichtbaren Welt einem beständigen Wechsel unterworfen, aber nur einem formellen. Unter der Menge falscher Ideen, in welche er sich vertieft, sind immer einige, die ihn vorzugsweise beherrschen und auf seine geistige Verfassung den wesentlichsten Einfluss haben. Nach Verlauf einer längeren oder kürzeren Zeit, nach Tagen, nach Wochen oder erst nach Monaten weicht dieser Ideenkreis einem anderen, bisweilen verwandten, bisweilen ganz fremden, bis auch dieser wiederum von einem neuen verdrängt wird. Die Beschaffenheit der irrigen Bilder, in denen sich seine geistige Thätigkeit während dieser Zeit bewegt und aus deren Kreise sie nicht heraustreten kann, bestimmt sich theils nach äusseren Zufälligkeiten, theils nach inneren Gründen, die sich

nur selten mit einiger Gewissheit ausmitteln lassen. So hielt er sich auf dem Sonnenstein bald für einen ganz armen, bald für einen sehr reichen und vornehmen Mann, zuletzt erklärte er sich sogar für einen Fürsten Hohenlohe; so wurde er bald von deprimirenden, bald von excitirenden Affecten beherrscht. Und ebenso wird die Idee, dass er ein Gott sei, allmählig ihre Stelle einer andern einräumen. Er ist übrigens viel zu wenig an sich selbst und viel zu sehr Spiel seiner Krankheit, als dass er irgend eine Idee in Hinsicht seiner Persönlichkeit nur mit einiger Folgerichtigkeit durchführen könnte. Er nennt sich Gott, betrachtet aber seine ihm verhassten Geschwister immer noch als seine Geschwister, er nennt sich mächtig, spricht aber immer fremde Hülfe gegen seine Quäler an u. s. w. Ueber die meisten Gegenstände, welche ausserhalb des Bereiches seiner krankhaften Vorstellungen liegen, namentlich über seine Lebensbedürfnisse, spricht er gewöhnlich ruhig und fast mit der Besonnenheit eines geistig gesunden. Seine Lebensweise ist höchst einfach. Er trinkt drei Mal Thee, früh, Mittags und Abends, und geniesst dazu täglich 30 Zwiebacke und einige Stücke Brod. Den Genuss anderer Nahrungsmittel, zu welchem er wiederholt aufgefordert worden ist, verweigert er hartnäckig mit der Behauptung, dass ihm Gott so zu leben geboten habe. Wein indess würde er trinken, wenn er ihn erhielte. Den grössten Theil des Tages bringt er einsam in seiner Stube, auf dem Kanapee liegend, zu, gewöhnlich ohne alle andere Beschäftigung, als die, welche ihm seine Einbildungskraft gewährt. Bisweilen verfertigt er Wachsbilder, an denen er besonders in den Abendstunden arbeitet. Sie gelingen ihm bisweilen recht gut und sind immer charakteristische Erzeugnisse seiner jedesmaligen geistigen Stimmung. Seine jetzigen Wachsarbeiten beziehen sich daher ausschliesslich auf religiöse Gegenstände. Gewöhnlich behalten sie die ursprüngliche Gestalt nicht lange; er ändert an ihnen und zerstört sie nach einiger Zeit ganz, um die Masse zu anderen Bildern zu verwenden. An Bewegung lässt er es nicht fehlen. An heiteren sonnenhellen Tagen pflegt er wenigstens drei Stunden unter freiem Himmel im Hofraum auf und abgehend zuzubringen. Die Reinlichkeit in Bezug auf seinen Körper und seine Wäsche liebt er sehr; dagegen sieht er nur wenig auf Ordnung und Nettigkeit seiner übrigen Bekleidung. Wenn er auf seinem Kanapee ausgestreckt liegt, hat er meistens das Ansehen eines Leidenden; wenn er im Hofe spazieren geht, ist seine Miene gewöhnlich finster und mürrisch. Freundlich ist er nie, höflich selten und niemals bleibt er es lange. Seine Gesichtszüge verrathen immer den Mann von Geist und lassen keinen so schwer Erkrankten in ihm vermuthen, wenn er sich in einer ruhigen Stimmung befindet. Sein Auge ist dann klar und verständig. Die unsinnigsten Aeusserungen kann er oft mit dem Anstande eines geistig gesunden Mannes vortragen. Sein Körper ist schon seit längerer Zeit sehr abgemagert, aber noch überaus gewandt und gelenkig; alles lebt und bewegt sich an ihm bei der geringsten Aufregung. Sein Gang ist leicht und anständig. An Kraft fehlt es ihm nicht; allein auf alle heftigeren Gemüthsstürme folgt, wie schon oben erwähnt, sogleich grosse Abspannung. Sein Gesicht ist fast immer blass, bald mehr, bald weniger; die Nase röthet sich leicht und bleibt bisweilen Tage lang anhaltend roth, wenn der Zustand der Aufregung so lange dauert. In diesem Falle ist auch die Thätigkeit der Speicheldrüsen

ausserordentlich vermehrt; er spuckt dann häufig und der Geifer spritzt aus dem Munde, wenn er spricht. Ueber körperliche Beschwerden beklagt er sich fast nie. Bisweilen, aber sehr selten, sagt er: „ich bin nicht gesund“. Ueber die Art seiner Beschwerden erklärt er sich nie näher. Auf dem Sonnenstein litt er fast täglich an Kopfschmerzen nicht selten an Brustschmerz. Das ist nicht mehr der Fall. Das Einzige, worüber er sich in der ersten Zeit unseres Aufenthaltes in Moskau noch häufig beklagte, war ein übler Geruch, eine Erscheinung die man bei hysterischen Frauenzimmern oft wahrnimmt, deren Ursachen er nicht in sich, sondern immer ausser sich sucht, indem er behauptet, seine Gegner verbreiteten in seiner Stube absichtlich Gestank oder verunreinigten seinen Thee, um ihn zu ärgern und zu martern. Sein Appetit ist immer gut; er schläft lange und sehr ruhig; die Exkretions-Verrichtungen gehen ohne Ausnahme so regelmässig von Statten, wie man bei einem Kranken, der sich auf keine Weise zum Gebrauch irgend einer Arznei bewegen lässt, nur immer wünschen kann.

Wesen der Krankheit.

Aus obiger Entwicklung ergiebt sich nun meines Erachtens Folgendes: das Wesen der Krankheit Batuschkoffs, in sofern sie sich als Seelenkrankheit kund gibt, besteht in überwiegender oder vielmehr in unumschränkter Herrschaft der Einbildungskraft (*imaginatio*), durch deren ungezügelter Spiel alle übrigen Kräfte der Seele gehemmt und unterdrückt werden, so dass der Verstand die Verkehrtheit und Grundlosigkeit der Vorstellungen und Bilder, welche ihm dieselbe in unablässiger Geschäftigkeit und im buntesten Wechsel vorführt, nicht zu erkennen, und dass die Urtheilskraft das Wahre vom Falschen nicht mehr zu unterscheiden vermag. Sein ganzes Leben ist ein Traumleben, ein waches Träumen oder ein träumendes Wachen, wie man es nennen will. Die krankhaften Erzeugnisse seiner Einbildungskraft hält er für Wirklichkeit, sie bestimmen seine Handlungen und Urtheile, sie machen ihn ruhig oder unruhig, je nach ihrer Beschaffenheit, kurz: in ihnen lebt er. Traum und Wachen fliessen bei ihm so in Eins zusammen, dass er selbst die Erscheinungen und Scenen, welche ihm seine rege Einbildungskraft in den nächtlichen Träumen vormalt, für wahre Begebnisse hält; daher kommt es, dass er in den Morgenstunden, wo die Erinnerung derselben noch am lebhaftesten bei ihm nachwirkt, sich am häufigsten im Zustande geistiger Aufregung befindet, der sich oft, wenn er einmal eintritt, bis zur Tobsucht steigert.

Widerspruch duldet der Kranke nicht. Ganz natürlich. Bei einem so durchaus Kranken spricht man nicht zum Menschen, sondern zur Krankheit oder, was hier gleichbedeutend, zur Einbildungskraft, welche sich nie widerlegen, wohl aber leicht zu grösserer Thätigkeit reizen lässt. Es ist indessen gewiss, dass auch hier Wirklichkeit und Wahn oder Selbsttäuschung nicht vollkommen gleiches Gewicht haben. Ausser manchen anderen Thatsachen spricht auch der Umstand dafür, dass wirkliche Beleidigungen (z. B. angewendete Zwangsmittel) einen tieferen Eindruck auf ihn machen, als eingebildete; jene vergisst er fast nie, diese in der Regel leicht. Ebenso unterscheidet er die Personen,

welche er um sich wirklich sieht, durch sein ganzes Benehmen recht gut von denen, welche ihm seine kranke Phantasie vorspiegelt, obschon er auch hierbei über alle bürgerliche Verhältnisse gänzlich hinweggeht, alle Bande der Freundschaft und Verwandtschaft auflöst und den Kaiser, den Bedienten, den Bruder, die Schwestern im engen Bunde gegen ihn zu den unwürdigsten Quälereien vereinigt glaubt. Ich brauche nicht erst zu sagen, dass eine so schwere und langwierige Krankheit allmählig alle Seelenkräfte lähmen musste. Der Kranke sagte selbst auf dem Sonnenstein mehrmals: „Ich bin kein Narr, das Gedächtnis hat man mir genommen, aber meine Vernunft habe ich noch“. Allein das Gedächtnis, als diejenige Seelenkraft, die am meisten unter allen an körperliche Bedingungen gebunden ist, scheint, obschon ebenfalls geschwächt, grade noch am regelmässigsten bei ihm seine Verpflichtungen zu erfüllen. Zwar gehorcht es ebenfalls dem Despotismus der Einbildungskraft und tritt aus dem Kreise, der ihm von derselben vorgezeichnet wird, nicht leicht hinaus, aber in diesem Kreise trägt es der Malerin Farben aus längst verwichener Zeit zur Ausschmückung der mannigfachsten und buntesten Wahnbilder geschäftig zusammen. Ihre Schwäche hebt die Freiheit und Selbstständigkeit des Geistes noch nicht auf, darum ward sie vom Kranken eingestanden und darum gestehen sie noch täglich bejahrte Personen ein, bei denen auch alle übrigen Seelenkräfte, ihnen unbewusst, in der traurigsten Abnahme begriffen sind. Wollte man nun dieser Krankheitsform, welche durch die mannigfachsten Symptome zu einem wahren Musterbilde von Seelenstörung auf das Traurigste ausstaffirt wird, eine wissenschaftliche Stelle anweisen, so würde man ihr den Gattungsnamen Wahnsinn mit wechselnden Ideen oder auch kurzweg Verrücktheit beilegen müssen. Anfälle von Manie treten häufig, melancholische Stimmungen bisweilen noch hinzu; aber beide bilden nicht den wahren Charakter der Krankheit, sondern sind nur symptomatische Erscheinungen des Grundübels. Die Meinung des Kranken, dass er eine Gottheit sei, ist hier nicht das, was die Schule unter dem Begriff der fixen Idee vorzugsweise versteht, welche man mehr als eine Verirrung des Verstandes zu betrachten hat, von dem als einer selbstthätigen Seelenkraft hier nicht die Rede sein kann. Eher könnte man sie im gegenwärtigen Falle ein Fixiren oder Erstarren der Einbildungskraft nennen.

Ursachen und Entwicklung der Krankheit.

Obschon sich gegenwärtiger Aufsatz nur als Fortsetzung den früher vom Sonnenstein durch Herrn Doctor Pirnitz eingesendeten Berichten anreihen soll und obschon somit die Entwicklung der Krankheitsursachen eigentlich nicht mehr hierher gehört, so glaube ich doch mich keinem überflüssigen Geschäft zu unterziehen, wenn ich sie an diesem Orte nochmals der Untersuchung unterwerfe, theils weil das, was mir über dieselben mitgetheilt worden, wegen des Mangels an zuverlässigen Nachrichten durchaus ungenügend erscheint, theils auch weil hier in Russland, wie ich höre, sehr verschiedene und fast durchgängig sehr unstatthafte Gerüchte und Vermuthungen über diesen Gegenstand in Umlauf sind.

Ich habe in der That nicht nöthig zu blossen Vermuthungen meine Zuflucht zu nehmen, um die ursächlichen Bedingungen der Krankheit zu ermitteln; ich will hier nur von dem reden, was der Kranke unmittelbar selbst nachweist. Darum bleibe es hier auch unerörtert, ob die Krankheit vielleicht angeerbt sei, d. h. ob Vater oder Mutter oder sonst Jemand von den nächsten Vorfahren in aufsteigender Linie schon an einer ähnlichen Krankheit gelitten oder deutliche Anlagen dazu gezeigt habe. Man sagt dies, und dies wäre allerdings schon ein richtiges Moment an und für sich. Hier aber kommt wenig oder nichts darauf an, denn es lässt sich anderweitig nachweisen, dass sie angeboren ist. Vielleicht könnte man auch dafür in den gleichlinigen Mitgliedern der Familie Belege finden, wenn man danach suchen wollte; so wichtig wiederum dieses neue Moment wäre, so suche ich doch lieber die Beweise für meine Behauptung in dem Kranken selbst, und ich finde sie hier. Ist nämlich die Krankheit oder vielmehr die Anlage dazu, wie ich sagte, angeboren, so muss sie sich schon in den gesunden Tagen deutlich ausgesprochen haben. Und das hat sie allerdings, sie hat sich so deutlich ausgesprochen, dass sie dem unglücklichen Manne selbst nicht verborgen blieb und dass er die traurige Zukunft, der er entgegen ging, mehr als einmal selbst vorausgesagt hat.

Batuschkoff war ein reichbegabter, aber kein glücklich organisirter Geist. Die Einbildungskraft war in ihm von jeher die vorwaltende, ihn beherrschende Seelenthätigkeit; er bewies dies im geselligen Leben und er hat die Beweise davon überall in seinen Schriften niedergelegt. Ein tiefes und zartes Gefühl für alles Grosse, Gute und Schöne kam hinzu und gab jener Thätigkeit die poetische Richtung. Man könnte sagen: Batuschkoff war ein poetisches Gemüth, aber kein poetischer Geist, auf ihn lässt sich in noch unbeschränkterem Sinne anwenden, was Friedrich Schlegel, von dem ihm in vieler Hinsicht verwandten, obschon übrigens weit überlegenen Torquato Tasso sagt: „Er gehört im Ganzen mehr zu den Dichtern, die nur sich selbst und ihr schönstes Gefühl darstellen, als eine Welt in ihrem Geist klar aufzufassen und sich selbst darin zu verlieren und zu vergessen im Stande sind.“—Solche Naturen erscheinen im Leben gewöhnlich als durchaus poetisch, eben weil sie nichts anderes sind und sein können, als Dichter. Praktisch-tüchtige Menschen werden sie nie. Der poetische Geist findet die Poesie und nimmt sie in sich auf, er ist subjectiv und objectiv; das poetische Gemüth kann nicht aus sich heraus, es trägt seine Poesie über und kann darum nur subjectiv sein; es hat wenig poetische Gedanken, aber es ist reich an poetischen Bildern und Gefühlen.

Wenn z. B. der Taubstumme Massieu, wie Batuschkoff selbst erwähnt, die Dankbarkeit „die Erinnerung des Herzens“ nannte und wenn Andrei Turgenief vom Jenseit sagt: „dort sei kein Glaube mehr nöthig und dort finde keine Hoffnung mehr Statt“, so sind dies poetische Gedanken, welche Batuschkoff — ich bin fest davon überzeugt—trotz ihrer Einfachheit nimmermehr hätte haben können. Die Gedankenarmuth ist bei ihm so gross und der Bilderreichthum so vorherrschend, dass man bisweilen in ein und demselben Gedicht einen und denselben Gedanken mit drei, ja vier verschiedenen Bildern kurz hinter einander wiederkehren sieht. Ich beziehe mich hier beispielsweise auf das in jeder

Hinsicht äusserst charakteristische elegische Gedicht „Der sterbende Tasso“ und verweise in diesem wiederum auf Tassos Klagrede. Aber auch in seinen prosaischen Schriften, so weit ich sie kenne, fand ich diese Ansicht bestätigt. Die innige Empfindung und die rege Einbildungskraft, die sie belebt, macht sie zu einer angenehmen Lektüre, aber Belehrung gewähren sie nicht. Die Gedanken, welche sie enthalten, erscheinen nicht als Ergebnisse eines fortgesetzten ruhigen Nachdenkens, sondern als ursprüngliche Gefühle, welche der Verfasser in sich zum Bewusstsein zu bringen sucht und die er dann zu Gedanken verklärt; kurz es scheint als habe er mit dem Gemüth und mit der Einbildungskraft gedacht. Darum ist es auch nicht möglich den Inhalt seiner Aufsätze lange im Gedächtnis zu behalten und sich Rechenschaft über ihn zu geben. Gedichte wie „Des Freundes Schatten“ und noch einige Andere beweisen zngleich, mit welcher Lebhaftigkeit seine Phantasie sah, ja wie sie ihm schon sonst, wo sie noch vom Verstande in Schranken gehalten wurde, Erscheinungen vorzaubert.

Es ist hier von einem sehr talentvollen Manne die Rede und es versteht sich, dass obiges scheinbar harte, gewiss aber nicht ungerechte Urtheil mit Hinsicht auf den höchsten Maasstab der Kritik geltend gemacht werden kann. Ich rede hier als Arzt des Kranken in der Sprache der Wissenschaft; darum ist mir Strenge erlaubt, wenn ich wahr und gerecht bin.—Da nun solche Naturen rein-subjektiv oder immer nur sie selbst sind, so gerathen sie mit der Welt sehr leicht in Zwiespalt; man kann mit ihnen selige Stunden geniessen, wenn man es versteht, in ihren Kreis zu treten und sich ihnen anzubequemen, aber man kann nicht eigentlich lange mit ihnen enge zusammen leben, wenn man ihnen nicht die eigene Persönlichkeit zum Opfer bringt. Ihr überzartes Gefühl, ihre lebendige Einbildungskraft und ihre strenge Eigenthümlichkeit macht sie überaus reizbar und verletzlich, und lässt sie in den unschuldigsten Dingen feindliche Gegensätze finden, die sie in ihrem Inneren nicht zu versöhnen wissen. Alles was sie trifft, trifft gleich unmittelbar den ganzen Menschen in seinem tiefsten Wesen und nichts findet im Verstande einen besonnenen Gehalt. Der Mangel an innerer Einheit gibt sich überall im poetischen Leben kund. Sie sind nach Umständen bald überaus fleissig, bald überaus träge, sie sind beständig das Spiel äusserer Zufälligkeiten und ihrer eigenen immer verschiedenen Launen. Mit Kleinigkeiten, mit wahren Spielereien, auf welche der ernste praktische Mann nicht gern eine Minute verwendet, können sie sich ganze Stunden beschäftigen. In Bezug auf ihr Selbst sind sie fast beständig im Irrthum befangen, bald überschätzen sie das Maas ihrer Kräfte, bald verzweifeln sie an aller Selbstkraft; deprimirende und exaltirende Affecte wechseln bei ihnen schnell; beide sind ihnen verderblich und dennoch sind sie fast immer dem Uebermaas der einen oder der anderen Preis gegeben. Haltungslos, wie sie sind, können sie nie einen festen Standpunkt in der Welt gewinnen, denn sie stehen ausser ihr. Zeit und Raum verlieren zuletzt ihren wahren Gehalt für sie; sie leben dann nicht mehr in der Gegenwart, nicht mehr an dem Orte, an dem sie sind, sondern in der Zukunft, in der Ferne. Ewige Unruhe, rastlose Sehnsucht treibt sie immer dahin, wo der Himmel auf der Erde zu liegen scheint, und darum erreicht ihr krankes Streben nie ein Ziel. Wo sie sich hinretten, bringen sie ihre eigene selbstgeschaffene Welt mit sich, die nirgends in die wirklich beste-

hende sich einfügt. „Die Welt ist vollkommen überall, wo der Mensch nicht hinkommt mit seiner Quaal“, wie Schiller sagt; aber siebürden ihr in ihrer Verirrung alle die Leiden auf, die in ihnen selbst ihren Grund haben. Batuschkoff fühlte sich immer unglücklich und in seinem ganzen Leben findet sich nicht ein einziger Unglücksfall, der einen fest gegründeten Mann irre machen könnte. Ist irgend eine geistige Organisation zur gänzlichen Aufhebung aller Ordnung in ihren gesetzlichen Verrichtungen geneigt, so ist es eine solche, denn kein Seelenvermögen misbraucht die ihm verstattete Herrschaft mehr zum traurigsten und gewaltigsten Despotismus, als die Einbildungskraft. Gekränkter Ehrgeiz, verschmähte Liebe, kurz alle Leidenschaften solcher Naturen, welche ihre Reizbarkeit fast zu eben so vielen Krankheiten macht, werden die Gelegenheitsursache zur Beschleunigung der traurigen Krise. Die gequälte Seele, die sich überall verwundet und zurückgestossen fühlt, zieht sich immer mehr von allem Aeusseren zurück in sich selbst, d. h., sie begiebt sich nun ohne Gegenwehr in die Hände ihres eigentlichen Feindes, den sie für ihren einzigen noch übrig gebliebenen Freund hält und der nun eben darum ungestört und rastlos an ihrer Zerstörung arbeiten kann. Stundenlang kann nun der Kranke, denn das ist er dann schon, in müssiger Ruhe die Fingerspitzen betrachten und sich dem gedankenlosen Spiel und der schrecklichen Willkür der Einbildungskraft überlassen. Es tritt bald eine nothwendige Entwicklungsperiode ein, die freilich eine grässliche Rückbildung wird, deren Keim aber schon bei der Geburt vorhanden war und nur günstiger Umstände bedurfte, um aufzuwuchern. Tasso, der noch jetzt wie ein Heiliger von Batuschkoff verehrt wird, ging ohne Zweifel ganz denselben Weg zum Verderben—Petrarka dagegen, behauptete sich trotz der heftigen Seelenstürme, denen ihn die Glut seiner Leidenschaft Preis gab, in Besitz seiner geistigen Fähigkeit; denn so, wie er, liebt und dichtet das blosser Gefühl und die blosser Einbildungskraft nicht. Wenn bei religiösen Schwärmern und Schwärmerinnen, welche ebenfalls in diese Kategorie gehören, die Krankheit nicht immer zur vollen Reife gedeiht, so hat dies wohl hauptsächlich darin seinen Grund, dass ihre geistige Thätigkeit eine praktische Richtung nimmt, dass sie ein Ziel hat und nicht feindlich gegen sich selbst gekehrt ist.

Diese Anlage bestimmt nun auch die spätere Form der Krankheit. Wie der Kranke erst mit der Einbildungskraft spielte, so spielt sie nun mit ihm, er hört Stimmen, er sieht Erscheinungen, er glaubt sich von allen Seiten beobachtet und verfolgt u. s. w.

In den meisten, ja vermuthlich, wenn es sich auch nicht immer mit Gewissheit ermitteln lässt, in allen Fällen von Seelenstörung wird die Krankheit durch gleichzeitige wirkende körperliche Ursachen mit erzeugt und unterhalten. Auch in dem Falle, von welchem hier vorzugsweise die Rede ist, fehlen sie nicht. Es ist nämlich mehr als wahrscheinlich, dass Hämorrhoiden und Gicht, welche häufig schon allein und für sich den hartnäckigsten Seelenstörungen zur Grundlage dienen, auch hier ihr geheimes Spiel treiben. Die nächsten Vorfahren unseres Kranken in männlicher Linie haben alle an der heftigsten Gicht gelitten, er selbst hat früherhin die Vorboten derselben schon gefühlt und öfterer geäussert, dass er ihren Leiden nicht entgehen würde. Personen, denen

die Gicht angeerbt ist, leiden an einer Reihe mannichfaltiger, oft sehr versteckten Krankheiten, welche gewöhnlich nicht eher gehoben werden, als bis die Gicht regelmässig eintritt, und das ist ganz in der Ordnung, dass sie im blühenden Alter schon mit Hypochondrie anfangen und dass sich Neigung zu Rheumatismen und Hämorrhoiden beigesellt. Es ist möglich, dass auch die Krätze, mit welcher unser Kranker kurz nach der Schlacht bei Leipzig behaftet war und von welcher er auf sein eigenes Verlangen schnell befreit wurde, wesentlichen Antheil an der späteren Ausbildung der Seelenstörung hatte, obschon sich unmittelbar darauf keine wahrnehmbaren üblen Folgen äusserten. In einem Körper, in welchem irgend eine angeborene oder erst erworbene Krankheitsanlage im Keime schläft, können selbst geringe alte Krankheitsreste späterhin die grösste Bedeutung gewinnen. Ueber die Natur des Gesichtsschmerzes, an welchem der Kranke noch zur Zeit seiner geistigen Freiheit lange gelitten, habe ich leider nichts Sicheres erfahren können; es ist indessen wahrscheinlich, dass er schon ein Vorbote oder vielmehr eine Art von symptomatischer Krankheit war, deren Ursachen in dem grösseren Krankheitsherd des Unterleibs verborgen lagen. Darf man ihn auch gerade nicht hoch in Anschlag bringen, so beweist er doch wenigstens, welche Neigung schon sonst bei ihm die krankhaften Stoffe hatten, ihre Richtung nach dem Kopfe zu nehmen. Die Hämorrhoiden sind zufolge meiner sorgfältig eingezogenen Erkundigungen nur ein einziges Mal bei ihm auf dem Sonnenstein geflossen. Ihre Bestrebungen müssen sich indessen sehr deutlich ausgesprochen haben, da der Kranke selbst, der doch sonst fast alle seine Leiden äusseren Gründen und eingebildeten Mishandlungen zuschrieb, einige Mal ihre Natur nicht verkannte. Es ist bekannt, dass unterdrückte oder nicht gehörig von Statten gegangene Hämorrhoiden, Ohrenbrausen, Fehler im Gesicht, Herzpochen, Verwirrung, Ziehen in den Beinen, Mattigkeit u. s. w. zur Folge haben, dass sie nicht allein häufig mit der Gicht verbunden sind, sondern mit deren Anfällen regelmässig abwechseln. Die krankhaften körperlichen Gefühle fliessen bei ihm auf das Innigste mit der krankhaften Seelenthätigkeit zusammen; diese giebt den Täuschungen des Gesichts die Formen eingebildeter Feinde, dem Brausen des Ohres die Stimme derselben u. s. w., daher ferner die Klagen, dass man ihm den Kopf und die Augen verbrenne und elektrisire, dass man ihm die Beine zerschlage, dass man ihm Ohrfeigen gebe, die Nase und den Mund vergifte u. s. w. Sonst hinkt er auch bisweilen und rieb sich die Schenkel mit der Hand. Die Nase, wie schon erwähnt, röthet sich leicht, und immer desto mehr, je mürrischer seine Stimmung ist; ein Zeichen, das bei anthritisch-hämorrhoidalischen Komplikationen gewöhnlich vorhanden ist. Daher tritt ferner im Frühjahr und Herbst Verschlimmerung der Zufälle ein, und man irrte vielleicht nicht, wenn man auch die melancholische Stimmung, welche ihn, wie man mir sagt, schon sonst immer mit dem Eintritt des Frühlings beherrschte, als eine Wirkung der sich regenden und nach Entwicklung strebenden gichtischen Anlage betrachtete. Kurz es finden sich eine Menge Symptome, welche für diese Ansicht sprechen, und nicht ein einziges, welches wahrhaft dagegen zeugte. Somit leidet es nun wol auch kaum noch einen Zweifel, dass die heftigen Stürme, welche der Kranke in den ersten Tagen unserer Reise, wie oben erwähnt, zu bestehen hatte, hämorrhoida-

lischer Natur waren und dass die Schmerzen, welche seine Mienen und Gebärden bei jeder Veränderung im Sitzen und Liegen zu erkennen gaben, von Hämorrhoidalknoten herrührten, welche heftiges und jählings Stechen bei der Bewegung der betreffenden Theile veranlassen.

Prognose.

Ich will nicht erst die günstigen und ungünstigen Symptome, welche diese Krankheitsform zusammensetzen, hier vergleichend mit einander abwägen, um zu entscheiden, ob Heilung möglich und wahrscheinlich sei oder nicht; stützt sich obige Entwicklung der ursächlichen Bedingungen nicht auf unstatthafte Voraussetzungen—und ich glaube das nicht, da sie von ihren Thatsachen ausgeht—so ergibt sich schon aus ihnen allein hinlänglich, dass diese gebundene Seele nur von dem Allbefreier ihrer Fesseln entledigt werden könne, der die dichterischen Träume ihrer Einbildungskraft verwirklicht und sie in das Land führt, wo, wie Turgeniew sagt, die Hoffnung nicht mehr Statt hat. Fühlte doch der unglückliche Sänger die Krankheit lange vorher, ehe sie kam, und konnte sie nicht aufhalten in ihrem Entwicklungsgange. Sie ist nun da, vollkommen ausgebildet, mit allen ihren Schrecken, seit Jahren schon, und er ist nun so Eins mit ihr geworden, dass er sich auf das hartnäckigste jeder Maasregel widersetzt, welche die Bekämpfung derselben bezweckt und nun soll sie die Kunst haben! Die Krankheit ist in der That schon lange über den Punkt hinaus, wo Heilung noch möglich und denkbar, ich will nicht sagen, wahrscheinlich war, denn wahrscheinlich war sie vom ersten Anfange nicht. Besserung indessen könnte wol mit der Zeit eintreten, in dem Falle nämlich, das die vis naturae medicatricis selbst heilsame Bestrebungen machte, die Hämorrhoiden zu regelmässigen Flüssen brächte und so die gichtischen Reste an äusseren Theilen ablagerte. Zu fürchten ist freilich, dass schon organische Veränderungen Statt gefunden haben, die sich nicht mehr ausgleichen lassen. So schlimm aber auch die Krankheit an sich schon ist, es ist immer noch Verschlimmerung möglich: es kann noch Epilepsie hinzutreten. Das krampfhaftes Ungestüm, das seinen ganzen Körper in vibrierender Bewegung rüttelt, so oft er in heftige Wuth geräth, lässt das Schlimmste befürchten. Das verhüte der grosse Gott! Gesetzt aber auch, es würde durch einen Verein unvorhergesehener günstiger Umstände wider alles Erwarten allmählig Heilung herbeigeführt, gesetzt dieser mir durchaus undenkbarer Fall träte wirklich ein, lässt sich wol glauben, dass ein Mann, der unter den günstigsten äusseren Verhältnissen lebte, der sich von seinem Vaterlande geehrt, von Freunden und Verwandten geliebt wusste, der sich eine ruhmvolle Laufbahn mit glänzenden Aussichten für die Zukunft eröffnet sah, kurz ein Mann, welcher Alles hatte, was das Leben erheitert und angenehm macht, und der trotz Allem dem sich beständig unglücklich fühlte und das Leben nicht ertragen konnte, lässt sich wol glauben, sag' ich, dass derselbe Mann dasselbe Leben unter weit ungünstigeren äusseren Verhältnissen ruhig ertragen, dass er die Welt in ihrem einfachen, aber erhabenen Gehalt mit klarer Besonnenheit auffassen, seine übertriebenen Ansprüche an dieselbe fügsam herabstimmen, ja dass er selbst den nagenden Schmerz des Gedankens einer viel-

jährigen Beraubung aller geistigen Freiheit und Selbstbestimmungsfähigkeit mit heldenmüthiger Stärke bezwingen werde? oder ist es nicht vielmehr wahrscheinlich, dass bald ein schrecklicher Rückfall kommen oder dass er selbst vor dem völligen Ausbruche desselben seinem jammervollen irdischen Dasein gewaltsam ein Ende machen werde? Er ist der Welt fremd; wer ihn nicht gestünder macht, als er in seinen gesunden Tagen war, der heilt ihn nicht. Was bleibt übrig? Der Arzt muss oft als Menschenfreund wünschen, was er als Arzt verhindern soll.

Behandlung.

Über die Wahl der Arzneimittel, deren Anwendung diese Krankheitsform verlangt, könnte zufolge der in den ursächlichen Bedingungen enthaltenen Indikationen wol eben kein Streit Statt finden. Der Schwefel würde die erste Stelle einnehmen, sanft auflösende Extrakte, gelinde Mittelsalze u. s. w. u. s. w. würden sich ihm anschliessen müssen. Allein die ausserordentliche Heftigkeit und Reizbarkeit des Kranken, die ihn bisweilen ohne alle äussere Anlässe zu den ungestümsten Zornausbrüchen hinreisst und den aufrichtigsten Beweisen der Theilnahme und Liebe immer feindliche Deutung gibt, macht es durchaus unrathsam zu einer rein-medizinischen Kur zu schreiten. Sie würde sich nicht ohne Gewaltmittel in Ausführung bringen lassen und durch den Gebrauch derselben würde man ihm weit mehr schaden, als man ihm durch die zweckmässigsten Arzneien, auch wenn sie allen Indikationen entsprächen, nutzen könnte. Ich habe mich deshalb genöthigt gesehen, meine ganze Behandlung auf die direkt- und indirekt- psychische Kur zu beschränken.

Man könnte auf die Meinung kommen, dass in dieser Krankheitsform ein beständiger oder häufiger Wechsel der äusseren Umgebungen die vortheilhafteste Wirkung haben müsse, indem dadurch die krankhafte Thätigkeit der Seele auf etwas Wirkliches hingelenkt und von der Beschäftigung mit ihren Wahngelbilden abgezogen werde. Allein die Periode, wo sich von äusserer Zerstreuung noch ein günstiger Erfolg erwarten liess, ist von der Krankheit schon längst überwunden und mit ihr ist eben auch die Periode der Möglichkeit eines glücklichen Ausganges der Krankheit vorüber. Die Krankheit ist und bleibt unter allen Verhältnissen Siegerin. Sie tritt nicht hinüber in den Kreis der gesunden Wirklichkeit, der ihr etwa zur Beschäftigung vorgeführt und angeboten wird, sondern sie reisst mächtig Alles in ihr grässliches Gebiet und grössere geistige Verwirrung und mit dieser auch grössere Aufgeregtheit ist die unausbleibliche Folge. Davon hat mich die Erfahrung überzeugt. Unangenehme körperliche Gefühle, die sonst am kräftigsten die Seele aus ihrer Traumwelt reissen und eben darum oft als indirekt- psychische Heilmittel absichtlich hervorgerufen werden, bewirken hier nur eine noch stärkere geistige Reaktion und mit ihr natürlich auch Verschlimmerung. Um wie viel mehr muss aber nicht erst das nachtheilig wirken, was unmittelbar den Geist trifft. Man könnte den Zustand der Einbildungskraft mit einer Entzündung vergleichen, deren Heftigkeit durch den geringsten äusseren Reiz gesteigert wird. So wie z. B. das entzündete Auge den Lichtreiz schaut, so fürchtet hier—man erlaube diesen ma

teriellen Ausdruck—die entzündete Einbildungskraft jede Bereicherung ihrer Bilderwelt wie etwas Schmerzerregendes. Darum liebt der Kranke die Einsamkeit, darum will er Niemanden sehen und sprechen, darum verlangt er unablässig Ruhe und scheut jeden Wechsel, darum duldet er nichts in seinem Zimmer, was er nicht braucht, nicht einmal ein Kleidungsstück. Und Ruhe ist es auch wirklich, was ihm vor Allem Noth thut; sie war ihm tödtliches Gift, als er noch gesund war oder dafür galt, und sie ist ihm nun bei völlig entwickelter Krankheit die grösste Wohlthat. Je seltener die Anfälle des Zornes und der Heftigkeit bei ihm gemacht werden, desto mehr ist überhaupt für seinen Zustand gewonnen; ja das ist fast das Einzige, was sich gewinnen lässt. Ich bin demnach bemüht gewesen, ihn so viel als möglich zu isoliren, ihn in eine ganz einförmige Lage ohne allen äusseren Wechsel zu versetzen, und Alles zu entfernen, was dazu beitragen könnte, seine Reizbarkeit zu erhöhen. Eine fremde Familie, die noch im Hause wohnte, wurde daraus entfernt; in der ganzen Wohnung, die in einer ziemlich einsamen Gegend am Ende der Stadt gelegen ist, herrscht beständig die grösste Ruhe und Stille. Er sieht nur Personen, die er zu sehen gewohnt ist, die Unterhaltung mit ihm wird auch von diesen sorgfältig vermieden, denn er führt immer allein das Wort und je mehr er spricht, desto heftiger wird er. Er geniesst volle Freiheit, im Gehöfte herumzugehen, wann und wie oft er will, und man macht es ihm nicht bemerklich, dass er unter Aufsicht steht. Seine Wünsche, welche immer fast einzig Lebensbedürfnisse betreffen, werden ihm sogleich befriedigt. Durch dieses einfache Verfahren ist es allerdings gelungen seinen Zustand um vieles zu bessern; daran hat indessen wol auch seine einfache Kost wesentlichen Antheil. Die Klagen über Kopfschmerzen, die er sonst fast täglich wiederholte, haben ganz aufgehört; ebenso die Klagen über üblen Geruch, über Augenweh u. s. w. Es vergehen bisweilen ganze Wochen, wo er in seiner Stube nicht laut mit sich oder vielmehr mit den Personen spricht, die er anwesend glaubt. Auf dem Sonnenstein verliess er oft in der Nacht sein Lager und tobte heftig in seiner Stube. Jetzt ist sein Schlaf durchaus ruhig und erquickend, und das ist wegen des grossen Einflusses, welchen die Träume auf sein krankes Seelenleben haben, ein wichtiger Umstand, die eigentliche Geisteskrankheit besteht freilich noch ganz in ihrer intensiven Stärke. Und gelänge es auch der rastlos thätigen Einbildungskraft äusserlich allen Stoff zu krankhaften Schöpfungen zu entziehen, sie weiss ihn erfinderisch in sich selbst zu erzeugen und auszubilden. Das erste und unerlässliche Bedingnis einer wesentlichen Besserung ist und bleibt Beschäftigung; aber was für Beschäftigung? Dass ein solcher Kranker nicht im Stande ist ein Buch zu verstehen, eine allmälige Gedankenentwicklung oder den fortlaufenden Faden einer Erzählung zu verfolgen, brauch' ich nicht erst zu sagen. Der Wechsel der schönen Gegenden auf dem ersten Theile unserer Reise beschäftigte den Kranken zwar auf eine ihm angenehme Weise, aber er machte ihn kränker und verwirrte ihn noch mehr; denn er gab der Einbildungskraft neue Nahrung von aussen. Sie aber, die schon übernährte, bedarf vielmehr einer Ableitung nach aussen oder, um das deutlicher zu sagen, ihre Fülle muss sich in irgend einer produktiven Beschäftigung entladen, z. B. im Zeichnen, im Malen u. s. w. Es hat nicht an Aufforderungen zu sol-

1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem of the existence of a solution of the system of equations

$$\frac{dx}{dt} = A(x)u, \quad \frac{dy}{dt} = B(y)v,$$

where

$$A(x) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad B(y) = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix},$$

писать мне пишу,
 (я много пишу)
 и дружбой и любовью
 и дружбой и любовью
 много Дружба заботится
 умеренно любовь!
 Пусть живут нам и дети и внуки;
 Умолно — душою вечно

24 Сентября 1877

С. Село.

Всё Емскому.

Заимавши славу
 Испытаешь в Багряны?
 Чужды тебе суетны
 Любовь и дружбу к тебе
 И дружбу к тебе
 Но ты все тайно
 Все лишь — и келью и келью
 В душе и в сердце живешь
 В нем что ты видишь или
 (моя душа) как чувствуешь

приписано
 Жуковский. Батюшки
 Пушкин.

chen Beschäftigungen gefehlt; sie sind aber bisher ohne allen Erfolg geblieben. Auf dem Sonnenstein zeichnete er einmal aus eigenem Antrieb eine Zeit lang mit musterhaftem, ja mit übertriebenem Fleisse; er versäumte dabei die ihm so nöthige körperliche Bewegung und endlich traten mancherlei Blutsbeschwerden ein, welche ihn zwangen, diese Beschäftigung abzubrechen. Wäre der Kranke nur einiger Maassen zugänglich, so könnte man vielleicht durch Vorzeigung einer zweckmässigen Auswahl von Kupferstichen und Gemälden seinen Kunstsinne wecken, der Einbildungskraft eine bestimmte Richtung geben und dadurch mittelbar dem Verstande einige Gedanken zuführen. Denn die Despotie der Einbildungskraft beruht in der That nicht sowohl auf ihrer eigenen Stärke, als vielmehr, wie fast jede tyrannische Herrschaft, auf der Schwäche der gegenwirkenden mitkonstituierenden Kräfte. Man müsste daher gleichzeitig jene schwächen und diese stärken. Eine zweckmässige somatische Behandlung müsste die psychische unterstützen. *Pia vota!*

Um eine ruhigere Stimmung in seinem Gemüthe zu erzeugen und ihn sanfteren Gefühlen zugänglich zu machen, sind zwei Versuche mit Musik angestellt worden. Ueber den ersten, der auf meinem Pianoforte in einem entfernteren Zimmer ausgeführt wurde, äusserte er sich misbilligend, ohne jedoch heftig zu werden. Der zweite bestand in Vokalmusik ohne Instrumentalbegleitung; es wurden von einem Chore von 9 Personen einige Kirchenstücke abgesungen, weil der Kranke jetzt nur für religiöse Gefühle empfänglich ist. Da ich wünschte, dass er die Worte verstehen möchte, und da er nicht Ruhe und Sammlung genug hat, einen zusammenhängenden Text zu fassen, so wurden auf meinen Rath Gesänge gewählt, die ihm bekannt sein mussten und in denen immer dieselben Worte wiederkehrten, wie das bekannte *Господи помилуй*, und dgl. Der Kranke blieb ruhig auf dem Kanapee liegen und richtete lauschend das Gesicht nach der Seite hin, von der die Töne herkamen; weder damals, noch später erwähnte er dieses Versuchs mit einem Worte, da er sich doch sonst über alles ausspricht, was ihn nur einiger Maassen unangenehm berührt. Ein billigendes oder ein lobendes Urtheil kommt nie jetzt aus seinem Munde. Ich betrachte daher den Versuch als gelungen und würde ihn wiederholt haben, wenn der Ausführung nicht mancherlei äussere Hindernisse im Wege ständen. Tieferen Eindruck würde ohne Zweifel eine Harmonika machen, die mir leider nicht zu Gebote steht. Da windiges Wetter keinen guten Einfluss auf den Kranken ausübt, so habe ich die Absicht, um vielleicht seine Wirkung zu schwächen, eine Aolshorfe im ebenen Theile des Hauses aufzustellen. Vielleicht thut der Wind gleichzeitig etwas Gutes. Kleinigkeiten regen den Kranken auf und Kleinigkeiten beruhigen ihn zuweilen.

Moskau, im Februar 1829.

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХЪ ИМЕНЪ.

- Адиссонъ**—247.
Аксаковъ, Серг. Тим.—49, 56, 214.
Александръ I, императоръ—14, 16, 40, 49, 54, 58, 59, 63, 120, 152, 171, 177—179, 181, 237, 260—262, 273, 280, 284, 289, 295, 296, 300, 319, 320, 325—327, 330.
Алексѣвъ, И. И.—75.
Алексѣй Михайловичъ, царь—5.
Аллеръ, г-жа—299.
Альзира—177.
Альфieri—249.
Анакреонтъ—130, 137, 254.
Анненковъ, Пав. Вас.—257, 258.
Апраксинъ, Степ. Степ.—156.
Араповъ, П. Н.—53, 54.
Аристиппъ—130.
Архаровъ, Ив. Петр.—156, 157.
Ариостъ—88, 235, 236, 332, 337.
Асканій—9.
Аслега—80, 223.
Асмодей—133, 245.
Аспазія—264.
Атала—297.
Ахиллъ—243, 269.
Байронъ—283, 301, 339.
Бантышъ-Каменскій, Ник. Ник.—39.
Барклай—332.
Барсуковъ, А-дръ Плат.—5, 7.
Барсуковъ, Ник. Плат.—132.
Бартеlemi, аббатъ—224.
Бартеневъ, П. Ив.—255.
Батюшкова, Авд. Никит.—8.
Батюшкова, А-дра Григ. 8, 9, 82, 333.
Батюшкова, А-дра Ник.—8, 10, 23, 69, 70, 79, 82—84, 86, 87, 103, 143, 144, 154, 171, 183, 194, 215, 258, 268, 275, 282, 293, 298, 299, 301—303, 322—324, 328—332.
Батюшкова, Анна. Ник.—8, 15, 81.
Батюшкова, Варв. Ник.—8, 14, 23, 82, 182.
Батюшкова, Елиз. Ник.—8.
Батюшкова, Юл. Ник.—8, 268.
Батюшковъ, Андр. Ил.—5, 6.
Батюшковъ, Ив. Никит.—5.
Батюшковъ, Илья Андр.—6, 7.
Батюшковъ, Левъ Андр.—6, 7.
Батюшковъ, Матв. Ив.—5.
Батюшковъ, Ник. Льв.—7—10, 13—15, 61, 62, 68, 70, 182, 194, 258—259.
Батюшковъ, Пав. Льв.—8.
Батюшковъ, Помп. Ник.—8, 70, 119, 207, 259, 268, 299.
Батюшковъ, Сем.—5.
Бауманъ—301, 329, 330.
Баумгертель—12.
Бахметевъ, Ал-й Ник.—163, 168, 169, 171, 182, 194, 196, 261, 262, 307, 317.
Башинский, А. В.—308.
Беккариа—39.
Беницкий, Ал-дръ Петр.—37.
Бенингсенъ, гр. Л. Л.—63, 64.
Бергъ, Ник. Вас.—310, 311.
Бергъ, Фед. Ник.—306.
Бердьева, см. Батюшкова, Ал. Гр.
Бестужевъ, А. А.—252.
Блудова, графиня Ант. Дм.—180.
Блудовъ, графъ Дм. Ник.—143, 146, 149—151, 180, 235, 243, 245, 258, 259, 282, 286, 293, 300, 328.
Бова королевичъ—40, 41, 253.
Богдановичъ, М. И.—59, 63.
Бомарше—121.
Борнъ, И. М.—37, 39, 40.
Бородина, О. А.—299.
Бородинна, см. Нялова, Елиз. Корн.
Бородинъ, Конст. Матв.—29, 110.
Бородинъ, Корн. М.—28.
Брусиловъ, Н. П.—37, 43.
Брутъ—294.
Брюне—177.
Буксгевденъ, графъ Е. О.—75.
Буле, Г. О.—104.
Бунаковъ, Н. О.—12.
Буслаевъ, Фед. Ив.—51.
Бычковъ, А. О.—318.
Бѣлинскій, Висс. Григ.—238, 252, 254, 314.
Бѣляевъ, А. П.—13.

- Шеневитиновъ, Дм. Влад.—1.
 Веревкинъ—261.
 Верстовскій, А. Н.—303.
 Вертеръ—173, 200.
 Вигель, Фил. Фил.—49, 50, 76, 104, 137, 333.
 Виландъ—173.
 Вильменъ—177.
 Винне—94.
 Винкельманъ—48, 52.
 Виргилій Маронъ—73, 88, 93, 229, 254, 273.
 Висковатовъ, Степ. Ив.—135.
 Витгенштейнъ, графъ П. Х.—169.
 Вилъгорскій, графъ Мих. Юр.—66, 130, 131.
 Владимиръ Святой, в кн.—189, 253.
 Воейковъ, Ал. Фед.—112, 252, 286, 291.
 Волкова, М. А.—29.
 Волковская, княгиня Зин. Ал.—263.
 Вольней—15, 39.
 Вольтеръ—11, 15, 34, 41, 82, 88—95, 97, 127, 177, 200.
 Востоковъ, А-дръ Хр.—37, 41, 44, 49, 118, 150.
 Воронцовъ, гр. М. С.—333.
 Вуазенонъ, аббатъ—218.
 Вульфъ, Анна Фед.—48.
 Вульфъ, см. Полторацкая, Екат. Ив.
 Вяземскій, князь П. Андр.—56, 103, 108, 112—117, 119, 122, 123, 129—135, 137, 140—142, 145, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 158, 161, 163, 166, 168, 179, 191, 202, 207, 210—212, 213, 216, 221, 230, 234, 238, 240, 244—249, 253, 255, 256, 258, 269, 270, 279, 298, 300, 303—306, 307, 320, 334.
 Гагаринъ, князь Ив. Ал.—102.
 Галаховъ, Ал-й Дм.—282.
 Гальбергъ, Сам. Ив.—270, 271, 276, 282.
 Гангебловъ, А. С.—13.
 Гаральдъ Смѣлый—222, 226.
 Гезиодъ—222, 225, 239.
 Гейдеке—43.
 Геллертъ—15.
 Генрихъ IV, король французскій—93, 161, 172.
 Герке—196.
 Геродотъ—263, 264, 268.
 Гете—173, 200, 231, 291.
 Гиника, Серг. Ник.—60, 61, 101, 143, 159, 161, 162, 252.
 Гитдичъ, Ник. Ив.—23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 42, 45—49, 55, 62, 65, 68—70, 72, 73, 78—80, 83, 85, 87, 90, 96, 99—102, 105, 109, 111, 112, 114, 116, 117, 119, 121, 122, 124, 125, 127—129, 134—136, 138—142, 144, 160, 161, 170, 171, 173—175, 188, 189, 191, 194, 195, 198, 209, 215, 217, 230—232, 234, 239—242, 246, 249, 251, 255, 264, 265, 267, 268, 272, 288, 291, 294, 300, 304.
 Гоголь, Ник. Вас.—1.
 Голенищевъ-Кутузовъ-Смоленскій, князь Мих. Ил.—157, 158.
 Голицынъ, кн. Бор. Влад.—135.
 Голь—12.
 Гольбахъ—90.
 Гомеръ—25, 73, 174, 183, 222, 225, 229, 239.
 Горацій—19, 27, 33, 82, 88, 92, 94, 95, 127, 128, 200, 263.
 Грандидье—12.
 Гревенбургъ—12.
 Гревенсъ, Абр. Ил.—23, 81.
 Гревенсъ, Анна Ник.—81.
 Гревенсъ, Гр. Абр.—12, 304, 308, 310, 312, 318.
 Гревенсъ, Елиз. Петр.—309.
 Гревенсъ, М. Гр.—307.
 Гревенсъ, П. Гр.—306, 312.
 Грессе—42.
 Гречъ, Ник. Ив.—44, 139, 144, 150, 168, 252, 292.
 Грибоѣдовъ, А-дръ Серг.—1, 29, 109, 315.
 Грибоѣдовъ, Ал. Фед.—109.
 Громобой—245.
 Гротъ, Ян. Карл.—28, 282, 286.
 Гуфеландъ—329.
 Давыдовъ, Ден. Вас.—130, 169, 245, 306, 307.
 Давыдовъ, Л. Вас.—130.
 Данилова, М. Перф.—93.
 Дантонъ—172.
 Дантъ—235, 249, 280, 332, 337.
 Дашковъ, Дм. Вас.—133, 135, 143, 146, 149—151, 164, 165, 178, 189, 191, 194, 243, 284, 302, 304, 332—334.
 Делавинъ—12.
 Делия—96.
 Де-Пуле, М. О.—29.
 Державинъ, Гавр. Ром.—28—31, 48, 51, 54—57, 74, 87, 130, 134, 187, 191, 236, 306.
 Дмитрій Донской, в. кн.—56, 57.
 Дитрихъ, Ант.—292, 293, 302, 303, 318, 332—353.
 Дмитриевъ, Ив. Ив.—35, 105, 119, 123, 130, 143, 145, 157, 158, 162, 211, 245, 269, 284, 291, 292, 320.

Дмитрієвъ, Мпх. Алекс.—292.
Добриня—40, 132, 263.
Долгорукій, князь А. А.—333.
Долгорукій, князь Ив. Мпх.—112.
Долгорукій, князь Мпх. Петр.—75.
Долгорукій, князь П. В.—5.
Дорать—93.
Дружининъ, Петръ Мпх.—104, 156.
Дубровскій, П. П.—143.
Дюси, Дюспъ—46, 53, 51, 72.
Дюшмуа, г-жа—177.

Екатерина II, императрица—6, 7, 30,
33, 40, 58, 87, 107.
Екатерина Павловна, великая кня-
гиня—102, 121, 259.
Елизавета Петровна, императрица—5.
Ермолаевъ, Ал-дръ Ив.—49, 110, 143,
144, 264.
Ермоловъ, Ал. Петр.—25.

Жакнино, Ос. Петр. 10—13, 18.
Женгене—231.
Жихаревъ, Серг. Петр.—29, 34, 43—
45, 56, 69, 114, 150, 245.
Жоржъ, г-жа—72, 177.
Жуковский, Вас. Андр.—17, 73, 91, 92,
103, 113, 114, 117, 119, 122, 123,
129—135, 137, 140, 143, 145—149,
153, 188, 186, 189, 191, 191, 196,
201—207, 210, 212, 214, 217, 221,
222, 231, 237, 238, 243—248, 250—
256, 258, 260, 261, 267—269, 275—
280, 293, 294, 297, 298, 300—302,
304, 305, 307, 313, 315, 318, 320—
322, 328, 332.

Завадовскій, графъ П. Вас.—24, 25.
Загаринъ, П.—131.
Закревскій, гр. А. А.—333.
Захаровъ, Ив. Сем.—56.
Зиновьевъ, В. Н.—28.

Ивановъ, Ив. Алекс.—118.
Ивановъ, Фед. Фед.—112, 113, 129.
Иванчинъ-Писаревъ, Н. Д.—255.
Иванъ Петровичъ, воевода Молдав-
скій—5.
Иверсенъ, Юл. Богд.—54.
Игорь, в. кн.—11.
Измайловъ, Ал-дръ Ефим.—45, 151, 252,
306.
Илья Муромецъ—40.
Иснелъ—80, 223.
Италинскій, А. Як.—283—285, 295,
317—320.
Ифигенія—265.

Исачовъ, Ник. Вас.—5.
Кавелинъ, Дм. Алекс.—298, 299, 321,
322.
Кандидъ—15.
Кантемиръ, князь Ант. Дм.—26, 209,
218, 306.
Капнистъ, Вас. Вас.—28, 30, 31, 42,
48, 73, 74, 230, 306.
Капо д'Истриа, графъ И. А.—259, 260,
281, 302, 317.
Карабановъ, П. Фед.—30.
Карамзина, Екат. Андр.—212, 301.
Карамзинъ, Вас. Мпх.—123, 158.
Карамзинъ, Ник. Мпх.—5, 16, 23,
35—38, 40, 43, 46, 98, 100, 103, 105,
107, 108, 113, 117—120, 122, 133—
137, 143, 146, 150, 156—160, 162,
173, 186, 211, 212, 235, 243—245,
256, 259, 260, 261, 267, 268, 273,
281, 284, 297, 302, 306, 307.
Карлюсъ, донъ—173.
Кассандра—245.
Касты—125, 126, 236.
Кафка, Г. Хр.—11.
Каченовскій, Мпх. Троф.—112, 214, 267.
Квашнина-Самарина, Анна Петр.—
23, 28, 30—32, 81, 137.
Квашнинъ-Самаринъ, П. Фед.—30.
Кенигъ, Г.—295.
Кишотъ, донъ—148.
Княжнинъ, Як. Вор.—53.
Ковалевскій, Ег. Петр.—180, 235,
243, 258.
Козловъ, В. И.—251.
Кокоткина, Варв. Ив.—156.
Кокоткинъ, Фед. Фед.—112, 156.
Колардо—232.
Колокольцова, см. Муравьева, Екат.
Фед.
Коль—12.
Кольбертъ—159.
Кондильякъ—90.
Кондорсетъ—159.
Корнелъ, П.—93.
Коцебу—53, 72.
Котанскій, Ник. Фед.—19, 101.
Красовскій, А. И.—188.
Кребильонъ—135.
Кремеръ—12.
Кроссаръ—172.
Крыловъ, Ив. Андр.—49, 72, 101, 144,
188, 297, 306, 315.
Крюковъ, Ал-дръ Сем.—157.
Кутонъ—172.
Лагардъ, графъ—75, 76.
Лагарпъ, Ф.—135.
Лагарпъ, Ф. Ц.—232, 273.

- Ляпуновъ, Прокошій—259.
 Ламартинъ—35.
 Лангъ, П. И.—299, 326—328.
 Лаура—126.
 Лейбницъ—185.
 Ленцъ, Э.—66.
 Лермонтовъ, Млх. Юр.—1.
 Лессингъ—48.
 Липранди, Ив. Петр.—76.
 Лиръ—72.
 Литке, графъ Оед. Петр.—190.
 Лобановъ, Млх. Евст.—144, 150.
 Локъ—90.
 Ломоносовъ, Млх. Вас.—15, 37, 40, 41, 130, 219, 220.
 Лунза—174, 175.
 Львовъ, Леон. Ник.—28, 110.
 Львовъ, Нлк. Алекс.—28, 30, 40, 48, 226.
 Людмила—114, 122, 132, 258.
 Людовикъ XIV, король французскій—16, 159, 177.
 Людовикъ XVI, король французскій—11.
 Людовикъ XVIII, король французскій—172.
 Маблн—39.
 Магерь—104.
 Макферсонъ—25, 223.
 Малиновскій, А. Оед.—156.
 Малле—226.
 Маринъ, Серг. Никиф.—130.
 Марія Теодоровна, императрица—181, 182, 267.
 Маркевичъ, Н. А.—252.
 Марсъ—183.
 Мартыновъ, Ив. Ив.—25, 37.
 Маршанжн—226, 227.
 Марса Посадница—119.
 Масъ—346.
 Маттисонъ—225, 226.
 Медичи—236.
 Межаковъ, П. А.—323.
 Мезенцевъ, П. Оед.—8.
 Мелодоръ—160.
 Мелхиседекъ—295.
 Мендель—225.
 Меншиковъ, князь Ал-дръ Серг.—274.
 Мерзляковъ, Ал. Оед.—111, 112, 121, 214.
 Меропа—177.
 Мерсье—15.
 Мещерскій, князь П. С.—236.
 Милоновъ, М. В.—144, 270.
 Мильвуа—223—225, 227.
 Мильтонъ—41.
 Мирабо—83.
 Михаилъ Павловичъ, великій князь—273, 274.
 Монтанъ—124—127, 200.
 Монтескье—172, 185, 218.
 Монти—239.
 Моро—185.
 Мухровъ, Матв. Як.—104.
 Муравьева, Екат. Оед.—23, 68, 102—105, 129, 154—156, 163, 181, 192—195, 198, 215, 216, 243, 262, 293, 298, 299, 302—304, 321, 323, 324.
 Муравьева, см. Вульфъ, Анна Оед.
 Муравьевъ, Млх. Никит.—5, 8, 16—24, 28, 35, 46, 52, 58, 60, 61, 68—71, 73, 74, 81, 83, 84, 92, 93, 97, 103—105, 111, 114, 118, 146, 190, 199, 261, 292, 306, 317.
 Муравьевъ, Никит. Млх.—104, 172, 280, 321.
 Муравьевъ, Ник. Наз.—24.
 Муравьевъ, Ник. Ник.—25.
 Муравьевъ-Апостолъ, Ив. Матв.—18, 19, 28, 48, 49, 104, 137, 143, 156, 158—160, 168, 174, 175, 187, 188, 209, 264.
 Муравьевы—23, 104, 155, 156, 292, 297, 328.
 Мюгель, дѣвида—58, 66—68, 149.
 Мюгель, негоціантъ—65, 67, 68.
 Мюллеръ—300.
 Мюльгаузенъ, О. К.—299, 320—323, 325—327.
 Наполеонъ I, императоръ—3, 4, 25, 58, 59, 63, 89, 152, 158, 159, 161, 163, 171, 172, 176, 177, 184—186, 201, 209, 227, 228.
 Наполеонъ III, императоръ французскій—311.
 Нелединскій-Мелецкій, Юр. Алекс.—124, 137, 181, 211.
 Ней—63.
 Нессельроде, гр. К. В.—284, 285, 295, 296, 299, 318, 320, 323—330.
 Николай Павловичъ, императоръ—304.
 Никольскій, П. А.—144.
 Николь, аббатъ—263.
 Нилова, Елиз. Кор.—28, 29.
 Нилова, Праск. Млх.—23, 28—31, 81, 137.
 Ниловъ, Андр. Матв.—28.
 Ниловъ, П. Андр.—28—30.
 Никона Ланкло—92, 93.
 Ньютонъ—177.
 Оберонъ—173.
 Оболенскій - Нелединскій - Мелецкій, князь С. А.—182.

- Овидій—240.
Одиссей—184, 186.
Озеровъ, Владисл. Алекс.—49, 52—57, 72—74, 187.
Оленина, Елиз. Марк.—48, 51.
Оленинъ, Ал-й Ник.—23, 28, 48—57, 59, 61, 71—73, 78, 124, 129, 138, 142—144, 155, 161, 162, 166—168, 187—190, 194, 198, 242, 243, 264, 268, 270—272, 328.
Оленинъ, Ник. Ал.—155.
Оленинъ, П. Ал.—155.
Оленины—50, 53, 54, 71, 81, 143, 144, 190—192, 242, 243, 268, 321.
Ольденбургскій, принцъ Георгъ—259.
Омиръ, см. Гомеръ.
Оомъ, Адольфъ—190.
Оомъ, Фед. Ал.—190.
Опочининъ—7.
Орловъ, Мих. Фед.—245, 249, 296.
Оссіанъ—25, 26, 42, 46, 54, 80, 223.
Остолоповъ, Ник. Фед.—37.

Шавель Петровичъ, императоръ—6, 7, 10, 40.
Парка—200.
Парип—24, 80, 82, 92, 95, 97, 98, 128, 222.
Пенаты—129, 140, 146, 288, 304.
Перовскій, Ник. Ив.—299, 320, 323—328.
Пертцъ—185.
Петинъ, Ив. Александр.—58, 62, 65, 71, 75—77, 103, 110, 111, 155, 169, 170, 180, 204, 228, 286, 312.
Петра—104.
Петрарка—125, 126, 235, 239, 287, 348.
Петровъ, Вас. Петр.—60.
Петръ I, императоръ—5, 28, 99, 107, 218—220.
Пиницъ, докторъ—301, 302, 329—331.
Писаревъ, А-дръ Александр.—45, 172.
Платонъ, митрополитъ Московскій—14, 20.
Плетневъ, П. Алекс.—237, 238, 252, 287—291, 294.
Плещеевъ, Ал. Алекс.—255, 256.
Плиний Старшій—273, 275.
Плиний Младшій—275.
Плюшаръ, А.—29.
Пнинъ, Ив. Петр.—24, 37—40, 44, 93.
Погодинъ, Мих. Петр.—17, 281, 302, 308.
Поддѣсовъ—12.
Полевой, Ник. Ал.—252, 257.
Поликсена—56.
Полозовъ, Ал-й—122.
Полторацкая, Екат. Ив.—48.
Полторацкая, см. Оленина, Елиз. Марк.
Полторацкій, П. Марк.—48.
Попугаевъ, В. В.—37, 39.
Потемкинъ, князь Григ. Алекс.—87.
Потоцкій, графъ С. Ос.—270.
Предслава—131, 132, 263.
Прокосевъ, протоіерей—312.
Проперцій—224.
Пушкина, Ел. Григ.—1—3, 124, 137, 138, 141, 301, 302, 330—333.
Пушкинъ, А-дръ Серг.—1, 92, 178, 242, 252—253, 277, 291, 296, 303, 313—316.
Пушкинъ, Ал. Мих.—112, 130, 137, 156, 157.
Пушкинъ, Вас. Льв.—103, 112, 113, 117, 130, 133, 156, 157, 160, 245, 320.
Пушкинъ, Л. Серг.—291.
Пѣвнсладь—41.

Раднщевъ, А-дръ Ник.—40—43.
Раднщевъ, Ник. Александр.—24, 37, 110.
Раевскій, Ник. Ник.—189—172, 261, 307, 317.
Рамазановъ, Ник. Ал.—272.
Расинъ, Ж.—93, 128, 159, 172.
Рафазъ—51.
Рейналь—39.
Реманъ—326.
Рене—200, 201, 266, 279, 297.
Робеспьеръ—172.
Розенкампфъ—185.
Румянцева, графиня М. А.—237.
Русалка—240.
Русланъ—258.
Руссо, Ж.-Ж.—88, 131, 200.
Рюрикъ, в. кн.—240.

Сантовъ, Влад. Ив.—9, 69.
Сандельсъ—76.
Сахаровъ, И. П.—259.
Свѣтлана—245.
Святославъ, вел. князь—264.
Семенова, Екат. Сем.—93.
Сентъ-Анжъ, г-жа—274.
Сентъ-Бевъ—127.
Сентъ-При, графъ К. Фр.—196, 262, 263.
Сербиновичъ, К. С.—268, 302.
Спиряковъ, Ив.—11, 12.
Спсмонди—231.
Скопинъ-Шуйскій, кн. М. В.—259.
Смирдинъ, А-дръ Фед.—74.
Соколовъ, Арк. Ал.—14.
Соколовъ, Пав. Ал.—14, 20.
Соловьевъ, Серг. Мих.—58.
Сомовъ, Андр. Ив.—272.

- Софоклѣ—53.
 Сохацкій, П. А.—46.
 Сперанскій, графъ Мих. Мих.—133.
 Сталь, г-жа—26, 223, 278.
 Станевичъ, Евст. Ив.—33.
 Строгановъ, баронъ Григ. Алекс.—180.
 Строгановъ, графъ А-дръ Серг.—28, 49.
 Стурдза, Ал-дръ Скарл.—64, 260, 280, 282.
 Стурдза, Ел. Скарл.—269.
 Суворовъ, князь А-дръ Вас.—45, 264.
 Сумароковъ, А-дръ Петр.—15, 40, 41, 53, 56.
 Сушковъ, Нлк. Вас.—297, 298.
 Сѣверинъ, Дм. Петр.—130, 146, 149—151, 153, 179, 245, 259, 260, 317.
- Та**льма—177.
 Тассъ, Торквато—9, 73, 74, 88, 125, 128, 172, 209, 222, 228—236, 239, 240, 251, 276, 287, 292, 294, 301, 305, 307, 309, 314, 332, 333, 337, 346, 348.
 Татищевъ, Н. А.—59, 61.
 Тацитъ—273.
 Теглева, см. Батюшкова, Авд. Никит.
 Тезей—123.
 Тейффель—96.
 Тибуллъ—19, 82, 88, 92, 95—97, 212, 224.
 Тихановъ, П. Н.—45, 122, 291, 294.
 Тихонравовъ, Нлк. Савв.—151.
 Тредіаковский, Вас. Кир.—40, 41.
 Триполи, Ив. Ант.—12—14, 18.
 Тургеневъ, Ал-дръ Ив.—137, 143, 146, 148, 166, 168, 178, 196, 211, 237, 243, 245, 261—263, 265, 267, 268, 275, 276, 283, 285, 297, 301, 304, 307, 320, 328, 332, 333.
 Тургеневъ, Ив. Петр.—69.
 Тургеневъ, Нлк. Ив.—178, 249.
 Тургеневъ, Серг. Ив.—301, 332, 333.
 Туркистановъ, князь Н.—14.
 Турчанниковъ, Андр. Петр.—75.
 Тучковъ, Ал-дръ Алексѣев.—76.
- У**варовъ, графъ Ал-й Серг.—272.
 Уваровъ, графъ Серг. Сем.—42, 49—51, 144, 168, 184, 187—189, 243, 249, 251, 252.
 Улиссъ—123.
- Ф**амусовъ—109.
 Фенехонъ—17, 161, 172.
 Фидіастъ—245.
 Филанжіеръ—39.
 Филаретъ, архимандритъ—167.
- Филиса—42.
 Фингалъ—54, 55.
 Флоріанъ—175.
 Фонтанъ—35.
 Фоссъ—174, 175.
 Францъ I, императоръ австрійскій—276, 336.
 Фрейгардъ—331.
 Фридрихъ-Вильгельмъ III, король прусскій—171.
 Фурманъ, г-жа—190.
 Фурманъ, Анна Ѳед.—165, 190—193.
- Ж**анниковъ, В. В.—329, 330.
 Хвостовъ, графъ Дм. Ив.—150.
- И**нциановъ, князь П. Дм.—28.
- Ч**езароти, аббатъ—80.
 Чоглокова, М. Андр.—79.
- Ш**аликовъ, князь П. Ив.—111.
 Шанъ де-Растиньякъ—75, 76.
 дю-Шатле, маркиза—177.
 Шатобрианъ—200, 201, 266, 271, 279, 289, 301, 339.
 Шаховской, князь Ал-дръ Алексан-др.—71.
 Шаховъ—200.
 Швабе—12.
 Шевыревъ, Ст. Петр.—284, 308, 310.
 Шекспиръ—41, 46.
 Шенье, Андрей—27.
 Шереръ—225.
 Шиллеръ—72, 173, 184, 223, 225, 226, 295.
 Шипилова, Елиз. Нлк.—298, 322.
 Шипиловъ, П. А.—298, 299, 320, 322, 323, 328.
 Шипова—259.
 Ширинскій-Шихматовъ, князь Серг. Александр.—38, 133.
 Шинкина, Олимп. Петр.—258, 259.
 Шишковъ, Ал-дръ Сем.—35—39, 43, 55—57, 73, 99, 117, 130, 133, 135, 146, 183, 185, 187.
 Шлегель, Фр.—292, 293, 346.
 Штапельбергъ, графъ—282—284.
 Штейнъ, баронъ—178, 185.
- Щ**едринъ, С. Ѳед.—272—274, 276, 282.
- Э**вальдъ, Влад. Ѳед.—270.
 Эвенсъ—156.
 Эврипидъ—267.

Эдипъ—53—55.
Эйлеръ—39.
Элеонора д'Эсте—229.
Эльсонъ—270.
Эмилій—92, 190.
Энгель, Фед. Ив.—190.
Элдиміонъ—13.
Эней—123.
Эрдманъ, I.-Фр.—301, 329.

Юрьевъ, Фил. Фед.—257.

Языковъ, Дм. Ив.—21, 37—39, 44.
Яковлевъ, Плат. Степ.—144.

Феофилактъ, епископъ Вологодскій—
312.

Феофилъ—174, 175.

Фужидидъ—268.

